

Теодор Крёгер

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ



Четыре года в Сибири

Книга о товариществе

Об авторе:

Немецкий писатель Теодор Крёгер (настоящее имя Бернхард Альтшвагер) родился 5 декабря 1891 года в Санкт-Петербурге, Россия; умер 24 октября 1958 года в деревне Клостерс-Зернеус, кантон Граубюнден; Швейцария.

Крёгер вырос в семье Бернхарда Фридриха Альтшвагера (1862-1931), владельца часового магазина в Санкт-Петербурге. Крёгер посещал гимназию реформистской общины в Санкт-Петербурге, в 1913 году поехал в Нейшатель учиться на часовщика, а после возвращения в Россию как подданный Германской империи был выслан в Верхотурьевск на Урале.

Крёгер был признанным писателем и членом Имперской писательской печатной палаты в Берлине, в 1941 году переехал по состоянию здоровья сначала в Австрию, а в 1946 году в Швейцарию.

Он описал свой жизненный опыт в нескольких произведениях. Самого большого успеха Крёгер достиг своим романом «Забытая деревня. Четыре года в Сибири» (первое издание в 1934 году, последнее в 1981 году), где в форме романа, переработав свою биографию, описал от первого лица, как он после начала Первой мировой войны пытался сбежать из России в Германию, был арестован по подозрению в шпионаже и выслан в местечко Никитино по ту сторону железнодорожной станции Ивдель в Сибири. Он описывает свои переживания как немецкий военнопленный, рассказывает о своей дружбе с капитаном полиции Иваном Ивановичем и женитьбе на прекрасной татарке Фаиме, о защите немецких и австрийских военнопленных, о том, как он инициировал строительство школы. Роман драматично заканчивается закатом городка Никитино в буре Октябрьской революции. Общий тираж этого романа превысил миллион экземпляров. Второй, тоже фиктивно-автобиографический роман, «Наташа» изображает жизнь после возвращения в Германию; роман вышел после смерти писателя в 1960 году.

Приключенческий роман «Родина на Дону» описывает Россию во время Первой мировой войны и большевистского господства, его основное содержание – последние моменты отчаянной борьбы Белой Армии в Крыму.

Книга «Брест-Литовск» с подзаголовком «Начало и последствия большевистского всемирного обмана» содержит многочисленные черно-белые фотографии мирных переговоров в Брест-Литовске в 1917 году. Она жестко критикует ужасающие последствия «русской» революции с точки зрения «космополита» немецкого происхождения.

Предисловие

У самой северной границы России капкан сомкнулся на моей ноге, и удар приклада сломал остаток моего сопротивления.

Спустя четыре года я вновь увидел мою родину, пусть даже став другим человеком.

Я попытался изобразить этот четырехлетний промежуток, друзей и приятелей, с которыми в течение долгих лет разделял судьбу каторжника в глубокой Сибири, так, как эти чувства и образы продолжают еще сегодня неизгладимо жить во мне.

Сибирь...

Это понятие едва ли понимаемой роковой тяжести, и во всей ее гигантской силе и связи она сегодня предстает перед нами куда более актуально, чем прежде.

Нет другой страны, познавшей более высокие высоты и более глубокие глубины человеческой души. Вечность непонятной мудрости придает там форму даже самой природе, бесконечной, не знающей границ ни в дарах, ни в убийствах, будь то в чарующем свете жара «Белых ночей» или в безвыходном мраке бурной снежной метели.

Прошедшие тридцать лет хоть и изменили вид и биение пульса больших городов, однако оставили неприкосновенным неслышное развеивание времени и всех людей в меланхолии пейзажа.

Осень 1949 года

Автор

Часть первая

В ЦЕПЯХ

Шлиссельбург

Рычаг газа спортивного автомобиля уже не может вдавиться ниже в тело двигателя. Машина несется со всей дикостью, которую человек своей силой воли может придать ей. Стрелка спидометра едва заметно колеблется, показывая максимальную скорость разгоряченного материала.

Встающие на дыбы лошади, проклинаящие, кричащие люди, в безумном темпе мелькающие телеграфные столбы, деревья, дома, луга и леса. Оставляя за собой длинный шлейф пыли, машина проглатывает километры.

Ничто не может задержать убийственный темп машины, ни кривые повороты, ни плохая брусчатка мостовой.

Нечистый дух едет в преисподнюю!

Низко пригнувшись, время от времени бросая для проверки взгляд на стрелки приборов на панели, я с такой силой хочу избежать своей судьбы.

Рука на руле не дрожит.

Вот..., наконец... слякбаум, преграждающий дорогу... знакомые бело-синекрасные цвета, обозначающие границу... финско-российскую границу близ Белоострова...

Машущие, матерящиеся, кричащие, стреляющие солдаты. Машина грубо едет между людьми, ударяется в шлагбаум, разбивает его. Чьи-то руки поспешно хватаются за руль, поднимается густая пыль... пугающие доли секунды... передо мной снова лежит шоссе.

Как рой гудящих мух мимо проносятся пули... новый рой... еще один...

Машина несется с безумной скоростью!

Скорчившись, я едва ли могу видеть дорогу, мой взгляд скользит над машиной. Радиатор вдавлен в блок двигателя, фары вырваны, крылья и часть кузова отсутствуют. Напряженно гляжу я на бензиномер: Стрелка! Она медленно падает. В бак попали!... Сквозная пробоина!

Но машина пока еще едет. Я точно знаю местность, перекрестки не вводят меня в заблуждение. Я еду по финским лесам... Наконец, видны несколько хижин. Я резко останавливаю машину перед вокзалом Уусикиркко. Три одинаковых звонка, затем свисток машиниста, долгий гудок маленького паровоза. В один скачок я выпрыгиваю из машины, хватаю мой маленький кожаный чемодан, бегу за поездом и вскарабкиваюсь на подножку последнего вагона.

Еще один взгляд на мою машину – и катящийся поезд объезжает мрачный лес Финляндии.

В Торнеа-Хапаранде, городке у границы между Финляндией и Швецией, я провожу весь день незаметно в гостиничном номере. На календаре 10 августа 1914 года.

После обильного ужина я ложусь. Я пытаюсь собраться, но мной овладевает никогда мне прежде не знакомое напряжение. С беспокойством я снова и снова замечаю, как будто бы мне это уже давно не было известно, как светлы ночи на севере, как мало это подходит для бегства. Все в комнате беспокоит меня. Я кладу деньги на стол, покидаю маленький отель и добираюсь, наконец, до долгожданного леса; там я прячусь в кустарнике. Я все время поглядываю на часы; но, похоже, сумерки так и не собираются сгущаться. Я точно знаю, где проходит линия границы. Теперь с самой большой осторожностью я пробираюсь через лес к границе. Наконец, я добрался до лесной опушки.

Все кажется спокойным, ничего не шевелится. Несколько сверчков стрекочут в траве. Тут и там слышится сонное щебетание маленьких лесных птиц; нежно вибрируют звуки. Над пейзажем лежит тончайшая полоса тумана. В удаленной дали, между едва ли светящимися стволами берез, мои глаза, кажется, видят белые пограничные знаки Швеции – свободу. Это были миражи...

Еще раз я оглядываюсь по сторонам. Встаю на ноги, глубокий вдох, бегу!

Я никогда еще так не бегал на спортивной площадке.

Я не пробежал и сотни метров, как услышал за спиной беспорядочное рычание. «Стой... стой... стой!» Слышны несколько беспорядочных выстрелов, пули со свистом проносятся мимо меня. Я бегу, бегу со всей силы дальше и уже ликую, так как с абсолютной надежностью могу предположить, что у патруля нет такой жесткой выносливости в беге, как у моего молодого, натренированного тела.

Земля становится неровной, я перескакиваю через несколько ям, спотыкаюсь, падаю, вскакиваю, бегу дальше...

Внезапно безумная боль, и я падаю на землю... Моя нога тяжела как огромная свинцовая гиря... Я попал в капкан!

Изо всех сил я пытаюсь раздвинуть проклятое железо, но это мне не удастся. Я стискиваю зубы, снова вскакиваю, хромаю дальше еще несколько шагов. Первые стражники подбегают ко мне. И вот они тут. Какое счастье – они без оружия! Сильные удары, кровь брызжет мне на лицо, солдаты валяются на землю. Забывая боль, я хромаю дальше, все дальше, быстро, как только могу, мне остается уже немного.

Уже подбегает подкрепление! Роем они окружают меня. Как молодые, нерасторопные медведи они бросаются на меня. Все мои навыки в боксе, длительная тренировка в дзюдо не принесли мне пользы; мужчины повисли у меня на ногах и руках. Почти на голову выше моих врагов, я еще раз бросаю взгляд на границу, на свободу. Я еще раз стряхиваю человеческие тела с себя, они явно устали от непривычного бега, мои удары кулаком и защитные приемы снова сбивают с ног некоторых, я вижу их невооруженные, размахивающие руки, а потом... винтовочный приклад...

Глухая, парализующая боль в затылке...

Я теряю сознание...

В маленькой, окрашенной в светлый цвет комнате, я проснулся на нарах, связанный по рукам и ногам. Моя голова была тяжела как свинец, я не мог ясно думать; мне казалось, как будто я все еще окружен туманом, и мне все еще представлялись вдали белые пограничные знаки. В комнате на лавке сидело двое вооруженных часовых, пытавшихся попеременно бороться с зеванием. Воздух пах свежеспеченным ржаным хлебом.

Я снова потерял сознание.

Когда я проснулся во второй раз, зевающих караульных сменили двое других, и очень бдительных, так как стоило лишь мне приоткрыть глаза, как они развязали меня, принесли воду для умывания и огромную порцию гречневой каши с маслом. Моя рубашка превратилась в кровавый лоскут, мои брюки были также разорваны, мое лицо опухло, и все тело было измучено.

Моей первой и единственной ясной мыслью было: теперь ты обречен на смерть! Я питал лишь слабую надежду только на мои отношения с высокопоставленными русскими чиновниками, среди них у меня было много друзей.

Штыки передо мной, штыки за мной, так меня вводят в канцелярию. В стороне стоит большой стол, заваленный папками, за ним двое неряшливых писарей, которые таращат на меня глаза. Полковник, за ним еще полдюжина офицеров, вступают в канцелярию с величественным достоинством. Писари как по команде уткнулись носами в свои папки, в то время как офицеры теперь осматривают меня с любопытством и шепчут друг с другом. Снова раскрывается дверь. Внезапно офицеры замолкают.

Входит маленький, широкоплечий господин с умными чертами лица и в элегантном костюме и подходит прямо ко мне, не обращая внимания на присутствующих. Он глубоко и серьезно глядит мне в глаза. Я, как военный, выпрямляюсь по стойке «смирно», но он машет рукой.

«Я знаю, кто вы такой и как вас зовут». Мужчина краткими фразами перечисляет события и этапы моего бегства мне в кратких предложениях. Я подтверждаю правильность его сведений.

- Была ли единственной причиной вашего бегства любовь к вашему немецкому отечеству и ваше осознание своего долга?

– Да.

Мужчина просит принести ему мои разорванные вещи, все точно исследует, даже желтые летние полуботинки разбираются на самые маленькие части.

Ничего не найдено.

- Служили ли вы в немецкой армии? – задает он следующий вопрос.

- Да.

-Звание?

- Лейтенант резерва.

- Вы служите в немецкой разведке?

- Нет.

- Поддерживаете ли вы отношения с немецкими военными?

- Да, это мои родственники.

- Постоянно ли поддерживают эти люди связь с вами непосредственно или косвенно? Часто ли вы получаете от них сообщения?

- Нет, весьма редко. Наши отношения чисто семейного рода.

- Какими языками вы владеете?

- Немецким, русским, английским, французским языками.

- Почему вы не стали русским подданным? У вас же хорошие отношения вплоть до Царского Села [резиденция царя Николая II], и вы даже родились в Петербурге?

- У меня не было причины и повода отказываться от моего немецкого гражданства.

- Знаете ли вы, что вас подозревают в убийстве?

- Я боролся за свою свободу и я не убийца!

- Я спрашивал вас не об этом! Вы противились российской государственной власти! Это война, и это все объясняет! Мы можем сделать с вами, что захотим!... Знаете ли вы, как вас казнят?... Вы подозреваетесь в шпионаже!

- Вам предстоит казнь через повешение!

Я твердо смотрю мужчине в глаза.

- Слышали ли вы что-то о Шлиссельбургской крепости? О подземных казематах? Там кое-кого сумели научить говорить. Знаете ли вы, что там в темных камерах некоторые сходили с ума, а другие утонули при наводнении?

Мужчина долго молча рассматривает меня. Его спокойные глаза пристально изучают мое лицо, пока глубокая борозда не появляется между его кустистыми бровями.

- У вас есть только один единственный шанс избежать смерти, – теперь его голос звучит солидно, и, все же, я улавливаю дребезжащий тон. «Наше Охранное отделение и наша служба контрразведки организованы настолько хорошо, что ничто не может ускользнуть от нас. Вы достаточно долго жили в

России, так что сами вполне можете оценить это. Пока я вас тут допрашиваю и задаю вам эти маловажные вопросы, виллу вашего отца на Каменном острове обыскивают от подвала до стропил. Самое незначительное проверяется точнее всего. Этот ваш единственный шанс состоит в вашем признании. Если вы теперь скажете правду, то вы спасены – иначе вы будете повешены.

- Мне не в чем вам признаваться.

- Я даю вам полчаса, – говорит мужчина, будто вообще не услышав мои слова. – Решение за вами. Подумайте о вашей молодости, ваших родителях и вашей родине. У вас есть полчаса времени! Идите!

Меня отводят назад в камеру и дают много вкусной еды, мне также вручают пару старых ботинок. По привычке я смотрю на запястье, где когда-то были наручные часы; там остался один ремешок. Я отстегиваю его и кладу на стол. С любопытством, без какой-либо строгости и достоинства, караульные солдаты смотрят на меня, они совсем, кажется, забыли о своих винтовках. Так проходит время.

Они вздрагивают, когда дверь открывается. Меня снова ведут в канцелярию. Когда я вхожу, среди всех присутствующих царит полнейшая тишина. – Время истекло, доктор технических наук инженер Теодор Крёгер! Слова, кажется, вибрируют в воздухе, затем застывают в скромной канцелярии, как фигуры мужчин вокруг меня.

Мой взгляд скользит по ботинкам без шнурков, разорванным брюкам, бесформенным лоскутам рубашки, испачканным кровью, по моему загорелому, опухшему телу, множеству маленьких и больших царапин, из которых медленно сочится кровь.

- Вас именно так зовут, это ваш титул?

- Да.

- Я уже звонил в Петербург. Ваш дом обыскали, там найден разоблачающий вас материал. Итак?

- Мне нечего вам сказать.

- Это ваше последнее слово, доктор Крёгер?!

- Да.

На короткое мгновение между нами длится молчаливое напряжение. Но потом внезапно и гневно звучат слова мужчины:

- Увести!

Только уходя, я слышу приглушенные, как просыпающиеся голоса, в сопровождении звона шпор и сабель.

На дворе мне пришлось ждать лишь короткое время. Появился новый конвой из одного унтер-офицера и четырех солдат с примкнутыми штыками. Мы идем по маленькому городку, мимо отеля, где я провел последние часы, к вокзалу.

Любопытные собираются вокруг, бегут за нами. В прицепленном в конце поезда вагоне для скота мы проводим целых три дня. Поезд медленно приближается к Петербургу.

«Финляндский вокзал». Приближается вечер. Мы дожидаемся будущей ночи, потом меня проводят по знакомым улицам через мост над Невой в Петропавловскую крепость. Отворяется маленькая дверь в больших воротах, охранники перекидываются парой слов, и за нами лязгает замок. Темная камера, скудный ужин, я бросаюсь на деревянные нары и погружаюсь в свинцовый сон.

Кто-то трясет меня за голые плечи. Это охранник с добродушным крестьянским лицом протягивает мне в руки какой-то листок.

«Признайся во всем, отрицать бессмысленно! Все пропало! Твой отец».

Я с колотящимся сердцем осматриваюсь вокруг, но камера пуста.

Микроскопически маленький глазок в двери... Я пристально всматриваюсь в него... Глаз, едва видимый, едва заметный, ожидает с нетерпением за ним...

Руки за спиной, я хожу по камере долго, очень долго взад-вперед. Снаружи светит солнце, и дуновение близкой воды проникает ко мне. Я хожу взад-вперед, снова и снова от одной стены к другой, потом опять вдоль и поперек.

Через глазок пристально смотрит глаз – он следит за всеми моими шагами.

Медленно раскрывается дверь камеры. Входит высокий, седой господин с аристократически острыми и сдержанными чертами лица, в руке у него портфель.

Он говорит долго, убедительно, его голос благозвучен, убедителен, выражения подобраны умело и хитро. Он мастерски описывает мне глубоко огорченного отца, внезапно ставшую смертельно больной мать, говорит об изобилии отягчающего материала, обещает беспрепятственный выезд в Германию, если я назову ему имена тех, кто, вероятно, предал свое отечество.

Спустя некоторое время он молчит и ждет, что я теперь начну говорить, хоть что-нибудь, какую-то мелочь, чтобы потом построить на ней все то мощное сооружение, ради которого он и пришел ко мне. Его глаза испытующе рассматривают мои черты, они скользят по обрывкам моей одежды и возвращаются к лицу. Тщательно он рассматривает свои ухоженные руки, каждый палец в отдельности, его ладони приглаживают ухоженную прическу.

Неподвижно я сижу на нарах, и так же неподвижно мужчина стоит рядом со мной, его окружают ароматы изысканной жизни. – Видите ли, доктор Крёгер, среди двух врагов всегда есть один великодушный и один низкий. У первого есть все преимущества, так как он – духовный победитель. Не хотите ли вы быть им? – снова начинает говорить этот человек.

Я медленно поднимаю голову. Я поражен: он сказал эти слова на немецком языке без акцента. Он говорит о великодушии, о долге человека заклеить те элементы, которые означают раковую язву для страны и народа, о долге офицера, о честном слове, о капитуляции перед великодушным противником, который нашел единомышленника, о борьбе ради отечества, борьбе, в которой одинаково достойны уважения все средства, все равно – сражаться и погибать ли для своей страны на фронте или в тылу противника. Строение его психологического наступления так убедительно, так правильно и полно, что у меня нет даже самой незначительной возможности, пролезть хотя бы в самую маленькую брешь. – Я даже дам вам возможность самим убедиться. Я устрою так, что вашего слугу допросят в вашем присутствии.

- Я был бы вам очень благодарен, – отвечаю я.

Мужчина поднимается, идет к двери камеры, стучит и исчезает точно так тихо, как и пришел.

Я еще раз рассматриваю листок с запиской моего отца. Я тщательно проверяю каждую отдельную букву, каждый завиток, точки, написание букв. Я снова прихожу к тому же результату – это искусный подлог! Это подлог! Или же почерк моего отца изменился по причине последних событий, запугивания, ареста, угроз по сравнению с привычной, вечно неизменной картиной? Я никогда не считал отца слабым. Может ли и его рука начать дрожать?

Я получаю хороший обед, бутылку вина, мой любимый табак, которым с радостью набиваю трубку, предупредительное обращение, новую, чистую, солнечную камеру...

К вечеру дверь открывается. Входит добродушный надзиратель, за ним появляется мой слуга; он несет поднос с ужином, ставит его молча на стол передо мной. Также присутствует и элегантный господин. Надзиратель выходит из камеры.

Передо мной стоит Ахмед, мой слуга-татарин. У него вид экзотического гранда. Всегда ухоженные тщательно подстриженные и причесанные волосы, хороший гражданский костюм, легкое, светлое летнее пальто, белые, безупречные перчатки. Круглое, коричневатое лицо только что побрито, черные, несколько узкие глаза кажутся настолько же равнодушными, как и черты его лица.

- Ваш служитель сам все вам сообщит. Однако я прямо здесь должен определенно подчеркнуть, что на него не оказывалось никакого давления, и что он также не высказывается под принуждением или под угрозой каких-нибудь насильственных мер. Правда ли это?

- Да, правда! – подчеркнуто отвечает татарин мужчине.

Я знаю, что он лжет!

Ахмед служил нам уже двадцать лет. Когда я, еще ребенком, однажды летом находился с моей кормилицей в Крыму в маленьком поместье моего отца, Ахмед убежал к нам, чтобы найти защиту от своего русского отчима, который за самую маленькую провинность избивал его до полусмерти.

Ахмеда его отчим якобы продал моей матери за сто рублей. Его обучили грамоте, он учился в средней школе, и стал потом моим постоянным провожатым почти во всех поездках по родной стране и по загранице. Я знал его преданность и верность, я мог безгранично полагаться на него.

- Непременно скажите господину Крёгеру полную правду, – перебивает мужчина и делает пригласительное движение рукой.

Мои глаза встречаются со взглядом татарина. Его глаза необъяснимо черны. Все тайны его расы лежат там.

- Барин (господин)... , – начинает азиат твердым, ясным голосом, – я клянусь вам перед Богом, что говорю правду, что я не нахожусь под чьим-то влиянием... Он продолжает говорить. Мужчина долго и внимательно наблюдает за ним.

В узких глазах, в крайних углах, в крохотных маленьких складках... там лежит правда, в едва ли восприимчивых искрах, которые перескакивают ко мне известным, доверительным образом.

Ахмед – это полнокровный монгол, достойный наследник его великого предка Чингисхана. На чертах его лица играет остающаяся вечно неизменной, обязательная улыбка Азии играет – я все это знаю.

- ... и это сообщение, прерываю я его, – действительно ли оно исходит от моего отца? Он сам писал его? И я передаю татарину бумагу с немногими словами.

- Господин коммерции советник писал это сам в моем присутствии, и я должен был сразу доставить это в крепость, – отвечает он без сомнения, решительно и энергично.

И снова только для меня улыбаются глаза азиата...

Мне стоит невероятных усилий не броситься на шею татарину.

- Господин Крёгер, я не хочу дальше упрашивать вас, – снова начинает русский. – Я охотно предоставлю вам срок подумать – один или два дня. Я вернусь. Решение я предоставляю вам. Пойдемте, – обращается он к Ахмеду, – мы оба выполнили свой долг. Позаботьтесь о том, чтобы на вилле господина Крёгера все снова было приведено в порядок, так как он, вероятно, действительно скоро туда вернется. Мужчина кланяется, и я слежу за безразличным, выученным лицом татарина с его индифферентным выражением. У двери он поворачивается, и наши взгляды встречаются еще раз.

- Барин, мы вас не забываем. Мы ждем вас. У вас все будет в порядке.

Теперь я остаюсь один.

Я ужинаю долго, задумчиво. Бутылка вина опустошена до дна. Я сплю бесстыдно хорошо.

Спустя два дня русский возвращается, также и в этот раз изысканный и спокойный.

- Теперь я хотел бы услышать ваше решение, доктор Крёгер!

- Мне нечего вам сказать.

- Это значит: вы не хотите сделать признание?

- Нет, так как я ничего не знаю.

- Это ваше последнее, самое последнее слово?

- Да.

- Жаль, очень жаль, я хотел помочь вам... И со своим аристократичным видом, полным самообладания и достоинства, он медленно покидает мою камеру.

Сразу после этого меня на корабле отвозят в Шлиссельбургскую крепость.

В свете заходящего солнца передо мной лежит темный массив, ужас большой страны – крепость Шлиссельбург – русская Бастилия. Широкая, пустынная земля вокруг гигантских каменных масс подчеркивает гнетущую мощь этого строения.

Ужас постоянно овеивает это место. Обветрившиеся, темные стены впитали в себя проклятия тех, кого здесь замучили до смерти. Они видели, как в их неом центре у многих несчастных застывала кровь, и так они навсегда становились тусклыми, устрашающими. Они освещались грозным солнцем, но никогда не нагревались.

Крепость Шлиссельбург была построена в четырнадцатом веке Великим княжеством Новгородским. Тогда ее называли «Орешек» (потому что она была твердой и неприступной для «раскусывания»?). Когда шведы захватили ее в семнадцатом столетии, ее переименовали в Шлиссельбург – «Ключевой замок». Примерно в 1700 году русской армии под командованием царя Петра Великого после кровавого боя удалось взять штурмом эту крепость. С этого времени она потеряла свое прежнее значение важного стратегического пункта. Но одновременно с этим началась ее ужасная слава – ее превратили в государственную тюрьму для самых опасных политических преступников. Ужас этой крепости рос день ото дня, два века подряд. В ее стенах произошли самые зверские мучения, которые только может изобрести человеческий мозг, и ее зловещая слава распространилась не только по всей России, но и за границей. В крепости в специально для этого построенных казематах есть орудия пытки, приспособления для привязывания, различные молотки, щипцы, шины, для выкручивания конечностей, пальцев рук и ног жертв, чтобы изувечивать, ломать или выжигать им глаза. Также там находятся другие инструменты, о применении которых едва ли можно догадаться.

Нас ведут...

Первые предшествующие крепости холмы мы оставляем слева. Внезапно мы стоим перед огромными, прочно соединенными стенами, бастиями и башнями, невероятными в их мощности и высоте. В башне есть калитка – единственный вход в крепость. Над ней сверкает надпись позолоченными буквами:

«Царская Башня».

Символ абсолютизма!

Эта калитка под угнетающей аркой ворот открывается.

Последний шаг...

Наша молчаливая колонна с обнаженными палашами входит вовнутрь. Туманный свет падает на холодные штыки, недружелюбные, темные лица караульных.

Мы стоим во дворе крепости. Высокие, серые стены окружают нас со всех сторон с их подавляющей мощью. Они свысока и безразлично взирают на века и на людей. Узкие, стертые ступени, обветренная выступающая часть здания, маленькие зарешеченные окна – ужасная картина всех ужасов инквизиции. Маленькие проходы, справа и слева тяжелые, окованные двери, камеры, шестиугольные, где нельзя укрыться, высоко у потолка узкое окно, откуда не видна свобода. Железная, зацементированная в пол кровать, зацементированный маленький стол, неподвижная табуретка перед ним. Шаги прежних узников выдолбили местами пол, и те, которых вводят туда теперь, углубят его еще больше.

Страшная тишина вокруг! Откуда-то доносится звон цепей. Атлетические надзиратели, всегда одинаковый их язык жестов: «Иди сюда! Уходи!»

Воспоминания о моей молодости...

Картины, которые никогда не сотрутся из памяти...

Тюремный двор большой. В нем есть только один выход, который ведет в другой двор. Там, на острове, находится громада собственно Шлиссельбурга – цитадели, крепости в крепости. Высота ее стен примерно пятнадцать метров. Они соединены из отобранных тяжелых обтесанных камней. Из массива стен поднимаются несколько башен, среди них пользующаяся дурной славой «Княжеская Башня». В исторических сообщениях о казнях она часто упоминается.

Арестанты этой башни во время Петра Первого и после его режима состояли из кругов наивысшей аристократии. Среди них был всемогущий властитель, некоронованный царь времен правления царицы Анны Иоанновны герцог Бирон. В дальнейшем там сидел известный князь Долгорукий. Там мучили их всех, там их ужасно казнили. Свергнутый царь Иоанн Антонович последовал за ними тогда. Он провел в башне восемь лет и был застрелен охраной при попытке освобождения. Однако люди низших сословий тоже попадали в «Княжескую Башню», и их там так же мучили.

Там замуровали людей!

Не произносится ни слова, ни единого слова, так как каждый здесь знает свою дорогу, и надзиратели, и заключенные, и поэтому все молчат. Только твердые, тяжелые шаги, наравне с ними боязливые и робкие, и этими шагами заключенные никогда, никогда в жизни не вернутся снова назад, так как они ведут в смерть.

Ступени спускаются вниз.

Страх и ужас наполняют эту землю, ее дыхание жестко хватая меня. Пахнет влажностью и гнилью. Крысы мелькают мимо. Ноги ступают по лужам. Где-то монотонно капает вода.

Если даже по истечении десятилетий, столетий или тысячелетий эти стены распадутся и исчезнут, то все равно ужас будет пробираться вокруг этого пятна земли вплоть до вечности, и тени мертвецов встретятся здесь и злыми словами проклянут Бога.

Черный коридор в мерцающем свете передо мной; он кончается в пустоте, там, где никогда не бывает света. По бокам маленькие, ржавые двери с еле-еле разборчивыми номерами.

Одна из этих дверей открывается, скрипя ржавыми петлями. Меня вводят в оцепеневшую ночь, в широко раскрытую пасть. Дверь кряхтит, тяжелый засов падает.

Вокруг меня пустота, черная, бесконечная, безграничная.

Где-то капает вода. Капля за каплей. Они измеряют здесь время до смерти – до освобождения.

Повсюду царит гнетущая тишина, которую я чувствую всеми нервами. Она окружает, охватывает меня со всех сторон, осторожно и, тем не менее, крепко, она хватается сначала нерешительно, затем внезапно грубо мое тело, потом мою голову. Мне даже кажется, что я теперь ее вижу: она несет в одной руке смерть, в другой безумие, смех которого заставляет кровь людей застывать. Но безумие – это тоже земное, вероятно счастливое небытие. Здесь никто не избежал его...

Я закрываю глаза, чтобы не видеть темной пустоты. Вся нервная система напряжена до невыносимого. Только совсем, совсем медленно, только при помощи самой жестокой концентрации неуверенно подступает разрядка.

Дверь! Где она?

Ужас охватывает меня, я отшатываюсь и нащупываю ржавую дверь. Я счастлив, что нащупал ее, что могу удержаться хотя бы за нее, ибо тут не за что больше держаться.

Глаза мои широко раскрыты, я чувствую это рукой, снова и снова ощупывая их. Однако, они ничего не видят, совсем ничего. Глазные нервы напрягаются до наивысшей возможности и вызывают глухую боль в глазницах. Глаза... ничего не видят! Неужели я ослеп?... Возможно ли из-за этого неистово

напряженного усилия захотеть непременно увидеть хоть что-то внезапно ослепнуть? Возможно ли это?

Я борюсь ожесточенно, хотя мужество так слабо против трусости, а она, она так велика и она берет верх. Я борюсь против ужаса мрака и того, что в ней, что она скрывает в себе. Изматывающая борьба продолжается долго.

Трусость победила, так как я изо всех сил судорожно вцепился в дверь моей камеры.

Но все же, зияющее, черное, что окружает меня со всех сторон, силой отталкивает меня от двери. Я больше не могу этому сопротивляться.

Я хочу, я непременно должен знать, где я, я должен исследовать все, я хочу изучить темноту вокруг меня и то, что она скрывает, понять, как абсолютно осязаемый предмет – как мою дверь.

Я держусь за нее и хватаюсь за нее снова и снова. Мои руки движутся на ощупь вдоль стен; они влажны, и цемент частично уже раскрошился, так как на этих местах появился, наверное, мох или какое-то другое растение, мягкое и скользкое. Осторожно я переставляю ноги по невидимому полу, в черной, бесконечной пустоте. Есть ли там ловушки, капканы, ямы, в которые я должен попасть, упасть, провалиться? Ноги ищут на ощупь, руки, пальцы, удерживают, судорожно хватаясь за остатки стены. У меня уже давно есть ощущение: кто-то стоит за мной, кое-что хочет подавить меня, задушить.

Это начинающееся безумие... Однако ищущие, далеко расставленные кисти рук хватают только пустоту.

Моя нога ощупывает каждый самый маленький кусочек скользкой, грязной земли. Я едва ли сдвинулся с места, хотя мои ноги неумоимо ощупывают все вокруг. Все тело – одно единственное, не ослабевающее напряжение.

Я пытаюсь найти первый угол, но я не нахожу его... странно. Может, у клетки вообще нет углов, или они в течение времени стерты гнилью и влажностью? Я продвигаюсь шаг за шагом. Невидимая дорога никак не заканчивается. Найду ли я дверь? Я даже не смог нащупать первый угол, при этом я прошел уже так много.

Внезапно я слышу свой же радостный сон. Мои руки снова схватились за дверь! Теперь я ее знаю. Дверь – большая радость для меня, так как она – единственная четко установленная здесь вещь.

Я видел ее, когда входил в камеру.

Каземат непостижимо велик! Пространство и расстояния растворены в ней, их там нет, и ощутив, что я нахожусь в большой камере, меня охватывают чувство счастья и спокойствие. Помещение уже стало почти постоянным понятием. Я с облегчением глубоко вздыхаю.

Но я не долго позволяю себе спокойствие. Что-то снова принуждает меня, чтобы я нащупал каземат точнее, чтобы я почувствовал его пальцами, чтобы я понял головой, чтобы я рассмотрел его внутренним глазом.

Теперь я больше не ощупью ищу дорогу вдоль стены, а иду прямо; по крайней мере, я пытаюсь делать это. Снова что-то невидимое, сильное хочет зажать меня со всех сторон, со всей силой придавить к земле. Как защита за мной стоит моя дверь.

Медленно и осторожно скользят мои ноги. Сначала одна, потом другая. Это снова трудный, невидимый путь.

Мои широко расставленные руки, мои широко растопыренные пальцы пытаются ощупать пространство, но ничего не находят. Только если они касаются низкого потолка, то крошится земля или хрупкий цемент. Пальцы хватают что-то ползучее, быстро мелькающее – это пауки, думаю я, так как чувствую своим полуголым телом, как они там продолжают ползать.

Время от времени я останавливаюсь, расставляю ноги и снова жду, слушаю, как будто мне обязательно надо почувствовать еще что-то. Ничто... беззвучная тишина, только капли постоянно падают, в неизменном ритме – хронометр смерти, освобождения, которое однажды все равно наступит...

Я дальше ищу на ощупь...

Теперь мои руки касаются, по-видимому, противоположной стены. Молниеносно, как на строительном чертеже, мозг конструирует размер большого помещения: теперь длина, ширина, высота стали для духа четко зафиксированными.

В следующее мгновение что-то скользит мне над ногами, подпрыгивает до моего колена, пищит, цепляется зубами за мои брюки. Крыса!

Испугавшись неожиданному и отвратительному для меня живому существу, я возвращаюсь. Теперь долгое и постоянно подкарауливавшее невидимое получило, наконец, полную власть надо мной. Оно бросает меня от одной стороны к противоположной, оттуда снова назад, я шатаюсь, но все же повсюду держит меня какая-либо стена. Крыса висит на штанине, теперь я бросаюсь к моей двери, я твердо цепляюсь за нее, у нее я застываю, полный отвращения, страха и ужаса. Крыса пищит, я нащупываю ее, хватаю, бросаю прочь. Она падает где-то там в гнили и воде.

Непостижимо большой каземат – это загон?!

Клетка?!

Понятие узости приводит меня в безумное беспокойство, которое возрастает вплоть до самонеистовства. Я жадно ловлю воздух. Помещение может быть площадью самое большее два квадратных метра.

Я судорожно закрываю глаза, со всей силы прижимаю ладони к ушам, чтобы не слышать по крайней мере в течение короткого времени капание воды, потому что все время напряженно открытые глаза болят, а тишина доставляет боль ушам. Но как долго могу я пребывать в таком состоянии? Кровь уже сильно барабанит в висках, руки опускаются, уши снова слушают напряженно, глаза снова пристально смотрят, и истощенно я опускаюсь на землю и прислоняюсь к влажной двери. Влажное и мое полуголое тело, его лохмотья, и руки тоже.

Одна капля падает за другой – в сыром, гнусном единообразии. Тело становится слабым, неподвижным, я оседаю. Смерть ли уже это... и я больше не могу защищаться?...

Солнечный свет, горячий, блестящий солнечный свет... роскошный летний луг, пестрые цветы, мягкий воздух... я шел и шел бы, и великолепии не кончается... далекий, далекий мир... известные, знакомые образы...

Кожа головы съеживается! Волосы шевелятся! Что-то касается моей ноги!

Внезапное пробуждение – цепенящий ужас – действительность. Я готовлюсь обороняться от этого. Мои пальцы скользят во что-то теплое, жидкое – мясо, хлеб, селедка или...?

Солнце, луг, цветы – это было сном!

Я жадно хлебаю теплую жидкость, жую несколько кусков – это хлеб. Старый хлеб, со вкусом плесени, или этот вкус исходит от моих пальцев, которыми я исследовал клетку, хватал пауков и крыс? Деревянная миска пуста, и только теперь я чувствую волчий аппетит.

Я не знаю, как часто мне уже засовывали в камеру миску. Чернота, постоянно раскрытая бесформенная пасть, тишина, все это окружает меня уже целую вечность.

Иногда капли падают где-нибудь в черной пустоте быстрее обычного, тогда струя воды разливается по каземату, вода поднимается до лодыжек, до коленей, выше, до бедер, до груди, а потом точно так же быстро уходит, как поднималась.

Если вода в моем каземате поднимается, то я знаю, что над Петербургом, над Финским заливом дует западный ветер, вследствие этого уровень воды в Неве растет, так как у нее нет достаточного стока из Ладожского озера, на котором лежит Шлиссельбургская крепость. При таком западном ветре всегда хорошо плавать под парусом. Кто будет управлять теперь «Буревестником»? Моя прекрасная белая яхта, уютные каюты, белая спальня, поющие ванты, шепчущие маленькие ночные волны у борта...

Я построил для себя в углу, который едва ли можно увидеть из-за многочисленных обломков стены и земли, что-то вроде «высокого помоста». Там, где стена дает наибольшее сопротивление, я выкопал руками ступеньку. Если вода поднимется еще выше, я залезу на нее, чтобы не захлебнуться. Я хочу быть хитрее других. Приходила ли уже эта мысль моим предшественникам?

Мои предшественники! Что это были за люди? Почему их когда-то привезли в Шлиссельбург? И все ли те, кто был здесь заперт, действительно умерли? Стояло ли как окончание в их деле, которое сообщало об их жизни, их поведении, их действиях и их преступлениях, на самой последней странице банальное слово «скончался»? «Несколько недель спустя скончался в темной камере»?

Их следы стерты, они, вероятно, уже всеми забыты. Они были определены судьбой, чтобы питать ужас казематов, чтобы тот потом напал на других, чтобы он навечно сохранился в людях, земле и космосе.

Однако их тени мелькали через стены и железные двери, скользили вдоль проходов, они передвигались свободно и беспечно в их царстве, так как никто больше не мог их удержать и закрыть им дорогу. Только усталые глаза, только такие, которые скоро закрылись бы навсегда, могли видеть эти тени. Они посещали меня, мы беседовали.

Они все, сдавшиеся или сломленные, беззвучно и без жалоб, или одержимые отвращением, ужасом и безумием, бушующие, кричащие, проклинаящие, злословящие Бога встретившие смерть, они все приходили ко мне и рассказывали мне об их жизни, об их смерти – их освобождении.

Единственный шум, который я воспринимаю, – это засовывание деревянной столовой миски через какое-то отверстие.

Она должна лежать прямо под дверью, но я это не исследую, так как испытываю большое отвращение ко всем этим невидимым и беззвучным насекомым.

- Ставь миску у двери, – сказал однажды надзиратель. Я не знаю, откуда приходил голос. С того времени я ставлю миску у двери, молча, так как не

хочу говорить, и эти парни тоже вовсе не должны думать, что я хотел бы поговорить с ними.

Крысы – это мои самые злейшие враги, так как они набрасываются на мою еду, и я всегда должен прогонять их. Я ловлю их и со всей силой бросаю в мягкие стены. Только тогда они не возвращаются. Если бежит струя воды, я в ней мою руки.

Я говорю на четырех языках, перевожу все, что только приходит мне в голову, я даже микроскопически маленькими шагами иду по каземату, и если мой палец касается размягченной стены, то я возвращаюсь. Я теперь полностью осмыслил мою камеру, и это меня успокаивает.

Иногда я страдаю от навязчивых идей, мне кажется, что я постоянно ощущаю на лбу падающую каплю, как будто я лежу связанным под ней и не могу повернуть голову в сторону. Тогда я ищу на ощупь мою дверь, и она успокаивает меня, ибо она тверда.

Иногда я сижу, прислонившись к ней, и содрогаюсь от отвращения, которое окружает меня. Крысы бегают по моим ногам, пауки сползают на меня, тогда я судорожно сжимаю пальцы в кулаки, начинаю шагать по каземату вперед и назад, или двигаю мои замерзшие члены в гимнастических упражнениях, пока меня часто охватывает отчаяние. Или я сам становлюсь в невидимые шеренги и командую ими. Я следую моим собственным командам точнее всего. И у меня есть страх перед моим голосом.

Перед кем я все же стою? Перед смертью? Перед безумием? Не все ли это уже первые признаки приближающегося помрачения рассудка? Оно сидит повсюду и крадется вокруг меня, в крысах, пауках и других ужасных животных, которых я никогда, вероятно, не увижу

Как долго? Не смеется ли кто-то очень тихо надо мной? Хихикает над моим сопротивлением, которое, все же, однажды сломается, должно сломаться?

Там! Теперь снова! Тихо, где-то в неразрывной непроницаемости...

Внезапно ухо, которое снова и снова внимательно прислушивается и уже постепенно устает в этой полной бесцельности, чует что-то, слышит капающую воду. Теперь она булькает так странно, она опять поднимается. У меня мокрые ноги, все же, я могу простудиться... тогда я заболею... умру...

Струя беспрерывно разливается по каземату. Вода прибывает. Я стою в ней по колено... по бедра... по грудь... Уровень воды растёт дальше. Я взобрался на подготовленный мною «высокий помост».

Вода продолжает подниматься.

Остается самое большее полметра до потолка. Теперь мне нужно склониться над водой и полностью прижаться к потолку. Я чувствую, как перед моим лицом качается на воде миска. Две крысы сидят, тесно прижавшись друг к другу, на моем затылке. Подплывает третья, они грызутся за места. Хотя мои руки уже в воде, я правой рукой сбрасываю с себя зверей, но они возвращаются, кусаются, кричат.

Большой кусок вдруг отделяется от потолка, падает мне на голову и затылок – внезапно крысы исчезли, столовая чашка тонет, булькая.

... Сволочи...! Проклятье...!

Тихо вода журчит вокруг меня.

Кто-то тихо смеется над смешным приступом бешенства.

Вода касается моего подбородка.

Мне остается только лишь двадцать сантиметров. Я прижимаю левую сторону головы к потолку, чтобы выиграть больше пространства. Пауки ползают по моему лицу.

Теперь правое ухо также в воде, я сжимаю рот, чтобы не глотнуть черную, вонючую жидкость.

Если мой «высокий помост» теперь не устоит?...

Колючие, безумные, неестественно блестящие глаза, высунутый язык, жадные, животные зубы... Гримаса смеется, теперь я очень отчетливо вижу передо мной, как она приближается, холодные руки хватают меня, ощупывают мое тело, с силой делают его безжизненным...

Там оно, теперь я вижу его... безумие!

«... Внимание! Вода спадает! Вода уже спала! Вода спадает! Уходит все больше!...»

Косо искривленный рот с трудом произносит слова. Это вздор, но...

Нет, это факт!

Вода спадает, как будто бы у камеры есть сливной клапан.

Я остаюсь жив...

Еще дважды мне пришлось перенести эту борьбу. Я едва повинуюсь моим смешным командам. Все во мне сломалось.

Дважды мне пришлось обгрызать себе ногти, это мой счет времени – от восьми до десяти недель.

Земля трескается под ногами. Засов моей двери лязгает. Она раскрывается. Тусклый свет фонаря.

Я вижу!

Блестящие штыки, темные лица, лужи воды.

«Подойди! Ступай!»

Я еще раз ощупываю мою дверь. Она все еще тверда... Темный коридор, шаги по мокрой земле, ступени ведут наверх, бледный свет слепит меня. Я стою на дворе.

Дождь льет как из ведра.

Я поднимаю лицо к небесам, я дрожу. Мое лицо, распростертые руки мокнут, мои губы смачивает чистая вода, и неземная сила высоко поднимает меня. Я не чувствую тяжести тела...

Я обессилено падаю...

Медленно, как после наркоза я просыпаюсь. Я слышу где-то голоса, не понимая их. Приятное чувство медленно растекается по моему телу, так как по прошествии долгого времени я снова чувствую соприкосновение с материей, так как кто-то накрыл меня, и как раз это чувство, вместе с телесным теплом всех конечностей, позволяет мне полностью проснуться.

Я снова слышу голоса.

-Я же вам говорил, что не могу знать, когда немец будет пригоден к допросу. Работа сердца очень слаба.

- Но он все же останется жив, или...?

- Да, без сомнения. Но вам придется еще потерпеть, дня два-три, по меньшей мере.

- Я как раз рассказывал вам, что Николая Степановича понизили в звании. Он вообще не подумал о немце. Это чудо, что парень остался жив. Шесть человек захлебнулись в казематах, так как вода поднялась слишком высоко, и

он не сообщил об этом сознательно или из халатности. Представьте себе, немец захлебнулся бы – старший лейтенант был бы... Проследите ради Бога, Григорий Фадеевич, чтобы этот человек стал пригоден для допроса как можно скорее, начальство очень сердится.

- Но я все-таки не волшебник, и все знают, в каком состоянии находился парень. Такой великан, и неделями одна водянистая баланда. Что там от него могло еще остаться? Все придется предоставить времени, кроме того, пусть, наконец, сформулируют и вопросы к нему, на которые он должен ответить. Доложите, что я вам сказал. Больше я ничего не смогу сделать!

- Однако не давайте ему слишком много есть, он должен оставаться слабым и расстроенным...

- Я это знаю! Ступайте теперь! – послышался резкий голос.

Голоса умолкли, дверь закрылась. Кто-то ходил туда-сюда, двигался стул, шелестела бумага, и распространился проникающий запах карболовой кислоты.

Кто-то считал мой пульс, снова и снова контролировал удары. «Проклятье, проклятье», слышал я бормотание, потом игла впилась в мое тело. «Жалкое человеческое мучение, лишь бы парень умер не под моими пальцами!» – снова шептал голос, мягкая рука легла мне на голову, лоб, тщательно укутала меня. Еще долго шаги бродили туда-сюда...

Я поднимаю тяжелые веки. Маленькая, светло покрашенная комната, на противоположной стене большое зарешеченное окно, стол, стул, на нем бутылки, перевязочный материал, блестящие инструменты. Я лежу на походной кровати, укрытый двумя серыми попонами, на теле я чувствую чистое, пусть и грубое полотно. Голова лежит на мягкой, белой подушке.

Внезапно как в калейдоскопе приходят и уходят, стекаются вместе и расходятся картины прошедшей жизни. Я избежал смерти в темной камере. Что ждет меня теперь?

Допрос – а затем – итог...?

Моя судьба, мое счастье всегда благоприятствовала мне. Оно всегда улыбалось мне, щедро и озорно.

Как сын богатых родителей, я только в небольшой степени познал родительскую любовь и нежность.

Мой отец, высокий и белокурый, был типом того гениального культурного европейца, который вступает в железную борьбу даже с чертом, мужчиной,

который мог сделать возделанным каждый маленький клочок земли. Моя мать, невысокая и темпераментная, умная и осмотрительная, красивая и всегда ухоженная, управляла своим имуществом сама, и остальное время должна была посвящать своим общественным обязанностям. Заниматься детьми считалось недостаточно изысканным. Да у нее не было и времени на это. Оплаченный штат гувернанток, воспитателей и лакеев оживлял наш большой дом. Ангелом-защитником против услужливых духов была моя кормилица. Непонимающе и удивляясь смотрела она в мои тетради и каракули, которые позже, после самого большого труда, тем не менее, превращались в буквы. Они для этой женщины навсегда оставались загадкой. Она улаживала споры между мной и воспитателями специфическим и решительным образом, и если эти «сукины дети» не слушались, она ударяла кулаком по столу: «Оставьте теперь в покое моего ребенка!» и соответствующий мучитель умолкал. Вечером эта женщина, которую я любил больше чем свою мать, вела меня в мою спальню, ставила меня на колени, даже преклоняла колени рядом со мной, складывала мои нерасторопные пальцы для молитвы, и непонимающе, но с обилием благоговения я повторял перед иконами и горящими лампадами [масляными лампочками] слова ее простой молитвы. Полузакрытыми веками я видел, как моя кормилица крестится, улыбаясь при этом тихо и заботливо. Свет лампы падал на белокурые, в середине тщательно зачесанные волосы и на простое лицо этой женщины. Все вокруг меня было тогда спокойствием, и в счастье – я улыбался в ответ. И по ночам, стоило мне лишь пошевелиться в маленькой кровати, эта женщина тут же появлялась, заботливо накрывала меня, шепча спящему любящие, добрые слова.

Излучая радость, она приветствовала меня утром. Она снова была тут, красивая, чистая и любящая.

Мы оба решительно вели будничную борьбу против наших врагов и похитителей моей свободы.

Незабываемо, как бесконечная красная нить проходит сквозь всю мою жизнь: вера в Бога. Непоколебимая вера, которую эта чудесная женщина дала мне во всей ее наивности.

Я был очень болен. У консилиума врачей больше не было надежды на мое выздоровление. Неосторожно кто-то проронил слово «умрет».

- Скажи, мне теперь придется умереть? – спросил я свою кормилицу.

- Ах, вздор, врачи ничего не понимают.

- Но почему же ты тогда плачешь?

- Я так сержусь на всех этих глупцов!

- Скажи, причиняет ли смерть боль?

- Нет, дитя мое, совсем не причиняет.

- Как же это все-таки, вообще, со смертью, когда все же умирают? Знают ли об этом точно? Нельзя ли сделать что-то против смерти?

- Смерть – самое прекрасное в жизни, – сообщила мне моя кормилица. – Бог – это твой настоящий отец, в его доме ты становишься таким счастливым, как никогда не сможешь быть счастлив на Земле.

Ночью я неоднократно просыпался. Вдали, в свете лампы различные бутылки с лекарствами мерцали мне враждебно, так как я ничего больше не хотел знать о них. Отец оставил мне мою волю и заметил благосклонно: «Ты – настоящий мекленбургский упрямец! Такой же, как я сам!» Рядом с моей кроватью, стоя на коленях, молилась моя материнская покровительница. Я тянулся к ее белокурой голове, целовал ее, тянул ее ко мне, она ложилась рядом со мной, и так я засыпал, положив свою горячую от жара голову на бархатистую кожу ее груди.

Настал рассвет. Я проснулся, печально разочарованный. Я не умер.

Все шептали: «Кормилица вымолила здоровье ребенку». Мой отец подарил ей тогда великолепный дом в ее родной деревне.

В десятилетнем возрасте меня привезли в закрытый пансионат в Швейцарии. Час расставания с моей кормилицей долгие месяцы отражался на моей душе. Это была первая горькая боль. Я поддерживал верную дружбу с моими новыми приятелями. Мой отец позаботился об умелом спортивном образовании и первоклассных преподавателях, один аттестат зрелости следовал за другим, последовали большие поездки по дальним странам, я стал мужчиной с крепкими кулаками, чистыми помыслами и озорно смеющимися глазами жителя Балтийского побережья. Я писал моей материнской подруге в деревню пылкие любовные письма и рассказывал ей тогда о первых уже не безгрешных любовных приключениях. Ее внезапная смерть оставила меня совсем одиноким. От ее могилы я удалился с болью в сердце. Но вера в Бога и бесстрашие перед смертью, однако, навсегда твердо остались во мне.

Мои смелые планы: стать машинистом паровоза, кондуктором трамвая, затем техасским ковбоем, стрелком из револьвера, лучшим стрелком из «кольта» в мире, путешественником, капитаном корабля, были быстро и основательно рассеяны моим отцом. Мои многочисленные эскапады, вроде езды в Лондоне на самых оживленных улицах на одном колесе с большими пакетами, дикими зигзагами пересекая улицы с одной стороны на другую, вызывая тем самым «неудовольствие общественности», отчаянных альпинистских восхождений в Швейцарии для охоты на серну, в Гамбурге, где я, вместо того, чтобы рабо-

тать на верфи, крутился в подозрительных кабачках с бродягами, чтобы потом как арестант из полицейского участка звонить кому-то из клиентов, чтобы тот подтвердил мою личность, голодать в Париже и продавать последний гардероб, чтобы продолжить галантное приключение, всем это вызывало у моего отца только добродушную улыбку. В армии я научился послушанию, потом началась моя работа на предприятиях отца.

Когда одному из наших директоров никак не удавалось заключение сделки, я осмелился сделать об этом пренебрежительное замечание.

- Если ты полагаешь, что можешь позволить себе собственное мнение об этом, то ты сначала сам должен показать, что умеешь. Я еще отнюдь не убежден в твоих умениях, даже если у тебя есть степень доктора технических наук. Если ты завершишь подготовленные переговоры, то ты возрастешь в моих глазах, если нет, тогда ты получишь пощечины. Теперь действуй!

Отец сам рассказал мне обо всем, и я впервые в жизни попробовал провести коммерческие переговоры.

Покупатель, господин солидного возраста, степенный глава семьи, встретил меня только с толковостью и превосходством его возраста. Заказ зависел от его благосклонности. Я сразу заметил, что он хотел бы как-то развлечься в Петербурге. Я убедил его, что что-то в этом роде в Париже можно было бы сделать намного лучше и значительно неприметней. Он нашел мою идею немедленного общего отъезда столь феноменальной, что мы после всего увиденного и пережитого только через четырнадцать дней снова объявились в Петербурге. Я завоевал самую большую его симпатию, должен был пообещать ему, что когда-то приеду к нему в Сибирь, там я мог бы поселиться у него хоть на всю жизнь, и при этом совсем не работать. Молчание обо всем случившемся подразумевалось как само собой разумеющееся.

Полученный нашими чугунолитейными заводами заказ был моим первым успехом. Он принес нам заметную прибыль.

- Ты сделал это хорошо, Тед, все же, кое-что ты умеешь!

Эта похвала из уст моего отца была моей наивысшей наградой.

Зарабатывание денег с тех пор стало для меня спортом, но никогда не превращалось в страсть, в жадность. Я видел, как все вещи и почти всех людей можно было купить за деньги, разница была только в размере суммы. Мне доставляло удовольствие «покупать людей». Сначала они отказывались, презирали предложение, обдумывали, рассчитывали и сгибались – однако, тогда они уже были куплены.

Великодушным образом мой отец помогал заново восстановиться многим людям, безразлично, был ли этот человек раньше высокопоставленным лицом или бедным, целеустремленным, экономным рабочим, часто без какого-либо образования. Он пожимал руку каждому, стучал каждому по плечу и нередко писал мужчинам, которым он добыл должности, только короткие слова:

«Как Ваши дела? Могу ли я сделать еще что-то для Вас? Крёгер».

Наша фирма протянула свои щупальца через всю европейскую и азиатскую Россию. Она снабжала Польшу, Прибалтику, Центральную и Южную Россию, Сибирь вплоть до Маньчжурии. Развитие находилось под счастливой звездой, и можно было воспринимать его из года в год. День и ночь работали наши предприятия.

Когда разразилась война и все семьи за пару дней оказались нищими, так как их имущество было «национализировано», все их достояние похищено, с большим трудом достигнутое достойное существование отнято, их жизнь и творения разрушены до основания, их отправили в ссылку вглубь России и в Сибирь, разделив семьи, то нашлись лишь очень немногие, кто подал просьбу о российском подданстве. Но те, кто получил его «из любви к отечеству», тут же были справедливо отправлены русским правительством на фронт в самые передние ряды, так как там за красивыми словами должны были последовать дела – им следовало доказать эту новую любовь!

Спорт покупать себе людей, скоро натолкнул меня на мысль помочь таким путем моей немецкой родине.

У меня там не было начальников, не было инструкций, разработанных правил, я был сам себе начальник, работал на свой собственный риск. Из любви к народу, к родине, я снова вступил на уже испробованный путь. Эта земля, только ее я хотел защищать.

Призрак войны витал вокруг уже давно. Я говорил себе: мост, по которому враг пытается проникнуть в крепость, следует подпилить.

Этот мост был подпилен вовремя...

Наступало лето, июль 1914 года!

Парой недель раньше я должен был снова проходить германо-российскую границу близ Эйдткунен-Вирбаллен (Вержболово). Паспортный и таможенный контроль внезапно были очень строги, но лица моих знакомых были непоколебимы, так как для нас, казалось, не было никакого беспокойства, никакой границы и никогда обысков. Они встречали меня точно так приветливо, как всегда.

В Петербурге господствовало большое напряжение. Общее мнение властных структур и военных было однозначным: «Война против Германии – совершенно исключено!»

За немного дней до объявления войны все откатывалось назад в Россию; то, что еще находилось за границей, торопилось быстрее домой.

Объявление войны было принято массой с самым большим воодушевлением. Черные, сплотившиеся массы тянулись по улицам. Высокое духовенство подбадривает народ, несут светящиеся кресты, церковные хоругви, многократно кричат «Ура!» – воодушевление без конца. Царь публично позволяет объявить, что война ведется до победоносного конца. Генерал Ренненкампф публично обещает отрубить себе правую руку, если он со своей армией через полгода не будет в Берлине.

Магазины, которые несут «немецкое имя», громят мгновенно. Погромы в повестке дня. Союзники предъявляют русскому правительству счета длиной в метр, потому что и их магазины и фирмы были «по пути» разгромлены из невежества в порыве воодушевления. Все оплачивается по-царски – у России есть деньги!

Немецкое дипломатическое представительство подвергается штурму; все, мебель, ковры, обои, лампы, уничтожается, растаптывается, разрывается. Статуи на здании посольства стаскиваются петлями под самым большим ликованием. Рояль появляется на веранде, масса встречает его воодушевленно – последний аккорд звучит в жутком диссонансе с обломками на мостовой.

Немцы и австрийцы в возрасте от 20 до 45 лет объявляются гражданскими военнопленными и направляются во внутреннюю Россию или Сибирь. Всех, кто младше или старше, грузят в вагоны для скота и депортируют за границу, через Финляндию, Торнеа-Хапаранду, в Швецию, потом в Германию. Средства к существованию этих людей были уничтожены за несколько часов – нищие, только с 25 фунтами багажа они могли покинуть Россию.

Зловещей, все подавляющей лавиной тут же перелился враг через мост к моей любимой родине.

Та же самая неизбежная судьба постигла и моего отца.

Прибыл правительственный чиновник и пытался убедить моего отца, что он должен стать русским гражданином.

Мой отец отказался от этого.

Последовал документ об экспроприации заводов, всех предприятий и филиалов по всей России. Отец читал его стоя, громко и отчетливо выговаривая каждое слово. Это был смертный приговор для него...

Титан рухнул!...

Навсегда...

В камере потемнело. Лампа горела, кто-то подошел к моей кровати. Я закрыл глаза.

Почему? Хочу ли я добиться у судьбы еще несколько часов? Зачем?

Я открываю глаза. Передо мной стоит мужчина в белом халате, который смотрит на меня поверх очков. У него добродушные, мягкие черты лица.

- Как вы себя чувствуете? – спрашивает он меня.

- Хорошо, – отвечаю я определенно, хоть и с трудом.

- Вы голодны? Хотите есть или пить?

- Да.

Спустя два дня меня ведут в канцелярию. Там присутствуют военные и гражданские. Перекрестный допрос начинается. Меня снова хотят измотать, но я понимаю вопросы, которые мне задают, только с большим трудом, я еще слишком истощен и поэтому никогда не могу отвечать на них удовлетворительно. Они стараются час за часом.

Напрасно.

Чтобы дать необходимое обоснование приговору, меня обвиняют в побеге, сопротивлении и убийстве. Мне, правда, не говорят, где и когда я якобы убил людей.

Объявляют приговор.

Из далекой дали слова доносятся ко мне, ухо принимает их, мозг обрабатывает их, сердце и с ним все тело внезапно вздрагивает.

«Казнь через повешение! Немедленное исполнение!» «У вас есть особая привилегия, подсудимый, право на последнее желание. Если мы посчитаем его выполнимым, то его исполнят».

- Я прошу разрешения поговорить с генерал-лейтенантом Р., – с трудом говорю я. Затем следуют шепот и бормотание моих палачей.

Снова меня ведут по коридорам, снова где-то открывается дверь. Вместительная камера наполнена боязливymi, дрожащими людьми, у которых ужас глядит из глаз. У всех одинаковые лица: зловеще расширенные, безумные взгляды, открытые, зияющие рты, растрепанные волосы. Некоторые сидят на полу, другие сидят на скамьях, некоторые отсутствующе смотрят в пустоту. Большинство всхлипывает.

Входящие солдаты называют имя, грубо и жестко вытаскивают вызываемого из камеры, некоторые апатично поднимаются и следуют за солдатами как во сне.

Я сижу в углу. Цементный пол сух, и через окно видна маленькая полоса синего неба.

Медленно наступает вечер...

Всю ночь солдаты приходят в камеру. Они всегда берут с собой кого-то. Если они появляются в двери и выискивают имя на листе бумаги, в свете фонаря, наши глаза направлены только лишь на их рот.

Теперь... я... Так думаем мы все.

Некоторые вскрикивают раньше, еще прежде, чем их вызывают, так как они узнают свое имя по губам солдата, который медленно читает имя еще про себя.

Никто из тех, кого забрали, не возвращается.

Приходит утро.

Передо мной сидит только лишь один дико выглядящий мужчина с грубыми чертами лица. Произносится имя, но он не двигается. Его начинают поднимать.

В то же самое мгновение он бросается на солдата, душит его и вгрызается в глотку широко раскрытой пастью. Оба мужчины катятся к земле. Штыки подбежавших солдат впиваются в тело убийцы, его тут же схватывают и уносят за дверь; живого или мертвого – уже не удастся узнать.

Тело солдата остается.

Мне мгновенно в голову приходит мысль. Надеть солдатскую форму... и я смогу ускользнуть, вероятно... Слишком поздно. Уже появляется офицер с новой группой солдат.

«Встать!» С глубоким достоинством он читает, подчеркивая каждое слово: «Высочайшим повелением казнь через повешение временно заменяется пожизненной ссылкой в Сибирь».

Солдаты стоят навытяжку, офицер отдает честь и неловко передает мне документ на подпись.

С трудом они выводят меня из затхлого воздуха во двор. Оттуда мы поднимаемся на много ступенек вверх, маленький коридор... «Дайте парню что-то пожрать», говорит голос. Дверь раскрывается.

Здесь солнце! Я нетвердо становлюсь в клетке на солнечное пятно на земле, падаю, охватываю лицо руками и плачу.

Свет слепит...

Позже я снова и снова обдумывал два слова моего приговора:

«Временно!»

Приговор мог в любое время снова быть изменен на казнь через повешение. Против этого я был бессилён, до тех пор пока находился в руках русских. Спасти меня мог только побег, ничто более.

«Пожизненно!»

Война не могла продолжаться пожизненно, это было исключено. Это уже успокаивало меня!

У меня был выбор: убежать или ждать окончания войны. Но какие у меня были гарантии, что казни точно не будет? Что я знал о жизни в тюрьме? Не буду ли я предоставлен произволу тюремщиков, начальства, слепому случаю? А с другой стороны, нет ли у меня с моим совершенным владением русским языком, с хорошими знаниями людей и страны больших преимуществ для бегства? Нет ли у меня достаточно друзей, у которых были бы все причины защищать меня, в частности, и во время войны, иначе...?

Разве они не в моей власти благодаря моему прежнему молчанию?

Счастье всегда было благосклонно ко мне. Может быть, случится и так, в благоприятное мгновение, ночью, во время работы, я стану немного в стороне, пока охранник не видит, удалюсь все дальше, густой лес, боязливые

люди, которые будут послушны от страха, немного удачи... Не убежали ли уже некоторые и удачно ускользнули?

Вероятно, вероятно, это удастся и мне... И при этой мысли я даже действительно почувствовал уверенность.

На следующий день меня отправили на переодевание.

Два писаря, невзрачных и неряшливых, сидели за столом, заваленным папками с делами. Меня сфотографировали в профиль и анфас, взяли отпечатки пальцев, и приняли и за протоколировали все до самых мелочей.

Принесли тюремную одежду. Роба и брюки были сделаны из толстого, грубого, серо-коричневого материала, у круглой шапки без козырька был такой же цвет. Рубашка, кальсоны и роба в некоторой степени подходили мне, но брюки были слишком широки, и поэтому я инстинктивно потянулся к ремню с моих прежних брюк.

Но глаз офицера полиции был быстрее моей руки. Он отнял у меня ремень со словами: «Это могло бы подойти тебе, дружок, чтобы ты смог кого-то задушить!» и выбросил мой ремень. Я стоял несколько нерешительно, пока мои брюки снова и снова пытались свалиться с меня на землю. Мужчины вокруг меня ухмылялись украдкой, да и офицер, кажется, едва справлялся со смехом. Мои глаза искали в помещении предмет, который мог бы заменить мне ремень. Так я обнаружил на столе довольно крепкий шпагат, схватил его и уже хотел усмирить с его помощью упрямые брюки, как чья-то рука вырвала его у меня из пальцев: «Вот только этого не хватало, ты что, снова, похоже, хочешь кого-то убить, скотина?» Все глаза внезапно обернулись ко мне, когда я, осмелев, произнес: «Мне теперь всегда придется поддерживать брюки рукой?» Заметная растерянность была заметна у всех, пока офицер приветливым тоном не приказал вызвать портного.

Непричесанный и небритый, в неряшливой одежде, полной ниток и волосков, так выглядел портной; на типичном «носу не пьющего» два толстых стекла для очков в залатанной швейными нитками оправе. Пританцовывая, он подошел ко мне и исследовал не только глазами, а, по-видимому, также и носом мои брюки. Вскоре он решительно обнажил большие ножницы, два коротких, решительных надреза, и клиновидный кусок был вырезан; проворная игла снова зашила это место толстой ниткой. Эврика! Брюки были усмирены.

Между тем, оба писаря уже справились со сшиванием моего досье. Офицер приблизился ко мне, и произнес каждое слово с особой важностью:

«Парень, если ты совершишь пусть самую незначительную попытку побега, то никакая сила в мире не спасет тогда тебя от веревки. Запомни это хорошенько!»

Меня вернули в мою приветливую, солнечную клетку. Такой она показалась мне, по крайней мере, хотя паразиты бесчисленными батальонами атаковали меня днем и ночью. Дни проходили в полном уединении. Еда была хороша и обильно, и так я постепенно скоро восстановил свое здоровье. Гимнастика и ходьба, мое единственное занятие, на которое надзиратель нередко через глазок взирал с любопытством, снова сделали мое тело гибким и крепким. При этом я уже продумывал самые смелые планы бегства. Мне нужно было только терпеливо дожидаться отправки в Сибирь.

Резкий стук в дверь.

«Готовься!» И все снова умолкает в беззвучной ночи.

Мне нужно только надеть шапку, и я уже готов.

Через короткое время дверь раскрывается.

«Выходи!»

Я попадаю на большой двор, огражденный высокими, серыми стенами. В середине двора стоит много заключенных. Некоторые из них одеты в робы арестантов, другие носят свою штатскую одежду. Лица мужчин с нетерпением ждут. Что им предстоит? Над всеми ними тяготеет страшный приговор: Сибирь.

Снаружи ревет ветер. Он дышит осенней прохладой близкого моря.

Серые, согнувшиеся, боязливые люди с маленькими узелками на плечах, матерящиеся, рычащие голоса охраны, сверкающие штыки, дрожащий, таинственный факельный свет над зловещей группой.

«Сибирь!»

Это слово обычно произносят только шепотом.

Сосланному в Сибирь очень редко удается вернуться домой. И если кто-то, тем не менее, возвратился; то он навсегда оставался серым и молчаливым. Никогда больше не мелькала улыбка на его лице. Часами он тогда сидел неподвижно, в большинстве случаев где-нибудь на солнце, смотрел в одну точку, или смотрел вдаль. Его глаза могли смотреть бесконечно далеко, далеко в даль. Он постоянно, кажется, ждал чего-то... смерти? Освобожденный из «мертвого дома» мог ждать только лишь этого.

Мощные, тяжелые ворота раскрываются со стоном, неохотно, как будто защищаясь от грубой человеческой силы. Это открывает несчастным дорогу к мучениям, дорогу к проклятию.

Зловещая колонна обреченных на смерть проходит через ворота медленно, потому что их ноги шагают как на свинцовых подошвах.

Они выходят в ночь.

Ночь приняла их.

Они все исчезли в ней...

Пограничный столб

Я уже много недель находился среди преступников. Завшивевший, кишачий клопами, с бородатым, одичавшим лицом, животное в образе человека среди таких же, как я. Самое большее, чем я отличался от других, так это моим более сильным видом и значительно более строгой охраной, какой не предоставляли даже самым опасным преступникам. За мной строго наблюдали днем и ночью, и по ночам, когда я, смертельно усталый и полумертвый от голода, спал на холодном цементном поле или голых нарах, множество раз светлый, пристальный луч фонаря через глазок двери камеры падал на мое лицо.

Частично по железной дороге, частично пешком при любой погоде по непроходимым дорогам вели нас от какого-то вокзала к какой-то тюрьме, или от тюрьмы к какому-то вокзалу. Все дальше и дальше... Куда... никто не знал... да никто и не должен был знать.

Поднимаемся с деревянных нар или с пола. Кучу непонятных лохмотьев с самой большой тщательностью мы наматываем вокруг ног, так как некоторым из нас это заменяет ботинки. Только если камера обогревается, эти «обмотки» ночью сушатся, если же нет, то мы вовсе не развязываем их. Натягиваем оборванную одежду заключенного, небрежно надеваем шапку и мы уже готовы к походу.

Затем нужно ждать. Ждать, пока не раскроется дверь камеры, появятся охранники и поведут нас либо к какому-то вокзалу, либо на работу.

Однажды нашу партию выгрузили поблизости от вокзала, в стороне от какого-то городка. Мы стояли долго под проливным дождем, промокли насквозь и сильно замерзли. Уже много часов мы ничего не ели. Превращавшееся в громкий ропот ворчание заключенных было заглушено ударами плеток.

К вечеру прибыла новая партия заключенных. Среди них мне сразу бросился в глаза огромный каторжник.

Наконец, охранники с руганью и ударами погнали нас, однако их оплетенные проволокой плетки едва могли хоть кого-то из нас побудить двинуться. Один за другим оседали промокшие, замерзшие, голодные люди. Потом их как чурбаны бросали в следующую за нами зарешеченную повозку для заключенных, где размещались больные узники, в том числе те, которым оставалось жить считанные часы, однако партия, тем не менее, долго продолжала тянуть их за собой. Болезнь не считалась причиной, чтобы оставлять заключенного, такой причиной была только официально подтвержденная смерть.

Я шел в колонне последним. Рядом со мной неустанно шагал огромный мужчина, которого ничего не могло вывести из себя. За нами трое конвоиров.

- Пошли, – сказал он мне, – если мы с тобой с этим не справимся, то никто больше не останется в живых. Тогда наши конвоиры обрадуются и будут охранять сами себя, и им придется бить друг друга плетками, тогда все удовольствие для них закончится.

Лукаво он смотрит на меня искоса, но в то же самое мгновение его настигает удар плетки, срывающий шапку с его головы, другой, такой же сильный удар попадает ему прямо в лицо, которое тут же заливают кровью. Великан не издает звука боли, он только смотрит на своего мучителя, и рука, которая уже готовится к третьему удару плети, опускается; взгляд заставляет кровь палача застыть.

- Ступай же, иди, – шепчет он и отстает на несколько шагов...

Мы шли дальше... Великан не стирал кровь с лица...

Мы шли рядом и молчали...

Вместительная камера без скамей и нар приняла нас. В углу стояла большая печь. Было невыносимо жарко. Мы разделись, размотали грязные, вонючие тряпки с ног и столпились вокруг печи.

Принесли еду. Она состояла из серого, горячего бульона, в котором плавали селедки и огурцы. Кроме этого каждому выдали большой кусок ржаного хлеба.

Как неусмиренные дикие животные умирающие с голоду бросились к еде, вырывали друг у друга хлеб из рук, хватали селедку и огурцы пальцами, которые, так же как и мои, неделями не видели воды и были покрыты грязной коркой. Затем они жадно глотали все, что могли схватить.

Вдруг мой огромный попутчик поднялся, заорал на людей, и сразу воцарилось абсолютное спокойствие и тишина. Он приблизился к одному и другому и быстро захватил причитающиеся ему и мне пайки. Но едва мы успели проглотить кусочек, как заключенные с угрожающим видом приблизились к нам. Один подошел близко, высокомерно покачивая бедрами, и прежде чем великан почувствовал неладное, мужчина приготовился к удару. Но моя рука быстра, и я парирую удар. Это стало сигналом для других, чтобы наброситься на нас.

Мне не было особенно тяжело защищаться от нескольких парней. Моя техника бокса очень помогала мне. Если другие били наобум, то я умел дать моим ударам легкую цель, и успех не заставил себя ждать, первое нападение я отбил. Великан даже не поднялся. Он смотрел на все с полным душевным спокойствием и, кажется, был доволен дракой. Я больше всего опасался его удара, ведь стоило ему ударить одного из заключенных, то тот вряд ли остался бы в живых, а моего попутчика, вероятно, тут же бы казнили.

Но у заключенных было другое мнение; теперь они хотели навалиться сплошной, все без исключения, на нас двоих.

Крадучись и медленно они приближались к нам; мы стояли в углу, чтобы стена прикрывала нас, по крайней мере, со спины.

Снова и снова я повторял великану, что ему нужно лишь «напугать» этих типов своими ударами, но не забивать до смерти – но все зря.

- Кто меня тронет, тот умрет! – рычал он, и при этом его глаза улыбались, как будто бы он был только озорным, сильным мальчишкой, сильнее всех его одноклассников. Они все ближе подходили к нам, я предвидел неизбежную опасность, короткий суд и конец богатыря.

Но охрана, видимо, успела услышать еще нашу первую драку. Дверь внезапно открылась, и с помощью примкнутых штыков и револьверов каторжников уложили спать. Плетка и самых упрямых сделала снова послушными.

- Здесь приходится добиваться своей еды кулаками, – сказал великан охранникам.

- Так если бы ты убил всех этих сукиных детей, – прозвучало в ответ, – тогда тебе и досталось бы больше жратвы. На следующий день обе партии заключенных были подвергнуты тщательному освидетельствованию.

На большом тюремном дворе мы стояли перед жестоко выглядящим мужчиной. Алкоголик, красное, опухшее лицо со многими синими маленькими артериями, циничные, злые глаза, постоянно внимательно глядящие по сторонам. Мы должны были подходить по отдельности. Рядом с мужчиной стоял

стол, за ним сидел писарь, старавшийся от страха казаться как можно меньше; по нашим охранникам видно было заметное беспокойство.

Прошло несколько мужчин, наступила моя очередь.

- Что это за тип?! – прорычал он.

- Немец... Шпион... Убийца... , – зазвучал испуганный голос писаря.

- И у скота нет цепей?! Нужно было вас всех, сукины дети, заковать в цепи! Вы что, не знаете, что это означает для опасности для человечества, а также для нас всех, если такие чудовища бродят свободно? Вы тупые скоты! Вы – стадо ослов, идиоты! Проклятый гунн, я задушил бы эту скотину собственными руками! Надеть кандалы! – голос мужчины охрип от ярости.

Темное помещение, мерцающий, открытый огонь кузницы, наковальня, мощный удар кузнечным молотом – и цепи надеты. Со мной сцеплен другой, тот, который стоял за мной, следующий, который должен был подвергнуться проверке, он должен был теперь повсюду сопровождать меня, хотел он этого или нет. Это был великан Степан.

- Вы сдохнете, если перекинетесь друг с другом хоть словечком! За этими присматривать особенно строго! В их делах сделать отметку, окрасить красным! Голос надзирателя визжал снова.

Запертый вместе с ним в камере, я осмотрел своего товарища по несчастью внимательнее. Это был мужчина высотой в два метра, со сложением борца, где-то двадцати пяти лет, с добродушным, рябым лицом, с которого смотрели два голубых, несколько хитрых молодых глаза. Волосы были растрепанные, светлые и густые.

- А в драке ты все же более ловок, чем я, хотя я гораздо сильнее. Ты должен научить меня твоим приемам, – начал беседу великан после некоторого молчания. – Давай, мы сможем стать хорошими друзьями, – и благосклонно протянул мне свою руку. И действительно отныне эта гигантская лапа неутомимо и бдительно лежала над моей головой.

Когда мы потом делили наш ужин, великан лег на нары с моей стороны и спросил:

- А в чем, собственно, было твое преступление?

- Ни в чем, кроме того, что я немец.

- В нашем городе был купец, тот тоже был немцем, порядочный, трудолюбивый парень, так его отправили в Оренбург.

- А ты? – спросил я.

- Я опасный преступник, – ответил он глухо.

- Сколько убийств ты совершил?

- Несколько... Я уже точно не знаю. Он замолчал, а потом разразился потоком непередаваемых ругательств.

Мне, пожалуй, было не особо приятно лежать бок о бок с таким человеком на нарах, так как мы были только вдвоем в камере.

- Послушай-ка, немец, я должен рассказать тебе, как и почему я убил так много людей. Собственно, я вовсе не хотел этого. Я сам не знаю, как я до этого дошел. Внезапно он встал, поднял меня за оба плеча и строго и вопросительно посмотрел мне в глаза.

- Скажи, поверишь ли ты, что я убивал, не желая этого, и до сих пор еще не знаю, как так произошло? –

- Почему я не должен был бы тебе верить? – отвечал я.

- Потому что другие, те суки, которые приговорили меня, не хотели в это верить! С облегченным видом он снова лег.

Внезапно едва слышимый шум, выслеживающий луч света промелькнул по помещению и застыл на наших лицах. Мы закрыли глаза, сделав вид, что спим. Луч погас. – Я сын деревенского старосты в Любанях. Трудно шепча, он выговаривал одно слово за другим. – Вся наша семья усердно работала. Мы были самыми богатыми крестьянами во всей округе. То, что соседи пропивали, мы сберегли и купили гораздо больший участок земли. Самой красивой девушкой в нашей деревне была сирота Маруся. Два с половиной года назад я женился на ней. Никогда еще не было в мире такого счастливого человека, как я. Мы любили друг друга безгранично, все нам завидовали. Внезапно приходит приказ о мобилизации, и я с другими баранами должен был шагнуть на войну против немцев. Но какое мне дело до этой войны! Пусть другие, кто хотел войны, сами и воюют! Я остался дома. Все уговаривали меня, только Маруся плакала и просила меня сквозь слезы, чтобы я не покидал меня, она чувствовала, что беременна.

Однажды ко мне прибыли пять солдат и унтер-офицер. Я как раз стоял перед моей избой [деревянный дом в виде сруба], которую я построил своими руками для себя и моей жены, и колот дрова. За солдатами пришли парни, которые на всю деревню были известны своей безалаберностью. Они уже издали начали дразнить меня. В моей прекрасной новой избе Маруся как раз ставила самовар, она испугалась гостей и прижалась ко мне. Наконец, после

долгих речей я сказал, что готов пойти на войну, но лишь позже, ровно через год, но теперь у меня не было такого желания, так как я совсем недавно женился, а Марусе предстояло скоро родить ребенка. Маруся тоже просила эту кучку вояк оставить меня в покое. Я ведь все-таки сын старосты, богат и уважаем. Но ничего не помогало. Эти чертовы типы ничего не хотели слушать, я должен был идти за ними.

- Если ты добровольно не пойдешь, то я тебя заставлю, сукин сын! – внезапно заорал унтер-офицер на меня. Парень, который только пил и делал долги, осмелился говорить мне что-то в этом роде! Но другие, трусливые оборванцы, кричали мне в лицо: – Трус! Баба! Кровопийца!

- Арестовать! – снова зарычал унтер и схватил меня. В то же мгновение я поднял топор, кровь стукнула мне в голову, перед глазами потемнело, и я видел всюду только кровь, слышал только кричащих людей, которые от страха даже не пытались убежать...

Как во сне я еще слышал нежные слова Маруси, стоявшей в красном углу [домашний алтарь с образами и горящей масляной лампой] на коленях перед образами и молившейся. Я стал рядом с ней и плакал, так как я еще не понимал, что я сделал, и был несчастен из-за этого. Я сдался властям добровольно, из своего самого внутреннего убеждения. Я якобы убил несколько человек, говорили судьи. Я так не думаю.

Никогда еще я не был таким отчаянным как тогда, когда прощался с моей любимой Марусей. Она дала мне маленький серебряный крест и сказала, я точно запомнил эти слова:

«Будь смиренным, Степан, думай обо мне, я буду непрерывно, усердно молиться за тебя. Пусть Бог-отец будет к тебе милостив».

Снова луч света через глазок двери камеры застыл на наших лицах.

- Пусть даже надзиратели бьют меня, мне это не мешает. Я обещал ей быть смиренным... и я сдержу данное ей слово. Ради нее я дозволю им терзать меня... ради нее я буду покорным...

Великан умолк. Он лежал неподвижно, только дыхание его участилось.

- Дай мне свою руку, немец, – произнес он резко и провел ею по своей груди, на которой я почувствовал маленький крест Маруси, который Степан на тонкой веревочке носил на шее.

И мне внезапно показалось, как будто слеза раскалено горела на моей руке.

- И теперь... теперь она, нищенствуя, странствует по широкой матушке России. Она оставила все свое состояние, голодает, страдает от самой большой нужды, только чтобы увидеть меня издали, улыбнуться мне издали, и придать мне мужество. Своего ребенка она несет теперь на руках, замотав его в лохмотья. Бог не покидает ее, он заботится о ней и ее ребенке, как он также заботится обо всех своих животных, и я не беспокоюсь о них.

Через зарешеченное окно я увидел, как на небе стоит прекрасная, ясная звезда.

- А у тебя есть кто-то, кого ты любишь так же сильно, как я люблю свою Марусю? – внезапно прозвучал тихий вопрос.

- Нет, – ответил я.

Звезда сверкала на небе. Я охватил свою голову покрытыми грязной коркой руками. Я содрогнулся в своих лохмотьях...

Мы были друзьями, хотя мы оба молчали... неделями. Нога в ногу шли мы рядом, мы ободряли друг друга, делили одну и ту же камеру, одну и ту же еду, лишения, унижения, мучения.

Только ночью мы шептались друг с другом.

Между тем настала зима.

Через Бежецк, Тверь, Ярославль, Вятку, Казань мы добрались до города Перми у подножия Уральских гор. Я не знал многих других городов, через которые шла наша партия, так как в большинстве случаев мы грузились и выгружались ночью, чтобы не соприкоснуться с населением. Похоже, что наша партия без всякого плана блуждала по стране.

Уже несколько недель я был скован со Степаном.

Нас гонят по превратившимся в грязь по колесо дорогам. Иногда это только короткий путь, иногда бесконечно длинный, но мы должны пройти его, хотим мы этого или нет. Погибаем ли мы от жажды, идет ли потоками дождь или мы дрожим от холода. Нас гонят все дальше, никто не знает, куда, никто также и не должен этого знать. Затем, когда мы прибываем туда, куда нас как раз и гнали, мы снова должны ждать.

Мы ждем и молчим...

Свистящий, пытящий паровоз подтягивает вагон для заключенных. Нас загоняют в вагон, закрывают.

И снова мы должны бесконечно ждать... ждать...

Длжащееся часами и сутками ожидание, причиной которого являются небрежность, непунктуальность, ошибочные распоряжения и неправильное распределение времени, делает людей ворчливыми, сердитыми и, наконец, яростными. Ожидание – это самый большой и самый эффективный метод тюремного воспитания.

Этому нужно научиться, чтобы суметь выносить это в течение долгих лет. Если не выучишься, то погибнешь.

Для меня тоже ожидание долгое время было мучением. Степан, мой воспитатель, выучил меня.

- Ты снова и снова должен говорить себе, что у меня есть так много бесполезного времени, что я должен его убить. Погрузись очень глубоко в прекрасные воспоминания. Старики и мы, заключенные, живут только воспоминаниями. Представь себе, что ты у себя на родине, в открытом море, там шторм, ты ведешь свою парусную лодку, о которой ты мне рассказывал. Думай о своей лодке в буре, так долго, как можешь, и если ты потом опять проснешься, то день и твоё время были убиты. Но ты должен думать только о хорошем и красивом, иначе мысли станут мучением, а ведь они должны быть нашей единственной радостью, дружище.

Так я научился переносить ожидание.

Время пробудки было неопределённым, это в равной степени могло произойти и среди ночи, и под вечер. Никого не интересовало, хотели ли мы есть или пить. Если нас будили, это могло значить: отправку на работы, дальнейшую отправку, или также наказание. Оно производилось в присутствии всех заключённых; это должно было оказывать на всех воспитательное воздействие.

Все вокруг нас было полностью лишено хоть какой-то дисциплины.

Шагали мы при любой погоде. В промокшей одежде нас запирали в камерах. Их часто не топили даже зимой. Спали на цементном полу. Вечная грязь вызвала эпидемии. Мокрые лохмотья на теле и ногах приводили к простуде самого худшего вида.

Но как раз это и было целью!

Мы, заключённые, вовсе не должны были жить долго.

Только самые здоровые и самые стойкие мужчины достигали места назначения, тогда как другие умирали от воспаления легких или похожих «мелочей».

Тюрьмы, через которые мы проходили, были похожи одна на другую. Даже в самых маленьких городах они все без исключения были построены из камня. Мощные ворота, большие, высокие, очень толстые стены окружали собственно тюрьму и немногие прилегающие здания, все одного и того же серого, меланхолического цвета. Серые коридоры, серые камеры со скамьями и нарами или без них, обогретые или нетопленные.

Преступники, на которых опасные преступники смотрели сверху вниз с неуважением, были совершенно безвредны, никогда не оказывали сопротивления, и одного крика конвоира хватало, чтобы запугать их. Эти люди должны были отбывать «мелкие» наказания. Воры всякого рода, мошенники, бродяги и даже злонамеренные должники были в их рядах. Они все могли работать в городах под надзором, получали за это маленькое жалование, им позволялась привилегия курить, а когда у надзирателей был особенно хороший день, то им даже разрешали пить водку. Нередко они занимали свое время игрой в карты, но играли, естественно, не на деньги, а на камушки или на семечки подсолнуха. Во время поездки в тюремном вагоне они сами могли варить себе чай или под конвоем покупать еду на вокзалах. Они часто также носили штатский костюм. Свои пожитки они держали в маленьких узелках, там находились чайник, нож, вилка, несколько предметов одежды и, что было, пожалуй, самой главной вещью – обломок зеркала. Чем больше он был, тем более горд был владелец этой драгоценности. С таким обломком зеркала мужчины могли бриться, кроме того, они как дети часами играли с ним в «зайчика», направляя пойманный солнечный лучик, по возможности в лицо друг другу, что часто вызывало ярость и возмущение у приятелей.

Опасные преступники ничего этого не знали. Закованные в цепи, на которых часто висел тяжелый шар, они сидели одиноко и неподвижно в своих камерах и пристально смотрели на голые стены и на ползающих насекомых. Даже ходить по камерам было мучительно из-за цепей, а от утомительной работы, которая была в большинстве случаев непроизводительной, они истощенно опускались на нары или полы. Они ничего не могли нести с собой, так как все могло послужить им смертоносным оружием против строгих, непреклонных конвоиров. Им не разрешалось даже взять пару тряпок, чтобы хоть чуть-чуть защитить ноги от холода. Считалось, что они могут на них удавиться.

Наши конвоиры, которых мы должны были бояться, эти мужчины сами боялись нас.

Темно-зеленая форма конвоира с блестящими пуговицами и застегнутым револьвером была ненавистна всем заключенным до глубины души, им было

безразлично, не билось ли под мундиром все же добродушное сердце. Одна лишь единственная мысль, всегда одна и та же, и никакая больше воодушевляла каторжников при взгляде на этих людей: как я могу отправить этого проклятого на тот свет? Вся логика заключенных исходила исключительно из этого соображения. Любое маленькое добродушие, которое охранник демонстрировал по отношению к охраняемому, понималось как низость, грубость, как новое, еще неизвестное мучение, как подлое расспрашивание неосведомленного. Позиция, что конвоиров непременно следовало бы убить, была для всего одним абсолютным и непременно установленным фактом.

Наши конвоиры – были ли все они, в действительности, извергами, плодом всего грубого и низкого?

Нет, они такими не были.

Это были мужчины, получившие блестящее военное образование, надежные во всех отношениях, самые верные чиновники, которые, как позже показала история, никогда не сдавались, даже тогда, когда революция уже окончательно победила в России. Каждого из них в отдельности можно было бы победить только после самой жесткой борьбы. Зверства, которые совершали над ними, не могли втолковать им какого-то иного мнения, кроме как верности своему Государю и своей стране. Верные своему воспитанию и своей присяге, они умирали той смертью, которая едва ли найдет подобное в верности долгу.

Отношения между заключенными и охраной всегда были натянутыми, и они друг другу никогда не доверяли. Любой самый незначительный проступок всегда строго наказывался. Заключенного раздевали или обнажали ему спину, привязывали его к нарам, и тогда на него сыпались удары плетью. Наказания определялись по числу ударов плеткой. Самое незначительное было 10, самое тяжелое 30, у очень сильных мужчин 50.

Бывали также и покушения на убийство охранников или даже начальства. За это полагалась смертная казнь через повешение или расстрел. Мы должны были присутствовать на казни.

Последнее желание приговоренного к смерти всегда выполнялось, при условии, что оно было в рамках дозволенного. Так, одному разрешили написать домой подробное письмо, другой потребовал полную бутылку водки и соленый огурец, что и было поглощено в один миг, другой смог «еще раз увидеть свободный мир». Они потом спрыгнули со стены и сэкономили солдатам пули, а палачу работу. Один пожелал в последний раз порезать хлеб и колбасу ножом. После трапезы он зарезал сам себя.

Я не присутствовал ни на одной единственной казни, во время которой заключенный проявил бы трусость. Безмолвно и тихо стояли они у стены, смотрели с абсолютно спокойными глазами в дула винтовок и падали так же молча. За редким исключением, мужчины проклинали Бога и людей самыми грязными словами, которые нужно было еще очень точно обдумать, чтобы суметь понять их связь. Из-за этих проклятий все содрогались; боялись, что они исполнятся.

Начальство, администрация тюрем заслуживает жестокого упрека, который, впрочем, в России всегда заслуживает снисхождения, так как он воплощает типично русское качество – упрек в небрежности. По этой причине нам то нечего было есть, зато потом еды было больше, чем нужно, потом еда была сильно пересолена, потом не было хлеба, картошки и так далее. Из халатности многое забывалось, из-за небрежности, голода, жажды или прочей инертности происходили кровавые бунты, где нас убивали, без понимания, без поиска какого-либо оправдания. Осужденный, и этот факт был установлен всюду, был фактором, которого следовало держать подальше от человечества. Его устранение, как абсолютно бесполезного человека, казалось оправданным абсолютно со всех сторон. Этим руководствовались все, и все, что касалось тюрьмы, было мелочью, чепухой, делом, которое не стоило забот. Именно в соответствии с этим и действовали охрана и администрация.

Администрация тюрем была очень разной. Начальники тюрьмы, их также в маленьких городках называли «директорами», имели в своем распоряжении твердую сумму для управления тюрьмой. Удивительно ли, что эти суммы тратились на совсем другие цели? Поводов всегда было много, и так как русский, как известно, любит пить часто и долго, то сибиряки пили еще более охотно, ибо как иначе можно было преодолеть мучительную скуку и монотонность? Пили по любому поводу, от радости, печали и скорби, из скуки и страсти, и так выпивка для некоторых становилась страстью, очень дорогой и часто роковой.

Я однажды столкнулся с директором, который не пил и считался потому «чудаком». Его единственной страстью была мольба к Богу и всем русским святым, все дни ангела которых он знал наизусть. Он был толст и несколько ограничен, был лыс и с опухшими ногами; будучи сам всегда небрежно одетым, он заботился о максимальной чистоте в подчиненной ему тюрьме.

Едва мы прибыли, как нам предоставили очень хорошую и обильную еду. Как ни странно, все должны были сразу после этого пойти в баню. Врач, конечно, скорее ветеринарный врач, исследовал всех, и неловкий парикмахер подстриг «ступеньками» наши волосы, но с большим усердием. Одежду и нижнее белье заменили на новые, действительно крепкие, обмотки заменили на более прочные, затем разожгли большой костер зажжено и предали наши лохмотья огню. Каждый день, утром и вечером, мы шли в церковь, наши це-

пи и шары дребезжали, население неописуемо беспокоилось. Большинство заключенных спали во время службы, так как необычная, очень богатая еда сделала нас всех ленивыми. Мы заметно отдохнули и желали только смочь остаться здесь подольше, вероятно, до конца жизни.

С удивлением я узнал, что заключенные после достижения определенной свободы в пределах стен тюрьмы, как и вне их, не злоупотребили этой свободой. Это великолепие продолжалось более одного месяца, и когда транспорт двинулся дальше, все довольно уверенно, укрепившись телом и душой на теле и душе, ожидали дальнейшего хода судьбы.

Судьба разочаровала нас, так как была невыносимо жестокой.

Трудная дорога вела нас к новому «мертвому дому». В действительности, это был дом смерти.

Так как наши волосы между тем выросли, наши черепа были побриты только с левой или только с правой стороны.

Можно догадаться, что такая процедура происходит не особенно осторожно. Кожа головы кровоточит, и в нее дополнительно втирается едкая мазь, пахнущая серой. После нескольких таких процедур обработанный на всю свою жизнь с одной стороны черепа остается лысым – самый видимый знак бывшего каторжанина. Только при применении самой грубой силы можно было произвести такую процедуру.

Затем нас погнали в баню. Едва мы были готовы, как дверь широко распахнулась, и холодный ветер медленно охлаждал парящиеся тела беззащитных. Они почуяли дышащий ветер – смерть. Тесно прижавшись друг к другу, стояли они там – беззвучно.....

Трапеза состояла из ужасно пересоленной еды. Мы с нетерпением ожидали хлеб и воду. Нам не дали ни того, ни другого...

Переключка! Мы должны были идти носить воду, не имея права пить ее.

Маленький камешек, величиной с горох, я и мой друг Степан постоянно несли с собой. Этот маленький камешек вызывал слюноотделение во рту и спасал нам жизнь, так как наши мучения не шли ни в какое сравнение с мучениями других.

Ворчание и угрозы замученных – и ухмылка мучителя! В середине двора стоит «господин директор». Первая скованная пара проходит мимо автора мучений.

- Правильно ли наполнена бочка водой, которая так прекрасно утоляет жажду, до самых краев? – Рукой он прыскает воду в лицо этим скованным.

Это его последние слова. Скованные заключенные бросаются на него.

Огромное напряжение! Уже вынуты револьверы. Однако, от страха перед высоким начальством, от страха ранить мужчину, сторожа стоят нерешительно, в то время как заключенные медленно оплачивают директору за все. Безжизненная, кровавая игрушка – это мужчина в руках заключенных, которые не выпускают его даже теперь.

Теперь звучат выстрелы! Нерегулярно и испуганно они исходят из револьверов, до тех пор, пока трое людей не остаются лежать неподвижно. Другие заключенные стоят. У них жажда, они забыли все.

Они отомстили! Они стоят беззвучно, только их глаза светятся, светятся так, как я их раньше никогда еще не видел.

Медленно наш транспорт продвигался дальше – в Сибирь.

Я уже долго стоял у зарешеченного окошка тюремного вагона, когда поезд, пыхтя, переваливал Урал, горы на границе между Россией и Сибирью, Европой и Азией.

Уже долго я высматривал что-то известное мне, как друга времен веселой озорной молодости. Где он остался? Стоит ли он все еще в одиноком карауле на потерянном пути? Или он постарел между тем, устало опустился на матушку землю, из которой он появился? Где он остался?

Это было так давно, что почти казалось мне выдумкой, когда я промчался когда-то по этой местности в транссибирском экспрессе, в теплом, роскошном пульмановском спальном вагоне. Поезд вез меня через большие города Сибири до Владивостока, в Токио и через главные города Китая, через Маньчжурию обратно в Петербург.

Сегодня, как опасный преступник, я смотрел через грязные зарешеченные окна вагона для заключенных.

Я уже давно искал что-то одинокое; оно должно было сказать мне, что все это – теперь правда...

Там он стоит! Маленький пограничный столб!

Обе плохо разборчивые таблички обветрились еще больше, но я еще могу прочесть:

«Европа – Азия».

Здесь соприкасаются 2 мира.

Уральские горы романтично дики.

Удаляющееся солнце короткого зимнего дня освещает засыпанные снегом таблички, лучи блещут на снежных кристаллах... уже картина исчезла...

Это правда!

Я в Сибири... Мне снова доведется увидеть эту беспредельную землю с ее тайнами, красотами и богатствами, эту страну, история которой еще и сегодня так же неисследована как и те бесконечно широкие территории в ее границах и сказочные сокровища, спрятанные в ее недрах.

Снова и снова разливался из неизвестных степей и лесов этой страны мощный, все сносящий поток новых народов и сил через Россию и часто через Европу. В Сибири находили старейшие доисторические находки. Они могли быть датированы примерно 8000 г. до Р. Х., во время, когда по всей вероятности в Сибири были тропики. Племена «ка», предки северокавказских народов, примерно в 4000 г. до Р. Х. захватывая Европу и Азию, двигались оттуда, скифы в 1000 по 800 годы, гунны в 50 году, потом авары, все приходили из Сибири. И, все же, эта огромная страна жестким, настойчивым образом сопротивлялась влиянию европейской культуры, исследованиям, проводимым русскими правителями. Ни у чего тут нет обычных масштабов. Бескрайние болота, беспредельные степи, самые непроницаемые девственные леса, которые покрывают площади величиной с целые европейские государства, убийственный климат с его жутким перепадом между тропической жарой и арктическим холодом – они еще сегодня делают эти далекие просторы почти необжитой местностью. Или они как бастионы защищают остатки древних культур, странный природный мистицизм которых только поверхностно или вовсе не соприкасался с европейской цивилизацией и христианством.

Что было известно о Сибири? Немного больше этого: озеро Байкал простирается на более семи градусов широты; на Сахалине есть озеро, которое состоит только из нефти, неповторимое на нашей планете; Сибирь производит каждый год одной только пшеницы свыше 80 миллионов пудов [в пуде 16 кг], один фунт мяса стоит там 5 копеек, фунт масла 25 копеек, курица стоит 30 копеек. Это мы знали, это учили в школе. Но что все это значило в сравнении с тем фактом, что в 1887 году полуостров Аляска, крохотная доля Сибири, была продана Америке за смешную цену, и вскоре после этого та же самая земля стала приносить американцам ежегодную прибыль в размере более 200 миллионов долларов? Так мало мы знали о Сибири, столь мини-

мально было использование безграничных полезных ископаемых этой страны.

Сибирь была страной страха и ужаса, страной каторжников. Больше об этой стране ничего не хотели знать. Она, кажется, была проклята со всеми ее красотами и богатствами на то, чтобы как под проклятием по-прежнему пребывать в забвении, бесконечной в ее размерах, но бесконечной и в ее меланхолии.

Днем и ночью катился зарешеченный тюремный вагон по Сибири. Бесконечные поля под паром, бесконечные леса, бесконечный, одноколейный рельсовый путь... – это бесконечная наша дорога...

Поезд останавливается. Мы ждем, долго, очень долго, до тех пор пока не поروزеет утро и не погаснут далекие огни какого-то большого города.

Ясный, холодный зимний день. С особенной тщательностью мы осмотрели и сложили нашу одежду. Она не в лучшем состоянии, но, вероятно, мы получим скоро другую, вероятно, мы скоро освободимся...

Нас выпускают, пересчитывают: восемь пар. Мы остаемся, других гонят дальше. Притаскивают дымящийся котел. Мы получаем картошку и мясо. Мы радуемся хорошей еде; она настолько горяча, что мы едва можем удержать картофелины и маленькие кусочки мяса в руках. Затем приносят даже чай. Мы еще далеко не насытились, но нас об этом никогда не спрашивают. Нас ведут дальше вдоль рельсового пути. Издалека мы видим вокзал, затем он остается далеко за нами. Мы останавливаемся перед несколькими вагонами для скота. Тяжелым ломом Степан и я взламываем замки и открываем двери...

Оттуда вываливаются трупы...

- Что вы глазеете? Скоты! Дальше!

Это немецкие и австрийские военнопленные...

- Ну, давайте, выгружайте проклятых варваров! Удары плетью должны подстегнуть нас.

Опустившиеся фигуры в мундирах. Они падают нам в руки, касаются наших лиц, наши руки должны хватать их. Трупы замерзли, совершенно жесткие, многие среди них с отчетливыми признаками дизентерии.

Остекленевшие глаза, искаженные лица, с короткими, растрепанными бородами, растрепанные волосы, разорванные мундиры, конечности в искривленных положениях.

Шестнадцать вагонов для скота, полных трупов...

Одно тело двигается! Серая защитная форма! Фельдфебель! Товарищ, немец!

Он великан. Мы кладем его в снег, смачиваем снегом губы, виски, лоб, голову. Глаза раскрываются... они не видят нас... они смотрят в даль, в потусторонний мир.

- Проклятие войне... и каждому... кто ее..., – хрипит умирающий.

- Товарищ! – кричу я как безумный.

- Скажи... Дома...

Мертв! И последний тоже умер!

Только я слышал его последние слова, только я один понимаю их.

Мои дрожащие руки осторожно кладут голову на снег, я закрываю ему глаза и напряженно всматриваюсь в черты его лица...

Внезапно страх охватывает меня, подстегиваясь осознанием ужасного факта:

Сыпной тиф!

Покрытые корой губы, пятна на лице и руках!

Мы мертвы – мы тоже!

- Старший, мой товарищ умер от сыпного тифа! – обращаюсь я к надзирателю.

- Ты с ума сошел, парень! Ради Бога...! Он ошарашено смотрит на труп, орет изо всех сил: – Остановить работу! – и убегает.

Смерть уже держит его за пятки.

И это война? Я не могу отвернуть взгляд от фельдфебеля.

Мы ждем и ждем... Степан и я, по крайней мере, вытерли свои руки снегом.

Прибывает полковник, с ним три офицера и врач. У них всех толстые, теплые зимние шинели.

Одного взгляда доктора достаточно: это действительно сыпной тиф.

Трупы выгружают, везут на свободное место, складывают в кучу, нам приходится таскать их, так как над нашими головами шумит с долгим свистом нагайка. Кучу обильно поливают керосином и поджигают.

Заключенные радуются... вспыхнувший костер их согревает. Я тоже стою рядом.

Синие маленькие языки пламени быстро разбегаются в разные стороны, они объединяются внизу в широкий, сверкающий синим круг, прыгают в высоту, подают друг другу трепещущие руки, окружают весь костер ползучим дымом, до тех пор пока светлый огонь, подобный огромному факелу, не поднимется к небесам. Несколько тел встают на дыбы, как будто хотят подняться и сбежать. Только лица трупов остаются ужасающе безразличными.

Факел горит долго, затем куча обрушивается, огонь еще раз вспыхивает высоко и медленно начинает опускаться.

Среди ночи нас выгоняют из тюрьмы, мы получаем крючья, лопаты и тачки.

Два дня более двадцати заключенных должны копать мерзлую землю, собрать кости сожженных в кучу и засыпать его комьями земли. Едва мы справились с работой, как куча оседает под грузом земли.

Из свинцово-серого неба спускаются вниз мягкие, красивые снежные кристаллы, которые, покрывая холм, делают его неузнаваемым, как будто хотят скрыть позор, который люди причиняли друг другу.

Шестнадцать вагонов для скота, полных трупов, исчезли.

В тюрьме царит тягостная, тревожная тишина. Каждый избегает другого, один боится другого – сыпной тиф начался среди нас. Боязливо и взволнованно один нашептывает об этом другому.

Собственно, смерть должна была бы быть желанной каждому из нас – странно, но теперь мы внезапно боимся умереть. Значит, каждый втайне надеется, все же, на освобождение...?

- Немец, а ты точно знаешь, что твой товарищ умер от сыпного тифа?

- Да, Степан, я знаю это достоверно, каждое сомнение исключено, – шепотом отвечал я.

- Эта банда свиней сделает так, чтобы мы все сдохли. Нам нужно сбежать.

- А наши цепи?

- Я всю тюрьму развалю по кирпичику. Если мне суждено умереть, тогда еще несколько конвоиров должны поверить в это. Первых, которые войдут, мы прикончим. У парней есть при себе оружие и куча патронов. Позволь только мне стрелять одному, я ручаюсь тебе, один выстрел – один труп. Я был у нас самым лучшим стрелком и самым лучшим охотником...

Тихий шум... ищущий, мелькающий луч бежит из глазка камеры, он падает на наши закрытые глаза, прячется в наблюдательной щели и гаснет.

- Почему ты молчишь, немец? – спрашивает он меня.

- Я думаю. То, что ты предложил, чепуха. Мы при побеге должны иметь возможность действительно убежать. Мы можем попробовать это, когда находимся при перевозке, в железнодорожном вагоне. Здесь в тюрьме это бессмысленно.

- Это все равно, что нужно еще так много обдумывать?

- При перевозке нас двоих всегда сопровождают три охранника. Мы должны убить этих троих, забрать у них одежду, оружие, в удаленной хижине...

- Это слишком долго продлится, я больше не хочу ждать.

- Подумай о своей жене, Степан, то, что ты планируешь, это чистое безумие. Для такого акта отчаяния у нас еще будет время. План бегства нужно обдумывать долго. Ведь только мы одни долго обтирали руки и наши лохмотья снегом. Другие не делали этого, так как не могли узнать опасность. Теперь для них это слишком поздно. Вероятно, мы прорвемся.

- Ты действительно так думаешь? Возможно, милость Божья с нами?

Стоит нам вечером добраться до камеры, как мы тут же начинаем ковать планы побега. Так происходит каждый вечер.

Много дней нас больше не выпускают. Над тюрьмой нависла буквально мертвая тишина. Потребовала ли болезнь новых жертв?

Мы моем наше лицо и руки горячим супом; лучше поголодать.

Нас выводят и ведут в большую камеру. На нарах и на полу лежат арестанты. Они мертвы. Мы должны их выносить.

Покрытые корой губы, красные пятна – тифозные!

- Я не прикаснусь к трупам! Я тоже должен подохнуть?! – орет Степан на конвоиров.

- Собака! И револьвер уже обнажен.

Мой сильный удар по ногам Степана, он падает на землю, прихватив и меня с собой. Я поступил правильно, так как хватило нескольких мгновений, чтобы избежать роковых последствий.

На дворе нас избивают плетью. С окровавленными спинами мы ползем назад в камеру и остаемся неподвижно лежать на нарах.

Ночь. Дверь камеры открывается, входит один из поднадзорных. – Здесь материя для ваших ран. Завтра увозят на свинцовые рудники. Начальник тюрьмы заболел сыпным тифом. Радуйтесь, что вы оба уходите отсюда.

Молча я накладываю большой кусок дерюги на кровавую спину великана, потом помогаю ему залезть в толстую робу. Степан безмолвно делает то же самое, потом мы ложимся на грудь, как мы уже пролежали несколько часов, до тех пор, пока утро не зарозовело за решеткой.

День проходит, наступает ночь, нас выгоняют. В тюремном вагоне только мы двое; хоть мы и говорим о бегстве, но знаем, что не сможем убежать, мы на долгое время слишком слабы для этого после порки. Если бы только еда была лучше, по крайней мере, достаточной, восемь дней хорошего питания, тогда...

Несколькими днями позже мы видим эшелон военнопленных, большинство из них, похоже, больны, так как они едва передвигаются. Выгрузят ли и этих людей тоже где-то уже как трупы и закопают?

Сибирь! Эта великолепная, далекая страна с ее сокровищами и богатствами, ее благословенным Господом Богом урожаем – здесь собираются арестанты, военнопленные, гражданские пленные с женами и детьми – все преступники!? Кто из них отправится в обратный путь и сможет увидеть эту обветренную доску, этот одинокий, тихий столбик, маркировку границы, почти стертую табличку с ужасными словами: «Европа – Азия».

Колеса тюремного вагона грохочут. День и ночь, день и ночь. Каждый поворот колес ведет нас вглубь северной Сибири.

Пустыня, дика, холодна, полна самой глубокой меланхолии – такова эта земля. Здесь редко увидишь веселых людей, потому что их дедушек и отцов отправили сюда как заключенных, преступников, каторжан и поселили тут насильно. Здесь в течение поколений живет ненависть к начальству. Все несет здесь печать навязанного молчания, унаследованных пороков, отчаянных душевных мук. Непроницаемый лес темен и молчалив, зима длительна, темна и холодна, лето коротко и знойно. Ничто здесь не знает меры, ни природа, ни люди.

Оба молчат, стали молчаливыми.

На одной станции наш тюремный вагон сцепили с пассажирским вагоном. Женщины и мужчины стояли вокруг нас и смотрели с опаской.

Внезапно идущий передо мной заключенный совершает два больших скачка, бросается на стоящую ближе всех женщину, понимает ее за волосы, разрывает одежду на груди, и уже оба повалились в снег.

Нападение оказалось таким неожиданным для всех, что женщина даже не закричала.

Первый, второй, третий удар плетью обрушивается на арестанта. Напрасно.

В руках конвоира револьвер «наган», звучит один выстрел, второй...

Тело каторжанина застывает, затем он валится на спину, руки широко разбросаны...

Но черты его лица просветлены.

Мы все стоим неподвижно...

Тюрьма на Байкале

Первая половина дня, воскресенье. Ясный, солнечный день, в воздухе чувствуется уже первое, нерешительное приближение весны.

Заключенных выводят на большой двор; им приказали выстроиться на открытом пространстве. Они садятся на тщательно подметенную от снега каменную мостовую. Цепи извиваются как толстые, заржавевшие змеи вокруг их ног и запястий, рядом с ними лежат шары. Эти шары видимый знак окончания их жизни.

Неподвижно, как застывшие, сидят они, похожие на хищников, стервятников в засаде. На их бритых черепах видны глубокие, плохо зажившие шрамы. Рядом со мной сидит неподвижно, как все другие, Степан.

Более сотни мужчин сидят на дворе, но там царит тишина как ночью на старом кладбище.

Люди похожи на восковых фигур в ужасной палате паноптикума. Только их глаза живут, ищут, рассматривают с нетерпением, как будто они хотят с этой возвышенности все очень подробно осмотреть, рассмотреть, точно навсегда запомнить.

Что за мысли могут появиться в этих головах? Планы побега? Или же тоска...?

Тюрьма в этом городке лежала на холме. У наших ног бескрайнее озеро Байкал, воспетое во множестве сказаний, баллад и народных песен. Это печальные, однообразные песни о беглых и пойманных разбойниках. Неизвестные сочинили эти песни, неизвестные продолжали их петь.

Было воскресенье. В радостной неразберихе весело разливались светлые и глубокие голоса колоколов по ясному воздуху, звуки поднимались к нам, распространялись над застывшим морем Байкала и лились вдаль за близкий сибирский девственный лес.

Степан спокойно перекрестился, один из всех. Никто не заметил этого.

Вокруг городка протянулась узкая, белая, блестящая заснеженная полоса. Летом это была, наверное, пашня и пастбище. Но за ней лежала, похожая на черное чудовище, непроницаемая и всегда темная, сибирская тайга [девственный лес]; она не терпела людей внутри себя. Насколько глаз мог видеть, до дальнего горизонта, он видел на одной стороне черный лес, на другой блестящую снежную пустыню озера Байкал.

Заклученные и конвоиры здесь у озера всегда настороженно следят друг за другом, так как ежеминутно долгожданная свобода или смерть может подмигнуть одному или другому. Озеро Байкал, окруженное тайгой, граничит с Маньчжурией.

С некоторого времени я услышал, как заключенные вокруг меня перешептываются.

Их вечно настороженные глаза с нетерпением искали всюду что-то. Таинственный шепот шел из уст в уста, подкрадывался от камеры к камере. Байкал... Байкал... Байкал... Лишь позже я понял, что это слово значит для них.

Снова и снова здесь предпринимаются попытки побега. Близость границы слишком заманлива.

Если нескольким арестантам удастся ускользнуть, то они убегают в тайгу, куда не проникает местами ни один солнечный луч, и поиски беглецов в очень редких случаях достигают успеха. В тайге каторжники проводят все лето, до тех пор, пока зима и наступивший холод, тем не менее, не принуждает их снова вернуться в тюрьму. Наказывают их тогда сравнительно мягко. Только совсем немногие остаются на зиму в лесу; они тогда никогда больше не возвращаются, превращаясь в лесных зверей в облике человека, и поэтому часто случается, что охотники на пушного зверя, крестьяне и домашние животные бесследно исчезают в этих далеких, темных лесах. Во время моей

охоты в тайге и в Урале я часто находил следы таких зимовок сбежавших заключенных.

Прежние каторжники, поселившиеся после своего освобождения в близлежащих местностях, охотно помогают беглецам и снабжают их самым необходимым.

Так сидим мы на зимнем солнце. С низины доносится до нас колокольный звон, свободные люди идут спокойно своей дорогой, озеро Байкал отдыхает под блестящим снежным покровом, лес выглядит черным и неподвижным вплоть до далекой дали. Я оглядываюсь. Мои попутчики кажутся похожими на высеченных из камня, только в их глазах жизнь. Взгляд каторжан делает меня самого мрачным.

Мы сидим долго... но мы не ждем...

Приходит конвоир.

- Степан, иди в камеру, пришла твоя жена!

Трезвые слова, произнесенные безразличным тоном, но для души великана Степана они означают ликование. У него засветились глаза. Резко рвется он на нашей цепи, несется к тюрьме, я бегу рысью позади; мы прикованы друг к другу, но он больше не замечает это. Он забыл обо всем.

Мы добегаем до двери, Степан открывает ее. На мгновения конвоиры тянутся к револьверам, но их руки скользят вниз, на нас не орут и не ругаются, они отходят в сторону, освобождают нам дорогу, смотрят нам вслед и молчат. В их глазах не скрывается какая-то ненависть или ярость.

Молниеносно Степан падает на колени и целует женщине ноги. Они шли по уличной грязи и страдали и, тем не менее, двигались дальше – к нему.

Любовь этой женщины так же непостижимо велика, как вечно прощающая доброта нашего Бога. Никто не осмелится охватить ее. И все умолкает, все уступает ей дорогу. Это подлинная душа «Святой Руси», она совершает чудо!

Женщина среднего роста, белокура. Тонкие, впалые щеки, горящие, бесконечно печальные, лазурные глаза, изящный, тонкий нос, открытый детский рот. В руках тряпичный узелок. Так стоит она, не произнося ни слова. Теперь ее глаза сияют, как будто бы перед ними открылся Бог. Они наполняются слезами, слезами, которые давно должны были выплакаться, но всегда мучительно подавлялись.

- Боже всемогущий!... Боже всемогущий!...- едва шепчут ее губы. Тяжелое горе падает с ее души.

- Маруся!... Ты святая!... Великан, который мог бы все вокруг разбить на куски, дрожит. Когда он медленно поднимается с колен, он как бы преобразился.

- Марусенька,... душенька... жenuшка моя, – шепчет он. Это шепчет человек, который совершил несколько убийств, которого боится вся тюрьма, стоит ему лишь подойти к кому-то.

- Степан..., стонет женщина едва слышно, ее рука тихо коснулась головы мужчины. Ее фигура качается.

В последний момент я поддерживаю женщину, осторожно усаживаю ее на нары. Степан упирается лицом в ее колени и плачет.

Внезапно тряпичный узелок двигается... ребенок плачет.

Женщина, глаза ее все еще закрыты, улыбается полному счастью. Ребенок становится беспокойнее, он двигается сильнее, потом сильно кричит и энергично распихивает тряпки.

Великан поднимает голову, наклоняет ее в сторону. Что он со всем своим гигантским ростом и силой должен делать с этим маленьким человеком? Он робко тянет свои руки навстречу ребенку, потом они отскакивают назад. Можно ли все же касаться ребенка этими гигантскими лапами?

Малыш сильно кричит и хватает маленькими ручонками пустоту.

- Это мой ребенок... мой ребенок... Боже, мой ребенок!

Затаив дыхание, произносит это Степан, и его руки нерасторопно блуждают вокруг ребенка, не касаясь его. Цепи на руках дребезжат.

Мать распахивает свою короткую овчину, расстегивает одежду, дает грудь ребенку, и ее полные грусти глаза застывают на Степане.

Мы сидим рядом и молчим.

Наши цепи также умолкли.

- Неделями я искала тебя, Степан. Бог указал мне дорогу к тебе. Любовь ближних велика, они всегда радостно подают нищенке, даже если это их последнее. Но наша матушка Россия так велика и бесконечна. Мои ноги больше не хотят нести меня, они устали и изранены... Проводник спрятал меня в своем купе под скамейкой... я ехала три дня, мужчина всюду, на каждой станции спрашивал только о тебе, пока ему кто-то не сказал, что видел тако-

го великана и рассказал всем об этом. Бог привел меня, так я с расспросами добралась до тебя.

Голос женщины устал, в нем слышен звук дальней тоски, долго ожидаемого тепла. Ее пальцы скользят по руке мужчины, касаются ручных цепей... пугаются. Большие глаза печально смотрят на землю. Неподвижно мужчина сидит, он тоже мрачно глядит вниз на свои скованные ноги, тогда как его огромные лапы лежат на коленях, а вены вздуваются.

Тонкие женские руки снова касаются цепей на запястьях, но на этот раз они тверды, не отскакивают испуганно назад.

- Степан... Дорогой... тебе не больно...? И женские руки гладят железо.

- Нет, Марусенька... но..., – и непроизвольное движение заставляет цепи продолжить речь своим звоном, пока они снова не умолкнут.

Наступает вечер. Нам приносят еду, мы не должны нести ее сами, это три миски. В столовой миске, которую получает женщина, плавает хороший кусок колбасы. На пол ставят свечку и закрепляют.

Это в первый раз, когда у нас в камере есть свет. Возвращается охранник, собирает пустые миски, приближается к женщине, осторожно достает из кармана блестящий рубль и дает ей.

- Тебе это всегда пригодится, матушка.

Он не ждет слов, не ждет благодарности. Он уже исчезает.

Приходит ночь. Серое утро рассветает за зарешеченными окнами. Маруся и Степан беседуют шепотом. Ребенок спит.

Мой друг отодвинулся далеко от меня... только наши цепи удерживают нас.

Женщина приходит каждый день, когда солнце село и мы возвращаемся с работы.

Ребенок бодр и доволен, и однажды он смеется. В тюрьме, среди опасных преступников, смеется ребенок! В коридорах, в камерах прислушиваются мрачные мужчины...

Она ежедневно приходит к нам. Она немного отдохнула, бедная, усталая женщина. Всякий раз, когда я вижу ее, меня охватывает невыразимая печаль.

Доживет ли она до освобождения своего мужа? Не потеряет ли она его из виду? Сможет ли она перенести все эти лишения?

Твоя любовь, Маруся, велика!

Мы работаем в каменоломне. Несколько заключенных заняты тем, что сбрасывают камни со склона высотой приблизительно 20 метров, другие должны грузить эти камни на тачки, следующие – тянуть груженные тачки к тюрьме. У тюрьмы должна появиться пристройка.

Внезапно пронзительный крик! Медленно мы поднимаем головы от нашей работы.

Страшная картина открывается нам.

Постаревший в тюрьме заключенный, политкаторжанин, мужчина с умной головой, который никогда не ругался и всегда уединялся от всех, упал с высоты каменоломни. Раскинув широко руки, он наполовину лежит под тележкой, с глубокой раной на голове. Тяжелый шар, к которому он был прикован с тачкой, разбил ему ногу. Заключенные, которые были поблизости, собираются вокруг него, конвоиры покидают свои посты и окружают раненого.

На мгновения взаимная ненависть забыта.

- Друзья, – хрипит полумертвый, – добейте меня, избавьте от мучений. Однако никто из нас не может пересилить себе и выполнить его последнее желание.

К умирающему приближается Степан, он как игрушку тащит за собой на цепях тачку и шар. Никто не решается остановить его, даже охранники.

- Прощай и молись за нас! – говорит Степан и каблуком полностью раскалывает его череп.

Усталая черта проявляется на умном, тонком лице старика. Мы стоим вокруг него, задумчиво и молча.

Но уже в следующее мгновение на нас обрушиваются удары плетей! Конвоиры, дикие забайкальские казаки Байкала, обрабатывают труп своими каблуками. Они хотят с уверенностью установить смерть.

Настроение опасных преступников возбуждено, напряжено. Удары плеток безжалостно и непрерывно сыплются на нас.

Мое самообладание внезапно заканчивается. Одного из грубиянов я бью кулаком. Мужчина как будто пораженный молнией падает на землю с залитым

кровью лицом. Еще удар, и падает другой. Я вижу, как Степан хватается одного конвоира за ноги, крутит его у себя над головой в воздухе и со всей силы бросает на камни. Два метко брошенных больших камня попадают в лица двух других, которые с криком поднимают вверх руки и ложатся на земле. И теперь настоящий град камней обрушивается на них. Трещат только немногие выстрелы. Они убегают.

Только теперь весь ужас нашего положения становится мне ясным. Скованные ножными кандалами, мы никак не сможем убежать, не говоря уже о том, чтобы защититься от револьверов и винтовок солдат.

Мы стоим как хищники, нагнувшись, готовые к нападению, решившиеся на крайность, полные отчаяния и ярости. Мы все знаем, что поставлено на карту.

Чтобы не совсем беззащитно противостоять подкреплению, которое может прибыть каждую секунду, каждый из нас собирает камни.

Вдруг звучит громкий свист! Появляется начальник охраны и кричит:

- С вами ничего не случится! Инспекция приехала! Держите ваши рты на замке, будьте благоразумны, или вам всем конец!

Наши руки выпускают камни... мы снова беззащитны.

На тюремном дворе стоит умно выглядящий мужчина, вокруг него приплясывает начальник тюрьмы.

Нас выстраивают, инспектор вызывает – один из нашей шеренги отсутствует.

С подхалимской любезностью начальник тюрьмы пытается объяснить все произошедшее чужому господину.

- Ты лжешь! Это был голос Степана.

- Кто может рассказать мне правду о случившемся?

- Вот он может. Степан силой выталкивает меня. Я стою перед мужчиной и объясняю ему наше положение.

Тем же вечером несколько охранников приходят в камеру с наковальней и кузнечным молотом. Цепи, которые связывают меня со Степаном, падают – мы вопросительно смотрим друг другу в глаза и молчим.

- Иди, сукин сын! – орет на меня начальник охраны.

- Мне нужно защитить тебя? – внезапно глухо звучит голос Степана, и он уже хватается тяжелый шар. В двери стоит Маруся с улыбающимся ребенком в руках...

Я возражающее киваю головой, я не могу произнести ни слова, мое горло кажется перетянутым. Последний взгляд на моего друга, в раскрытые глаза Маруси...

Я иду навстречу моей судьбе... один.

В канцелярии тюрьмы меня принимает директор тюрьмы. Мгновенно мысли мелькают в моей голове: казнь через повешение! Удар кулаком в каменоломне! Будут меня пытаться или мучить? Должен ли я сдаться без боя?

- Тебя отправляют на Обские болота! – краткий ответ на все мои немые вопросы.

Болота на реке Обь... это верная смерть.

Это те болота на северной реке Обь, которые не замерзают полностью даже зимой. Здесь вечно лежит туман. Там есть маленькая тюрьма и большое кладбище, и ничего больше. Конвоиров, которые охраняют там очень незначительное число заключенных, меняют каждые три месяца, и только очень сильных мужчин направляют туда в охрану и платят им большое жалование. Из-за малярии и других болотных болезней каторжники, направленные туда, идут навстречу их медленной верной смерти.

Итак, эта поездка должна была стать последним этапом моей жизни.

Совершенно один, под строгой, никогда не ослабевающей охраной снова кочевал я из одной тюрьмы в другую. Уже давно я утратил всякую ориентацию. Передо мной и за мной лежали бескрайние дороги через снежные сугробы, дождь, мороз и сырость. Моя одежда была оборвана, портянки в ботинках удерживались только лишь коркой грязи.

Я стал человеческим животным. У меня больше не было уже силы убежать или сопротивляться.

В каком-то местечке в непосредственной близости от светящейся церкви я слышу торжественный колокольный звон. Мои конвоиры с глубоким уважением снимают шапки, останавливаются и крестятся, раз за разом.

Это Пасха... праздник примирения для всего народа. Тут подходит ко мне древняя бабушка, подает мне маленький «кулич» [баба, которая выпекается к пасхе], окрашенное в красный цвет яйцо, и крестит меня со слезами на глазах.

- Храни тебя Бог, сынок.

Ее высохшие подагрические руки боязливо касаются меня, она пытается улыбаться, ее глаза ясны, хотя они потеряли свой блеск.

- Несчастный, бедняга, Христос воскрес!

- Воистину воскрес, – отвечаю я трепетным голосом на пасхальное приветствие.

- Ну, давай, иди дальше, – слышу я за спиной голос охранника, первые личные слова за много месяцев.

Я снова в движущемся тюремном вагоне. Лес и поле под паром скользят в вечной монотонности.

Задумчиво я смотрю на подарки. Я ем одно и другое, и их вкус на давно отвыкшем языке вызывает в моем воображении образы прошлого: мою кормилицу... родителей... родину. Однообразно катятся колеса вагона, пока рассвет через зарешеченное маленькое окно постепенно не добирается ко мне.

- Парень, если ты еще хочешь есть, так ешь. С этими словами сторож ставит всю тарелку передо мной и добродушно хлопает по плечу. – Такое ты получаешь не каждый день. А я сыт.

Я ем грязными руками, и этот вкус так великолепен, как я уже давно не чувствовал. Я ем и ем и... действительно наедаюсь.

В каком-то большом городе, я заметил это по множеству железнодорожных путей, меня через немного дней после доставки вызвали к начальнику тюрьмы. Ни в какой из всех этих исхоженных мною тюрем не царила такая чистота, порядок и дисциплина. Побудка, получение еды, распределение работ, все было пунктуально. Наши рационы были достаточны, обращение строгое, но никогда не унижительное. Камеры подметали каждое утро, даже мыли цементный пол. Оборванное тюремное обмундирование заменили на новое и чистое.

Я вхожу в светлую канцелярию. У окна стоит стол, заваленный папками с документами. Тяжелый гарнитур письменного стола, рядом большая картина в раме – портрет молодой женщины с двумя детьми. На стенах висят цветные портреты царя, над ними могущественный двуглавый орел, настенные часы тикают.

Невооруженный охранник открывает противоположную дверь, входит мужчина с гладко выбритым лицом, четкими чертами, синими умными глазами.

На нем мундир, но нет оружия. Он подходит ко мне, ждет, пока солдат закроет дверь, и только тогда строго смотрит на меня.

- Говорите ли вы по-немецки? – внезапно спрашивает он меня на языке моей страны.

- Да! – отвечаю я удивленно.

- Я немец. Вернее, я был им, поправляется он.

Задумчиво он садится за свой стол, отсутствующе стряхивает пепел своей сигары. Часы тикают. Внезапно он хватается за папку с бумагами, перелистывает ее, некоторое время читает заметки, захлопывает дело и поднимается.

- Вероятно, я могу помочь вам. Вы ведь кандидат на смерть... Доктор технических наук Теодор Крёгер... Глаза мужчины становятся мягкими, и он поднимает руку, как будто хочет коснуться меня. Но я в лохмотьях, полон грязи и паразитов.

- У вас есть какое-то желание?

- Я прошу возможности написать генерал-лейтенанту Р.

- Тогда пишите, но только быстро. Он очень способный человек, очень надежный по-своему. Не упоминайте, однако, его имя слишком часто, так как знакомство с ним может оказаться для вас роковым.

Начальник тюрьмы достает лист почтовой бумаги и задумывается.

- Я сам напишу, объясните мне, что вы хотите, а потом вы просто сможете подписать письмо. Я вам обещаю, что пошлю письмо отдельно нарочным. Итак, что я должен написать? Диктуйте, но коротко!

- Ваше превосходительство! Я в...

Мужчина прерывает меня: «в начале или в середине апреля прибуду в Никитино. После этого я должен отправляться на Обские болота. Прошу Вашего содействия». Я так и написал, этого вам достаточно?

- Вполне. Я благодарю вас...

- Адрес?

Я называю домашний адрес офицера. Меня встречает колючий взгляд. Я выдерживаю.

- Я даже не знал этого. Значит, вы и дальше были... Доктор Крёгер... Подпишите теперь письмо.

Я подписываю его. Мужчина в моем досье под словами «подозревается в шпионаже» четкими, жесткими буквами выводит «ничем не подтверждено» и подчеркивает эти слова красным карандашом, потом ставит сверху печать.

- С состоянием вашего отца это вам совершенно не было нужно, доктор Крёгер! Молчите! – говорит он лишь немного громче. – Ваше мнение меня не интересует! Ступайте! Хорошего вам дня!

Я никогда больше не видел его.

Он сдержал обещание, этот странный человек.

Чудо

Через зарешеченные грязные окна тюремного вагона смотрело восходящее солнце. Снаружи дождь и снежные сугробы. Поезд замедлил ход, лес отступил, и появился серый городок с маленьким вокзалом, где собралось много людей, с любопытством глядевших на поезд. Долгий гудок паровоза, поезд остановился.

Почти в то же время дверь моей движущейся камеры открывается, и входят сопровождающие конвоиры.

- Здесь тебе выходить, иди!

Безразлично я поднимаюсь с пола, хватаю круглую арестантскую шапку – мое единственное имущество.

На платформе два солдата, винтовка к ноге, револьвер в кобуре. Один из них – унтер-офицер.

- Унтер-офицер Лопатин, – рапортует мой провожатый, – здесь личное дело этого человека. Его нужно содержать под самым строгим особым надзором и в одиночном заключении. При самой незначительной попытке побега стрелять без предупреждения!

Говорящий вытягивается по стойке «смирно», унтер-офицер небрежно отдает честь.

Кожаную папку с двумя плоскими защитными замками унтер-офицер открывает осторожно, короткое время листает документы, расписывается на реверсе, отдает его моему прежнему провожатому и получает ключ от папки.

- Все в порядке! – говорит Лопатин с важным выражением лица.

Солдаты снова становятся «смирно».

Между тем любопытная толпа образовала стену вокруг нас. Унтер-офицер и сопровождающий его солдат только осматривают свои револьверы, вынимают магазины, отводят затворы, потом примыкают штыки к винтовкам, заряжают их и тоже тщательно проверяют.

- Разойтись! – внезапно орет унтер-офицер на глазающих солдат. Они берут винтовки на плечо, становятся справа и слева от меня, короткий приказ «вперед!», и мы идем.

Унтер-офицер Лопатин среднего роста, коренастый, белокурый с синими, добродушными глазами. Его форма чистая, высокие сапоги, португеза, плечевой ремень, патронная сумка, ремень винтовки начищены до блеска. Медвежья шапка сидит кокетливо, несколько сбоку на затылке. Лицо пышет здоровьем, только что выбрито, над верхней губой усы. Через плечо он тщательно скатал и закрепил свою шинель, строго по уставу. Другой солдат менее ухожен.

Мы шагаем равномерным темпом походного марша. Время от времени любопытный взгляд унтер-офицера на короткое время обращается ко мне. Затем он смотрит снова вдаль, как будто ожидает кого-то.

Давно солнце исчезло за тусклыми облаками, дует порывистый ветер и быстро навевает большие снежные сугробы. Унтер-офицер сразу командует: «Стой!». Мы останавливаемся. Он раскатывает шинель, надевает ее, надвигает медвежью шапку на лицо, тогда как другой стоит с винтовкой в руке. Затем они чередуются, смотрят на меня, но все еще молчат.

- Вперед! И походный шаг возобновляется.

Вьюга не длится долго, теперь идет дождь. Мы шагаем все дальше. Я снова становлюсь мокрым вплоть до костей.

Солнце проявляется, мы останавливаемся, солдаты скатывают свои шинели; вскоре я вижу, как они снимают медвежьи шапки, они потеют. Унтер-офицер злится.

- Филька, вот сучий собачий сын! Где только шляется эта скотина! Из-за него мы должны идти пешком! Ему уже больше не доведется радоваться в жизни. Если он не заберет нас, Григорий, мы можем маршировать восемь дней в таком же темпе... вот уж сволочь!

- Да, – отвечает другой, – ничего... он придет... когда-нибудь он уже придет!

И снова оба молчат. Наши ноги передвигаются автоматически.

- Где же ты научился так маршировать? – обращается тогда унтер-офицер ко мне. Он долго стирает пот со лба.

- В Германии, я ведь немец, – отвечаю я.

- Звание? – следует короткий вопрос.

- лейтенант.

Как по команде меня теперь тщательно осматривают с двух сторон. Лопатин чувствует заметную гордость, он даже надевает свою шапку, и теперь пот течет по нему ручьями.

Звучит команда «стой!». – Теперь отдыхай. Мы хотим есть, а потом пойдем дальше.

Мы ложимся на твердой, замерзшей земле. Солдаты не спускают с меня глаз. Они достают из ранцев еду и нож и начинают жевать.

От голода мой рот наполняется слюной, и поэтому я вынимаю мой маленький камешек и отворачиваюсь, чтобы не видеть, как они едят.

- У тебя что, нечего есть?

- Нет.

- Они ничего не дали тебе с собой? Да, мне стоило бы об этом подумать... Вот кое-что для тебя. Бери же, мне хватит. У меня крест на шее, я верующий христианин, я тоже был на войне, знаю как это, когда нечего есть. Бери же, бери, – и его голос становится мягким, действуя благотворно.

Я ломаю с ним хлеб.

- Так что же ты все-таки сделал? – спрашивает он меня потом.

- Я немец, хотел убежать через границу, к себе на родину, была драка, я дрался с солдатами, возможно, даже убил кого-то, другие утверждают, что я убийца.

Он хочет что-то сказать, но сдерживается.

- Ты поведешь меня на Обские болота? – спрашиваю я.

- Нет. А ты должен попасть туда?

Солдаты молча рассматривают меня и становятся заметно беспокойными.

- Унтер-офицер, ты как раз говорил мне, что ты христианин, ты дал мне поесть и попить... большая просьба есть у меня к тебе, выполни ее, будь ко мне милосерден.

- Что я все же должен сделать?

- Застрели меня!... Я не хочу сдохнуть в тех болотах... Скажешь своему начальнику, что я напал на тебя, угрожал смертью, тебе пришлось пристрелить меня, они тебе поверят...

- Я не думал, что ты трус, немец. Твои братья на фронте борются против нашего неудержимого русского человеческого катка. Один против десяти. В Мазурах они уничтожили всю нашу армию Самсонова, мы там потонули почти все. И ты, офицер?!... Он качает головой, на его лице я читаю презрение.

- Месяцами я скитаюсь из одной тюрьмы в другую. После этого уже прекращаешь быть человеком. Вы так измотали меня. Я не трус, унтер-офицер!

- Веришь ли ты в Бога, немец?

- Да.

- Если бы это было на самом деле так, то ты не обращался бы ко мне с такой чудовищной просьбой. Я должен отягчить свою совесть убийством? Все же, ты требуешь от меня убийства! Думаешь ли ты, – продолжил он не через некоторое время, – я не должен нести свой собственный крест? Я – только бедный солдат, что я должен еще ожидать от жизни? Моя единственная радость, мое единственное счастье – это девушка, Ольга. Она также бедна, сирота, у нее даже нет хлеба насущного. Теперь ее отчим хочет выдать ее замуж за богача. Он противен ей как грех. Но как нам пожениться, если у нас нет денег? Если Ольга сбежит от отчима, то куда ей идти, на улицу или ко мне в казарму?

Он оперся головой на руки.

- И, все же, есть Бог, который не даст нам погибнуть. Я хотел лишиться себя жизни, но потому я презираю себя. Так как я верю в Бога, то я также должен верить, что он не покинет меня, меня спасет.

Внезапно он поднимает голову. Он говорил слова задумчиво, и теперь он направляет свой указательный палец на меня.

- Потому ты тоже должен так верить, немец!

Мы маршировали два дня. Ничего кроме леса и необозримых поверхностей, на которых разрасталась только степная трава. Только когда солнце спустилось за лес во второй раз, мы видели вдали маленькую тюремную телегу, две маленькие, косматые лошадки были запряжены в нее. Вооруженный полицейский сидел на козлах и горланил со всем душевным спокойствием солдатскую песню.

- Я не мог ничего сделать, братишка, ты знаешь, ось сломалась по дороге, мне нужно было быстро сделать новую, а один я не смог справиться. Да нам ведь и незачем спешить.

Что тут можно сказать? Ничего!

Мы ехали всю ночь и весь следующий день, не давая маленьким косматым лошадкам большого отдыха и совсем не давая им корма, пока, наконец, не оказались в маленьком городке.

Чистая, натопленная камера приняла меня. Не долго думая, я размотал свои портянки, чтобы посушить их на печи. Потом я лег на нары и хотел заснуть, ибо рассчитывать на еду было, как правило, бессмысленно. Тут открылась дверь, и вошел сторож с фонарем.

Мне сразу бросилось в глаза, что он был без оружия. Он оставил мне большую кружку чая и очень приличный ужин.

К моему самому большому удивлению вместе с едой лежало «орудие убийства», деревянная ложка.

Пока я работал нею, мой охранник уютно устроился на нарах и с любопытством со всех сторон осматривал меня. Снова и снова он пытался говорить, но никакой звук не исходил с его уст. Наконец, он ушел.

Когда я проснулся, был светлый день, камера опять согрета, столовая миска с ложкой исчезли.

Я осмотрел свои лохмотья: правая штанина несколько опалилась, к сожалению, так что я должен был бы через несколько дней бегать с голым коленом. Я рассматривал мои портянки, которые очень нуждались в ремонте. Недолго думая, я разорвал по всем правилам искусства мою рубашку, которую больше нельзя было так даже называть, и занялся починкой. Без рубашки, подумал я, я могу пока обойтись, так как, наконец, кажется, пришла весна.

В разгар моей работы дверь открывается, и появляется охранник, смотрит молча со всех сторон на меня, осторожно качает головой и исчезает. Спустя короткое время он приходит снова с твердой, домотканой чистой рубашкой и несколькими крепкими портянками, которые он кладет возле меня. Снова он осматривает меня с любопытством, и снова исчезает беззвучно.

На этот раз он приходит с крепкими высокими сапогами ставит, это великолепия тоже возле меня, и собирает лохмотья моей арестантской одежды.

Все же, я не могу оставить мой маленький камешек, мою часто спасительную помощь от жажды и голода; я достаю его из лохмотьев к немалому удивлению охранника.

Он делает мне непонятные знаки, я пожимаю плечами, так как не могу понять его язык жестов, не знаю, что он хочет.

- Жаль, что ты глухонемой, – он внезапно обращается ко мне и качает головой, показывает на рот и уши.

- Я вовсе не глухонемой, – отвечаю я.

- Великий Боже и Иисус! – человек испуганно отходит, и только на пороге двери он останавливается.

- Я растопил сегодня утром печь и унес столовую миску, а ты даже не двинулся.

- Я просто очень устал, – отвечаю я ему.

Но, по-видимому, он не совсем доверяет миру, так как выходит из камеры и возвращается только с обедом и новым арестантским обмундированием.

Штанины слишком коротки, рукава короткие, я едва ли могу застегнуть куртку на груди – но ведь это не лохмотья.

Почти всего за одну ночь я снова чувствую силы. Я делаю гимнастические упражнения, жалею на нехватку еды, я сетую настолько долго и так убедительно, что я всегда получаю еды более чем достаточно. Еда хороша, очень хороша. Я даже прошу о работе.

Голова размышляет и старательно вырабатывает планы бегства. Как долго у меня вообще еще будет возможность совершить бегство? Может ли транспорт двинуться дальше чуть ли не каждый день? Я должен поторопиться, пока не слишком поздно.

Когда потом однажды меня повели колоть дрова, несколько сторожей стояли вокруг меня и заинтересовано наблюдали.

Я применяю все мои силы. Я снял робу, и новую рубашку тоже, так как солнце уже по-настоящему греет. Я обильно плюю на руки и умело готовлюсь. Дерево разлетается как вода, глазеющие идут дальше мимо. Я слышу, как охранники шепотом говорят: «Парень здоровый и силен как сатана». Это замечание наполняет меня гордостью, и с новой силой я опускаю топор на чурбаны.

В качестве оплаты я теперь могу есть так много, что больше не могу опустошать мою миску до дна.

Я проживаю спокойные дни. Камера хорошо обогрета, у меня есть все. Великолепная тюрьма!

Навсегда в моей памяти сохранился один день.

С меня снимают цепи.

Я тру свои запястья и лодыжки, на которых образовалась корка. Их специально покрывали корочкой грязи, так как она защищала от ран при движении.

Дверь раскрывается. Большой, толстый, немного расхристанный офицер занимает весь дверной пролет. двери.

- Ага! Так вон этот человек, немец, Теодор Крёгер, подозреваемый в шпионаже, силач, он умеет здорово колоть дрова, это колоссально! Скажи-ка, ты все же, вообще, знаешь русский язык? Вряд ли, да? Все же знаешь? Ну да, наконец, нужно также знать, при такой гигантской стране даже только на географической карте! Такие его слова разливаются по камере. Он подходит ко мне, писарь, начальник полицейской канцелярии следует за ним. Все в нем небрежно, в его грязных руках я замечаю мое дело, на нем отчетливо стоит «подозревается в шпионаже», а ниже, еще большими буквами, «ничем не подтверждено». Оба мужчины сначала только осматривают меня все время, потом садятся на деревянных нарах.

- Игнатъев, передайте мне дело, я хочу его посмотреть. Капитан поспешно листает документы, причем часть их падает на пол. – Черт побери, они даже не сшиты, как положено, вам придется сделать еще и это, Игнатъев. Такого не должно быть, что-то подобное исключено. Это важные дела и документы! Ах!... я ничего не нахожу, здесь у вас весь этот хлам, ищите сами, ничего нельзя найти, все кувырком!

Начальник канцелярии теперь сам тщательно копается в перерытых документах. Внезапно капитан схватывает кончик листа и держит его с торжествующим видом.

- Смотрите, смотрите, я нашел это. Вот оно!...

Его лицо темнеет, как будто внезапная буря должна разразиться на чистом небе. Со стороны писарь смотрит в документ. Проходит все время, мой портрет сравнивается.

- Снова путаница! У нас часто путают самое разное, ужасно, ужасно! Да, и что тут подделаешь? Нам нужно добраться до сути дела, непременно!... Игнатъев! – восклицает он внезапно, торжествуя. – Нужно сразу снять его отпечатки пальцев, это несомненный признак, подделать его едва ли можно. Блестящая идея, ну, давайте, побыстрее!

Щетка из корня, кусок мыла, теплая вода. Она становится черно-коричневым. Удивленно мужчины смотрят на меня: я, кажется, надел перчатки, красивые белые перчатки.

Отпечатки пальцев и ладоней сделаны, их сравнивают.

- Здесь что-то не сходится, Игнатъев, – негромко замечает капитан полиции и смотрит в сторону писаря.

- Нет, господин капитан, все признаки совпадает.

Злорадная улыбка скользит по его лицу. Его любезность – это уверенность в победе.

- Ты действительно являешься доктором технических наук Теодором Крёгером?

- Совершенно определенно, – отвечаю я.

- Дата рождения? – спрашивает капитан.

Я называю ему данные.

- Соответствует! Все соответствует! Чего вы еще хотите? Не вы, а я был прав.

Снова капитан хватается за неразбериху дел. Как по воле случая он находит необходимое. Он встает и говорит строго и кратко: – Подъем!

Я встаю «смирно», писарь поднимается с отвращением.

Мое сердце на секунды замирает!

Теперь прозвучит приказ о казни через повешение!

Молниеносно я оглядываю всех присутствующих. Только немногие стоят вокруг меня. Сторож застегнул кобуру револьвера «наган». Это оружие могло бы спасти меня, вероятно.

Нет, у меня нет никакого самого маленького шанса, чтобы спасти мою жизнь бегством. Я потерял так или иначе. У меня был только выбор умереть в одиночку или забрать с собой на тот свет других. Моих сил хватало бы, чтобы опустить мужчин к земле, а последней пулей я смог бы покончить с собой. Это решение было для меня четким...

Капитан читает вполголоса: «Санкт-Петербург, военное министерство, отделение военной контрразведки, совершенно секретно....»

- Господин капитан, – прерывает капитана начальник канцелярии, – сукин сын не должен всего знать, и с этими словами он уверенно, не наталкиваясь на сопротивление, берет документ из рук офицера и говорит кратко: – Высочайшим повелением тебя освобождают!

Как издалека слышу я следующие самые различные определения об ограничении моей свободы. Он читает еще долго и очень медленно, и я ничего больше не понимаю, так как я едва ли слушаю...

Я свободен!... Я свободен!... Избежал смерти!

Дрожащими, боязливыми, спешащими руками я надеваю робу, не зная, как и что я делаю. Мое сердце стучит так сильно, что я близок к обмороку. Только быстро! Только быстро!

Передо мной я вижу открытую дверь.

Я могу выйти из камеры, и никто не задержит меня.

Другая дверь тоже открыта... Быстрее! Быстрее!

Я пытаюсь идти быстрее, но не могу.

Теперь я снаружи! Один, сам!

Жесткая замерзшая земля. Я падаю на нее. Надо мной смеющееся, сияющее весеннее солнце. Я охватываю лицо руками... крупные слезы текут по моим щекам.

Я снова вижу мир...

Я снова вижу жизнь!

Часть вторая

НАПОЛОВИНУ СВОБОДЕН

Блестящий рубль

Свет дня погас.

Я лежал возле опушки леса на куче собранных старых листьев и смотрел в далекое, ясное небо, на котором вспыхивали первые звезды. Все было тихо и во мне и вокруг меня. Стая черных птиц беззвучно летела к лесу. Где-то вдали тявкала и выла собака, но потом и она утихла.

Медленно спускалась ночь.

Я провел весь день в лесу, прятался как животное. Я не осмеливался приближаться к людям, я не верил в мою внезапную свободу. Может, они ищут тебя, может, твое освобождение было ошибкой?...

Так и этой ночью я спал под открытым небом на мягкой кровати из листьев. Когда я проснулся, надо мной стояло согревающее солнце. Я смеялся ему... и был безгранично счастлив.

Я искал весь день работу в городке. Это была напрасная забота. Моя арестантская одежда отпугивала как огонь. Меня встречали ругательствами, спускали на меня собак, и некоторые даже хотели меня убить, настолько велик был страх населения перед освобожденным арестантом. Я должен был идти все дальше и продвигаться, от двери к двери. Только немногие говорили, дрожа от страха: «Ступай с Богом!» Другие подавали мне боязливо кусок хлеба, лишь бы я только ушел.

Снова пришла ночь. Я смотрел с моей кровати из листьев в звездное небо и... был счастлив и доволен.

На следующий день я снова шел от дома к дому. Всюду те же боязливые лица. Даже в канцелярии тюрьмы, в которую я попал без малейшего противодействия. Несколько опустившийся начальник, смертельно испуганный моим внезапным появлением, смог только обеими руками безмолвно и отчаянно отмахнуться от меня.

Я провел так же уже третью ночь в лесу.

Я был голоден.

Снова зарозовело утро, когда я слышал поблизости шум, и когда я вышел из леса, я увидел перед собой охранника, который в тюрьме приносил мне все эти вещи. Он собирал дрова. Когда его испуг прошел, я помог ему в его работе, и с большой охапкой на плечах, пошел с ним к его избе. Там меня так же испугалась и его жена, все же, я получил хороший обед из дрожащих рук, поколот им дрова, и вечером я смог составить общество мужчине в тюрьме. Я играл с ним в карты. Удача улыбнулась мне, я выигрывал все больше и больше, собрав уже достаточную сумму для отправки сообщения в Петербург.

Я просидел бы всю ночь перед почтамтом, чтобы потом послать телеграмму: освобожден, прошу денег. Через 24 часа деньги были бы здесь, тогда мне больше не нужно было бы ночевать в лесу, больше не нужно было бы терпеть голод. И с этой мыслью я уже пересчитывал и тщательно складывал друг к другу монеты.

- Эй, руки вверх! – прервал мои мысли голос.

Я взглянул вверх: охранник стоит прямо передо мной и направляет свой «наган» мне в лоб.

- Я верну тебе деньги завтра..., неуверенно начинаю я и замечаю, как дрожат мои руки. – Ведь моя жизнь зависит от этих немногих копеек!

- Не мели ерунды, парень! – прикрикивает на меня мужчина.

- Я точно верну тебе деньги завтра... я хочу послать телеграмму в Петербург, попрошу, чтобы мне прислали деньги..., мои родители богаты, они вознаградят тебя... За один твой рубль я верну тебе пять рублей, разве тебе этого мало? Хорошо, я дам тебе десять рублей за твой рубль, честное слово! Ты хочешь от меня письменную расписку?... Ты получишь обратно свои деньги, наверняка. Я клянусь тебе в этом!

«Наган» постепенно опускается.

- Так твои родители богачи, парень, да? Ты уже наполовину сошел с ума, наверное, из-за тюрьмы! Будь у тебя богатые родители, ты не сидел бы в тюрьме! Но все же эти несколько копеек никак не спасут тебя, ты так или иначе умрешь с голоду, так как заключенные никогда не получают работу.

Мне пришлось вернуть деньги. Но зато у меня, по крайней мере, достаточно еды и я могу спать в моей старой, теплой камере. При моем освобождении следующим утром я должен был пообещать ему, что буду молчать о ночной игре в карты, тогда я смог бы вечером снова вернуться к нему и его приятелям.

Снова я искал работу от двери к двери, но тщетно. Только в большую, чистую лавку, которая принадлежала татарской семье, я должен был снова зайти на следующий день; там, как мне сказали, я всегда мог бы найти работу. Мне обещали еду, питье и место для сна, и жалование три рубля в месяц. Я согласился. По пути в тюрьму я думал: через десять дней ты соберешь деньги на телеграмму. Мне хотелось смеяться и петь.

Вечером мы впятером играли в карты в тюрьме. – А ты хорошо умеешь писать? – спросил меня сторож, и когда я подтвердил, он принес мне перо и почтовую бумагу. Под общее веселье я должен был написать письмо его любимой, что и получилось к всеобщему удовлетворению всех присутствующих. В качестве гонорара он дал мне уже закуренную им сигарету. Когда я, однако, оторвал разжеванный им бумажный мундштук и только потом закурил сигарету, он заметил: – Ты, наверное, действительно был благородным баринном.

Едва пришло утро, как я уже стою перед лавкой татарина. Немногочисленные пешеходы смотрят на меня с робостью. Наконец, появляется владелец в сопровождении двух других татар и одной женщины. Они старательно открывают тяжелые замки и засовы магазина, что-то бессмысленно раскладывают на прилавке. Я стою снаружи и жду. Наконец, владелец машет мне. Я вхожу, мой взгляд быстро осматривает все помещение. Оно большое и полно товаров.

- Я пообещал дать тебе работу... я не могу сделать это... я боюсь... и моя семья тоже боится... не сердись на меня...

Он выговаривал слова запинаясь. Он пристыжено опускает голову. Пальцы что-то нервно теребят на ощупь над пустым прилавком.

- Но я ведь не убийца и не преступник. Я немец, который в тюрьму попал из-за подозрений в шпионаже, – отвечаю я.

- Я осведомился у полицейского капитана. Это все правильно, но ты якобы совершил убийство...

Последние слова он произносит едва слышно.

- Я не знаю этого. Я пытался убежать на свою родину и всего лишь защищался от своих врагов, как солдат на войне.

- Может быть... может быть..., однако, я боюсь, не обижайся на меня за это.

Мы оба молчим.

- Фаиме, дай мужчине 20 копеек.

На прилавке я слышу, как звенит серебряная монета. Я приглядываюсь: маленькая девичья рука положила ее, но ее пальцы уже испуганно исчезли под широким рукавом ее одежды из тяжелого, пестрого бухарского материала. Я смотрю на лицо, с которого отхлынула последняя капля крови, в два глубоких черных глаза, в которых отчетливо стоит ужас.

Как они все трусливы, думаю я.

Мой взгляд снова падает на серебряную монету...

Я не трогаю ее и медленно выхожу из магазина.

Едва я прошел несколько шагов, как один из охранников подходит ко мне и с огромным волнением рассказывает, что писарь Игнатъев узнал о нашей ночной игре в карты. Я ни в коем случае не могу больше приходить в тюрьму.

Мое путешествие по маленькому городку в поисках работы окончательно оказывается напрасным.

Начинает темнеть. Я голоден, и вечерний холод глубоко проникает в мою душу.

Наступает ночь и безнадежность. -

Улицы пусты. Отчаявшийся, пусть даже и как свободный человек, я сижу у придорожной канавы и ломаю себе голову; я больше не знаю выхода... нет никакой помощи...

А ведь я так обрадовался свободе...

Медленно тянусь я к своей арестантской шапке, которую я положил рядом с собой. Медленно я снова опускаю шапку... и еще раз поднимаю после этого...

Там лежит блестящий рубль!

Благосклонная душа дала, незаметно для меня, эту царскую милостыню.

Я оглядываюсь по сторонам робко как вор. Беззвучная ночь, городок как будто вымер.

Сильный стон вырывается из моей груди, такой сильный, которого никогда не слышали мои даже самые жестокие тюремные надзиратели... стало быть, вот что такое свобода!

Ночь бесконечна и холодна. Может быть, мне так только кажется; я с нетерпением жду, сидя на земле, перед маленьким почтамтом первого служащего.

«Освобожден, прошу денег» – вот моя телеграмма.

Снова я жду перед почтамтом на солнце. Входящие и выходящие смотрят на меня робко и боязливо. Они не решаются бросить мне милостыню. Я чувствую только бьющееся сердце, приближающееся решение.

Звучит мое имя! Я вздрагиваю как от удара кнута...

Мне принадлежит тысяча рублей!

Снять комнату для освобожденного каторжника так же невозможно, как найти работу. Никто не хочет принимать такого человека в своем доме.

Один богатый купец, у которого был магазин в городке, владел самым прекрасным и самым большим домом. О купце ходила дурная слава, говорили, что он с отцом владели ночлегом где-то в Уральских горах на дороге, которая вела из европейской России в азиатскую. В этой гостинице путешественники оставались на ночь. Там меняли лошадей, чтобы двигаться дальше; это было что-то вроде «постоялого двора». Отец и сын мастерски сумели вскоре сколотить состояние из этого. У них были собаки, которые были вечно голодны и сжирали все, что им бросали, с кожей и волосами. Однако уголовная полиция долгое время ничего доказать, хотя отец и сын становились все богаче и богаче. Отец потом тоже умер от какой-то «пожирающей» болезни, и сын на несколько месяцев из-за повторного подозрения в убийстве попал в тюрьму, но снова был затем освобожден из-за отсутствия доказательств.

В этом городке он, похоже, бросил свое темное ремесло, во всяком случае, жители сетовали только на его алчность, которая, впрочем, не наказуема. Этот купец владел самым красивым домом в городке. На первом этаже он жил со своей женой, второй был пуст.

Вскоре я решительно вошел в его магазин.

Большое, низкое помещение было до потолка переполнено топорами, тупками, косами, граблями, ножами всякого рода, пилами, сверлами и всеми возможным сельскохозяйственными приспособлениями.

За массивным прилавком сидит владелец, худой мужчина с маленькой, серой эспаньолкой, серыми, почти бесцветным глазам, безобразными подагрическими руками и грязными длинными ногтями. Он как раз пьет чай.

- Чего тебе надо? Проваливай побыстрее отсюда, сукин сын! С каких это пор каторжане тут свободно шляются? – орет он на меня, не вставая; он только ставит на стол полный стакан с чаем.

- Я хочу снять у тебя комнату! – отвечаю я и вижу, что он меня боится, но так как я остаюсь абсолютно спокойным и жду его ответа, он внезапно становится грубым.

- Я не хочу иметь дел с каторжанами! Пошел прочь, скотина!

Я хватаю мужчину, бью прямо в грудь, и он летит к своим полкам; стакан с чаем, блюдце, сахар и маленький кофейник чая летят за ним. Я поднимаю его высоко и трясу до тех пор, пока он не соглашается дать мне все, лишь бы я во имя Спасителя сохранил ему жизнь.

- Сколько стоит квартира на втором этаже?

- Двадцать рублей в месяц... дешевле я не могу...

- Я наперед уплачу за квартал! С этими словами я держу у него под носом тысячу рублей.

С удивлением и жадностью мужчина глядит на деньги.

- Да, барин, если так обстоит дело с оплатой, то я, само собой разумеется, охотно сдам вам квартиру, и моя жена будет рада вести ваше хозяйство. Он как преобразился, сразу называет бывшего заключенного «баринном», так как чует хороший доход, и мы вскоре договариваемся.

Квартира состоит из четырех больших и двух маленьких комнат, прихожей, кухни с вместительной кладовой. Часть комнат выходит на главную улицу, часть на двор.

Я приказываю моему новому хозяину, чтобы он приказал почистить квартиру, чтобы он растопил баню, а его жены должна приготовить самое наилучшее, потом я иду дальше своей дорогой.

Я спешу в лавку татарина, оборудованную самым лучшим образом, почти как маленький универсальный магазин.

Я кладу сто рублей на прилавок, рядом с деньгами кладу телеграмму, чтобы снять последние опасения у боязливых людей.

То, что я получил тысячу рублей по телеграфу, уже с быстротой молнии облетело весь городок.

Я беру кусок сала, ржаной хлеб, бутылку вина и... газету. Татарин неуверенно провожает меня в маленькую комнатку за торговым помещением. Там я погружаюсь в еду и чтение. Уже восемь месяцев я не знаю ничего, что происходит в мире.

А война?

- Мы победоносно продвигаемся! – Но я уже испуганно прикусил язык и остановился.

- И как немцы побеждают! – я слышу рядом голос татарина, о котором я совсем забыл. Он улыбается хитро, как могут улыбаться только азиаты. Эти слова послужили началом нашей взаимной симпатии.

Я выбираю себе самый большой костюм, ботинки, носки, рубашки, предметы туалета и все предметы ежедневного потребления, в которых больше всего нуждается житель Центральной Европы. Я выбираю один большой сундук и два маленьких, потом железную кровать, матрас, наволочки, подушки, простыни и одеяла. Затем следуют продукты. Это целая гора вещей. Излучая радость, я несу все в свою квартиру, расстилаю кровать, ставлю большой сундук, накрываю его скатертью, два маленьких сундука получают подушки. Кровать, стол и стулья в наличии уже имеются. Я неизмеримо счастлив! У меня даже есть часы!

В печи я сжигаю свою арестантскую одежду. Вши и клопы носятся в паническом ужасе, до тех пор, пока они, охваченные огнем, не раздуваются до зловещей толщины, а потом лопаются.

Баня натоплена. Я лью воду, снова и снова лью воду на красное как рак тело, кровь носится по моим артериям, все жизненные силы просыпаются. Я облегченно вздыхаю.

Не прошло и несколько часов, как я уже являюсь искупанным, выбритым, подстриженным «ступеньками» собственником квартиры и кровати. Пожалуй, костюм мне слишком мал и может треснуть, особенно в плечах, штанины похожи на полуспущенное знамя, но... Важность!

У моего хозяина меня ожидает княжеский обед: икра, лосось, маринованные белые грибы, пироги с мясным паштетом, крепкий сытный суп, самогон, душистый цыпленок, вино, кофе, сигареты. Я ем, не произнося почти ни слова. Когда я встаю, я едва ли могу дышать, могу лишь улыбаться от полного удовлетворения. Медленно, шаг за шагом, я поднимаюсь в мою квартиру, обхожу мои шесть комнат, бросаюсь на кровать и сплю как герой после славной победы над сотней чудовищ.

Когда я просыпаюсь, уже поздно. Я снова спускаюсь. Жена моего хозяина расплывается от любезности, и мой хозяин забывает о лавке, постоянном чаепитии и курении сигарет. Он закрыл свой магазин, и я отчетливо замечаю, для него есть теперь только один, и этот один – я. В его глазах я кажусь великим князем.

- Я хотел бы в первую очередь порекомендовать барину, чтобы он подружески общался с господином капитаном полиции и особенно с проклятым Игнатьевым. Он поносит писаря самыми сочными бранными словами. – С Игнатьевым особенно трудно, он недоверчив, хитер и подл, но, вероятно, я смогу помочь вам. Не выкупит ли барин у меня, вероятно, его долги?

Уже тем же самым вечером я шел к полицейскому капитану.

Часовой у входной двери не узнает меня. Я звоню. Но звонок оторван, и я стучу. Опустившаяся, непричесанная служанка открывает мне дверь, приветливо усмехаясь. Не говоря мне ни слова, она уходит и оставляет меня. Я следую за ней. Похоже, что здесь это является само собой разумеющимся.

Во вместительной, освещенной только слабой керосиновой лампой комнате за столом сидит полицейский капитан в абсолютно изношенной форме. На столе стоят остатки ужина, рядом лежат ножи и вилки, пепельница с кучей окурков, сигарет, спичек, старая разорванная книга, газеты с жирными пятнами, и над всем царит бутылка водки, а рядом с ней наполовину полный стакан чая.

- Чего ты хочешь, кто ты? – спрашивает его усталый голос.

Я приближаюсь к столу, чуть-чуть приподнимаю зеленый абажур. Свет падает мне на лицо. Мужчина узнает меня, пугается, ищет на ощупь, вероятно, револьвер, который нигде не находит.

- Я принес вам деньги, Иван Иванович.

Он смущенно улыбается, по-видимому, он чувствует себя бессильным перед опасным преступником, и пристально смотрит на деньги, которые я раскладываю перед ним на столе.

- Иван Иванович, я принес вам восемьсот рублей на хранение, так как у меня здесь нет больше ни одного человека, которому я мог бы доверить такую большую сумму. Вы – единственный достойный уважения человек, выше любых подозрений. Мой голос успокаивает его, и он уже с ласкающим, медленным жестом прикасается к деньгам.

- Значит, у тебя есть деньги... Откуда же вы так быстро получили так много денег? – спрашивает он неуверенно. – Да, я уже знаю... мне рассказывали...

Я сообщаю ему все. Он слушает меня внимательно.

- Ну прекрасно, я беру на хранение деньги, – говорит он.

- Я даю вам за это сто рублей.

- Ты с ума сошел! – немедленно отвечает он. По прошествии некоторого времени он поправляется: – Я не могу принять это от вас.

- Почему же нет, никто не узнает об этом.

- Полностью исключено, за кого все же вы меня принимаете? Мне это вовсе не нужно, нет, нет, я не хочу никаких денег, исключено... Поток слов разливается из его рта. Я прерываю его и, улыбаясь, подаю ему руку. Медля, он пожимает ее, и я давно привычным мне движением засовываю сторублевую купюру в рукав его мундира.

- Выпьете со мной рюмочку водки? Хотите что-нибудь поесть?

- С удовольствием! И то, и другое! – отвечаю я.

- Машка!!! – кричит полицейский капитан, и прибегает горничная, почесываясь при этом за ухом. Лишь бы у нее не было вшей, думаю я, глядя на нее. – Принеси бутылку водки и всякой еды, да побольше.

Девушка приходит с бутылкой водки и с небрежно лежащими на тарелке куском хлеба и куском жаркого.

- Корова! Мне нужна еще одна рюмка! И принеси все, что мы едим дома! Разве ты не видишь, что у меня гость? Принеси колбасу, сыр, яйца, масло, рыбу, все! Иди! Что ты уставишься на этого человека? Видите, люди настолько глупы здесь; что сам скоро стану идиотом. Свинские условия, Богом забытая местность, со временем приходят мысли о самоубийстве, страшно!

И Иван Иванович открывает новую принесенную бутылку обыкновенным ударом ладони по донышку бутылки, и пробка со знакомым хлопком вылетает вверх.

Появляется горничная, она несет по тарелке в каждой руке, на одной я вижу остатки различных сортов сыра, масло, яйца, на другой – селедки, одна из них уже наполовину съедена. Она стоит нерешительно.

Одним движением капитан убирает стол, все скользит в крайний угол; туда больше не попадает свет керосиновой лампы. Служанка несколько раз ходит туда-сюда, пока стол не оказывается полным тарелками.

- Ты даже не принесла скатерть, Машка! О, я мог бы убить тут всех вокруг! Не глазей на мужчину!

Девочка плачет и всхлипывает.

- Но я же не знала этого, и вы тоже мне этого не говорили, ваше высокоблагородие! – ревет она.

- Теперь мое терпение лопнуло!, – и он уже схватил без разбора что-то с тарелки, девушка с громким воем бежит из комнаты.

Капитан кладет это «что-то» обратно на стол; это кусок колбасы, содержание которого кто-то выгреб на всю длину ножа. Энергичным приемом полицейский теперь полностью скомкал шкурку колбасы в шарик.

- Извините меня, я хочу надеть другой мундир, все же, я не могу... Вы – мой гость, минутку, пожалуйста... И он исчезает где-то в полумраке комнаты.

Он снова появляется, после того, как я выкурил две сигареты.

- Пожалуйста, ешьте, что хотите и сколько хотите, я со своей стороны буду только рад, поверьте мне, и здесь, видите, чтобы мы оба не ели всухомятку, я сразу принес еще побольше. Итак, пожалуйста, пусть вам ничто не мешает, здесь несколько примитивно, но что поделаешь. Вы должны есть, пока вы больше не сможете, обещайте мне.

Он пододвигает все, что стоит на столе, ко мне, наполняет рюмки водкой, мы пьем, он снова наполняет их и пьет, тогда как я посвящаю себя еде.

- Уже пять лет сижу я в этом проклятом месте. Я родом из Москвы. Я был достаточно честолобив, чтобы принять эту должность, и теперь мне приходится опускаться здесь в грязи, дерьме и вечном однообразии.

Иван Иванович Лапушин, полицейский капитан, раскрывает мне свою душу. Я чувствую, как хорошо на него действует, что он хоть раз может рассказать кому-то о себе. Мы сразу ощущаем сильную симпатию друг к другу.

Сначала как прежний житель большого города он всеми средствами защищался от дальнейшего пребывания в сибирском городке. Его заявления с, вероятно неловко сформулированными обоснованиями, не нашли понимания. Слишком скоро начались также и первые, пусть даже смешные неточности в исполнении им своих служебных обязанностей, из-за которых начальник полицейской канцелярии, писарь Игнатьев постепенно получил большую власть над ним. Отрезанный от мира и культуры, мужчина вскоре стал лени-

вым, апатичным. И с женой его связывала только лишь будничная привычка. В момент вероятно последнего всплеска энергии он отправил обоих своих детей в Пермь, чтобы не видеть опустившихся постоянно перед глазами. Он пытался водкой успокоить бесполезное, пустое времяпровождение, утихомирить свою тоску по пульсирующей жизни, по музыке и развлечениям. Алкоголь торжествовал, он снова и снова манил его, и чем больше он пил, тем меньше он напивался, однако, тем выше становились его долги за алкоголь перед татарами.

- Видите, вот это моя жизнь. Я защищался достаточно долго, боролся, у меня было другое представление о жизни..., но теперь со мной происходит то же, что и со всеми вокруг меня; мы пьем, мы отдаем последние копейки за алкоголь. Эта дикая местность – это наш закат.

Бутылки были опустошены, но он не заметил, что я почти ничего не пил. И, все же, этот заблудший человек чувствовал, что он и я, дети крупного города, нашли здесь друг друга как на одиноком острове, не зная еще этого на самом деле. В настоящий момент для Ивана Ивановича не было никого, желаннее меня; потому он с радостью забыл обо всем, что разделяло нас. Уже светало, когда я покидал дом. Иван Иванович достойно пил за здоровье купюры, которая принесла ему новое, непредвиденное утешение и новое, давно потерянное уважение. С трудом он смог проводить меня до двери.

- Я сейчас, прямо сейчас пойду к татарам и скажу им: – Сколько я должен вам, ребята, за эту дерьмовую водку, а? Сколько набралось? Что, так мало? Я думал, я выпил ее! Здесь сто рублей! Вы могли бы вообще разменять? да, так я скажу, сразу, завтра, но оно уже наступило, завтра! Итак, завтра, нет, сегодня, ах, что за чепуха! И завтра, нет, сегодня мы будем играть в карты, я прикажу приготовить что-то вкусное, и Игнатьева тоже приглашу, пусть этот засранец тоже придет пожрать и поиграть в карты, а почему бы и нет? Он же должен, все же, должен прийти! Теперь у меня есть сто рублей! Великолепно!

Я закрыл дверь. Часовой взял винтовку «на караул».

Он спал, по-видимому, так как очень пугался, когда я проходил.

Наконец, я также узнал, по чьему приказу меня освободили. Мои друзья не забыли меня.

В Никитино – так назывался городок, в котором меня освободили – можно попасть через Ивдель, самую северную конечную станцию железнодорожной ветки от Перми. Расстояние от Перми до Ивделя составляло примерно 800 километров. В Ивдели можно было взять напрокат лошадь и телегу, на которой после почти 24-часовой поездки можно добраться в деревню Ивановка.

Там надо переночевать и на следующий день ехать до второй деревни. Это расстояние было таким же длинным, как и первая часть пути. Из этого местечка только к вечеру добирался до деревни Закоулок, и если выехать оттуда утром, то к вечеру, наконец, попадешь в Никитино. Путь этот представлял собой широкую, абсолютно разбитую грунтовую дорогу, которая, окруженная безобразным, смешанным лесом, от обычной проселочной дороги отличалась лишь шириной.

На поросшем лесом холме, окруженном пашнями и пастбищами, глаз из далекой дали внезапно обнаруживал Никитино, как будто бы городок стоял в карауле на удаленном посту, наблюдая за бескрайним лесным морем. Серые, низкие хижины из едва обструганных стволов, между ними маленькие выбеленные церкви с зелеными византийскими куполами и сияющими крестами.

Так же как в Ивдели рельсовый путь внезапно прекращался, так и широкая грунтовая дорога кончалась в Никитино, так заканчивался здесь и последний телеграфный провод. В избе, похожей на все другие, кто-то сидел у тикающего аппарата и передавал одиноким сигналами из далекого мира.

Вокруг никогда не заканчивающаяся, неподвижная, безобразная стена леса. Вероятно, посреди девственного леса находились большие деревни или лежали поселения, но никто не знал много о них, да никто об этом и не спрашивал. Возможно, там были и поселения сбжавших или освобожденных каторжников, еще одна лишняя причина не задумываться об этом.

Вокруг Никитино и его жителей на многие километры не было совсем ничего.

Кто позволил в свое время построить этот городок посреди дикой местности? Кто был строителем уже многовековой церкви? Никто не знал его имени. Россия велика; что значат для этой страны люди, строители городов, поколения, века? Невообразимо большое пространство этой страны, вероятно, никогда не будет заполнено.

Унылая лесная дорога на холме упиралась в слишком широкую площадь. В ее центре стояла изготовленная из гигантских дубовых стволов церковь с крохотными окошками и мощной колокольней с колоколами 1566 года. На краю площади находились окрашенные белой известью блестящие на солнце административные здания. Отсюда все улицы проходили абсолютно параллельно или перпендикулярно друг другу.

Отсюда отходила и самая широкая улица; она называлась Торговой улицей. На ней стояли дома «верхних десяти тысяч», там происходило все движение, и если кто хотел однажды показать себя в Никитино, то достаточно было лишь пройти только вдоль Торговой улицы, и весь городок узнавал, что нужно было узнать. В ее другом конце находилась пристань парома, который

перевозил людей и повозки на другой берег реки. Там тоже возник со временем маленький городок.

Дома были построены как срубы из грубо соединенных бревен, большими по размерам были только двухэтажные строения полицейского управления, войскового управления и городского муниципалитета, а также большая тюрьма, которая лежала в стороне от городка. Они были построены из камня, построены самими каторжниками. Шесть окрашенных в белый цвет низких церквей с зелеными башнями в форме луковиц были беспорядочно разбросаны по маленькому городку.

Подлинно меланхолически выглядели многочисленные маленькие хижинки, стоявшие на краю города. Они были в невероятно запущенном состоянии, и казалось удивительным, что под их крышами вообще еще жили люди, не боявшиеся полного крушения этих развалин. Но, может быть, эти люди даже и сами хотели умереть. Они были настолько бедны, что едва могли купить себе хлеб. Столетие назад, вероятно, их отцов освободили из молчаливой, угрюмой тюрьмы и насильно поселили здесь. Маленькие и чахлые, безобразные, недоверчивые, с мышлением лгунов, мошенников и воров, они были только продуктом ошибок и пороков их предков. Их утешением был алкоголь, который давал им радостное забвение от их бедствий и нужды на часы, на дни.

Остальное население Никитино, как всюду в стране, состояло из крестьян, священников, пономарей, немногочисленных ремесленников, случайного, вечно пьяного учителя, лавочников, чиновников и высокого начальства.

Все жили тихо и покорно судьбе. У всех было вдоволь времени. Большинство вело постоянную ожесточенную борьбу с этим «временем»; они не знали, что с ним делать, оно надоело им так же, как они надоели себе самим.

В Никитино дислоцировался маленький гарнизон кавалерии, на случай бунтов заключенных. Его применяли также для поимки беглых преступников. Однако, беглецов никогда не находили, лес поглощал их. Близ города якобы снова появились разбойники, угрожавшие с некоторого времени одинокому городку, которые всегда хотели его разграбить. Но никто не мог точно сообщить о количестве этих разбойников, числа колебались от десяти до ста. Вскоре они стали легендой.

Вне городка был лагерь немецких и австрийских военнопленных. Вступать с ними в какой-то контакт было мне строжайше запрещено.

Над всеми жителями, на недостижимой высоте, стоял полицейский капитан Иван Иванович Лапушин. Когда звенели колокола, население в праздничной одежде спешило к церкви, чтобы получить благословение, тогда Иван Иванович появлялся в полной парадной форме среди боязливых людей. Он был

«всемогущим», «всемогущим» для всех. Военное положение привело к тому, что не только весь отряд полиции, но и почта, городской муниципалитет и частично, из-за его воинского звания, даже военные были подчинены ему. Его слово было непререкаемым.

В эти торжественные мгновения Иван Иванович чувствовал себя больше не как неизвестный полицейский капитан, а как князь и король. Торжественно и возвышенно он первым подходил к священнику и целовал, с глубоким уважением, святое распятие и крест на толстой, тяжелой, переплетенной красным бархатом Библии. Он молился в глубоком поклоне, полный благоговения становился на колени, касался своим лбом освященного пола старой церкви, его глаза видели светящиеся иконы, горящие лампы и мерцающие жертвенные свечи, он глубоко вдыхал аромат ладана, и в последнем углу его забытой души тогда шевелились добрые, мягкие чувства.

Затем он поднимался с коленей, доставал носовой платок, и все население видело, как гигант вытирал им слезы под своими глазами. Снаружи, у выхода, стояла чаша; медные монеты лежали там, отдельные серебряные монеты и один, один поданный от самого чистого, самого кающегося сердца – один рубль этого человека.

Ни один человек не видел когда-нибудь представителя власти иначе, как возвышенного, спокойного, великодушного и строгого.

Как мы и договорились, на следующий день я появился у Ивана Ивановича.

Часовой, который стоял перед домом полицейского капитана, взглянул на меня с любопытством. Дверь открылась, в ней появилась растрепанная, небрежная служанка. По ее приветливой ухмылке я понял, что она меня узнала. Она оставила меня, я мог сам закрыть дверь и войти.

В прихожей тут же запахло едой. Я был слишком пунктуален, так как ни хозяин дома, ни его жена, не говоря уже о еде, еще не были готовы.

Я смотрел из окна гостиной на двор. Он был покрыт травой и усеян самыми различными остатками, которые частично уже сгнили. В его центре мне представился поистине потрясающий спектакль. На земле лежали два матраца, вокруг них и по ним важно шагало множество кур, которые долго копались в них, клевали, вытягивали нитки, рылись в щелях, и не в последнюю очередь оставляли на них также свои визитные карточки самых различных цветов и вариаций. Наверное, воображал я, они выражают этим свою радость, печаль, зависть или удовлетворение, и это, вероятно, связано с тем, что они здесь находят для пропитания.

- У нас ведь было слишком много клопов, они совсем одолели нас в прошлое время...

Я оборачиваюсь, передо мной стоит Екатерина Петровна, жена полицейского капитана. Этими любезно объясняющими словами она начинает наше знакомство.

Она подает мне руку, которой я касаюсь губами.

- Ах, для меня это очень приятная неожиданность! Со времен нашего отъезда из Москвы вы первый гость, который посчитал нужным поцеловать мне руку. В этих словах звучит такая большая и честная радость и воодушевление, что я в самых теплых выражениях благодарю ее за приветливое приглашение и еще раз подношу к губам руку хозяйки дома. При этом она краснеет, она действительно счастлива.

- И если вы посмотрите, – продолжает жена полицейского капитана, – здесь на картины, на мебель... даже наши большие часы остановились..., – и она с улыбкой показывает мне различные места и указывает на умолкшие часы. И, в действительности, на картинах помимо настоящей рамки образовались еще целые «рамки из клопов». В каждой щели гнездились насекомые.

- Очень интересно..... действительно... очень интересно..., – отвечаю я, запинаясь. Ничего другого в мою голову не приходит, так беспристрастно и как само собой разумеющееся показала мне все это маленькая женщина. Если высокое начальство живет так, если его так заедают клопы... а я даже хотел приткнуться в тюрьме напротив? Как наивен я, все же, был!

Екатерина Петровна была маленькой черноволосой женщиной. Волосы она расчесывала с пробором в середине, фигура ее была пухлая, мягка как ее симпатичное, но не особо умное личико. Ее руки были маленькими и чувственными. Она пахла хорошими духами, которые сегодня она употребила в очень богатой мере. Можно было заметить тщательность, с которой она принаряжалась. Ее простое платье обнаруживало плохо удаленные пятна, у платья было глубокое декольте, и оно ей очень шло.

Обход кишасших клопами комнат, в которых стояла когда-то роскошная, а теперь пришедшая в состояние полной запущенности мебель, едва ли закончился, когда вошел Иван Иванович. Мы подали друг другу руки. С несколько смущенной улыбкой он рассматривал меня. Он только что побрился, помылся и тоже надушился. Его относительно новая форма была слишком тесна в груди, жесткий воротник мундира мешал ему, и поэтому он чувствовал себя действительно не в своей тарелке.

- Вы все же пришли, это очень любезно с вашей стороны, я уже думал, что вы не придете, не знаю почему, но я думал именно так.

- Это большая честь для меня, Иван Иванович!

- Я уже знаю, уже знаю, – перебил он меня, – так утверждает каждый, кто приходит ко мне. Говорить со мной только в полицейском здании, для большинства это не честь. Ну, хорошо, хорошо, – прервал он себя самого, улыбнулся и торопливо предложил мне сигарету.

В этот момент куры закудахтали особенно громко; мы увидели, как они внезапно прекратили клевать клопов из матрасов и разбежались в разные стороны от петуха. Посреди матраса, высокомерно вытягиваясь, куриный паша позволил зазвучать своему победоносному «кукареку».

Иван Иванович бросил уничтожающий взгляд на жену и был при этом заметно смущен.

Дверь хлопнула, появилась служанка. Она держала стопку тарелок в руках.

Снова она осклабилась на меня.

- Машка! Выйди вон, немедленно вон! Как разъяренный лев бросился Иван Иванович на ничего не подозревающую девушку, ее ухмылка застыла, тарелки упали на пол, она убежала. – Катя! Сегодня, наконец, моему терпению пришел конец! В глазах этого человека... он, должно быть, думает, что мы готтентоты или кафры...! Сегодня, когда у меня гость, куры гуляют по двору и выклевают клопов из наших матрасов. Непричесанная девчонка... ее придурковатая ухмылка. Я вовсе не подозревал в ней чего-то такого. Каждый день здесь что-то новое! Ради Бога, какие еще неожиданности ждут нас, для увеселения нашего гостя!? Если бы я мог утонуть, все же, во всей моей натуральной величине!

- С твоим-то размером, Иван! – совершенно спокойно произнесла женщина. – К счастью, посуда...

- Я даже еще не упомянул об этом, наша прекрасная, дорогая посуда! Я должен за все платить, за все, за все! Все валится на мои усталые плечи!

- Да это же только старая посуда, которую Машка вовсе не должна был приносить...

- Ну, раз так, тогда все хорошо, Катя, но... – Иван Иванович подбирал слова, однако, у него не получилось. – Вы... Теперь вы были свидетелем всего этого; скажите теперь сами, все же, мой дорогой, разве это чудо, если я пью? Это действительно уж никак не Божье чудо. Чудо было бы, если бы я не пил. Конечно. Это было бы большое чудо!

- Ты, это было бы действительно чудо, Иван! Маленькая женщина сказала это так убеждено, с такой большой энергией, что я не мог не рассмеяться.

- Лучше я совсем ничего больше не буду говорить, пусть все здесь валится дальше, до самого конца! Он сделал безразличное движение рукой и потянул меня в соседнюю комнату, оставив жену в одиночестве.

Когда по прошествии продолжительного времени обед, наконец, был подан на стол, все было в порядке. На столе стояла правильная посуда, служанка едва ли ослабилась на меня, и на дворе исчезли матрасы и куры.

- Мы ожидаем сегодня вечером еще одного гостя, это Игнатъев, – сказала после трапезы Екатерина Петровна. Было заметно, как ей неловко, что ее муж после простого извинения отправился спать.

- Очень неприятный человек, – ответил я сразу.

- Он всюду шпионит, доносит на всех и он самый подлый из всех подлецов; к нему не подберешься, это напрасно.

Маленькая женщина заметно беспокоилась и подбирала слова.

- Сегодня моему мужу пришлось не на шутку бороться с ним; я говорю вам это по секрету. Игнатъев подготовил о вас сообщение, в котором жалуется, что все приказы из Петербурга тут так плохо выполняют. Вы послали без разрешения полиции телеграмму в Петербург и затем получили 1000 рублей. Это, естественно, породило слухи в городе, сейчас ищут человека, который дал вам эти деньги добровольно или принудительно. Даже подтверждение почты не служит для Игнатъева доказательством. Подозрение пало на вашего домовладельца. О нем говорят, что он преступным путем заработал свои деньги и теперь вступил с вами в сговор. Никто у нас не может чувствовать себя в безопасности перед этим Игнатъевым. Он как проклятие, которое лежит на Никитино. Больше всего вынужден страдать от этого мой муж. Медленно, но беспрерывно подлец расшатывает его положение. Я, я хотела бы попросить вас кое о чем...

Боязливо она взглянула на меня. Я предвидел, чего ей бы от меня хотелось.

- Я с моим мужем, скажу вам честно, просмотрела все ваше дело. Вы должны быть умным человеком.

- Я обещаю вам, что сделаю все, что в моих силах, – ответил я. – Я обещал уже вчера это вашему мужу.

- Муж сказал мне, но он не совсем доверяет вам, – последовал честный ответ. – Попытайтесь, пожалуйста, ради меня. Вы можете потребовать от меня всего, что вы хотите. Вот моя рука!

Входит Игнатъев. Он неопрятен и нечистоплотен, в его одежде чувствуется его полное неуважение к хозяевам.

- А ты-то что здесь делаешь? – он смотрит на меня с пренебрежением.

- Меня пригласили, как и тебя.

- Ты тут не нахальничай, парень. Ты, видать, не знаешь, кто стоит перед тобой? Ты со мной на самом деле еще не знаком, не так ли?

- Я очень хорошо знаю, кто ты. Точно так же и ты хорошо знаешь, по чьему приказу меня освободили. Неужели ты об этом уже забыл?

Игнатъев внезапно наполняется неистовой яростью; но ударить меня, тем не менее, он не решается, так как знает, что я намного сильнее его. Я смотрю на него и улыбаюсь, чтобы разозлить его еще больше.

- Довольно печально, если в Петербурге занимаются такими субъектами! – бросает он упрек.

- Писарь, как ты выражаешься о своих начальниках!? Иван Иванович, – говорю я преувеличенно подчеркнуто, – точно запомните эти слова. Я не позволю оскорблять моих друзей, тем более, какому-то писарю!

Игнатъев бледнеет и молчит. Он знает, что в состоянии аффекта совершил очень грубую ошибку, которую едва ли может исправить. За оскорбление должностного лица подчиненным в России можно поплатиться даже головой. Взволнованно он трет себе пот со лба, взгляд его блуждает.

- Бросьте, мы ведь хотели бы поладить. Вы совершенно зря рассердились. Как вас зовут по имени и отчеству? – говорю я примирительно.

- Григорий Михайлович Игнатъев..., – недовольно произносит он.

- Григорий Михайлович, не дадите ли мне вашу руку, потому не будем враждовать, не так ли?

Игнатъев осторожно кладет свою руку в мою. Он трусливо смотрит на меня, потом на других. Все же, я улыбаюсь. Не могу ли я быть исключительно благодарным мужчине за мою столь дешевую победу?

Мы через некоторое время садимся за ломберный стол.

Екатерина Петровна сидит в стороне. Она молчит, и только когда ее взгляд падает на меня, я вижу, что ее глаза испуганы, потому что она очень нерв-

ничает. Ее муж тоже, который обычно буквально сыплет словами, сегодня становится все молчаливее.

Мы играем в азартную игру «очко» на деньги.

Игнатъев хочет непременно выиграть, но проигрывает. Из-за этого он все более возбуждается. Иван Иванович ни выиграл, ни проиграл. Монеты путешествуют через стол, как бы по недоразумению я складываю их у него, он также берет их автоматически к себе.

Вскоре под влиянием алкоголя, который оба мужчины пьют постоянно, игра становится более оживленной. Игнатъев начинает делать большие ставки, он, долго подстрекаемый мною, все больше теряет самообладание; он требует снова реваншей, и вскоре он больше не может платить, его проигрыш растет и растет. С дрожью он считает карты в своих грязных руках, они подобны жадным когтям... взгляд... проигрыш! Теперь он полностью в моей власти, он потерял всякую ориентацию. Я намеренно увеличиваю его потери, позволяя ему играть дальше, хотя он уже давно не может заплатить. Иван Иванович только лишь смотрит и звенит моими монетами.

Наступает рассвет. Игнатъев с трудом встает, бросает давно угасшую сигарету на пол, давит ее ногой, шатается над столом, где стоят пустые бутылки, выбирает себе еще наполовину пустую, по собственной инициативе наливает водку в чайный стакан, опустошает его одним глотком, и строит из себя важную персону. С глупым видом он пристально смотрит вокруг, тупо уставившись на всех нас, шатаясь, бредет через комнату, добирается до ломберного стола и берет листок, на котором я отметил его долг после проигрыша.

Там стоит большая сумма – 196 рублей! Мужчина испуган.

- Подпишите!

Он отказывается, его лицо синее от ярости и алкоголя.

- Вы должны!

Неохотно он хватается за карандаш, его рука падает на бумагу, остается лежать на секунды, потом неразборчиво выводит на ней подпись.

Вдруг он проводит рукой над игровым столом, карты летят на пол, стаканы, бутылка, деньги. Не прощаясь, Игнатъев покидает дом.

Глаза Ивана Ивановича уже давно хмурые, шаг неуверенный. Он падает на диван, пытается еще раз открыть глаза... он уже храпит.

Екатерина Петровна не ушла спать. У нее уже давно больше не было сил, чтобы угощать гостей. Бледность исказила ее лицо, она похожа на мертвеца. Но из ее темного уголка дивана она наблюдала за всем. Теперь она встает и медленно подходит ко мне.

- Я благодарю вас от всего сердца, доктор! Вы опаснее, чем я думала.

- Когда речь идет о моей жизни, я обычно не шучу.

- Когда я должна выполнить свое обещание?

- Скоро..., вероятно, уже завтра.

Женщина краснеет.

За окном наступает день...

Целый день полиция отдыхала. Капитан и Игнатьев прекратили мешать друг другу. Оба знали, что теперь должно что-то произойти, что-то решающее. Однако они оба больше не решались атаковать друг друга, они лишь с нетерпением ожидали в засаде.

Я был уже через несколько дней разочарован своей квартирой. Паразиты всякого рода мучили меня, особенно клопы. В кухне к моему ужасу сотни тараканов ползали по остаткам еды. Все помещение было наполнено ползанием и шумом этих темно-коричневых насекомых величиной от 2 до 3 сантиметров. В квартире этой годами никто не жил. (Клопы могут пять лет существовать без питания). У чудовищ после такого долгого периода ожидания был дикий голод. Ночью я не мог сомкнуть глаз. Как бы много клопов я не поймал, снова и снова новые и новые армии подкрадывались на мою кровать, голодные, прозрачные как лист пергамента и наглые. Только теперь я понял правильность выражения: «нахальный, как клоп!» Я бессильно бушевал в пустых комнатах, утро еще не начиналось, когда я от отчаяния бродил по улицам, потому что дома я просто больше не мог это выдержать. Я в ярости обратился к моему домовладельцу, а он... он утверждал с наглым душевным спокойствием и злой улыбкой... что клопы его не кусали!

Я внимательно посмотрел на этого неприметного мужчину со всех сторон. Может, этот человек был самым искусным укротителем зверей всех времен и народов? Единственным, который смог отучить клопов кусаться? Он вовсе не был на такого похож! Но, вероятно, укротитель клопов как раз и должен был выглядеть именно так?

Все мои уловки, чтобы избавиться от паразитов, были напрасны, даже последнее средство. Я поставил ножки моей кровати в сосуды с острой эссенцией, которая лишала меня сна и вызывала сильные головные боли. Сначала

зверюги перед ней отступили, и я хотел уж было торжествовать, но в следующее мгновение они повернули назад, поползли вверх по стенам, и те же бесконечные армии, по отдельности, по группам, по семьям, падали как маленькие кусочки града с абсолютной точностью с потолка на мою кровать. Будь я в тот момент Самсоном с не отрезанными волосами, я мог бы развалить весь дом. Однако, я чувствовал себя как мустанг, которому отрезали все четыре ноги.

Посреди этой памятной ночи я пошел к моему хозяину, безжалостно разбудил его, узнал от него адреса нескольких умелых ремесленников и сразу спешил к ним. Я стуком вытащил их из кроватей, обещал им хорошую оплату, и едва вошло солнце, как мы вместе приступили к делу. Ничто не было оставлено нетронутым, кроме стен. Пакля, которая служила уплотнением между балками, пол и потолок, все было снято.

Я подарил свою совсем недавно купленную кровать и матрасы, где я обнаружил гнезда клопов, как чаевые бедному столяру, который работал старательнее всех.

Ночи напролет я спал в соломе в конюшне между лошадьми, в течение дня я усердно помогал, я подгонял мужчин, платил им каждый вечер двойную плату, они охали и стонали, качая головой.

- Так быстро мы еще никогда в жизни не работали, – снова и снова повторяли они, и я охотно им верил.

Жена моего хозяина варила нам всем еду, она позаботилась также о распространении непонятного для местных слуха: немец не терпит клопов, он не терпит паразитов в своей квартире! Это была следующая сенсация для городка Никитино.

Прошли несколько дней. Моя квартира была чиста сверху донизу. Горы едкого порошка, целые ведра острых эссенций были всюду высыпаны и налиты. В первую ночь я со скептическим чувством лег в новую купленную кровать и ждал. Столяр должен был караулить.

Когда я проснулся, был уже полдень. Боевое крещение было пройдено, ни один клоп, ни один паразит не помешал мне.

Я облегченно вздохнул.

Перед домом моего хозяина четыре пыхтящих солдата притащили большую деревянную будку и установили перед моей входной дверью. Множество любопытных глазели долго. Часовой с примкнутым штыком оказывается всеобщей достопримечательностью всей Торговой улицы. Он очень гордится своей службой, и я знаю, солдаты рвутся стоять у меня на посту, так как тут на них

глядят как на чудо света. Даже унтер-офицер Лопатин лично отправляется на пост, чтобы подать хороший пример своей команде. Их лица всегда мрачны и серьезны, они стоят неподвижно, так как им объяснили, какой опасный я человек и сколько преступлений я совершил. Разговор со мной им, естественно, запрещен под угрозой наказания. Их служебное рвение очень велико, даже под дождем они часто стоят снаружи, не заходя в будку.

Я всегда должен говорить солдату, куда я иду, и как долго буду отсутствовать. Каждый раз я их по очереди обманываю.

Они видят это, но, тем не менее, молчат.

Вокруг Никитино отмеривается радиус в один километр. На такое расстояние я могу передвигаться, а дальше нет. Каждый, который видит меня вне этой «зоны свободы», имеет право стрелять в меня без предупреждения.

Моя входная дверь должна быть открыта днем и ночью. Закрывать дверь мне также запрещено; начальство должно в любое время иметь немедленный и беспрепятственный доступ во все мои помещения.

Игнатъев начал с нападения...

В Никитино был еще один злой дух помимо писаря Игнатъева, это был Александр Афанасьевич Лисицын, комендант лагеря военнопленных. Он был ранен при Эйдткунене и после выздоровления переведен в Никитино, так как не пользовался хорошей репутацией у своих начальников. Для него Никитино означало ссылку, так как он ненавидел все вокруг себя. Он никогда не появлялся где-нибудь без хлыста, и при этом у каждого было чувство, что в следующее мгновение этот хлыст опустится на ничего не подозревающую жертву.

- С вами, проклятыми гуннами, не справиться. Я не понимаю ваш мерзкий язык, слава Богу. Вы должны сопровождать меня и переводить мои приказы другим собакам! – это были первые слова, с которыми он обратился ко мне. Мы пошли в лагерь военнопленных. Часовые у входа отдали честь.

Свободное место, окруженное высоким проволочным забором. Землянки-бараки с маленькими окнами, выбитые ступеньки ведут вниз. На площади стоят полностью одичавшие мужчины, такие же, каким я когда-то был, когда меня таскали по тюрьмам. У всех них длинные бороды и длинные волосы, на голове частично форменные шапки, частично лохмотья. Люди натянули на себя по две-три шинели, это немецкая серая защитная, голубая австрийская и песочная турецкая форма. Она оборванная и твердая от грязи. На ногах разорванные сапоги с обмотками или просто кусками разорванных мундиров.

Это мои товарищи!

- Вызвать фельдфебеля! – рычит комендант.

Несколько одичавших людей исчезают в земляной дыре, но тут же выходят вместе с другим, который срочно снимает шинель и, согласно уставу, принимает стойку «смирно».

- Представьте этому человеку.

- Мое имя Крёгер, товарищ, я назначен переводчиком у коменданта. Мы подаем друг другу руки.

Мужчина держит мою руку. Я замечаю, насколько он взволнован.

Тем же вечером у меня еще происходит долгий разговор с моим хозяином. Я дал ему деньги, он должен был беседовать с часовыми и подробно их расспрашивать. Теперь он должен сообщить мне все, что знает о лагере.

- Комендант – это изверг, барин. Осенью, когда поступали пленные, было уже холодно, он разрешил им только выкопать ямы, чтобы они там могли жить. Никто туда не мог войти, прежде чем они будут выкопаны правильно, даже если зима их всех убьет. Им пришлось даже самим мастерить себе кровати. Людей гоняли почти каждый день и ночь. Они ночевали под открытым небом, даже если шел дождь или снег. Зимой минимум триста пленных умерли, и эти, они тоже не протянут долго, барин.

Несколько дней спустя ко мне прибежал солдат.

- Скорее, ваше высокоблагородие! Господин комендант зовет вас!

- Ваши мерзавцы хотят со мной поговорить, – так встречает меня комендант. Его мундир расстегнут, он пренебрежительно копается в своей тарелке, на которой лежит кусок жаркого с картошкой и овощами. Рядом я замечаю его хлыст. В пяти шагах от стола, под охраной двух солдат с примкнутыми штыками, стоит немецкий фельдфебель. Я подаю ему руку, которую он пытается слабо пожать.

- Оставьте ваши нежности! – орет на меня комендант. – Спросите, чего этот парень хочет, но быстро, у меня нет ни времени, ни желания беседовать с этой сволочью!

- Теперь тепло, господин Крёгер, – просит фельдфебель, – товарищи хотели бы получить мыло, чтобы умываться, расчески, чтобы вычесывать вшей. Возможно, мы можем купаться, по крайней мере, в реке, нам бы даже этого уже хватило.

Я перевожу это коменданту.

- Зачем этим свиньям купаться! Расчески и мыло! Они должны все сдохнуть! Ничего нет!

Я пытаюсь уговаривать, я прошу, но это не дает результатов.

- Мы на краю отчаяния, с нами обращаются недостойно человека, все же, мы – военнопленные, а не преступники, есть же международная конвенция...

- Конвенция?! – комендант внезапно прерывает его. – Я это понял! И в следующее мгновение хлыст опускается на голову фельдфебеля, но удар был направлен плохо. – Высечь! Лицо ругающегося стало темно-красным от ярости. – Со мной, царским офицером, хочет говорить такая вот скотина!

На дворе комендатуры спину фельдфебеля обнажают, мужчину кладут на нары, привязывают к ним. Подходят четверо солдат с нагайками, комендант командует, удары сыплются. Туго-натянутая спина меняет цвет, кожа лопается, течет кровь.

Немецкий фельдфебель не издал ни звука.

Полумертвого, его поднимают с окровавленных нар. Он не двигается. Я несу стакан воды и пытаюсь влить замученному хоть каплю, но тщетно. Я беру носовой платок, пытаюсь смыть кровь со спины и укладываю человека на скамью.

Мы одни, двор уже пуст.

Проходит много времени. Наконец, мужчина открывает глаза, пьет воду, два, три глотка.

Мы смотрим друг на друга... мы молчим.

Я знаю, он никогда в жизни не забудет этого, также как я никогда не забуду мои удары плетью.

С голой, кровоточащей спиной фельдфебель, шатаясь, бредет в лагерь военнопленных. Я иду с ним рядом. Если кто-то встречает нас и видит спину немца, он с ужасом отворачивается; во всех глазах ужас.

Они знают это.

Фаиме

Владельцами татарской лавки были братья Исламкуловы. Их отец, вождь многих татарских родов, якобы как-то в Крыму выразился в неблагоприятном духе о правительстве, после чего всю семью навечно сослали в Сибирь. Отец умер от скорби и тоски по родине, мать – от печали после смерти ее мужа. Теперь созданным еще отцом магазином управляли три его сына и их сестра. Они были усердны, умны и смертельно ненавидели эту страну и ее правительство. Воспоминание о Крыме было для всех них только мечтой, так как они были еще детьми, когда их родители вынуждены были покинуть родину. Пустыня Сибири наполовину стала их привычкой, хотя Крым оставался вечно их тоской. Ненависть к русским у татар в крови уже много веков. Со времени их великого Чингисхана в тринадцатом веке до их жестокого покорения царем Иваном Грозным в середине шестнадцатого века татары владели половиной России и большими территориями Польши, Венгрии, Моравии и Далмации. До сегодняшнего дня русские сохранили много татарских обычаев. Привычный глубокий поклон, падение на колени – это обычаи татарских времен, знак самого большого уважения, страха и верноподданничества. Также в русском языке сохранилось много монгольских и татарских слов. Во все времена мужчины татарского происхождения находились среди ключевых личностей страны.

Еще сегодня татары строго придерживаются учения Мухаммеда. «Никто не может избежать своей судьбы», учит Коран, все определяет «кисмет», неизбежная судьба. Между собой татары держатся вместе образцовым, даже таинственным способом. Это сближение облегчается для них их татарским письмом, которое большинство русских не умеет читать, татарский купец ведет даже свои конторские книги в большинстве случаев на своей собственной письменности. Их исключительная хитрость, честность, надежность и чистота и, в особенности, их заповеданная Кораном умеренность отличают татар от среднего русского. Это и есть основные причины благосостояния, в котором большинство татарских семей живет даже в самых бедных городках Сибири. Неудивительно, что это социально лучшее положение вызвало к ним ненависть русских, и неудивительно, что эта ненависть вызвала уже ответную ненависть татар. Потому татары с тайным злорадством приветствовали поражения русских в войне.

Как немец я вследствие этого вскоре нашел симпатию у братьев Исламкуловых, и из этого должно было получиться сотрудничество, которое было бы очень полезно и мне, и татарам.

Их лавка удовлетворяла мои потребности во всем необходимом. Я ходил туда почти каждый день.

От меня сейчас срочно требовалось закрепить мою свободу, по крайней мере, здесь в Никитино. Мне было абсолютно ясно, что я никогда не получу разрешение на проживание в крупном городе. Однако мне следовало защи-

тяться от возможных последующих репрессий. Переписку мне запретили, единственное письмо, которое я получил от отца, мне громко прочитал вслух Игнатъев. Я мог только ответить: «Мои дела идут хорошо, я здоров. Деньги получил с большой благодарностью. Письма я писать не могу». Такими были предписания из Петербурга, и им мне приходилось безоговорочно подчиняться.

Так как я был их лучшим клиентом, я пользовался также соответствующим уважением у татар.

Однажды Исламкуловы показали мне несколько коротких строк моего слуги Ахмеда. Я не мог читать татарские буквы, но с этого мгновения братья Исламкуловы обращались со мной как с другом.

- У нас есть наши собственные источники информации по всей России. Нам это нужно для проверки платежеспособности наших клиентов. Мы обмениваемся сведениями об этом и можем полностью полагаться на правильность таких сведений. Также мы так поддерживаем друг друга и... узнаем как раз то, что важно для коммерсанта. Людям, которым мы доверяем, оказывают предпочтение также наши друзья и единоверцы во всей России.

Это был ответ на все вопросы, которые я ставил татарам о письме моего верного Ахмеда.

Трех братьев Исламкуловых звали Али, Мохаммед и Ибрагим. Али был самым старшим, Мохаммед – средним, а Ибрагим – младшим.

Меня пригласили к ним на ужин.

Это большая честь, когда мусульмане приглашают человека другого вероисповедания к себе для трапезы. Гостеприимство – это для них что-то священное, гость что-то неприкосновенное.

Несколько крепких деревянных ступеней ведут к маленькой, украшенной богатой резьбой передней части здания. Входная дверь массивна, с широкими, тяжелыми засовами и замками. В углу висит звонок. Он звучит тихо, приглушенно.

Дверь открывается, старший брат, глава семьи, принимает меня. На нем широкий, длинный, пестрый кафтан из бухарских татарских тканей, узкий в талии, на голове маленькая круглая шапочка, украшенная вышивкой с золотым орнаментом. На чертах его лица скользит таинственная улыбка Азии, когда он мне низко кланяется.

С потолка прихожей свисает маленькая, пестрая висючая лампа, на стенах пестрые платки с татарскими буквами. Одна из занавесок отодвигается, я

вхожу в жилую комнату. Там стоят оба брата Мохаммед и Ибрагима, одетые так же как их старший брат. Они тоже вежливо кланяются.

Вместительная комната, обложенная дорогими коврами, на стенах действительно хорошие оригиналы, крымские пейзажи, и пестрые платки, тонкие, тщательно подобранные ковры. Маленькие низкие столы, маленькие скамьи и диваны, восточная лампа в середине комнаты.

Мы садимся на низкие маленькие скамейки.

- Вы теперь счастливы в вашем доме? – задает мне вопрос Али.

- Еще бы! И новая кровать тоже гораздо лучше старой. Я спал как бог.

- Я вначале вообще не мог вам поверить, когда вы покупали у меня эту новую кровать. Я думал, что вы шутите, пока вы не взгромоздили ее себе на плечи и не покинули лавку со смехом. Это уже обсудили все в Никитино, все утверждают, простите, пожалуйста, что вы не совсем нормальный. Мол, это с вами от тюрьмы и от климата.

Я смеюсь от всей души, со мной братья Исламкуловы, пусть даже несколько неуверенно и смущенно

- К сожалению, я еще не могу пригласить вас к себе, потому что у меня в комнатах пока стоят только ваши сундуки. Однако за то я могу гулять у себя в квартире, разве это не приятно? Во всяком случае, это что-то новое для меня. Больше всего я, естественно, люблю сидеть на кровати, она, по крайней мере, мягкая. Но, все же, я счастлив. Все остальное тоже получится, если, конечно, меня снова не пошлют в тюрьму. Последние мои слова звучат несколько глухо и горько.

- Господин Крёгер, позвольте мне дать вам совет, будьте очень любезны с писарем Игнатьевым и с господином полицейским капитаном тоже. Если необходимо, давайте им обоим при каком-либо случае деньги и снова, и снова деньги. Это не защита против подлостей Игнатьева, но, по крайней мере, все же, хоть маленькое успокоение. Если вы станете для них двоих дойной коровой, то репрессии против вас со временем останутся лишь на бумаге. Знаете ли вы, что господа нам очень задолжали, что мы не даем уже Игнатьеву ни копейки кредита?

За мной слышится очень тихий шум. Я останавливаю дыхание и внезапно очень отчетливо чувствую, что в следующее мгновение я испытаю огромную радость.

- Это Фаиме, наша сестра..., – говорит Али.

Медленно я встаю, оборачиваюсь. Маленькая рука появляется из широкого рукава пестрой одежды из татарской ткани, я склоняюсь к ней вниз и осторожно целую ее.

Фаиме...

Ее руки малы и искусны, ее ноги изящны и проворны. Ее черные, переходящие в синеву волосы гладкие, расчесаны с пробором точно в середине и завязаны на затылке в тяжелый узел. Ее нос со слегка согнутой благородно тонкой спинкой, ноздри выдают страсть. Черные, миндалевидные глаза немного раскосые. Они хранят в себе все эти необъяснимые тайны ее дальней родины. Это Фаиме, заброшенная судьбой, как и я, в этот потерянный городок в глубинах Сибири.

Ее глаза смотрят на меня вопросительно и с большим удивлением, я всегда должен видеть их... они необъяснимы, они прекрасны... Теперь они улыбаются...

- Я больше не боюсь вас, – она опускает взгляд. – Теперь Вы выглядите иначе чем... чем раньше...

- Мы хотим пойти есть, если это вас устраивает, – говорит Али.

- Да, с большим удовольствием, я очень голоден.

- Вы оказали нас всем, но особенно нашей сестре, высокую честь, господин Крёгер... Вы поцеловали ей руку, говорит старший брат, глубоко покраснев.

- Позвольте мне, по крайней мере, на несколько часов снова стать тем человеком, каким я был раньше, когда-то. Достаточно долго я уже не был им, и кто знает, что еще мне предстоит.

Занавесы отодвинулись, татары отошли в сторону и поклонились. Мы пошли в столовую.

Кривые сабли, инкрустированные кинжалы и ножи, пики, старый лук, рядом с ним колчан, все окружено множеством стрел. Все это придавало тяжелый, почти мрачный отпечаток комнате с блестящей мебелью из кавказского грецкого ореха. Широкий стол был накрыт белой скатертью из камчатной ткани и старыми восточными серебряными приборами.

- Я поставил для Вас также бутылку водки. Мы татары не пьем алкоголь, так как наша религия запрещает нам это.

- Очень мило с вашей стороны, – ответил я, – но я сам пью только тогда, когда этого требует гостеприимство.

- Но тогда вы, все же, выпьете после жаркого бутылку вина. Я ее тоже припас для вас.

Татарка, служанка Исламкуловых, подавала на стол тихими, искусными движениями.

- Собственно, Фаиме не должна была бы есть с нами, так как мы не показываем наших женщин чужим мужчинам. Это старинный обычай, в нем, наверное, есть что-то хорошее, но вы – не русский и не принадлежите к числу «других». Фаиме очень просила меня об этом, и я не могу так легко отказать моей сестре в этом одном желании. Она ведет однообразную, полностью углубленную в себя жизнь, она очень молода и как раз охотно хочет побеседовать.

- Будьте, пожалуйста, столь любезны, господин Крёгер, и расскажите действительно нам побольше, – добавила Фаиме. – Вы можете говорить у нас открыто обо всем, так как этого никто не услышит. Вы... среди друзей.

- То, что только что сказала моя сестра, совершенно искренне, господин Крёгер. Вы можете доверять нам.

Я схватил протянутую мне руку татарина, и снова он таинственно улыбнулся мне.

Я ел за троих, шашлык был приготовлен блестяще, крымское вино пылало как пламенная кровь.

Ужин был закончен, мы вернулись в жилую комнату. Я попросил разрешения закурить. Фаиме принесла мне сигареты в коробочке из розового дерева.

- Моя сестра приготовила сигареты для вас с особенной тщательностью из свежего табака Месаксуди, – благосклонно заметил Али. [Константин Месаксуди – основатель и многолетний владелец крупнейшей табачной фабрики в Керчи, понтийский грек по происхождению – прим. перев.]

Когда девушка подала мне сигареты и огонь, я поцеловал ей руку, и снова мне пришлось остановить дыхание под напором этого сильного, настоящего ощущения счастья.

- Вы не сочтете за дерзость, – начал я, – если я сразу же обращаюсь к вам с одной очень большой просьбой.

- С моей стороны было бы невежливо, если бы я вынужден был повторить уже сделанные вам признания, – прервал меня самый старший.

- Вы все знаете, кто я и откуда я прибыл. Вы также знаете, что меня в любой день могут повесить, мое освобождение является только отсрочкой. Я хотел бы закрепить ту свободу, которой я достиг в Никитино, до тех пор, пока продолжается война. Я должен послать кого-то в Петербург к моим друзьям, которые могут мне помочь. Понимаете ли вы, как это ужасно... постоянно ждать смерти? День ото дня, каждый час?!

Мои хозяева молчали и мрачно глядели вперед. Фаиме сидел на полу на множестве пестрых подушек. Она была похожа на маленького, таинственного Будду. В руке она держала коробочку из розового дерева.

- Сделайте мне одолжение, Исламкулов, езжайте в Петербург. Я дам вам письмо к моему слуге Ахмеду, рекомендации, которые сразу открывают вам все двери, которые остаются закрытыми для других. Поезжайте, как можно скорее! Я восемь месяцев ожидал в тюрьмах смерти, и теперь... с тех пор, как я свободен... я больше не могу... я действительно больше не могу... Никто не знает, что происходит у меня внутри...!

Я поднимаю голову и смотрю на Фаиме. В ее глазах стоит ужас, как тогда, когда она впервые увидела меня в одежде каторжника. Я невольно протягиваю к ней руку, она подходит ко мне как лунатик. Я хватаю ее руки, я целую эти руки, которые вдруг обнимают мою голову...

- Я поеду... , – шепчет она.

- Скажите в Петербурге, что они должны казнить меня... сразу...! Но они не должны заставляя меня ждать смерти! Это негуманно!... Я... не могу... не могу больше!

- Спокойно, господин Крёгер, Ахмед сообщил обо всем. Мы мусульмане не бросим вас!

Это сказал Али. И позже, когда он провожал меня до самой двери моего дома, добавил: – Приходите к нам, всякий раз когда хотите. Тогда вы, по крайней мере, не будете одиноки. Вы для нас желанный гость в любое время.

Он подает мне руку, она легко ложится в мою. Лицо мужчины безучастно, только быстрая улыбка промелькнула на нем, как будто бы ее вообще не было. Немного раскосые глаза смотрят на меня... В уголках глаза только я читаю искренность азиата.

- Спокойной ночи, господин Крёгер... Тихо прозвучали эти слова, и татарин поклонился мне, как будто он слуга, а я господин.

Он удаляется. Шаг его легок и тих.

Искренне ли все это задумано? Сможем ли мы, европейцы, когда-нибудь понять лицо Азии? Можем ли мы отчетливо читать на нем?.. Чудесное, неизвестное до сих пор чувство овладело мной.

Я пытаюсь понять это, разобраться – напрасно. Где-то в тщательно продуманном точном анализе есть пробел, который я не могу обнаружить. Но почему?

Я перенес восемь месяцев тюрьмы, я начинаю все сначала. У меня не было в течение этого времени серьезных болезней. Это правильно. Дальше. Мои физические силы снова почти в том же состоянии как во время моего бегства и моей борьбы у финско-шведской границы. Это тоже правильно.

И, все же, я стал внутри другим человеком!

Вернется ли все со временем на свое место?

Стану ли я снова таким, каким был прежде...?

Я не смогу быть таким, потому что что-то во мне разбилось, лопнуло... и это никогда уже не станет снова невредимым, никогда.

Часами неподвижно сидеть на теплом солнце, совершенно оторвавшись от всего и погрузившись в себя, смотреть вдаль, ни о чем не думать и не ждать... ничто. Это то, чего я снова хотел бы. Я однажды научился этому в тюрьме.

Тихая ночь. Я упал на кровать.

Передо мной стоит Фаиме...

Ее руки гладят мою голову, мое лицо.

Я хватаю ее... это только сон.

Вечером она пришла ко мне и принесла мне книгу. Это были «Воспоминания из Баден-Бадена» Ивана Тургенева.

- Но я не могу держать книгу у себя, мне это запрещено. Да и у вас тоже из-за этого могут быть самые большие неприятности.

- Я же могу просто забыть ее. Она лукаво смеется и удаляется на своих проворных ногах.

Мои пальцы охватывают книгу. Резким движением я широко раскрываю окно.

Теперь ночной воздух дует через открытые окна и приносит аромат леса и приближающегося утра.

Я с большой радостью последовал приглашению татар. В их доме я болтал с Фаиме. Там я также писал свое письмо; в нем было много, очень много страниц.

Фаиме очень радовалась предстоящей поездке в Петербург; для нее это было исполнение ее самого большого желания, ее самой смелой мечты, о чем она раньше и думать не могла бы.

Я рассказывал ей о Петербурге и Москве, о театре, опере, о балете в резиденциях, о юге России, Крыме, Черном море, Кавказе. Я рассказывал, как рассказывают детям, и Фаиме сидела со стучащим сердцем, красными щеками и светящимися глазами.

Между тем мое письмо было закончено, и я стал тихим и задумчивым. Мое повествование тоже подошло к концу.

- Сильно ли вы огорчитесь, Фаиме, если я лишу вас очень, очень большой радости?

- Если я смогу этим вам помочь, тогда нет. Я знаю, что вы не будете лишать меня радости без какой-то очень важной причины.

Я смотрел на нее молча, со всеми усилиями пытался овладеть собой, но мои глаза становились хмурыми.

- Я остаюсь... у вас... я остаюсь, – шептала она.

И мои слезы падали девушке в открытые руки.

Уехал Мохаммед.

Письмо ускользнуло от цензуры.

Вечерами мы с Фаиме ходили гулять вплоть до границы «зоны свободы». На маленькой, поросшей лесом возвышенности мы садились и болтали. Фаиме в большинстве случаев молчала. Я рассказывал ей о столицах Европы, о жизни за границей, моих поездках, о высоких, вечно покрытых снегом горах, синих озерах, о культуре и красоте. Но охотнее всего я рассказывал, однако, о моей родине и о море.

Фаиме слушала меня с детским воодушевлением и преданностью. Потом мы снова молчали долгое время.

- Фаиме, вы сделаете мне одно большое одолжение?

- Да.

- Знаете, я до сих пор тщетно искал того человека, кто дал мне милостыню и с нею свободу.

- Вы не рассердитесь на меня, если я не выполняю это ваше желание? Она посмотрела на меня. В ее глазах я прочел просьбу.

- Не рассержусь, но опечалюсь.

- Оставьте, все же, этому неизвестному радость того, что он дал что-то, не слыша благодарности. Вы наверняка опечалите его. Вероятно, он наблюдает за вами издали, радуется втайне и не хочет слышать благодарности от Вас. Может быть, это его единственная радость. Почему вы хотите разрушить ему ее?

- Возможно, он отдал последнее и теперь испытывает нужду.

- Это все европейцы, собственно, являются такими трезвыми? Разве вам не знакомо ощущение, когда вы отдаете что-то от всего сердца и от самой чистой души? Внимательно и вопросительно ее черные глаза смотрят на меня. Ее маленькая рука берет мою.

- Нет, Фаиме, мне не было знакомо такое ощущение. До сих пор моя вся жизнь была только работой и движением вперед. Числа и машины, трезвое мышление и действие.

Медленно она убирает назад свою руку.

- Мои воспитатели и моя жизнь никогда не говорили со мной о чувствах. Однако, вероятно, я могу научиться понимать это ощущение. Не уходите, не оставляйте меня снова одну. Внезапно я краснею, я стыжусь своего попрошайничества. Не требую ли я снова милостыню?

- Я дала вам милостыню... Ее рука возвращается, робко, стеснительно. – Но я не хотела обидеть вас.

Тяжело дыша, Фаиме лежит на моей груди. Ее рот пылает от моих поцелуев. Он немного приоткрыт. Ее глаза сияют. Медленно поднимаются ее руки, осторожно я убираю назад широкие рукава. Она кладет голые, мягкие руки мне вокруг шеи и шепчет: – Я так безгранично люблю тебя!

Числа! Машины! Годы железной работы! Беспокойное стремление и творчество! Трезвое мышление и действие!

Как бесполезно все это вдруг...

На следующий день, я как раз обедал и читал газеты, которые все были скомканы. Это была «макулатура» самой последней даты.

В двери беззвучно появляется фигура.

- Фаиме...!

Ее губы так горячи. Я поднимаю ее на руки и качаю как ребенка.

- Петр, – шепчет она, – теперь я всегда буду называть тебя так, потому что ты велик и силен. Ты как Петр Великий для меня! Я не могла спать всю ночь. Мои губы пылали и дрожали. Я была непостижимо счастлива. Я нигде не нахожу спокойствия. Я не узнаю больше саму себя и больше ничего не могу понять. Все изменилось этой ночью, ты, мои братья и все вокруг меня. Сегодня за завтраком Али сказал мне, что у меня никогда еще не было таких светящихся глаз. Теперь я знаю, что такое счастье, я ответила ему, а он улыбался так благосклонно, как я его никогда еще таким не видела. Но твои глаза такие странные. Они часто могут быть настолько колючими, что становится жутко, как тогда, в нашей лавке, когда ты не захотел взять деньги.

- Вот что ты уже успела открыть во мне! И ты... знаешь ты, что ты значишь для меня?... Фаиме! И на всем свете есть только одна Фаиме для меня. Я знаю, я никогда больше не найду другой Фаиме.

- Любишь ли ты меня также...?

- Безгранично! Я целую девушку, как будто потеряв рассудок, и внезапно я знаю, что никогда не смогу оставить ее, никогда больше.

Я все еще держу ее на руках и иду с ней к зеркалу. Она кладет свою голову к моей и шепчет:

- Всякий раз когда я отныне буду смотреть на себя в зеркале, я всегда буду видеть тебя рядом со мной, так же как теперь.

- Петр, – просит она смущенно, – давай купим пирог и будем пить кофе в твоей квартире. Мне этого так хочется.

Мы вышли на улицу. Фаиме как будто преобразилась. Она больше не была прежней татарской девушкой, теперь она чувствовала себя принадлежащей мне. Все должны были видеть нас вместе.

- У вас теперь ваш первый визит, господин доктор, и какая уважаемая гостья. Позвольте мне, все же, принести вам несколько стульев и стол, Вы же не

можете сидеть на сундуках, это так безобразно, – заметила моя хозяйка, сияя всем лицом.

Питье кофе было очень уютно. Фаиме и я болтали как два свободных счастливых ребенка.

Внезапно врывается Игнатъев. Сердитый и грязный, как всегда.

- Я должен знать, что в этом пакете. Я видел, как вы зашли с ним. И он указывает на пакет с книгами. Фаиме принесла их.

- Это вас вовсе не касается, это принадлежит мне, звучит короткий и решительный ответ. Я еще никогда не слышал, чтобы Фаиме разговаривала так.

- Откройте это немедленно. Что там? Книги?

- Вы не имеете права ничего мне приказывать! Татарка с пренебрежением глядит на разъяренного писаря..

Теперь встаю я. Фаиме боится, но Игнатъев уже убежал.

- Не бей, Петруша, дорогой, Петруша, ради меня, будь добр, пожалуйста. Как кошка Фаиме бросается к пакету и выбрасывает его из окна на двор.

Игнатъев уже появился снова, с ним караульный солдат, который стоит на посту в будке перед моим домом. У него в руках винтовка с примкнутым штыком. – Пакет! Где пакет с книгами... где он тут? Я хочу это знать. Он ведь только что был здесь! Я же не сумасшедший!

- Игнатъев, вы можете перерыть всю мою квартиру, у вас есть на это право, но если вы не найдете, пакет с книгами, о котором вы тут болтаете уже так долго, тогда горе вам!

Игнатъев внезапно успокаивается. Дрожащими руками он поднимает сундуки, разбрасывает их, пот течет у него по лбу. Фаиме идет к двери.

- Господин Крёгер, вы не должны обижаться на меня, если я сейчас уйду. А вы, вы больны, и должны знать, от чего!

Последние слова относятся к писарю. Фаиме уходит.

Немногие сундуки и кровать быстро осмотрены, во всем остальном квартира абсолютно пуста. Игнатъев стоит ошеломленно и пытается говорить.

- Идите лучше, уходите, так как я не хочу из-за вас снова попасть в тюрьму! Я дам вам, однако, один совет: больше не пейте!

- Но, все же, я не пьян, ради Бога, нет! Я клянусь! Я видел книгу... книги, я видел их... здесь, на этом месте, в газетной бумаге.

Едва Игнатьев – вместе с часовым спустился по лестнице, как Фаиме стоит снова передо мной. Мы долго глядим друг другу в глаза.

В тот самый вечер я снова гость у Исламкуловых.

Старший брат принимает меня и провожает в жилую комнату. Он смущен. Я знаю причину.

- Фаиме и я, – начинаю я, – любим друг друга очень, очень. Я обещаю вам..., – татарин все еще держит мою руку, и я замечаю, как он смущен, – ... я даю вам мое слово!

- Этого для меня достаточно, дорогой господин Крёгер. Я благодарю вас, что вы опередили меня. Я не знал сам, как я должен был вам об этом сказать... мы с братьями очень любим нашу Фаиме, она наша самая большая и единственная радость. Девочка такая же, как наш покойный отец, пылкая и безграничная в своей страсти. Я благодарю вас от всего сердца...

- Мне будет тяжело, очень тяжело сдержать свое обещание, но я никогда не сделаю свою игрушку из Фаиме, никогда..., и, после некоторого промедления, причем мое лицо краснеет, как у гимназиста, – но свою жену...

Мы садимся молча.

- Петр! Я взглянул вверх, Фаиме стоит в комнате. – Я нарядилась для тебя, только для тебя.

На ней длинное вечернее платье из темного, пестрого восточного материала, с длинными, широкими рукавами и глубоким вырезом. Одежда очень тесно обтягивает ее молодое, прекрасное тело. Я неосознанно тру лоб; на доли секунды мне приходится закрывать глаза.

- Ты совсем ничего не скажешь, Петр?

Я осторожно целую ее в красные губы.

Я хочу жить!

Согласно распоряжению я каждый день отмечался в полицейском участке. Был составлен список присутствующих, в который я должен был вносить свое имя. Полицейский штампель и подписи полицейских после этого подтверждали, что я на самом деле никуда не сбежал.

Напряженные дни, на которых покоилась работа полицейского начальства, прошли. Игнатъев стал необычайно приветливым и только и искал случая, чтобы втянуть меня в беседу. Я избегал его, как только мог. Он предлагал мне сигареты, просил меня выпить с ним чаю. Он заметно нервничал.

Мой хозяин, которому Игнатъев был должен за товары, прежде всего, за водку, настаивал на оплате. Движущей силой этого требования был я. Должнику давали срок в три дня, и если он не платил, то на него нужно было подавать судебный иск.

К вечеру следующего дня внезапно появляется Игнатъев. Он с гордым выражением лица предлагает мне коробку сигарет. Кто знает, с какими трудностями он их достал. Я их, тем не менее, возвращаю назад, замечая, что я курю другую марку.

- Вы пришли ко мне, чтобы занять у меня денег. – такими словами встречаю я его. Он вздрагивает.

- Вы ошибаетесь, я не нуждаюсь ни в каких деньгах, – говорит он дерзко.

- Тогда я сожалею, что не смогу вам ничего предложить. Вы сами уже видели это и обшарили мою квартиру вдоль и поперек, так что вам известно, что я еще не готов к приемам гостей.

- Я хотел только посмотреть, что вы делаете. Не забывайте, что вы подозреваетесь в шпионаже. Я советую вам быть осторожным. У меня есть право обыскивать вашу квартиру днем и ночью.

- Вы это уже снова доказали.

Он уходит, не прощаясь. Шагает неуверенно, как будто он хочет обернуться.

На следующий вечер он возвращается. Взволнованный и сильно вспотевший.

- Вы могли бы одолжить мне деньги? – затравленно выпаливает он сходу.

- Нет!

- Почему нет?

- Потому что я принципиально не ссужаю деньги!

- Я вам их непременно верну. С процентами и сложными процентами. Сколько процентов вы хотите получить? Внезапным движением рукой Игнатъев стирает пот у себя со лба.

- Игнатъев, вы же никогда не возвращаете свои долги.

- Я даю вам мое честное слово, что заплачу.

- Я не верю в это!

- Но я должен получить деньги, они непременно мне нужны.

- Вас здесь достаточно хорошо знают, займите, все же, где-то в другом месте.

- Никто не дает мне больше! Я уже всюду был. Его рука беспокойно трет лоб, скользит по растрепанным волосам. Воротник его мундира, кажется, стал ему вдруг ужасно тесным. – Вы должны одолжить мне деньги, господин Крёгер, пожалуйста, я должен непременно получить их, чтобы оплатить срочные долги, вы понимаете?

Я подхожу к окну, оставляю его стоять.

- Я наверняка мог бы быть полезен вам, вероятно, даже очень полезен, этого нельзя знать... Его голос дрожит. – Я обещаю и клянусь всеми святыми, что больше не буду делать обыск у вас.

- И я должен поверить вам? Вам?

Я подхожу к нему и достаю деньги из кармана.

- Я принципиально не ссужаю деньги, но я хочу подарить их вам. Я не хочу ничего получить назад от вас, понимаете?

Я кладу деньги на сундук, который заменяет стол в моей квартире. Игнатъев всеми пальцами проводит по волосам и таращится на деньги, как будто хочет их проглотить. Медленно, очень медленно я выписываю расписку.

- Так. Сколько вы хотите иметь? – спрашиваю я тогда.

- Сто рублей! Рука писаря с грязными ногтями уже твердо цепляется за купюру.

- Пойдите! Его рука испуганно отпрянула. – Я вовсе не думал дарить вам так много денег... Исключено.

- Тогда дайте мне пятьдесят рублей.

- Но, Игнатъев, это – это же больше вашего месячного жалования. А ваш карточный долг, 196 рублей?

- Да... нет..., но... Его голос становится хриплым. Он жаждет денег. На купюрах лежит мой кулак.

- Я дам Вам двадцать пять рублей.

- Да! Дайте, дайте мне денег! – теперь он визжит.

- Сначала подпись, затем деньги.

Не глядя на расписку, его дрожащая рука летит над бумагой.

Он подписал смертный приговор!

Он выбегает на широкую грязную улицу и исчезает в темноте.

На следующий день мой хозяин говорит мне с досадой:

- Барин, вы мне не поверите, сегодня Игнатъев выплатил мне часть своего долга. Он был совершенно пьян. Хотел бы я знать, что за идиот снова ссудил ему деньги. Я с удовольствием задушил бы этого типа своими собственными руками!

- Спокойно предоставьте это мне, – отвечаю я и оставляю мужчину озадаченным.

Когда я позже захожу в лавку братьев Исламкуловых, мне навстречу с радостью выбегает Фаиме.

- Петр! Представь себе, Мохаммед прислал телеграмму, он прибыл в Петербург и говорил с Ахмедом. Вот, читай сам.

Я сгибаюсь над ее руками и целую их. Потом я читаю телеграмму, о дословном тексте которой мы договорились заранее.

- Я, к сожалению, вынужден помешать вам..., некоторое время позже звучит за нашей спиной хриплый голос.

Я оборачиваюсь. Передо мной стоит Игнатъев, мы не услышали, как он вошел.

- Я должен поговорить с вами.

- Пожалуйста.

- Не здесь, снаружи.

- Проходите вперед. – Извините меня, пожалуйста, Фаиме.

Мы выходим из магазина. Солнце сияет. Игнатьев долго вытирает ладонью пот со лба. Он очень возбужден.

- Я же подписал вам долговое обязательство на двадцать пять рублей, – говорит он вполголоса.

- Нет, вы этого не делали, – невежливо отвечаю я.

- Вы что, думаете, я был пьян? Я точно это знаю.

- Если вы сами не знаете, что подписываете, тогда вам лучше всего было бы сразу уйти на пенсию.

- Это вас не касается! Я хочу знать, что я подписал! Я должен знать это! – Вы меня... – Он останавливается, мой взгляд предостерегает его.

- Пожалуйста, покажите мне, все же, мою долговую расписку, я вас прошу, – произносит он примирительно.

- Вы не подписывали долговую расписку. Вы только подтвердили, что получили от меня двадцать пять рублей в подарок.

- Да, но это же бессмысленно! Зачем вам было нужно подтверждение этого? Если что-то дарят, то расписка ведь не нужна?

- Верно, она не нужна, но как раз в этом случае я хотел получить ее.

- И что вы намереваетесь сделать с моей подписью? Глаза Игнатьева напряжено ищут ответ на моем лице. – Если я верну вам деньги, вы тогда вернете мне эту проклятую расписку?

- Вы же сами говорите, что она бесполезна.

- Вы вовсе не знаете, что означает проклятая бумага для меня. Вы совсем не понимаете этого!

- Правда? А что, если я, все же, понимаю...?

Невыразимая ненависть вспыхивает в глазах мужчины. Он стоит согнувшись. Он хочет вцепиться мне в горло.

-Петр!

Я разворачиваюсь и иду.

- Этот мужчина был похож на шайтана. Я испугалась за тебя! – Фаиме хватается мою руку.

- Вот, второй смертный приговор для этого черта! Я кладу роковую расписку на прилавок. Фаиме снова и снова перечитывает ее, потом отдает своему брату. Оба очень взволнованы.

- Действительно! – шепчет Али.

- Сохраните, пожалуйста, эту расписку тоже у себя. У меня она не в безопасности.

Когда я потом пришел домой, то по перерытой кровати и сундукам понял, что Игнатьев снова все обыскал у меня.

Вот что значило его обещание, клятва всеми святыми!

Тем же самым вечером я с Фаиме снова был на краю «зоны свободы». Я расстелил свое пальто, тоже купленное у Исламкуловых, на земле. Уткнувшись головой в колени Фаиме, я лежал там. Мы беседовали шепотом, как будто чтобы никто не мог подслушать нас.

Вдали лежало Никитино. Первые слабые огни керосиновых ламп вспыхивали за окнами хижин. Воздух был теплым, и постепенно все темнело и стихало. Где-то выла собака, потом другая залаяла, звучали протяжные голоса, как литка скрипела. Потом все звуки умолкли.

- Я снова не могла спать всю ночь, я должна была думать лишь о тебе, Петр. Ты делаешь меня такой счастливой! И, все же, мне кажется, как будто я не могу охватывать тебя руками. Я сама не знаю почему. Может, я недостаточно люблю тебя? Я отчетливо чувствую, я должна дать тебе что-то, от моей души, от моего бытия, иначе моя любовь – это не настоящая любовь, а я не хочу останавливаться на полпути. Я из-за моей любви к тебе забыла даже нашего Бога.

- Но это не правильно, Фаиме!

- Да, может быть, но почему я должна лгать? Может, я заканчиваю свою любовь, не должна ли я дать тебе что-то, без твоей просьбы ко мне об этом? Смотри, когда ты так кладешь свою голову мне на колени, когда ты целуешь меня... У меня сильно кружится голова. Но я, однако, отчетливо замечаю, что ты владеешь собой. Но должно быть что-то еще... освобождение. Я еще так молода, так неопытна, скажи же мне, ты хочешь... Петр?

- Да, Фаиме, как только я смогу.

- Если ты скажешь это мне, то я буду настолько счастлива, что положу руки на сердце и затаю дыхание.

И Фаиме склоняется ко мне и целует меня со всей ее детской нежностью.

Внезапно я слышу шум поблизости от нас. Потом он снова стихнет. Теперь шум возвращается. Тем не менее, в темноте я ничего не могу увидеть, и даже не знаю направление, из которого он исходит, так как Фаиме склонилась надо мной.

Маленький яркий огонь! Звук выстрела! Острая боль на верхней стороне левой ладони, которую я положил на голову Фаиме, раскатывающееся эхо в лесу. Я сразу вскочил, подхватил Фаиме на руки, добежал до маленького холма и упал вместе с нею на землю. Я внимательно слушаю... я слышу, как бьется сердце Фаиме. Ничего не двигается.

- Ты не ранена, ничего не болит? – спрашиваю я.

- Нет... Кто стрелял?... Почему?

- Наверное, охотник, я не знаю, малыш.

Я несу Фаиме до городка, привожу ее к ее дому. Она все еще не может успокоиться. Она целует меня дрожа. Я жду, пока дверь за девочкой не закрылась на замок.

Я стою на пустой улице. Я знаю, куда я должен идти... Из моей левой руки течет кровь.

Я знаю, кому предназначался выстрел: он должен был попасть не в меня, а в Фаиме; он должен был принести мне не смерть, а душевные муки, новое, полное одиночество.

Я стою перед домом Игнатьева... он не охраняется...

Долго я высматриваю в разные стороны.

Незаметно я вхожу.

Тринадцать дней после той моей «беседы» с Игнатьевым он отсутствовал во время моих появлений в полицейском участке. Только случайно я встретил его позже. Он подхалимски поздоровался со мной. Я больше никогда не отвечал на его приветствия. Его глаза были налившимися кровью, носовая кость сломана, зубы выбиты. Ветеринарный врач рассказывал всем, что Игнатьев якобы, будучи пьяным, споткнулся в темноте, лицо осталось изувеченным навсегда, он должен был долго переносить адские боли.

Уже прошло некоторое время после моего освобождения из тюрьмы. За это время я прекрасно отдохнул, мои дипломатические шахматные ходы были успешны. У меня была чистая квартира, было, что есть и пить.

Но у меня не было работы.

Конечно, я мог читать газеты и книги, которые приносила Фаиме, я читал их тоже в каком-то убежище, но при этом с беспокойством и волнением, без наслаждения, потому что я прекрасно знал, что это могло каждый день стоить головы девушке и мне. Разумеется, мне снова и снова подворачивалась возможность поработать. Я колот дрова у братьев Исламкуловых, у моего хозяина, у полицейского капитана, для органов власти, раскладывал недавно поступившие товары в татарской лавке, чистил и драил свою квартиру. Но я сам чувствовал себя при этом смешным, да, я стыдился, в конце концов, своей работы. При каждом бессмысленном занятии мне ухмылялась смерть и снова и снова шептала:

«... Казнь через повешение... временно...»

Но должны ли будут меня казнить? Была ли моя нынешняя свобода действительно лишь отсрочкой? Насколько долго, до завтра или дольше, до следующей недели, до следующего месяца? Должен ли я совершить, вероятно, какое-то противоречащее предписаниям действие, которое, искусственно раздутое, тогда должно было оправдать казнь? Только в те часы, когда Фаиме была у меня или мы вместе гуляли, я забывал о своей ужасной ситуации. Если я был один, тогда, однако, она с удвоенной силой возвращалась в мое сознание.

Внешне спокойный, привыкший владеть собой, но внутри полностью расшатанный, в длительном напряжении – в таком состоянии я встречал один день за другим. Я чувствовал все более отчетливо: я больше не смог бы справиться с моей прежней жизнью, с ее коварствами и опасностями, что-то внутри меня сломалось, лопнуло. Я постоянно с нетерпением ожидал сообщения – решения из Петербурга. Буду ли я жить или я должен умереть? Иногда мне это было безразлично, иногда доводило меня до бешенства.

Чтобы хотя бы днем отвлечься от ужасной неопределенности своей судьбы, я получил от своего хозяина маленький участок земли. Я перекопал его и хотел посадить там овощи. Построили также большой курятник с помощью того столяра, которому я подарил свою кровать. Мы с Фаиме купили кур, гусей и уток. Когда и эта работа тоже была сделана, «обезболивание» отступило, и я снова искал новую работу, как больной ищет морфий. Фаиме неутомимо пыталась развлечь меня.

Фаиме перевязала вряд ли достойную большого внимания рану на моей руке. Я должен был обедать и ужинать у нее.

Однажды, когда она готовила еду, она задумчиво сказала: – У меня есть одно такое безобразное, глупое желание. Я хотела бы, ты был бы болен, чтобы тогда заботиться о тебе со всей любовью и преданностью.

И другой раз: – Петр, мой дорогой, любимый Петр, – сегодня ночью мне пришло в голову что-то прекрасное, действительно чудесное, но ты должен сам догадаться об этом. Непременно подумай об этом.

- Сбежать...?

Я сказал это шепотом, так как боялся произнести это слово, и быстро огляделся. Не было ли кого-то, кто мог бы услышать это... часовой перед моим домом?

Черные, необъяснимые глаза смотрели на меня. Только они могли глубоко смотреть мне в душу, в ее самые скрытые углы.

- Я знаю, ты лелеешь эту мысль с первого дня освобождения. Но, Петр, любимый, дорогой Петр, возьми тогда меня с собой, умоляю тебя. В твоей стране я хочу служить тебе как служанка, но только не оставляй меня одну. Моя жизнь началась с тебя, и она закончится тобой. Пожалуйста, пожалуйста, не покидай меня.

- Ты не должна служить мне, Фаиме, а согласно закону и праву моей страны я хочу считать тебя... святой.

Я поднял девушку на руки, и она прижалась ко мне, как делают дети, которым простили какой-то плохой поступок.

Ночью, когда люди спали, я лежал на своей кровати, бодрствуя, в одежде, точно, как я на нее упал.

Из Петербурга все еще не было никакого сообщения! Почему?

Перед дверью я слышал спокойные, равномерные шаги часового. Сегодня на посту стоял унтер-офицер Лопатин. Особенная честь для меня, опасного преступника. Ночь тарасилась на меня через открытые окна. Окон было много, и поэтому было также много раскрытых, черных пастей.

Я внимательно прислушивался к себе.

Все же, я боялся умереть, испытывал страх перед смертью?

«... временно...», слово из моего приговора.

Я вскакиваю и хожу по комнате туда и сюда.

Когда это слово было впервые произнесено, я не знал страха. Сегодня все поменялось. Смысл моей прежней жизни, все творчество и неутомимый труд разрушились, превратились в ничто. Впервые в жизни я был теперь осознанно счастлив. Теперь, когда я чувствовал, как кипящая горячая кровь текла по моим венам, должен ли я проститься с чувствами и ощущениями, которые я раньше только смутно ощущал во всей их глубине, но для которых у меня не было времени? Пока что, временно, я мог иметь все, но только с этой оговоркой.

Да, я боялся умереть, так как я не хотел умирать теперь.

Да, у меня был страх перед неизвестностью, перед «временно».

Как долго я должен еще ждать смерть? Или она пройдет мимо меня, меня игнорируют, забудут? И все это, вся эта трусость из-за женщины, девушки, из-за почти ребенка, которого я как красивую игрушку носил на руках, с которой я сам был большим ребенком? Не было ли это смешной необузданностью, так поддаться страсти и ударить самого себя по лицу со словами: «Ты стал трусом!»

Сделали ли месяцы в тюрьме меня все же действительно слабым, лишили сопротивления? Мужчину, который полагал, что у него стальное, натренированное тело и холодный, расчетливый дух?!

Керосиновая лампа, которая беспрерывно качалась туда-сюда, отбрасывала мою призрачно большую тень на голые стены.

Ночь по-прежнему глядела на меня через окна.

Час за часом моя тень шаталась по комнате вперед и назад, а внизу на улице ходил туда-сюда, в том же самом темпе как я, часовой.

«Побег!... Побег!... Побег!... Побег!...»

Каждый шаг вдалбливает в меня это слово, каждый шаг подтверждает это.

Смешной пустяк! Бегство! Должен ли я обременять свою совесть?

Не написал ли Ахмед тайно татарам, что мои родители не получают разрешение на выезд из России, пока меня содержат под стражей в Сибири?

Я сжимаю кулаки, я прижимаю их к вискам. Только не потерять ясного соображения, только не увлечься! Я должен думать о других, не только обо мне!

«Фаиме!... Побег!... Фаиме!... Побег!... Фаиме!... Побег!...»

С каждым шагом падают эти слова, и я больше не могу прогнать их от меня, эти низкие мысли.

«Фаиме!... Побег!... Фаиме... Побег!»

Мои шаги снова и снова вдалбливают в меня это, и уже не только мой рот формирует эти слова.

Дух показывает прекрасные, великолепные картины свободы. Совесть умолкла. Я готов совершить подлость...

«Фаиме!... Побег!... Прямо теперь, не задумываясь, использовать всю мою силу... Должен ли я тем самым убить Фаиме?...»

Да!... Нет!...

Смешно!

Почему она теперь не со мной? Почему она не утешает меня ночью своими прекрасными маленькими детскими руками? Почему я связан моим честным словом, которое я дал ее брату? Кто создал уставы морали и чести?

«Фаиме... Побег!... Боже!... Я сбился с пути!»

Я открываю дверь и выхожу.

Первая бледная, едва заметная полоса света на горизонте. Звезды, вечные... там живет Господь Бог детей. Но я больше не могу быть ребенком.

Я сажусь на скамейку перед домом.

В сторожевой будке теперь храпит часовой. Должен ли я убежать...?

Я не могу... не могу – я должен ждать!

Скотина, солдат, как он храпит! На посту! Человек без энергии – это паразит, которого нужно убрать, так как он только преграждает нам дорогу.

Спящий... какое спокойствие исходит от него! Думаю я и рассматриваю его все время. За ним не стоит с нетерпением ожидающая смерть! Нет, напротив,

именно потому, что он спит! Часовой, заснувший на посту, повинен смерти. Какие бессмысленные слова внушаем мы, люди, самим себе...

- Лопатин! – я кричу... – Лопатин!

Он испуганно просыпается, с растерянным лицом направляет на меня штык, который я отодвигаю. – Все же, ты не должен спать на посту, дружище. Я ведь ночью могу сбежать...

Что за чушь я говорю – сбежать!

Я должен убежать? Парень с такими моральными принципами? Тюрьма, которую другие выносят в течение долгих лет, опасности, необычная жизнь – измотали меня!

Я – жалкий слабый человек, наверное, даже трус!

Солдат бормочет слова благодарности, которые я не слышу, не хочу понимать. Теперь он снова шагает перед домом вперед и назад.

Я снова сажусь на скамью и жду. Чего?

Смерти? Восходящего солнца?

Вчера я уже делал это, также и позавчера, я делаю это сегодня и повторю завтра, так долго... пока не исчезнет «временно». Тогда моя черная Фаиме ночью будет у меня, ночь исчезнет, и мы оба улыбнемся солнцу, но пока что...

Меня снова пригласили к Ивану Ивановичу. Немногие прошедшие дни нас очень сильно сблизили друг с другом. Всегда он был предупредителен ко мне и приветлив, тогда как я всегда отдавал ему должное как высшему начальнику. А Игнатъев я игнорировал.

- Вы очень разочаровали меня, Екатерина Петровна, – сказал я его супруге.

- Доктор, дорогой мой, я очень, очень старалась. Мой муж ужасно нерешительный. Я взывала к его чести, к его воинскому званию, да, я даже говорила ему, все же, он сам унижается перед Игнатъевым, если тот позволяет себе отдавать распоряжения через его голову, но ничего не помогает. Он не двигается, так как он уже давно утратил энергию. Она была готова расплакаться.

- Ну, хорошо, тогда оставьте это, Екатерина Петровна. Я вообразил, что вы как жена могли бы, по крайней мере, подстрекнуть мужа против писаря, а остальное я бы уже сам взял на себя.

- Вы не верите мне, а я ведь так старалась. Знаете ли вы, что я вас...

- Катя!... Катя!!... У нас есть что-то, чтобы быстро покушать? – из боковой комнаты зазвучал голос Ивана Ивановича. – Ведь ты знаешь, что сегодня придет доктор Крёгер. Как по мне, так лучше всего было бы, если бы он приходил каждый день, так как с тех пор как он здесь, здесь уже не так одиноко, не правда ли, Катя?... И я думаю, я уже больше не пью та много, как раньше. Ты это тоже заметила? Все же, это не может быть моим чистым возмущением? Ах, так вы уже тут, мой дорогой! Не хотите ли сигарету? Я все не буду предлагать вам стакан водки, вы же никогда ничего не пьете. Жаль, очень жаль, в компании пьется вдвое лучше, да и вкус тоже лучше. Да, очень жаль, питье может развеселить, вы знаете?

Ужин был закончен. Мы сидели и курили. Однако, беседа действительно не хотела налаживаться. Напряжение было между женщиной и мной.

- Я хотел бы, если бы это зависело от меня, сделать из Никитино крупный город, – сказал я, – тогда тут была бы, наконец, большая работа.

- Если бы вам предоставили свободу действий, я думаю, вы могли бы достичь этого, – заметил капитан.

- Собственно, это должно было бы быть задачей моего дорогого супруга, – сказала Екатерина Петровна. – Что бы вы, например, сделали для начала, в первую очередь? – спросила она заинтересовано.

- Знаете ли вы, чего здесь на самом деле больше всего не хватает? Достойной школы для девочек и мальчиков, и в ней хороших, старательных учителей. Ничего подобного нет во всей местности. Те дети, которые хотят идти в школу, так как это в вашей стране не является обязательным, должны ехать на сотни километров, поэтому частично живут в крупных городах, и родители не довольны, наверняка, этим большим удалением и значительными денежными расходами. Сделайте вашим начальникам в Омске предложение построить в Никитино школу. Я полагаю, вам вряд ли скажут «нет». Это могло бы быть также очень полезно и для вас самих.

- Иван, это замечательная идея! – воскликнула воодушевленно маленькая женщина и при этом снова посмотрела на меня.

- Но стоит слишком много денег, дорогая.

- Я, тем не менее, попыталась бы подать такое прошение. Это совсем ничего не стоит, даже почтовой марки, Иван, попробуй!

- Это стоит совсем немного денег, Иван Иванович, – возразил я, – ведь рабочая сила у вас очень дешева. Заключение могут помогать, лес растет у вас

перед домом. Смотрите, более дешевой и более благоприятной возможности и представить себе нельзя. Ваша жена права, все же, попробуйте!

Мы молчали довольно долго. Я четко видел, насколько нерешителен полицейский капитан, потому мне следовало его еще как-то подтолкнуть.

- Представьте себе, вы тогда станете учредителем этой школы. Каждый год все больше и больше людей приезжают в Никитино. То, что всем этим людям потребуется здесь, огромно. Никитино начнет грандиозно развиваться. И всегда будут говорить: это создал Иван Иванович, а не кто-то другой! Подумайте, какое вас ожидает повышение жалования! Можете ли вы тогда вообразить себе лицо Игнатьева?!

Теперь его черты лица, которые сначала были недоброжелательными и даже немного злыми, начали расплываться в улыбке. Благоклонно он похлопал меня по плечу:

- Знаете, доктор, русская пословица говорит: «Немец обезьяну выдумал!»

Где-то нашли лист бумаги, обгрызенный карандаш. Две головы напряженно склонились над листом.

- А сколько людей должна охватывать гимназия?

- Пятьсот, – был мой немедленный ответ.

- Вы точно сумасшедший! Извините, пожалуйста, но мы же не в Москве!

- Зато подумайте, какое впечатление произведет эта цифра! Просто пишите, все правильно.

«Гимназия должна принимать пятьсот учеников и учениц», написал улыбающийся капитан. Теперь Екатерина Петровна обрадовалась и постепенно снова стала более разговорчивой. Вероятно, она уже видела себя гордо идущей по улицам Никитино: как она идет, а жители показывают на нее: это ее муж предложил замечательную идею построить эту гимназию.

Когда я прощался, капитан твердым голосом сказал мне: – Завтра утром я брошу тут все и сразу сам поеду в Омск, и проект я возьму с собой. И чтобы я такого не смог добиться?! Я?! Смешно!

Покинутый городок спал. Улицы были пусты. Там был дом, где жила Фаиме. Я остановился. Тихий свист. Второй. Окно раскрылось.

- Петр! – шепчет ее голос, совсем тихий, как дуновение ветерка. – Я знала, что ты придешь. Я ждала тебя.

Один прыжок и я у окна.

- Ты, мой дорогой! Нежно скользят кончики ее пальцев по моей щеке.

Тут я не могу иначе. Моя рука скользит над ее плечом, и я целую молодую, нежно-душистую кожу как умирающий от жажды. Мой рот блуждает над ее распущенными волосами, над глазами, щеками и лбом, находит другой рот, который не хочет отпускать...

Скачок, и я снова стою на улице.

Я еще не потерял самообладания.

На следующее утро Иван Иванович не смог уехать.

Он вбежал в мою квартиру, как будто за ним гнались фурии. Часовой перед моим домом никогда еще не видел своего капитана в таком состоянии. Сбитый с толку и обескураженный он стоит передо мной.

- Вот, читайте сами, это ужасно! – он беспрерывно крестится, он заикается. Он как будто раздавлен. – Игнатьев донес на вас, действовал самовольно. Я ни о чем не знал, совсем ничего не знал.

Буквы как огонь прожигают мое едва ли выздоровевшее сердце.

«... Немедленная отправка в Обские болота».

- Дорогой, хороший, ты... вы... не знаете, что означают эти болота? Из них еще никто не вернулся живым...! Все умерли там от горячки. Это верная смерть... прости меня... простите меня... но что я должен делать... что же мне делать...? Только скажи мне это, я сделаю это для тебя!

Моя первая мысль: Фаиме. Придется ли мне потерять ее? Тогда я утону в полной пустоте.

Иван Иванович трясет меня, как будто хочет вернуть мертвеца обратно к жизни. Он бормочет слова, которые мне непонятны. Я слушаю, но я могу и не могу понять его.

Внезапно... фигура передо мной, четкая, близкая...

- Я сейчас отправлю телеграмму в Петербург. Мой знакомый, генерал-лейтенант Р., может спасти меня. Он должен сделать это. Он знает меня, он знает, кто я такой!

Капитан удивленно смотрит на меня.

- Он самый влиятельный у нас человек!

Поспешно мы идем на почту. Капитан подписывает мою телеграмму в Петербург. Служащий у окошка тупо улыбается мне.

- Григорий Михайлович запретил отправлять какую-либо телеграмму от вас.

- И кто тут имеет право что-то говорить? Какой-то грязный писарь или господин капитан полиции? Игнатьев вообще не должен здесь ничем распоряжаться. Он должен только держать свой подлый рот на замке! – я едва могу владеть собой, моя ярость больше не знает границ.

Почтовый служащий отступает, как будто бы я его ударил. Я открываю дверь к окошкам, и капитан сам кладет мою телеграмму. Служащий несколько раз стучит по ключу аппарата Морзе и слова с жужжанием улетают прочь.

Принесут они мне смерть или жизнь?

Теперь у меня снова ясная голова. Отправляются следующие телеграммы. Все директивы приняты. Теперь мой хозяин должен окончательно уничтожить Игнатьева. Во что бы то ни стало!

Иван Иванович уезжает в Омск. Он поклялся мне просить за меня и отложить транспортировку на несколько дней. В первый раз за весь срок его службы он отказался сразу выполнить приказ начальства. Может ли он помочь мне, этот нерешительный, уже апатичный мужчина? Он не требовал деньги за свои тяжелые хлопоты, так как хотел сделать это ради дружбы со мной.

Игнатьева нигде больше не видно с момента поступления телеграммы. При посредничестве моего хозяина я повсюду блокирую ему кредит. Теперь он может нищенствовать, сколько он хочет. Из-за меня он может умереть с голоду, сдохнуть как собака. Он больше не осмеливается выйти на улицу и прячется в своей хижине. Вооруженный часовой стоит днем и ночью перед его дверью.

Когда Фаиме слышит о моей отправке в Обские болота, она вовсе не может этого понять.

- Я никогда не должна снова увидеть тебя? Должна остаться здесь? Ты должен медленно умирать в болотах? Почему ты требуешь от меня что-то столь чудовищное?!

Все советы ничем не помогают.

- Я поеду за тобой на Обские болота! Ты сам достаточно часто видел женщин, которые следовали за своими мужами в ссылку. Они покинули все, свои

деньги и имущество, и нищенствовали. Видеть его, схватывать его взгляд, было их блаженство. Я тоже хочу поступить так!

- Но в болотах вообще нет никакой возможности для женщины, чтобы жить. Там есть только тюрьма и кладбище. Я провел месяцы в тюрьмах и, все же, остался здоровый. И из болот я тоже вернусь. Разве я недостаточно здоров и силен?

- Ты велик и силен как никто другой, но ты знаешь сам, что из болот еще никто не возвратился.

Я употребляю самые различные отговорки, ничего не помогает

- Петр, любимый, почему ты мучишь меня отговорками, в которые сам не веришь, почему ты причиняешь мне такую боль, почему? Кто знает, когда закончится война?

- Ты можешь помочь мне гораздо больше, если поедешь за твоим братом в Петербург. То, чего не добились он и другой, ты сможешь достичь. У меня есть прекрасные связи. У этих людей имена и большое влияние. Они могут спасти меня. Это поможет мне больше, чем бессильный взгляд на то, как ты там умираешь рядом со мной.

- Но лучше скажи мне честно, что ты не хочешь видеть меня рядом. Не хочешь больше ничего знать обо мне? Может, я должна уйти? Скажи, это так?

- Да, это так, – говорю я. – Бессмысленные жертвы смешны. Кому ты этим поможешь? Мне? Наоборот, так как тогда у еще и твоя смерть будет на моей совести. Если ты хочешь помочь мне, то ты должна начинать на правильном месте, там, где может быть успех. Это место было и остается Петербург. В жизни не всегда нужно действовать по воле чувств и ощущений, Фаиме, потому что ясное, трезвое размышление стоит здесь более. Только оно приносит успех.

С детским заплаканным ртом она стоит передо мной.

- Разве ты не понимаешь, Петр, что моя жизнь пуста без тебя? Что я понимаю в твоём трезвом размышлении? Я, татарская девочка в Сибири! Я могу быть только милой к тебе и только повиноваться тебе. И совсем ничего больше. Она молчит. – Я сделаю то, что ты требуешь от меня. Посмотри, я такая маленькая и слабая, но, ты – Петр... Великий...

Я смотрю в наполненные слезами глаза смертельно огорченного ребенка, которому запретили плакать. Она стоит передо мной и останавливает дыхание, иначе она громко плакала бы.

Ежечасно я жду сообщения. Его нет. Почему?

Иван Иванович тоже не прислал телеграмму из Омска. Почему?

Мои нервы напряжены до невозможности. Смогу ли я избежать смерти?

Я не желаю возвращаться обратно в тюрьму!

Я не хочу позволить медленно убить себя!

Дни напряженного ожидания прошли, ни из Петербурга, ни из Омска сообщений нет.

Все покинули меня! Никто не хочет иметь ничего общего с немцем! Почта запрещает мне отправлять следующую телеграмму. Братья Исламкуловы и мой хозяин тоже терпят неудачу. Я лишен последней возможности связаться с Петербургом.

Повсюду из засады следит Игнатьев, собака!

Мое ощущение говорит мне: убей его! Но разум приказывает: подожди, подожди, для этого еще есть время!

Теперь, я жду ответ каждый час, нет, уже каждую минуту. Каждую минуту он может поступить.

Я показываюсь всем, кто хочет меня видеть, и часовому у двери, который должен видеть меня. Я никого не избегаю, я могу всем смотреть в глаза, я ем, я пью, я курю, кормлю моих кур и уток, гуляю, мои привычки остались прежними.

Но только мне приходится теперь очень часто напрягать мою голову, так как незнакомое внезапно возникающее иногда ослабление памяти обращает на себя внимание.

Что это? Реакция на многомесячное напряжение нервной системы?

Борьба между мной и писарем достигла апогея. Я знаю, Игнатьев хочет уничтожить меня, так как я могу ежеминутно вызвать его уничтожение. Я знаю, что он не остановится даже перед убийством, и что он долго размышлял над последним шагом для моего уничтожения.

Я полностью лишен прав.

Но я также знаю: если моя рука больше не доберется до Игнатьева, то для этого найдутся другие.

Мой хозяин, с его серыми, бесцветными глазами, с его холодными, безобразными руками, однажды сказал мне:

- Барин, жизнь человека в Сибири ничего не стоит, все мы убийцы и разбойники, и наши отцы тоже были такими. Наши леса бескрайни и молчаливы, реки бурны, наша ненависть велика, как эта огромная земля. Посмотрите на Игнатьева! Разве это не будет одним единственным наслаждением – зажать его между пальцами... придушить, немного освободить, чтобы он отдышался и надеялся... а потом опять... холодный пот, визг... Только такой человек умрет слишком быстро!

- Ты прав, но только подожди пока, потом он будет в твоих руках.

Старик улыбался довольно, и холодная дрожь бежала у меня по спине; над бесцветными глазами веки были наполовину закрыты.

Фаиме, ребенок!... Я мог смотреть ей в таинственные глаза, так как для меня они сияли. Можно ли было измерить глубину этих глаз, дойти до их дна? Они смотрели мне в душу, и ее губы шептали мне достаточно часто то, что я не решался произнести: «Сбежать?!» Но эти глаза могли сказать: «Ты убил его!»... И никогда нельзя было поднять их вуаль, никогда они не выдали бы свою тайну. Поэтому тоже я любил ее так сильно, потому что она не знала границы, я знал это.

Что стоит человеческая жизнь? Много? Мало? Ничего, совсем ничего? Сибирь велика, настолько велика, что потерявшихся людей там нельзя найти снова... Да их и не ищут, так как это бесцельно, так как никогда еще их не находили, никогда.

Унтер-офицер Лопатин подходит ко мне. Его глаза мерцают, он внезапно потерял свое привычное спокойствие.

- Барин, немецкий фельдфебель из лагеря для военнопленных просит, чтобы вы пришли. Вы нужны вашим товарищам. Его высокоблагородие, комендант лагеря... я не могу с вами об этом говорить, он – начальник... Все же, мы – люди, барин, и ваши товарищи тоже люди! Я долго беседовал с ними, пока было можно... они даже все христиане, как мы! Он доводит их до того, что они умирают с голоду, опускаются, они все умрут, все, если... если... никто не поможет им. Это грех, смертный грех, барин. Бог проклянет таких людей... Всемогуший Бог, такие слова приходится произносить грешному человеку!

Вместе с русским я иду к лагерю военнопленных. Часовые знают, что я не могу заходить в лагерь, но мрачное выражение лица Лопатина и его звание заставляют их молча отойти.

На маленькой пустой площади, окруженной ямами, сидит фельдфебель. Как по неслышной команде из земляных нор выползают фигуры, живые, бездушные призраки; некоторые едва ли могут идти. Это все еще люди? Холодно бежит вниз по моей спине. И ты еще осмеливаешься жаловаться на твою судьбу.

Фигуры пытаются встать «смирно». Я возражаю.

- Сыпной тиф, перемежающаяся лихорадка и дизентерия бушуют у нас. Мы все чахнем... – Таковы приветственные слова немецкого фельдфебеля.

Двое обреченных на смерть, он и я, подают друг другу руки. Он – только тень. Они все такие, все. Сотни глаз смотрят на меня.

Я – их последняя, самая последняя надежда.

Я никогда в жизни не забуду эти глаза, даже если я буду бессмертен.

Мой план разработан.

Есть одна лишь возможность спасти товарищей.

Я иду в комендатуру. Коменданта там больше нет. Солдаты знают меня, поэтому спокойно оставляют меня ждать в его кабинете. Я краду один лист бумаги, на котором мужчина написал различные слова, потом еще чистый официальный бланк. Мне этого достаточно.

Я провожу полночи, чтобы научиться подражать его почерку. Листок служит мне образцом. Наконец, я записываю на бумагу короткие приказы, распоряжения для радикального улучшения лагеря военнопленных.

День проходит. Наступает тихий весенний вечер. Воздух теплый, праздные люди идут вдоль улиц, с вечным любопытством смотрят вверх на мои окна.

Перед домом коменданта стоит часовая.

- Я срочно должен поговорить с комендантом, по служебным делам!

Часовой звонит. Выходит горничная, запирает дверь за мной и указывает мне комнату коменданта. В этот момент я намеренно роняю монету и ищу ее. За это время горничная ушла.

Я открываю дверь в комнату. За столом сидит комендант, перед ним хлыст и... револьвер. Я быстро вхожу и приближаюсь к мужчине.

- Мы все умрем! В лагере появилась черная чума!

В ужасе мужчина закрывает лицо руками.

Я хватаю его револьвер.

Звучит выстрел!

Я кладу покрытый каракулями официальный бланк на стол, бросаю револьвер на пол. Три прыжка к двери, я вырываю ключ, закрываю их снаружи, кладу ключ в карман.

Со всей силы я стучу теперь по запертой двери, барабаню кулаками, грохот раздается по всему дому. Тут уже стоит жена коменданта, она абсолютно ошеломлена.

- Часовой! Часовой! – кричу я во всю глотку из входной двери на улицу. Подбегает солдат. – В кабинете коменданта только что стреляли!

Объединенными усилиями мы выламываем дверь.

На стуле, за своим столом, сидит комендант лагеря. Из его лба течет кровь, все лицо залито кровью и полностью искажено, глаза раскрыты в невыразимом ужасе. На полу лежит револьвер, на столе исписанный бланк.

В отчаянии жена коменданта падает на колени перед своим мужем. Дети громко плачут и боятся мертвого отца, горничная всхлипывает в углу, часовой крестится, шепчет слова молитвы. Потом он поспешно удаляется. Вскоре после этого он снова приходит с Лопатиным и фельдшером, вскоре после этого за ними следует судебный следователь. Общими силами коменданта поднимают из кресла. Судебный следователь принимается за работу. Я помогаю.

Ключ от запертой двери обнаруживается на столе.

Через полтора часа протокол окончен, и я могу идти. Я быстро спешу к дому татарина и звоню. Дверь открывается, но я не вхожу.

- Исламкулов, вы окажете мне невероятно большую услугу, принесите, пожалуйста, из магазина новый костюм для меня, я был в лагере военнопленных.

- Разумеется, с большим удовольствием, но, господин Крёгер, входите, почему вы остановились снаружи?

- Не прикасайтесь ко мне. Я был у тифозных больных.

На конюшне я переодеваюсь и тщательно умываюсь.

- Знаете ли вы, что комендант покончил с собой? Я как раз оттуда! – говорю я потом.

Все молчат. Я сажусь за ужин. Мои руки дрожат.

Фаиме смотрит на меня. Я опускаю взгляд, но чувствую, как ее глаза все еще глядят на меня. Она и я, мы одинаково, только мы двое знаем это.

- Наверняка, иначе не могло быть, – говорит она.

- Да, так должно было быть!

Девушка наполняет мой стакан красным вином. Как кровь, думаю я, и рассматриваю при этом мои руки.

Но они чисты.

Ночью я чутко лежу в кровати. Рядом со мной бодрствует татарка. Неподвижно, как застывшая, сидит она, маленький, задумчивый, дорогой идол. Ее глаза наполовину закрыты и направлены на ночь, которая глядит на нас из открытых окон. Внизу туда-сюда шагает часовой.

Я чувствую себя жалким и уставшим, и все выше растущая температура приводит меня в неопишуемое беспокойство, вызывает бредовые мысли, которые смешивают действительность с фантазией.

Наступает рассвет. Приходит день, я поднимаюсь, ищу отвлечения в еде, курении, разговорах. Приходит полдень, я жду кого-то... Придет ли он? Не приближаются ли шаги?

Наступает вечер...

Он приходит!

- Вот следственный протокол. Барин, господин судебный следователь просит вас, чтобы вы подписали его, так как вы там присутствовали, – и Лопатин подает мне исписанный лист бумаги. Я прочитываю его, читаю еще раз. Как тяжелый молот моя рука опускается; документ подписан. Солдат уходит.

Он действительно пришел.

Но... он не забрал меня...

Все еще нет никакого сообщения! Лишь бы меня не покинули силы и чувства!

Температура растет все выше. Меня знобит, мой разум отключается все больше, и я едва ли в состоянии защищаться, хотя я долго сопротивляюсь. Озноб становится все сильнее, глаза невыносимо болят, пока мне не приходится закрыть их на долгое время.

- Я буду ухаживать за тобой, Петруша..., – шепчет татарка, – теперь черная птица летает над лесом беззвучно, это черный ворон, еще один... Просто закрой свои глаза, ты устал, должен спать. Завтра все снова станет хорошо, тогда ты вновь сможешь видеть. Я останусь у тебя, сколько ты хочешь.

Я хватаю руку девушки.

Когда лесные звери должны умирать, то они прячутся. Я больше не ставлю ногу перед дверью, так как у меня больше нет сил. чтобы идти. Только Фаиме у меня. Я знаю, она может молчать, даже если это стоит ей жизни. Я потребовал этого от нее, и она обещала это мне.

- Барин!... Барин..., кто-то зовет меня, среди ночи! Или это опять бредовая мысль? Нет, это мой хозяин, человек, которого называли преступником.

- Мой племянник, почтовый служащий, тайком принес мне эту телеграмму. Радостная весть! Вы остаетесь в Никитино! Вот, читаете сами. Игнатьев строго-настрого запретил передавать это сообщение...

Он подает мне лоскут бумаги с едва разборчивыми словами. Они пляшут, они исчезают, возвращаются, потом я читаю одно слово. Мое имя, дальше, дальше, прежде чем буквы снова расплывутся!

Слишком поздно, они расплылись, перед глазами темно.

Теперь, вот буквы возвращаются! «... должен оставаться в Никитино без права отрыва...» Всё, темно, ничего больше не видно, все плывет, потом становится невыносимо светло... Я медленно опускаюсь на колени.

- Фаиме... дитя мое... моя дорогая, – я хватаю девочку и держу ее боязливо, – моя голова... я ничего больше не могу думать... мои глаза... все становится темным... я больше ничего не могу видеть...

- Петр, Боже мой, что с тобой? Вставай...

- Барин, барин, всемогущий Боже! Теперь вы спасены, навсегда...

- Останься на ночь у меня, Фаиме, только ты, никого не подпускай ко мне... все мои враги.

- Я с тобой, я остаюсь у тебя. Из далекой, далекой дали доносятся ко мне эти ее слова. Я больше не ощущаю тяжести своего тела.

- Фаиме! Мой рот из всех сил пытается говорить, я должен еще произнести эти немногие слова, я должен идти! Но губы не двигаются. Ухо больше не слышит звуков.

Я чувствую волосы девочки на моем лице, на щеках, я вдыхаю ее аромат... Я так счастлив... Затем чувства покидают меня.

В моих снах в бреду я видел, как Фаиме стоит передо мной. Солдаты, арестанты, великан Степан, Маруся с ребенком на руке, ругающиеся конвоиры окружали меня. Цепи надевали на меня и обматывали вокруг всего тела. Иван Иванович приглашал меня к игре в карты. Игнатьев ухмылялся мне. Голова его была большой, твякающей собачьей пастью. Вся комната, кажется, была полна людей, все что-то мне говорили, все хотели что-то получить от меня.

Потом опять вокруг меня была ночь. Я задыхался. Сильные руки держали меня, из объятий которых я не мог освободиться. Потом внезапно снова стало невыносимо светло.

Когда вокруг меня было светло, мягкие, нежные руки водили по моему лицу и волосам...

* * *

Сестра милосердия Красного Креста склонилась ко мне, и моя голова тогда внезапно охладела.

Позже я узнал: часовой, стоявший у моей двери, рассказал всем, что немец лежит при смерти. Ветеринар, единственный врач в городке, был добрым, сердечным человеком, но не мог обращаться осторожно и квалифицированно даже со своими животными. Для него я был уже давно обречен. Он с каждым днем все более задумчиво качал головой, глядя на меня. Моя болезнь была для него самой большой загадкой в мире.

Впервые я смог ясно видеть во второй половине дня. Комната как будто превратилась. Вокруг меня стояла знакомая мебель. На окнах опущены темные занавески. Рядом с кроватью сидела сестра милосердия, у конца кровати стояла женщина в ослепительно белом фартуке, добродушная и полная. Я должен был знать ее, подумал я.

- Наташа..., – произнес, наконец, я.

- Барин!... Великий Боже!... , ответ прозвучал, как эхо.

- Где Фаиме?

Сестра указала на широкий диван. Свернувшись как собачка, там лежала Фаиме. Добрая рука накрыла ее.

- Я остаюсь здесь или должен отправляться на болота?

- Вы остаетесь! Его Превосходительство генерал-лейтенант Р. Позаботился о вас. Всякая опасность устранена. Он даже добился для вас гораздо большей свободы.

- Теперь я хотел бы спать. Я так бесконечно устал...

Спасен

Из самой дальней дали, из самой глубокой глубины я снова медленно возвращался к себе и к действительности. Голоса вокруг меня постепенно становились понятными, окрестность ощущаемее.

«Я остаюсь. Мне не придется ехать на Обские болота». Мысль медленно и лениво течет от головы в пустоту членов. Теперь я чувствую их. Они тяжелы как свинец и абсолютно неподвижны.

- Если он проснется, сразу пошлите часового ко мне. Он обрадуется добрым новостям. Вы мне обещаете?

- Охотно, господин капитан, я обещаю вам это!

- Если ему нужны будут деньги, сестра, тогда скажите об этом мне. Все, что я могу сделать для него, я с удовольствием сделаю. Я отдам самое последнее. Я его лучший друг!

- Большое спасибо, господин капитан.

Дверь тихо закрывается. Несколько слов звучат снаружи перед домом. Шаги удаляются.

Передо мной стоит сестра Красного Креста. Она улыбается.

- Как вы себя чувствуете, господин Крёгер?

- Спасибо, сестра, хорошо. Звучит еще несколько неуверенно, но, все же, я пытаюсь снова овладеть своим голосом. – Я благодарю вас, сестра Анна, что вы позаботились обо мне. Как у вас дела? С трудом я пытаюсь пожать ее руку.

- Наташу, вы тоже приехали? – Я подаю руку и полной женщине с белым фартуком.

Это наша петербургская повариха, которая служила моим родителям уже пятнадцать лет, младшая сестра моей кормилицы. Женщина хватает мою руку, падает на колени и непрерывно плачет, не в силах овладеть собой.

- Барин! Боже!

В этих словах лежит весь ужас, который окружает меня.

- Петр! С затаенным дыханием и большими глазами в комнату вбегает Фаиме. Я протягиваю руку к девушке.

Она падает на кровать и покрывает мою руку поцелуями и слезами. – Мой дорогой! Петр! Ты! Ее голова падает мне на грудь. Она не может спокойно лежать, она беспорядочно двигается. Черные волосы становятся растрепанными. Она крепко обнимает меня, она дрожит, она лихорадочно возбуждена. Тут я кладу свою руку на ее голову, едва слышное стелание, и она стихает. Теперь она спокойно дышит на моей груди.

Когда она поднимает голову, я смотрю в худое личико. В ее глазах стоит ужас и нерешительная, полная надежды радость.

Когда я через несколько дней смог снова встать в первый раз, я подкрался к большому настенному зеркалу, принесенному сестрой и верной поварихой Наташей. Я не узнал себя. Лицо было похоже на череп, из которого два почти угасших глаза смотрели в пустоту. Я согнулся как старик, тело было только лишь каркасом. Растрепанная, неряшливая борода разрослась, и на висках увидел я первые седые волосы...

Опираясь на обеих женщин, я продолжал мою прогулку по квартире. Она полностью изменилась. Вокруг меня была культура крупного города в дикой местности.

Всемогущие деньги оплатили все, преодолев и здесь расстояния и преграды.

Лопатин, который приходил посещать меня, смотрел на все, как на волшебную страну. Он рассказывал в городке странные вещи. Он никогда еще не видел так много костюмов, белья и ботинок как у немца. Все шкафы полны этим. Немец якобы даже спал в костюме. (Он имел в виду мою пижаму). Но самым удивительным предметом была безопасная бритва. Она была такой же маленькой, как его большой палец, и имела множество маленьких зубчиков. Богатство было просто неопишваемым, так как сестра при распаковке вещей, чему он по своим обязанностям должен был помешать, дала ему на чай целых пять рублей.

Едва часовой узнал о моих «первых шагах», как прибыл Иван Иванович. Я никогда еще не видел этого человека в таком радостном настроении.

- Ах, ах, наконец, ну, мой дорогой! Давайте теперь обращаться друг к другу на «ты», ты действительно глубоко запал мне в сердце, собственно, уже очень давно, но ты... ну если уже, мой дорогой, ты снова здоров, слава Богу. Я в Омске сделал для тебя все, что мог. Ты остаешься в Никитино, навсегда, не бойся, теперь никто не обидит тебя. Я тоже остаюсь здесь навсегда. Мое предложение построить школу, было сразу принято. Меня хвалило все начальство. Я получаю существенное повышение жалования. Я также получу орден. Подумай только, да еще какой! Я уже посмотрел его, так, очень бегло, ты знаешь. Он блестит, я тебе скажу, чудесно. Я обязан этим только тебе, мой дорогой! Он потом поцеловал меня в щеку по русскому обычаю и обнял меня. – Теперь мы оба станем лучшими друзьями, наилучшими, которые только могут быть. Он улыбался во все лицо и был полон необузданной радости. – И здесь, – он опустил руку в сумку и сделал хитрое, таинственное лицо, – у тебя есть мой маленький подарок. Появилась бутылка с французским коньяком, которую, естественно, сразу откупорили. Мы пили на брудершафт. Один бросал другому по очереди бранное слово, это был такой обычай в России, мы смеялись, и он снова целовал меня в обе щеки.

- Еще большая, почти невероятная радость, мой дорогой: Игнатьева осудили. Твой хозяин, эта скотина, так выступал за тебя, что Игнатьев уже арестован и отправлен в тюрьму. Теперь суд в Омске ожидает твоих показаний. Я бы этого сукина сына...

- Позвольте мне самому все рассказать барину! Этими словами мой хозяин прервал капитана и подошел со своей женой ко мне.

- Позвольте мне сначала пожелать барину действительно хорошего здоровья и потом..., – он преподнес мне огромный ржаной хлеб с маленьким, деревянным сосудом с солью и медной монеткой на нем, – ... я желаю вам счастья в новой квартире. Все тут теперь так прекрасно, мы еще ничего подобного нигде не видели. Значит, вот так изящно живут в Петербурге? Теперь вам больше не придется сидеть на сундуках.

Мы засмеялись и выпили стаканчик коньяка с моими хозяевами. Затем он рассказал мне, что произошло с Игнатьевым.

Когда я лежал без сознания в постели, Игнатьев постоянно хотел войти ко мне. Однако, Фаиме не пускала его ко мне и защищала меня как кошка своих котят. Писарь бушевал от ярости и вступил с моим хозяином в спор. Слово за слово, и не подбеги вовремя Лопатин, старик удушил бы Игнатьева. Жалоба на подлеца, с высказываниями других людей, была отправлена в Омск. Дрожавший Игнатьев ползал на коленях, когда пришел ответный запрос. Мой хо-

заяин был непреклонен, и по его побуждения Иван Иванович очень подробно ответил на запрос. Капитан вернулся из своей поездки в Омск и благодаря своим предложениям пользовался теперь расположением у начальства. Тут он получил благоприятный случай избавиться от чертова писаря. Были заслушаны свидетели и чиновники, они подтвердили произвол писаря, утайку телеграмм для меня из Петербурга и Омска и еще многое другое. Решающим был тот факт, что Игнатъев позволил себе получить от меня в подарок деньги. Он был арестован и отправлен в Омск. Мой допрос отсрочивался из-за моей болезни.

Иван Иванович счастливо съездил в Омск. Его ходатайство в мою пользу увенчалось успехом, однако его телеграмма, которую утаил Игнатъев, так никогда и не попала ко мне. Предложение построить гимназию было встречено положительно, и через несколько коротких дней было уже готовое решение, к строительству можно было приступить. Он возвратился ошарашенным.

А татарка?

Фаиме сначала абсолютно растерянно стояла у моей постели. Одни лишь ее любовь и самопожертвование не могли помочь мне выздороветь. В отчаянии она обращалась к ветеринарному врачу, к своим братьям и моим хозяевам и, наконец, к Ивану Ивановичу. Известный врач в Перми, который получил по телеграфу приказ прибыть в Никитино, отказался лечить немца. Телеграммы понеслись в Петербург по указанным мной еще раньше адресам, оттуда телеграфировали ответ, помощь уже в пути. Страшные дни и часы. Прибудет ли помощь вовремя? Фаиме не отступала от моей кровати, как она мне обещала, она пережила тысячу страхов. Кто мог помочь ей? Никто! Теперь я спокойно лежал в кровати, пытался подняться и хотел покинуть комнату. В жару я извергал бранные слова и проклятия в адрес моих угнетателей. Они могли после выздоровления стоить мне головы, так как это были самые тяжелые оскорбления должностных лиц. Фаиме накрывала меня одеялом, она и мой хозяин удерживали меня изо всех сил, потому что подслушивающие в засаде уши ничего не должны были услышать.

Немец говорил непонятные слова, которые никогда не слышала маленькая Фаиме. Что они означали, чего хотел больной? Он беседовал с людьми, которые чудились ему в комнате. Его глаза пристально смотрели в даль. Он стал ужасным. Она даже начала испытывать страх перед ним. Потом он лежал там абсолютно спокойно и ослаблено. Теперь у девочки было больше сил, чем у мужчины. Она слушала стук его сердца. Оно билось едва внятно, и она слушала его снова и снова. Беспокойные, долгие ночи только вдвоем. Вечно мучающий вопрос: Как можно помочь ему? Когда прибудет, наконец, помощь?...

Внезапно сестра милосердия Красного Креста, с еще одной, просто выглядящей женщиной заходят в комнату. В ужасе они оглядываются в квартире.

- Он еще жив?

- Да, – звучит неуверенно, по-детски, отчаянно. – Помогите ему, ради Бога..., пожалуйста... После этого Фаиме больше не знала ничего.

Она была у своего Петра весь день, но он больше не узнает ее, он даже не знает, что она молится за него, гладит его голову и целует его. Он лежит неподвижно, как будто хочет скоро умереть.

Сестра из Красного Креста ободряет ее. Фаиме замечает, что она лжет. Она должна лгать! Если бы она сказала ей правду...

Привозят прекрасную, изящную мебель, которой обставляют квартиру, и Фаиме чувствует себя оттесненной множеством новых вещей и двумя чужими женщинами.

Свернувшись в клубок, как маленькая собака, спит татарка на диване в моей комнате. Ее нельзя прогонять.

Брат Фаиме вернулся из Петербурга. Он рассказывает весь день, и все слушают его, кроме Фаиме. Она больше не может работать, так как она очень ослабла. Ее брат рассказывает о родителях Крёгера. Они живут на вилле, у них есть бесчисленные комнаты, несколько слуг, оранжерея, где цветы растут даже зимой, у них есть машины, которые могут ездить очень быстро. Но Петербург – это город, который построен из гранита. Дворцы, церкви, широкие улицы, огромные многоэтажные дома. Много электрических трамваев, на реке Неве много больших и маленьких пароходов. Никитино в сравнении с ним, действительно, дикая местность.

Мохаммед рассказывает также об Ахмеди... Потом однажды Петр проснулся, и он узнал ее.

Было воскресенье, первая половина дня. Сестра Анна и повариха Наташа были в церкви. Я оставался дома один с Фаиме. Окна были широко открыты, как раз шел дождь, и снаружи приходила приятная свежесть, пропитанная ароматом полностью проснувшегося лета. Воробьи бодро чирикали перед домом, летали туда-сюда, похожие на толпу резвых озорников.

Мы сидели напротив друг друга. Татарка был странно возбуждена.

- Что с тобой, Фаиме, ты хочешь мне что-то сказать?

- Да, но, Петр, это дается мне так бесконечно тяжело, и, все же, я должна сказать это тебе. Моя жизнь зависит от этого.

- Но, дитя мое, в чем дело? Подойди, ко мне, я хочу целовать тебе руки, они гладили меня всегда с такой любовью, но последние дни они больше не хотят этого; почему?

- Я чувствую себя теперь лишней. Тебя оберегают другие женщины и заботятся о тебе, я ничего не понимаю во всем этом, смотрю и только мешаю. Мне действительно нужно уйти, да, я должна уйти? Две большие слезы, слезы ребенка, блестели между ее ресницами.

Я тут же подскочил к ней и взял к себе на колени. Я ничего не мог говорить, я всегда должен был только улыбаться и растроганно целовать ее печальные глаза.

- С тех пор как у тебя здесь есть твои вещи, твои костюмы, мебель и все другое, ты для меня другой человек. Я знала тебя только в простом костюме, который не подходил тебе, но тогда ты был ровней мне, мой Петр. Теперь ты выглядишь совсем другим. Ты не принадлежишь к нам. Твоя одежда, белье, ботинки чужды мне, они красивы, очень прекрасны, мне все очень нравится в тебе, и ты сам стал намного, гораздо красивее из-за этого, но...

Ее маленькая рука вскоре ухватила один, потом другой палец моей руки.

- Ночи напролет я сидела на сундуке рядом с твоей кроватью. Я могла говорить с тобой, как долго я хотела, даже если ты тогда не понимал меня. Я могла воспринимать слабое биение твоего сердца своим ухом. Если я засыпала, ослабев, то мое ухо все равно слышало каждый твой вздох, и мой первый взгляд при пробуждении падал на тебя, было это днем или ночью. И теперь... теперь все по-другому. Я снова должна как раньше идти домой и смогу приходить к тебе только в гости. Я выполнила мое обещание, я не подпустила, Петр, никого к тебе, всегда... всегда я была с тобой.

Горячие слеза одна за другой падали мне на руки, но никакой звук больше не исходил с ее бледных губ. Вопросительно и жаждуще ее глаза уставились в мои.

- Ты всегда должна оставаться у меня, Фаиме. Ты больше не можешь уйти от меня, никогда... больше никогда в жизни.

- Правда ли это..., я должна навсегда оставаться, Петр..... с тобой... навсегда...?

- Да, правда... ты останешься теперь навсегда со мной!

Глубоко тронутый, я целовал Фаиме слезы на щеках, на всем любимом лице, ее глазах, волосах, на маленьких руках. Она смущенно улыбалась, время от времени всхлипывая, тихий стон раздавался из открытого, заплаканного рта.

- Когда сестра Анна уедет, и я снова буду здоровым, тогда я заберу тебя, сразу же, да?

- Да, Петр, тогда я снова приду к тебе.

Я выхожу из дома в лето.

Сады, деревья, кусты, вдали луга, все позеленели. Я останавливаюсь. Что-то звучит во мне как грустная песня в миноре.

Робко, с тайным страхом я иду к моим товарищам. Но я зря пытаюсь высмотреть что-то за высоким колючим проволочным забором, там не видно ни одной души. Часовые исчезли, все ямы засыпаны. Неужели они все умерли, последние четыре тысячи?

Но я все же для них...

Я иду в полицейское управление, к Ивану Ивановичу.

Он сияет от радости из-за моего прихода и бросает все, я должен даже сесть в его кресло.

- Куда подевались пленные, Иван...? И я с испугом жду ответ.

- Комендант покончил с собой, об этом никто не жалеет. За это время в Никитино прибыл новый комендант, старый генерал, человек высокой культуры. Я точно следовал коротким распоряжениям прежнего коменданта, которые он написал перед смертью, из раскаяния, неуверенной рукой, я даже пошел еще дальше. Больных отделили, здоровые находятся в пустой винокурне. Уже восемь дней, как никто больше не умер. Помочь им было так легко! Ветеринар, тупица, гордится своим успехом, так как это, наверное, был самый первый успех в его жизни. Я, офицер под царским орлом, показал, что наша страна – это не страна варваров! Мужчины получили все это свое утаенное до сих пор жалование, так что, в общем, у них все хорошо. Но, Федя, ты больше не можешь говорить с твоими приятелями. Приказ из Петербурга, я ничего не могу сделать. Ты хочешь увидеть их? Ну, тогда иди! Ты обрадуешься!

Винокурня была вместительным зданием, очень прочно построенным из кирпичей. У размещенных там пленных было достаточно места. Весь комплекс был обтянут забором из проволоки.

На огромном выложенном булыжниками дворе стояли мужчины в защитных мундирах. Они были чистыми, хоть и изношенными. Лица их были чисты и свидетельствовали о сносном питании. В углу двора играли в карты, и громкие, веселые голоса доносились ко мне оттуда.

«Вероятно, он наблюдает за ними издали, радуется втайне и не хочет слышать слов благодарности от них...»

Эти слова, которые когда-то говорила мне Фаиме, звучали внутри меня. Сегодня я мог понять их. Моя рука коснулась колючей проволоки... Я долго смотрел на моих товарищей.

И снова воскресенье, первая половина дня.

Ворота прежней винокурни раскрываются. Часовые салютуют. Генерал, капитан и я идут в лагерь военнопленных для «большой поверки». Я должен переводить моим товарищам распоряжения генерала.

Во дворе солдаты стоят в шеренгах, впереди унтер-офицеры.

- Равняйся! Смирно! – звучит трескучий голос немецкого фельдфебеля; ряды принимают стойку «смирно», обе стороны отдают честь.

- Товарищи! Я должен представить вам нового коменданта лагеря, его превосходительство генерала Протопопова!

Генерал долго держит свою правую руку у фуражки, и это отдание чести доказывает его внимание и уважение по отношению к пленным. Глаза солдат смотрят на нас.

- Пожалуйста, переведите вашим товарищам следующее: Я должен выполнить свой долг, который заключается в том, чтобы содержать и контролировать всех вас в этом лагере для интернированных до конца войны. Мой долг в том, чтобы передавать вам всем то, что причитается вам в деньгах, продуктах, проживании и обращении. Однако долг начальника и в том, чтобы требовать от вас всех, без самого малейшего исключения, самой строгой дисциплины и самого точного соблюдения всех моих указаний и приказов. Я с самым строгим образом буду наказывать тех, кто будет противиться мне или подстрекать своих друзей к невыполнению моих распоряжений или пытаться сделать это. Пожалуйста!

Я перевожу сказанное. Пленные стоят неподвижно.

- Эти жесткие мероприятия, – продолжает генерал, – обусловлены тем фактом, что в городе нет ни одного врача! Медикаменты или какие-нибудь другие средства для борьбы с эпидемиями тоже вряд ли тут есть. Я просил при-

слать их, но их пока нет. Городок, в котором вы находитесь, беден, население живет в нужде и в самых тяжелых климатических условиях, вдали от цивилизации, очень далеко даже от ближайшей железнодорожной линии. Война расшатала всю страну, организация отдельных полей деятельности трудна, страна велика, поэтому для нас возникают все эти неприятные задержки. Мы должны проявить большое терпение, мы все должны смириться, и вы, и я! Всегда будьте осторожны с вашим здоровьем, так как ничто не может быть ценнее для вас, чем самосохранение, ничто не будет контролироваться более тщательно, чем санитарное состояние в лагере. Из-за неосторожности, небрежности и грязи возникают эпидемии, с которыми мы здесь не можем справиться! Зарубите себе это на носу! Если вы не уделите этому внимания, то каждый из вас станет убийцей своих собственных товарищей. Убийство наказывается тюрьмой! Я не дам поблажек и ни малейшего снисхождения тому, кто осмелится действовать в этом направлении. Для таких субъектов есть только одно возмездие – смерть за смерть!

Я перевожу.

- Мне сообщили о прежней ситуации в лагере. Мне представили списки умерших. Это говорит больше чем все описания ваших мучений. Полицейский капитан Лапушин устранил наихудшее, насколько он мог, я же позабочусь о том, чтобы такого недостойного человека положения, до тех пор, пока я ваш комендант лагеря, больше не было! Я хочу показать вам, пленным солдатам, что Россия – это не страна, в которой живут только варвары, и в дальнейшем я хочу доказать вам, что русский офицер, который с гордостью служит благородному царскому орлу, полностью осознает свои обязанности как человека и как начальника по отношению к пленным товарищам. Мое стремление в том, чтобы в вашей памяти вся Россия не осталась государством убийц и живодеров! Однако, я требую от каждого благоразумия и самой строгой дисциплины! Я сам буду контролировать все, вашу еду, жилье и все, что проходит вокруг вас. Теперь я хочу осмотреть, как вы размещены. Пожалуйста, переведите.

- Вольно! – гремит тогда голос фельдфебеля.

Генерал, полицейский капитан и я идем в сопровождении фельдфебеля через каждую общую спальню.

На деревянных нарах чистая солома, на них сложены одеяла из старых мундиров, столы и стулья выглядят упорядоченными аккуратно, пол подметен. У потолка висят керосиновые лампы. Ничто не ускользает от генерала.

Мы снова пришли на двор. Резкая команда, и шеренги распрямляются.

- Я требую от старосты лагеря ежедневного точного доклада. Ничто не должно выпускаться из виду, ни одна единственная мелочь. Я хочу, чтобы этому точно следовали!

Я перевожу это фельдфебелю.

- Он должен быть лагерным старостой. Скажите ему это, пожалуйста.

- Слушаюсь, ваше превосходительство! Мой земляк заметно обрадован. Пятки сдвинуты, он отдает честь.

Седой генерал приближается к нему и молча осматривает его. Он показывает на Железный крест первого класса, потом дружески кладет ему левую руку на плечо и подает ему другую руку, которую фельдфебель твердо пожимает.

- Не враги, фельдфебель. Все сложно, вы, я!

- Гут, гут! Иван Иванович произносит теперь эти слова, единственные знакомые ему слова на немецком языке, и также подает фельдфебелю руку.

- Товарищи, – говорю я. – Я считаю своим самым большим долгом заботиться о вас, не щадя сил! Пусть Бог подарит нам встречу с нашей любимой родиной!

Резкая команда. Ряды стоят, отдавая честь, пока мы втроем не покинули двор.

Я заметно поправляюсь от моей болезни. Хорошая пища и квалифицированный уход сестры милосердия были для меня теперь самым существенным. Повариха готовила все мои любимые блюда, я должен был только выразить желание, и оно было выполнено. Я сидел за прекрасно накрытым столом, с приличной посудой и вкусными блюдами. С неописуемым наслаждением я надевал каждый день свежее белье. Мои костюмы, ботинки, рубашки, галстуки никогда еще не нравились мне так, как теперь, после месяцев лишения. То, что раньше было для меня самоочевидностью, сегодня означало большую радость для меня.

Теперь солнце пылало. Я плавал в широкой реке. Фаиме не могла решиться на это, она стыдилась купаться со мной. Солнечные ванны, незнакомое в Сибири лечение, сделали меня румяным и снова сильным. Окруженный заботливыми людьми, я вскоре восстановился. Только лишь немногие седые волосы напоминали мне о часах моего отчаяния и болезни.

Это случилось в середине июля.

«Строится гимназия для пятисот учеников!»

Эти слова переходили из уст в уста. Маленький городок Никитино был в волнении. Жизнь и действия приходили в покинутую, потерянную местность. Все жители гордились, они теперь уже важничали. «Никитино должно стать центром цивилизации для самой дальней окрестности».

Почти все военнопленные и примерно триста заключенных были привлечены к строительству. Строители уже прибыли, руководителем всех работ был балтийский немец, архитектор из Риги. Так как моя квартира была достаточно велика для меня, он жил у меня. Мы вскоре сдружились. По его инициативе я получил весь надзор за машинами для обработки древесины. Как голодный я набросился на это задание. Я был необуздан и счастлив.

Утром, едва солнце поднималось над горизонтом, я спешил на работу. Вплоть до наступления темноты я находился среди машин и людей. Я обедал в лесу. Я часто сам пилил, так как обученного персонала не хватало. Пот тек ручьем, но усталость не овладевала мной. Так шли дела день за днем, день за днем, палило ли безжалостно солнце или шел потоками дождь. Так я снова научился смеяться.

Машины днем и ночью вгрызались все глубже и глубже в лес. Бесперывно падали деревья, превращаясь в доски и необходимый стройматериал. Лес стонал и охал, его тысячелетний сон был внезапно нарушен.

Строительство росло с поразительной быстротой, и любопытные только лишь удивлялись работающим людям и визжащим, пилящим, режущим машинам.

Заключенные, привычные к тупой, непроизводительной работе, рубили деревья с заметным удовольствием. Их питание было великолепным, и обращение вполне хорошим. Архитектор позаботился об этом. Горе тому охраннику, который по старой привычке угрожал побить арестантов, он тогда слышал от балтийца крепкие слова и видел жесты, которые невозможно было понять неправильно. Даже полицейский капитан не решался перечить архитектору.

Между тем в Никитино приходило большое количество писем и заявлений о вступлении. Школьное бюро работало точно так же лихорадочно как мужчины на строительстве. Жители самых отдаленных поселков, маленьких деревень записывали своих детей и приветствовали создание школы. Из хаоса камней, балок и досок возникало импозантное двухэтажное строение. Через свои многочисленные окна оно удивленно смотрело на лежащую вокруг него дикую местность. Оно был ребенком культуры, прогресса, вокруг него, однако, все было серо, мелко и примитивно.

В самом счастливом настроении я однажды вечером возвращался с работы домой. Фаиме забрала меня. Я был грязным после работы с машинами и пол-

ностью пропитался машинным маслом. Перед моим домом на посту вновь стоял Лопатин. Вытянувшись по стойке «смирно», он приветствовал меня; со времени моего выздоровления он считал это безусловного уместным.

- Ты мне когда-то давно говорил, когда мы еще маршировали из Ивделя в Никитино, мой дорогой, что у тебя есть невеста, на которой ты хотел бы жениться. Не хочет ли она работать у меня? Я дам ей хорошее жалование, дам, что есть и что пить, и она может жить у меня. В большинстве случаев ты стоишь у меня на посту, Игнатьева больше нет, так что ты теперь можешь храпеть часто. Я больше не буду будить тебя, но, вероятно, это тогда будет делать твоя Ольга?

Лицо солдата покраснело как маковый цветок.

- Это было бы чудесно, барин, когда...?

- Ольга может приехать завтра. Я дам ей деньги, пусть она себе тоже купит красивые вещи, чтобы еще больше тебе нравиться, и тогда мы посмотрим, Лопатин. Ты ведь уже больше не должен стрелять в меня теперь, ты ведь уже знаешь?

- Петруша! Твоя горячая вода готова, – закричала Фаиме, которая между тем пришла раньше, из окна.

- Я иду, любимая!

Я от всей души похлопал солдата по плечу и большими шагами поспешил по лестнице вверх.

Наступил день освящения.

Собралось все население Никитино, все духовенство, полиция и армия. Здание школы было торжественно освящено. Празднично одетый народ пел гимны, и все были заметно взволнованы. Даже начальство из Омска было представлено. Теперь новые учителя и учительницы, на которых все смотрели с удивлением, должны были в будущем учебном году показать, имела ли смысл наша работа.

После освящения большой банкет должен был происходить в помещениях школы.

- Ты сядешь рядом со мной, – шептал мне счастливый Иван Иванович, после того, как он как морж протиснулся через массу людей ко мне. На его груди висел отчетливо и заметно для всех орден. Он сиял как маленькое солнце. Солнце было также в сердце мужчины.

- Я благодарю тебя, Иван, но там нет места для меня.

- Ты с ума сошел, Крёгер. Я даже в торжественной речи хочу сказать, что, собственно, ты был автором всей этой затеи. С тех пор как у меня есть орден и в кармане письменный приказ о повышении жалования, мне это уже все равно.

Я дружески похлопал капитана по плечо и ушел. Фаиме ждала меня.

Архитектор гимназии уехал. Сестра Анна тоже вернулась в Петербург. Только повариха Наташа оставалась у меня. Она была мне верна и преданна, как была верна моим родителям, которые получили теперь разрешение уехать на родину в Германию. Там они хотели переждать войну и дожждаться ее конца, в надежде, потом все потерянное со временем снова заработать.

В моем распоряжении были двадцать тысяч рублей и несколько ценных драгоценностей, которые я получил из дома.

Теперь для моего счастья не хватало только одного: Фаиме.

Сейчас я мог выполнить мое обещание.

Не использовав вход, как солидные благоразумные мужчины в моем возрасте, нет, как озорной мальчишка, которому не нужно теперь сдерживаться в своих поступках, я запрыгнул на подоконник и стоял в комнате у Фаиме.

Она была пуста, тщательно убрана, вещи все на привычных местах. В углу стояла кровать с ослепительно белыми простынями. На множестве подушек лежал мой светло-серый летний пиджак; Фаиме часто засыпала с ним в руках. Белый шкаф, маленькое зеркало, светлые занавески со множеством маленьких, пестрых узорчатых цветочков. Всюду стояли цветы. Это были букетики, который я собрал с Фаиме. Солнце хлынуло внутрь, все было здесь полно света, все сияло и светилось. Только счастливый человек мог жить в этой комнате. На маленькой табуретке лежали приготовленная одежда и другие вещи, как будто бы они уже долгое время ждали того, что живущего здесь могут забрать ежеминутно.

Я знал, Фаиме ждала меня...

Дверь открылась. Я быстро спрятался за шкафом.

- Ух, ух! – делаю я.

- Этого разбойника я мигом поймаю! Я слышу, как девочка смеется, и она уже заглядывает за шкаф.

- Я пришел забрать тебя!

- Да?!... Правда, Петруша?!

Уже я держу ее на руках. Хватаем приготовленные вещи, часть которых падает на пол, но мы этим совершенно не огорчаемся. Я открываю дверь и иду из солнечной комнаты. Али встречает меня. Он подходит ко мне, но я только могу улыбаться ему озорно.

- Вы похищаете, все же, нашу Фаиме? Тогда это нужно делать как раз так...

Внезапно брат схватил двумя руками правую руку Фаиме и поцеловал ее. На его лице снова играет чудесная улыбка, но на этот раз вместе с печалью.

- Ты уходишь от нас, Фаиме... мы остаемся...

Люди встречают нас на улице. Они улыбаются нам, мы улыбаемся в ответ. На моем столовом столе я опускаю Фаиме, рядом с ней лежит ее одежда.

- Я так счастлива, так счастлива!... Ты нес меня... я остаюсь у тебя, навсегда, навсегда...

Хорошо приготовленный ужин, красиво накрытый стол, искрящееся вино в узких бокалах и душистая сигарета.

Верная Наташа, занимавшаяся всем домашним хозяйством, ушла спать. Я один с Фаиме.

В жилой комнате я удобно усаживаюсь на диван, Фаиме в кресло. На маленьком столе стоят бокалы, бутылка вина, лакомства и коробочка из розового дерева с сигаретами.

- Я сыграю для тебя что-то на лютне, если ты хочешь?

- Да, с удовольствием, Фаиме.

Я несу ее лютню. Девочка садится на пол, на многочисленные подушки. Мелодичный, несколько глубокий голос звучит. Она подходит к старинному татарскому инструменту. У них обоих, кажется, есть что-то общее. Маленькие руки быстро скользят над струнами, голова склоняется чуть-чуть к плечу, и Фаиме вполголоса поет:

«Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр – атаман».

Потом татарка поет другую песню.

Образ героя русского сказания возникает передо мной. Это неукротимый степной казак Стенька Разин, сильный и белокурый. Он бродит по Сибири со своими шайками разбойников и захватывает большие богатства. Но все же, самая прекрасная его добыча – это татарская княжна. Дикий, необузданный парень, который не боится ни смерти, ни черта, любит княжну со всей страстью. Он больше не хочет совершать убийств, не хочет грабить и жечь, он хочет теперь жить только для своей любимой. Но его дикие дружки замечают его изменения и грозят колеблющемуся. Чтобы не увидеть свою самую большую драгоценность в руках бандитов, он собственными руками закалывает княжну в ночи любви и бросает ее матушке Волге, как свой самый ценный подарок.

Песня закончена...

Я высоко поднимаю Фаиме с подушек. Лютня падает небрежно на землю.

Я несу бутылку шампанского; я истосковался по нему.

- Дай мне тоже маленький глоток, Петя, я хотела бы знать, какой у него вкус.

Маленький глоток, еще – и узкий бокал уже пуст.

- Ах, пожалуйста, еще чуть-чуть, у него такой сладкий, такой веселый вкус.

Также и второй бокал быстро опустошен, и скоро и вся бутылка уже выпита. Теперь Фаиме очень много говорит и смеется тоже часто; она хочет пить еще больше шампанского. Пробка выскакивает вверх, озорная пена льется в руки девушки, мы оба пьем шампанское из чаши ее ладоней. Со стола Фаиме хочет взять сладости, но всегда хватает не ту, которую, собственно, хотела, и при этом смеется. На ее обычно таких проворных ножках она тоже уже не может стоять, она смеется над самой собой, но, ее глаза стали озорными и лукавыми.

- Теперь я остаюсь у тебя, Петр, Петя, Петруша, и потому я так счастлива, – шепчет девушка.

Она обнимает меня, она откидывает назад свою голову, она предлагает мне свои губы. Платье с глубоким вырезом соскальзывает с ее плеча, и моя нетерпеливая рука хватается за нее.

Ее губы наполовину открыты. Они горячи и прекрасны.

Фаиме и я, мы выпили шампанское полными глотками... Ночь становится светлее, розовеет утро, первые солнечные лучи проскальзывают сквозь плотные занавески.

Рядом со мной лежит девушка. В ее глазах сверхъестественное сияние. Я надеваю на ее палец кольцо с бриллиантом.

- Теперь ты моя жена...

- Да, Петр... навсегда твоя жена...

Затем мы засыпаем.

Судебный процесс в Омске

Поступил приказ из Омска – начинался суд над Игнатьевым, и мне нужно было лично свидетельствовать перед судом.

- Завтра, Фаиме, мы с самого утра поедem в Омск.

- Но, Петр, нам же сначала нужно подготовиться, взять с собой еду и питье, так быстро это не делается.

- Ну, хорошо, возьми немного, мы наверняка не умрем по дороге с голоду.

- Но, а что же мне брать? Я совсем не знаю, что делать во время путешествия? Все же, это такая дальняя поездка!

- Не бери с собой ничего, дитя моя, только ту одежду, которая как раз на тебе, некоторые из моих вещей и наши предметы туалета.

На следующее утро, в шесть часов, тройка стояла перед домом. Маленькие косматые сибирские лошадки были запряжены в тарантас. Для нас, европейцев, эта повозка показалась бы странной. 4 совершенно одинаковых колеса высотой примерно один метр, соединены осями. От передней к задней оси протянуты шесты длиной примерно три метра. На этих продольных балках укреплена в середине большая, продолговатая корзина, которая наполняется сеном. Там садятся пассажиры. За корзиной, на балках, крепится багаж. Подвеска, если у такой повозки вообще можно говорить о подвеске, представлена лишь в виде этих длинных шестов, которые ведут от одной оси к другой. После нескольких часов поездки по повсюду одинаково плохим дорогам чувствуешь себя как после колесования. На очень примитивных козлах сидит ямщик [кучер]. Ему почти не нужно управлять маленькими лошадками, так как они бегут рысью сами по себе, неутомимо, всегда в том же самом темпе вдоль бесконечной дороги.

Проводить нас собрались братья Исламкуловы, повариха Наташа, горничная Ольга, мой хозяин, его жена и еще несколько любопытных соседей.

- Ээээй...! – зазвучал ободряющий призыв ямщика, лошади тронулись, рукопожатия и кивки, и проворной рысью мы двинулись к городку. За тройкой верхом ехали два вооруженных солдата, мое сопровождение. Унтер-офицер Лопатин и его двоюродный брат Кузьмичев.

Через несколько часов неутомимой езды мы сделали первый привал. На перекрестке стояла маленькая часовня, в ней были иконы. Мужчины крестились.

- Там, где дороги пересекаются, они образуют крест, – объяснил нам ямщик, – и в этих местах отдыхали путники и паломники, которые идут в Святую землю. Для нас, всех остальных, этот крест – это бессмертный символ вечной милости Божьей.

Мужчины сняли свои толстые шапки, которые они носили и летом, низко кланялись и крестились, касаясь лба, груди, правого и левого плеча тремя первыми пальцами, широкими, спокойными движениями.

- Боже Всемогущий Бог, спаси и сохрани нас.

Пока как лошадки улеглись на опушке леса, жевали траву и мох, мы все немного перекусили.

Вокруг нас стояла молчаливая тайга.

К вечеру мы прибыли в деревню Закоулок, там нам предстояло заночевать. На краю деревушки, бодро и весело журча, бежала маленькая река; вода в ней была прозрачна как кристалл.

Немногие жители выбежали к нам навстречу и глазели на нас с открытыми ртами. В их глазах отчетливо стоял страх, когда они видели вооруженных солдат.

Фаиме и я размяли затекшие члены и пошли в гостиницу.

Крохотная комнатка с обязательным «красным углом», примитивные деревянные скамьи и столы; где-то жужжал вечный самовар.

- Барин может спать со своей женой в моей двуспальной кровати, – заметил маленький, бородатый хозяин.

- Нет, мой дорогой, этого я не хочу. Я лучше буду спать с женой у тебя на сеновале. Там лучше всего спится.

Мужчина растерянно стоял, удивившись, что я отклонил его предложение, означавшее самую большую честь, которую хозяин только может оказать

своему гостю. Я мог только улыбнуться, я точно знал, с каким небесным наслаждением Фаиме и меня атаковали бы мои любимые клопы.

- Но приготовь нам пока что-то поесть, из всего, что у тебя есть. Солдаты и ямщик тоже будут много есть, у нас волчий аппетит.

Между тем я надел мой купальный костюм и с удовольствием плавал в речушке.

- Барин, – сказал солдат, – но вы не заплывайте слишком уж далеко, Иван Иванович дал мне такой строгий приказ, что я запомню его до своей смерти.

- Хорошо, хорошо, Лопатин, я не удеру от тебя. Или ты думаешь, я оставлю в одиночестве мою жену, такую красивую, хорошую женщину? – Нет, я так не думаю, – ответил обрадовано Лопатин и покосился на смеющуюся Фаиме, – но, все же, Иван Иванович так говорил.

До захода солнца я сидел с Фаиме на резвой маленькой речушке, мы говорили друг другу вечерние, прекрасные слова. Солдаты не оставляли меня из виду; их руки, казалось, приросли к заряженной винтовке с примкнутым штыком.

Ночной привал на сеновале был наполнен воздухом и мягок. Отдельные голоса доносились к нам снизу, потом они умолкли. Сонно каркали где-то журавли, собака печально выла вдали, у двери амбара бродил туда-сюда зашпанный часовой. Наконец, и Фаиме закрыла глаза, улыбка, и она уснула.

Первые солнечные лучи нового утра разбудили меня. Обнажившись до пояса, я умывался перед «Гранд Отелем». Хозяин собственноручно поливал мне из деревянного чана воду на руки. К тщательному бритью и умыванию он, очевидно, относился без большого понимания.

Едва я был готов, как разбудил Фаиме. Еще совсем спросонья, она счастливо улыбалась мне. Она делала это каждое утро, был ли снаружи солнечный свет или дождь.

Быстро позавтракали, взяли с собой новые запасы, заплатили хорошие чаевые хозяину, и поездка продолжается. Издалека я вижу, как мой владелец гостиницы вздыхает облегчено: вооруженные солдаты и я, мы были, однако, для него действительно зловещими людьми.

К вечеру третьего дня мы добрались, наконец, до железнодорожной станции.

Маленькое здание из едва ли выстроганных стволов, большое количество изб вокруг, пара колодцев, любопытные люди с открытыми ртами. Здесь начало и конец культуры. Здесь есть внушающие уважение часы, и по ним

ориентируются люди и поезда. Они – первая и последняя точка опоры, все прочее вневременно. Большими буквами на белой, сильно заржавевшей вывеске над входной дверью вокзала написано «Ивдель».

На пути готовый к отъезду локомотив, за ним ждут немногочисленные вагоны. Там, где путь прекращается, сразу за ним стоит лес. Это действительно конечная станция. Я уже видел ее, когда был еще заключенным и меня здесь принимал Лопатин.

Железнодорожник услужливо провожает нас в купе первого класса. Плотно за нами следует толпа, пробираясь дальше и стараясь занять места у окна. Часовой сразу становится перед дверью, и, не проходит и нескольких часов, как звучит троекратный звонок, потом гудок машиниста, и кажущееся здесь странным достижение далекой культуры, постепенно пыхтя, приходит в движение.

Час за часом едет поезд. Лес, лес, везде никогда не кончающийся девственный лес.

«Европа – Азия». Обветрившаяся табличка в сердце дикого Урала отвечает мне на приветствие. Я отгоняю мрачные мысли о прошлом. Как ребенок я ищу убежища у Фаиме.

Через полтора дня мы в Перми, здесь мы пересаживаемся на Транссибирскую железную дорогу, и потом опять едем на восток, назад через Урал; еще через два дня мы прибыли в Омск. С вокзала меня ведут в отель. Мы маршируем по городу.

Облик этого города типичен для городов, испытавших очень быстрый подъем. Рядом с высокими массивными, современными домами стоят старые, маленькие, уже ветхие хижины. Оживленное движение только на немногих главных улицах, а немного в стороне пустыня, бедность, упадок.

Как только мы добрались до гостиницы, как меня позвали к телефону. Я безотлагательно должен прибыть на допрос.

Я вхожу во вместительный зал судебного заседания, за мной, как две тени, оба вооруженных конвоира. Их просят выйти из зала. Зачитывается протокол уже состоявшихся заседаний, начинается мой допрос. Глаза прокурора и заместителей градоначальника с любопытством, интересом и строгостью поворачиваются ко мне. Военный трибунал приводит меня к присяге. Однако выясняется, что я, как немец во вражеской стране, по военным законам нахожусь по своему статусу вне каких-либо прав и уставов. Потому моя клятва недействительна. Воцарилось всеобщее смущение.

Я должен предъявить роковую расписку на 25 рублей. и подтверждение карточного долга в размере 196 рублей. Они передаются из рук в руки и снова возвращаются к прокурору.

- Почему вы дали Игнатьеву деньги? – спрашивает он коротко и резко.

- Потому что он попросил об этом. Ему нигде больше не давали кредит, на него должны были подать в суд за его долги, и он не видел никакого другого выхода.

- Обещал ли он вам за это поблажки?

- Да, он обещал никогда больше не устраивать обыск в моей квартире, он клялся мне в этом и обещал, что всегда будет к моим услугам.

- Были ли у вас вследствие этого какие-нибудь преимущества?

- Нет, наоборот, Игнатьев после этого снова обшарил мою квартиру, да, он даже вскоре после этого пытался меня застрелить, чтобы избавиться от меня и тем самым, пожалуй, всего обличающего его.

- Есть ли у вас свидетели этой попытки покушения?

- Да. А вот тут есть от зацепившей пули. Все склоняются над моей рукой.

Вызывают Лопатина, приводят к присяге и опрашивают о деле, причем прокурор определенно обращает его внимание на значение данной клятвы.

- Расписывались ли вы за сто рублей, которые были приложены к делу заключенного Крёгера? Когда и где это было?

- При принятии заключенного и его дела, которые конвой вручил мне в закрытой сумке на железнодорожной станции Ивдель. Я, правда, не видел эти сто рублей, но видел обыкновенный запечатанный конверт, на котором было точно указано его содержимое. Я не был уполномочен открывать официально запечатанное дело.

- Есть ли у вас свидетели этого?

- Солдат Кузьмичев присутствовал там.

Палец прокурора скользит по строкам и останавливается, пожалуй, на указанном там имени, затем задает следующий вопрос: – Вы при этом не заметили ничего необычного, может быть, какую-то незначительную мелочь?

- Нет. Ни конверт, ни печать не были повреждены. На них был штампель «Шлиссельбургская крепость», и если бы замок был поврежден, то я согласно инструкции тут же сообщил бы об этом. Я заметил лишь необычно большую сумму. Заключение к их делам прилагается, самое большее, десять рублей. Эта сумма исходит в большинстве случаев от их родственников, или это плата за выполненную работу.

- Знаете ли вы о назначении этих денег?

- Да, господин прокурор. В случае освобождения заключенный может располагать ими, чтобы отправить весточку о себе и воспользоваться ими для оплаты за жилье, ночлег и пропитание.

- Однако, Игнатьев утверждает, что не видел как раз этот конверт с деньгами, даже если он и расписался за его получение. Подозрение падает на вас...

- Совершенно исключено, господин прокурор! – отвечает усердный Лопатин, немного громче. – Игнатьев проверял каждое отдельное дело в моем присутствии и нашел содержимое сумки правильным. Но в тот день я должен был доставить только заключенного Крёгера и его сопроводительные документы!

- Есть ли у вас какие-нибудь долги?

- Нет! – отвечает Лопатин возмущенно.

Его отпускают, вызывают Кузьмичева, который говорит то же самое под присягой.

- Видел ли ты, – обращается прокурор к нему, – как унтер-офицер Лопатин брал себе ключ от портфеля?

- Да, ваше высокоблагородие!

- Открывал ли кто-то из вас эту сумку по дороге?

- Никто. Унтер-офицер Лопатин привязал ключ к веревке его креста, а потом спрятал и то и другое под рубашкой. Так он вошел и в здание полицейского управления. Солдату приходится точно описать конверт с деньгами и, наконец, он заявляет: – Печать с царским орлом тоже была цела. На этот конверт у нас обращают особое внимание. И наш господин капитан тоже снова и снова напоминает нам об этом и обращает внимание на самые тяжелые наказания, если...

- Ты можешь идти, но подожди снаружи.

Солдат выпрямляется и облегчено вздыхает.

- Хорошо! – обращается прокурор снова ко мне. – Вы должны оставаться в Омске так долго, пока мы вас не отпустим.

- Слушаюсь!

- Вы должны хранить молчание о причине вашего допроса.

- Я считаю это само собой разумеющимся!

Я выхожу из зала. Снаружи стоят мои оба часовых, вокруг них толпа любопытных. Теперь они глазят на меня. Меня ведут в гостиницу.

- Мы должны остаться здесь на несколько дней, Фаиме. Военный суд еще не отпускает меня, вероятно, меня вызовут для показаний еще раз. Тебе не нужно бояться за меня.

- Это правда, Петр...? Мне не нужно за тебя бояться?

-Нет, нисколечко, дитя мое.

Мы едва успели покончить с обедом в нашем номере, как часовой открыл дверь, и вошел хорошо одетый господин среднего возраста, уже несколько располневший.

- Меня зовут Попов, господин доктор Крёгер. Я очень хорошо знаю господина вашего отца, с которым я уладил одно большое дело. Я – директор Государственных шахт Омска. Мое почтение.

- Я с радостью слышу, что вы в это время неприязни и озлобленности помните еще о немце, господин Попов. С этими словами я подаю мужчине руку. – Это моя жена, – представляю я Фаиме.

- О, совершенно очаровательная и экзотическая дама, господин Крёгер.

Вдруг мужчина подыскивает слова. – Впрочем... я прибыл к вам, чтобы составить вам, если вы это мне позволите... небольшое общество... Прокурор, который допрашивал вас, – мой личный друг. Я слышал от него, что вам придется на несколько дней остаться в Омске. Хоть мы живем здесь не так, как в Петербурге, но у нас есть все же несколько очень скромных возможностей для развлечения. Не хотите ли вы провести время за этим? Я охотно пригласил бы Вас, вы должны быть моим гостем, как я часто был вашим в Петербурге.

- Это очень любезно, господин Попов. Времена изменились, к сожалению, и в вашем великодушном жесте вы забываете, что у меня теперь нет никакой хорошей репутации в вашей стране. Вы занимаете столь важную и заметную должность во время войны, что такая любезность могла бы только навредить вам. Я был бы очень огорчен этим.

- Я уже подумал об этом, но пусть это будет моей заботой. Я хотел бы только знать, отвергаете ли вы мое предложение, господин Крёгер?

- Отвергаю ли? Нет, совсем наоборот, я очень рад, но я вовсе не хотел бы, чтобы старый клиент моего отца предстал из-за этого в плохом свете.

Едва мужчина ушел, как дверь снова открылась, и вошел очень помпезный офицер, за ним два унтер-офицера с застегнутыми револьверами.

- Господин Крёгер, у меня приказ выделить вам двух новых конвоиров для сопровождения. Я отправил других в казарму, чтобы они смогли хотя бы хорошо выспаться.

- Я благодарю вас, что вы так любезно позаботились о моих «поводырях медведя». Я не мог сдержать улыбку. – Вы позволите мне немного прогуляться? Я хочу сделать несколько покупок... для моей жены.

- Но, само собой разумеется, охотно! Офицер очень элегантно отдает честь. Когда мы, выходя из гостиницы, прощаемся еще раз, он бросает строгий взгляд на обоих унтеров и уходит.

Под военным прикрытием я ходил с Фаиме по улицам. Любопытные даже преграждали нам путь время от времени. Но мои оба новых «поводыря медведя» снова и снова создавали дистанцию между мной и пешеходами. Те же сцены происходили также во многих лавках, которые мы с Фаиме посещали.

Вечером прибыл Попов, и мы втроем пошли в ночные рестораны. Он был в исключительно хорошем настроении, неумоимо заботился о самой лучшей еде и лучшем шампанском. Он платил за все, это было для него, он повторял это снова, радостью.

- Я татарка, господин Попов, я живу строго согласно законам моих предков, и наша религия запрещает нам пить алкоголь, а также курить.

- А я... я вообще не очень люблю пить, только ради компании, – был мой лаконичный отказ Попову.

- Но это очень жаль, действительно жаль, я действительно хотел бы повеселиться с вами, господин Крёгер, так же как я часто веселился с господином вашим отцом в Петербурге. Это для меня как большая черта под счетом.

- Я вам охотно верю...

Четыре дня я был в Омске, почти постоянно в сопровождении господина Попова или новых солдат. Только в наших комнатах я освобождался от всех них, хоть я и не мог закрывать дверь.

На перроне, незадолго до отъезда поезда, Попов внезапно атаковал меня со всевозможными вопросами.

- Скажите, Попов, вы знаете, все же, хотя бы по имени господ *****, – я называл ему несколько высокопоставленных лиц. – Видите ли, это друзья моего отца, а также мои друзья. Они знают меня уже очень давно, они знают, кто я такой, и они также вытащили меня из тюрьмы. Хотите ли вы еще больше? Мне жаль тех больших денег, которые вы потратили на меня. Впрочем, вы также и не директор Государственных шахт. С этим господином вели переговоры исключительно я. Господина этого зовут Николай Степанович Арбузов. Не так ли?! Прощайте! Передавайте привет..., – и я показал на город Омск и на городскую тюрьму, в которой когда-то находился Достоевский, будучи ссыльным.

Купе было до потолка набито пакетами. В середине всей этой роскоши сидела Фаиме, молча и мечтательно, в руках она держала великолепный букет роз, который подарил ей Попов со множеством комплиментов перед отъездом. Ее пальцы трогали нежные цветы, которые так великолепно пахли. Молча, не радуясь всем этим подаркам, она сидела, погрузившись в размышления. И что я ей все подарил! Бог и «мир»!

- Но почему мое любимое дитя все время молчит?

- Ах, Петя, что это за ужасные люди, которые окружают тебя. Все враги... куда не глянь. Ты ведешь такую борьбу в одиночку... Мои руки такие маленькие и слабые... посмотри на них... они не могут защитить тебя.

- Но они снова и снова придают мне мужество! Разве это ничего не значит? Но ты можешь быть очень спокойна, впрочем, Фаиме...

- Это нехорошо с твоей стороны! Ты скрываешь от меня все неприятное, ты бережешь меня, и я должна только радоваться! В твоей печали и твоих заботах ты хочешь оставаться один.

- Когда ты мне была действительно необходима, когда мне была нужна твоя помощь, тогда я всегда звал тебя; ты знаешь, когда я был болен! Никого не могло быть у меня, кроме тебя! Но зачем мне мучить тебя, рассуждая о возможностях, которые могут случиться, вероятно, а, вероятно, и нет. Я могу каждый час говорить тебе: «Фаиме, я думаю, небо упадет на землю, что нам с тобой делать?», это только изматывает нас без толку. Если война закончится,

то все будет хорошо, тогда Фаиме каждый день будет радоваться дерзкому Петру, и Петр будет рад его черной Фаиме, так как каждый день солнце будет светить для нас, до тех пор, пока мы не станем старыми и седыми. Глаза девочки уже становились веселее, прекрасный букет цветов соскользнул с колен.

- Ты сама слышала, что говорил Попов, они определенно рассчитывают на то, что война закончится поздней осенью. Представь себе только, насколько прекрасно это будет тогда! Иван Иванович придет тогда к нам и скажет: «Вы совершенно свободны, вы можете делать, чего хотите и возвращаться в Петербург». Мы сразу уедем, получим из дома самый большой и самый красивый автомобиль и уедем за границу, на юг, где тепло. И тогда тоже Фаиме моя настоящая, самая настоящая жена. Она даже сама ведет большую машину. Все люди, которые встречают тебя, будут улыбаться тебе и любоваться тобой точно так, как Попов и многие другие делали это, захотят танцевать с тобой, дарить тебя подарки. Но Фаиме перехитрит всех точно так же, как она сделала это теперь. Пока другие сердятся и ждут ее, она уже давно у ее Петра.

Черные глаза светились как два солнца, они висели у моего рта, блуждали над моим лицом и смотрели мне в душу. Только они понимали меня, никакие другие. Мы распаковывали новые купленные вещи и любовались ими, и мы снова были счастливыми, озорными детьми.

На следующей станции Лопатин, который стоял снова у двери купе в карауле, должен был выйти и принести какую-то еду. С полными руками, с важным, мрачным выражением лица он вошел и только тогда засиял улыбкой по всему лицу, когда уже был внутри купе.

- Так, мой дорогой, теперь тоже присаживайся, так как мы теперь все хотим есть, да и выпить чего-то хорошего.

Нерасторопно крестьянин поставил заряженную винтовку в угол, пока я подвинулся для него на обитой скамье. Он сел в крайний угол. Его открытое, честное лицо все еще сияло.

- Знаете, барин, – начал он нерешительно, – в Омске, когда нас отправили в казарму, там мы уже с моим двоюродным братом Кузьмичевым думали, что не увидим вас снова. Нас хотели отправить домой. Но я сказал, что ни при каких обстоятельствах не поеду домой без вас, так как Иван Иванович запретил это мне, а приказ есть приказ. Все их уговаривания ничего не дали. У меня своя голова на плечах, они теперь это знают. Тогда нам дали много еды, но пить – только чай. Он сделал пренебрежительное движение. – На следующий день к нам пришел господин Попов и повел нас в ресторан. Там он дал нам достаточно выпивки, и сам за все заплатил. Потом он привел к

нам женщин, они сразу начали нас целовать. Но тут я разозлился. Ради Бога, я рычал так, что меня едва ли можно было успокоить. Я снова и снова повторял, что у меня дома невеста, но господин Попов внушал мне, что женщины в Омске намного красивее. Однако, это полная ерунда. Наконец, я больше не мог владеть собой, схватил полураздетых баб и выставил их за дверь. Потом мы снова пили. Лопатин замолчал, он, кажется, боролся с собой, так как ерзал по сиденью туда-сюда, наконец, поднялся, подошел ко мне и сказал робко, но определенно:

- Барин, я не предал ни вас, ни вашу красивую, добрую жену, даже если бы Попов мог распять меня.

- Почему все же, Лопатин?

- Попов расспрашивал меня, что вы делаете в Никитино, чем занимаетесь и как вы себя ведете. Потом он хотел знать, получил ли я уже ваши деньги. Я точно знаю, чего он хотел.

- И что ты сказал ему?

- Я сказал ему, что вы сидите все время дома с женой, только идете за покупками, всегда печальны, и тогда я сказал ему самое главное: вы настолько жадны, что вы едва ли покупаете себе что-то из еды, все должна оплачивать ваша жена. Я говорил это ему, и подвыпивший Кузьмичев повторял мои слова как попугай: «Немец жадный. Всегда он жадный, даже когда спит, потому что он даже не храпит из-за скупости. Я часто стоял на посту перед его окном». В конце концов, я сказал господину Попову, что я сразу сообщил бы, если бы вы дали мне деньги, это была бы взятка, а меня нельзя подкупить, только для добрых слов я доступен.

- Я не забуду это, Лопатин.

- Но, барин, вы всегда были добры ко мне. Пусть вы и немец, но тут ничего не поделаешь, это ошибка ваших родителей, не ваша. Но, все же, вы человек как все другие. Вы хороший человек. Неужели вы думаете, например, что мои люди дадут мне просто так, даром, что-то поесть, как делаете вы и ваша жена? И я ведь ничего не делал для вас, я должен только охранять вас, лишить вас еще некоторой свободы. Мне это постепенно становится неудобным.

Он неловко протянул мне свою правую руку, мои руки охватили его сильную руку, которая просто лежала в моей, без пожатия, как была подана. Только когда Фаиме похлопала его по руке, его глаз стал сначала хмурым, но потом засверкал неопишваемым блеском. Внезапно он схватил ее руки, держал их осторожно между своими и шептал:

- Вы, вы, барыня [госпожа], добры как наш Бог. Я видел это, когда вы заботились о барине... как вам было тогда больно. Вы преграждали мне дорогу, однако, я должен был видеть барина, так как под присягой я должен был докладывать обо всем начальству. Вы стояли передо мной и просили меня... Я только единственный раз посмотрел вам в глаза, и это было мне... Ах, что я там говорю?... Ладно. Во всяком случае, я каждый день клятвенно докладывал начальству, что я якобы сам видел барина. Он опустил голову и стоял передо мной, погрузившись в мысли.

- Почему у нас русских нет никого, кто любил бы нас? Разве мы не люди, бедные, темные люди? Почему нам дают только шипы? Ни одного приветливого слова? Это... тяжело... эхма!

- Ивдель! Конечная станция! – Фаиме бросается мне на шею, целует меня, пока мы оба совсем не запыхались.

Все пакеты лежат на платформе, и мы нерешительно стоим рядом с ними. Нерешительными кажутся и стоящие вокруг нас. Как нам упаковать все это в старый тарантас? Лошадь со второй телегой нельзя достать и за деньги, как раз сегодня.

- Барин, – замечает с важным выражением лица Лопатин, – мой двоюродный брат и я загрузим не поместившиеся пакеты на наших лошадей. Здесь мы – господа!

- Договорились! – говорю я весело.

Маленькие лошадки снова бегут рысью, час за часом. Издалека вечером второго дня приветствует нас деревня Закоулок. Сегодня хозяин встречает нас с большим доверием, громко смеется, и солнце тоже дружелюбно улыбается нам.

К вечеру следующего дня кресты церквей Никитино светятся в лучах заходящего солнца. Издали сюда доносится церковный звон. Неудержимая радость возникает в наших сердцах.

Полностью загруженный тарантас останавливается перед домом, Наташа и Ольга выходят, сияя улыбками. Снова меня окружают ставшие привычными помещения. Стол накрыт, цветы стоят на нем. Фаиме хлопчет, время от времени роняя влюбленное, доброе слово, поддразнивание, озорной взгляд.

Наконец, мы сидим за столом. Еда вкусна, и мы наслаждаемся ею как здоровые, молодые люди. Сбоку стоят Наташа и Ольга, в руках они держат привезенные подарки, и их лица соперничают в сиянии с ослепительно белыми фартуками на их крестьянских, полных фигурах.

Наконец, мы снова дома!

Побег?

Реальность далеко превзошла мои пророчества о воздействии новой школы на городок Никитино.

Со всех сторон устремились сюда родители, приводившие своих детей в школу. Так как расстояния были в большинстве случаев очень велики, дети должны были остаться жить в городке. Так возникла новая область деятельности – сдача комнат внаем. Для учителей уже были построены новые дома, их семьи постепенно переезжали. В различных домах увеличивали число комнат, но места снова и снова не хватало.

Газеты в дикой местности появлялись очень редко, но с быстротой молнии пронесся слух, что в Никитино можно заработать деньги ремесленникам, купцам и всем прочим, кто прежде, как правило, вел вялую и однообразную жизнь. Отовсюду они прибывали теперь, с женами, детям, лошадьми, скотом, каждый хотел разбогатеть в один миг. Прибыло также и много нищих.

Обычно мирно дремлющий городок не был готов к такому наплыву. Каждый приехавший должен был временно располагаться почти под открытым небом, ибо каждый амбар, каждая конюшня были использованы для ночлега, и так как многие очень хорошо могли обращаться с топором и пилой, то началось большое строительство. Леса было достаточно, он был близко, Господь Бог уже позаботился об этом, деревья нужно было лишь спилить и соединить, построив маленькие избы.

Машины, которые когда-то с большим усердием способствовали строительству гимназии, снова были доставлены, и снова они неутомимо днем и ночью вгрызались в лес. Землю не экономили, каждый ставил себе домик там, где ему нравилось. Вросшие в землю развалюхи на окраине городка были уже давно снесены, их жители прилежно трудились на чужих новостройках, зарабатывали деньги и ставили где-то уже свои собственные новые избы.

Новые жильцы давали всем работу и хлеб, одна рука поддерживала другую, и так они давали друг другу заработок.

Маленький почтамт также больше не был готов к длительному наплыву людей, он вырос. У муниципалитета возникло множество забот, ему пришлось прекратить «медвежью спячку», и его работники тоже, проснувшись, терли себе глаза. Настроение было всюду превосходным, и если бы все продолжилось таким образом... да, то Никитино через какое-то количество лет должно было бы стать больше Омска со смешным населением в 160 000 жителей!

Только один человек при этом ничего больше не делал, не проронил ни капли пота: Иван Иванович. Этот великан монополизировал мое предложение переложить всю работу на плечи своих подчиненных, прямо-таки во всех областях. Строгий глаз полиции наблюдал за работой – самому Ивану вовсе не приходилось работать больше. В этом он был очень талантлив, мой дорогой толстый друг! Теперь его обычно столь добродушные глаза становились лукавыми и хитрыми, однако, официально – полными «наибольшей строгости»!

За это время начальника канцелярии Игнатьева осудили в Омске. Он был приговорен к тюремному заключению и тяжелой работе в забайкальских шахтах. Его преемник был жемчужиной усердия, порядочности и скромности. Городок Никитино вздохнул облегченно, так как тяжелая работа в шахтах была смертным приговором.

Часто Иван Иванович со своей женой трапезничал у меня. Оба охотно ели хорошо и много. Батареи бутылок, во всех величинах и вариациях, из никогда не иссякающего источника братьев Исламкуловых, всегда любезно улыбались у меня дородному мужчине. Напрасно его маленькая, полная женщина просила его идти с нею домой, он оставался верным мне и «батареям».

- Солдат любит свою батарею больше, чем собственную жену, – говорил тогда хитро он, и при этом оставался, и пусть даже погибнет весь мир.

Нередко бывало так, что мой друг Иван уже в полдень действительно был уставшим, «ничего не выпив», как он часто утверждал, хотя от него несло, «непонятно почему», алкоголем. Тогда для него наступало самое прекрасное мгновение. В комнате, в которой я в большинстве случаев принимал своих гостей, и которую я особенно тщательно исследовал на предмет паразитов – это была не тайна – он погружался в полуденную дрему. Он нигде не мог бы так же хорошо выспаться, как у меня, как он говорил, когда снова просыпался после нескольких часов.

Нередко он на следующий день походил ко мне со словами: – Скажи-ка, мой дорогой, я снова нашел в рукаве моего мундира ассигнацию!

- Ах, чего только не бывает, Иван.

- Позволь мне задать менее скромный и нерешительный, чем любопытный вопрос: эти деньги, к примеру, не от тебя ли?

- Нет, совершенно исключено!

- Тогда, однако, от того, кто оплатил мой счет за продукты у Исламкуловых, да? Ты хочешь заставить меня поверить в привидения, чудеса и сверхъесте-

ственное? Нет, нет, со мной такого не получится, я же, мой дорогой, не дохожу до бреда, даже если сердце и доставляет мне большие хлопоты.

- Я ничего не знаю, Иван, я этого не делал.

- Ты великолепный парень, Крёгер, ты не делал этого? И ты говоришь это с таким честным выражением лица? И Иван грозил мне пальцем, толстым как сосиска. – Но, странно, что у меня дома или в другом месте, где я тоже вешаю свой мундир, деньги никогда не попадают в рукав, а только тогда, когда я был у тебя. Смотри, смотри, ты уже смеешься, значит, я прав! И через некоторое время он лукаво подмигивает: – Если честно, Федя, знаешь, между нами, я вовсе не сержусь на тебя из-за этого. У тебя ведь всего достаточно, больше чем достаточно.

- Тогда все в порядке, дорогой мой Иван!

Если Иван Иванович задерживался у меня, никто не мог помешать ему. Если прибегал полицейский с каким-либо сообщением, то он нежно на него рычал. Одной рукой он грозил ему бутылкой, а другой бросал наполовину выкуренную сигарету в незваного гостя.

- Сейчас у меня нет времени, разве ты не видишь? Уходи! Никогда не нужно мешать человеку, когда он пьет, это не идет ему на пользу. Твое донесение может подождать, я сейчас приду!

Сначала жена полицейского капитана серьезно злилась на меня, так как ее муж приходил домой только в моем сопровождении и в прошлое время, к сожалению, нередко в довольно неподобающем виде. Я заботился о том, чтобы это происходило, по возможности ночью, чтобы всемогущий не утратил своего ореола у населения. Так как для меня дружба этого мужчины была исключительно важна, я должен был радовать также его жену мелочами всякого рода. Я дарил ей самые сладкие как сахар романы, которые она читала снова и снова с никогда не кончающимся воодушевлением, особенно, если в них двусмысленными словами изображались эротические моменты. Я дарил ей духи и сладости, потом у братьев Исламкуловых была особенно подходящая для нее ткань, которую никто, пожалуй, кроме нее не мог бы носить в Никитино; теперь она была полностью в восторге от меня, и у маленькой женщины всегда возникало пикантное ощущение, когда мы только вдвоем были в квартире или когда я провожал вечером ее домой. Она тогда сентиментальным голосом утверждала, что у меня было поразительное сходство то с одним, то с другим героем романа. Так мы тоже снова стали действительно хорошими друзьями, но обещание, которое она когда-то дала мне, и его выполнение я снова и снова умело отодвигал.

Еще одного человека я причислял к моим друзьям, генерала, который в дни своей старости впал в немилость, Иллариона Николаевича Протопопова, коменданта лагеря военнопленных. Он происходил из действительно хорошего общества, но он ничего больше не хотел знать о мире. Идеалом его было «умереть как седой солдат на ответственном посту в дикой местности и быть погребенным незаметно и без шума», и тогда «только простой крест» должен был украсить его могилу.

Солнце горело много дней. На небе ни облачка, жара невыносима. Днем Никитино как вымирает, так как все убегает от тропически горячего солнечного жара. Вода теплая, нигде не найти прохалды. Ночью невозможно спать, так как подушки горячие, любое движение снова вызывает потоотделение по всему телу. Ночью температура опускается едва ли на десять градусов. Люди и животные стали апатичными, каждое движение требует усилия воли.

Все готовятся к отражению возможного лесного пожара, так как это самая большая опасность в сибирской тайге.

Если горячий ветер дует над землей, он поднимает чудовищные массы уличной пыли, глаза почти ничего не видят, все предметы покрыты толстым слоем пыли. К жаре добавляются еще постоянные мучения из-за комаров и мух. Если вы ищете прохлады в близком лесу, на вас мгновенно нападают мириады крохотных животных, которые заползают в глаза, нос, уши, повсюду. Даже купание в реке больше не приносит облегчения. Несколько человек умерли от теплового удара.

Стрелка барометра опускается чудовищно быстро.

К вечеру на горизонте черная гряда облаков стоит, гром гремит, молнии сверкают. Несколько часов спустя нам кажется, что наступил конец света. Абсолютно темно, в непрерывной последовательности, со всех сторон сверкают молнии, непрерывный гром нас почти оглушает. Облака уличной пыли летают по воздуху, она барабанит по стеклам, как будто град. Иногда поднятые ветром камни настолько велики, что разбивают стекла. Тогда все от сквозняка в комнате летает кувырком, как будто при землетрясении.

Черное небо раскрывается. Вода разливается потоками. Улицы превращаются в реки, и эти потоки несут все с собой, доски, скамьи, которые стояли перед домами, отчаянно хлопающих крыльями кур, гусей, уток, барахтающихся свиней, потом обломки старой повозки, и все, что подхватывают дикие потоки, проносятся мимо окон. Всю ночь разливаются водные массы, потом начинается затяжной дождь. По улицам можно ходить только по длинным, широким доскам, которые кладут от дома к дому.

Стало прохладнее, нам полегчало, спим почти сутки, просыпаемся, чтобы что-то съесть, потом снова спим.

Однажды вечером Иван Иванович неожиданно появляется у меня после похожего кратковременного дождя. Он снова, похоже, слишком глубоко заглядывал в стакан. Он непременно должен был торжественно «обмыть» новые сапоги из лакированной кожи, которые я ему подарил. Он довольно разминает свои члены, потом смотрит вниз на свои сапоги с особенно глубоким уважением и почтением.

- Сегодня я немного выпил, я думаю, даже совсем мало, тебе не придется вести меня домой. Я дойду один, точно, я в этом уверен. Он благодарит меня уже в тысячный раз так долго и подробно, но, тем не менее, не забывает заглянуть в обшлаг. На этот раз, однако, хорошо известное ему местечко пусто.

- Тебе нужны деньги, Иван? – спрашиваю я.

- Нет, брат, не нужны; однако, это уже превратилось у меня в привычку. Прощай, я действительно не хотел от тебя денег, я просто глянул туда... Привычка, не больше. Но это очень приятная привычка, ты знаешь. С нетерпением ждешь, спрятано там что-то или нет. Нет, нет, в деньгах я не нуждаюсь, но... я уже говорил это тебе.

Несколько неуверенно стоя на ногах, он уходит.

Не прошло и десяти минут, когда он уже возвращается, ругаясь, с яростным, красным лицом. Его форма грязна, шапка съехала назад почти на затылок, новые, прекрасные сапоги из лакированной кожи в грязи выше голенищ, грязные также его лицо и руки. Похоже, что он был недостаточно трезв, чтобы сохранить равновесие на шатких досках.

- Жалкие, свинские условия! За ним стоит часовой, застывшей, растерянный и боязливый, так как его высокое начальство так ругает грязь, само собой разумеющееся явление в России. – Невозможно низкий уровень культуры! Ужасное варварство! Взгляни только, как я выгляжу! Как грязная свинья! И твои ботинки!... ах, что я там говорю, я имел в виду, конечно, мои сапоги, новые! Убить, я хотел бы уничтожить все вокруг! Моя ярость не знает границы, все должно убратся у меня с дороги!

- Мне все же следовало бы проводить тебя, Иван, – миролюбиво пытаюсь я успокоить бушующую гору плоти.

- Вздор, ты со своим сопровождением! Ты говоришь чепуху сегодня, полную чушь! Сегодня я совсем ничего не пил! Выйди прочь, солдат! Чего ты палишься на меня, как идиот, ты что, никогда еще меня не видел? Смирно, кругом, марш, но быстро!

- Иван, дружище, послушай, хватит ругаться. Велика важность, твои лакированные сапоги, я подарю тебе новые, еще лучшие, все же, успокойся. Давай, ты еще можешь выпить маленький стаканчик; ты еще так уверенно стоишь на ногах, давай, будь благоразумен.

В ответ капитан хочет сделать шаг мне навстречу, но спотыкается на пороге двери и летит мне прямо в руки.

- Черт побрал бы все это пьянство! Все же, я пьян. Однако я ничего не замечаю! А ты что-то замечаешь? Наверняка заметил, ты же умнее меня, и должен был бы привести меня домой. Нет, эти свинские условия, и тут должны еще жить люди, скандал, позор для всей страны – что-то такое! У нас ничего не в порядке, ничего, совсем ничего! Только такой беспорядок, такое вот свинство в порядке у нас!

Наконец он сидит; но внезапно, едва я отвернулся от него, он снова встает с кресла, тянет вверх руки и смеется так, что дом дрожит. Удивленно я смотрю на него.

- Братец, дорогой мой!... Завтра я прикажу убрать с улиц всю грязь! Его поднятые руки делают энергичные движения по воздуху, как знак, что его большое терпение теперь лопнуло, и что проект является решенным без права отказа. – Что ты на это скажешь? Можешь ли ты понять силу такого решения? Убрать грязь с русских дорог? Это что-то такое гигантское, тут ты можешь сказать, что хочешь! Разве это не гениальная идея? Конечно, да! Это равносильно строительству пирамид фараонов, мой дорогой!

- На самом деле, Иван, это гигантская, непостижимая затея. В течение многих веков никому еще не удавалось довести это дело до конца!

Пару минут спустя он ложится на свой диван.

- Давай, Иван, я сниму с тебя лакированные сапоги.

- Ах..., ах... мой дорогой... так мне уже лучше. Я хочу еще снять и форму, все же, она всегда так дьявольски тесна... Проклятый портной!... В груди она настолько тесна, что едва ли можно дышать, а тут еще обильная еда, выпивка, ах... так... теперь на душе у меня чудесно, великолепно... спасибо тебе, ах...!

Великан двигается с довольным постаныванием и усмешками. – К нам, русским, самые лучшие мысли всегда приходят, когда мы пьяные. Вы, немцы, этого не знаете, что вы понимаете в попойке... С трудом он произносит каждое слово. В конце концов, это только лишь шепот, который переходит в неимоверно сильный храп. Я накрываю его.

Ночь проходит, уже полдень. Он просыпается. Я подаю ему сигарету, которую он зажигает в первую очередь; я постепенно узнал все его привычки. Он бормочет несколько непонятных слов самым низким басом, идет в мою спальню, потому что знает, что я не люблю немых людей. Я долго слышу, как он плещется водой. За это время его форма почищена, сапоги чисто начищены, я приношу их ему и вижу, как он обильно напмаживает волосы и потом причесывает с особенной тщательностью. (У него в коробке у меня лежали расческа и щетка, предназначенные только для него; нельзя было знать).

- Часовой! Часовой! – рычит он теперь через открытое окно. Его голос можно слышать по всей улице. Немедленно прибегает часовой и стоит навтыжку. – Ступай ко мне домой и скажи моей жене, что я скоро приду на обед, она может уже начинать готовить. Я сегодня не пью водку. А вот рубль для тебя, выпей за мое здоровье!

- Слушаюсь, ваше высокоблагородие! Солдат довольно усмехается и исчезает.

- Но, Иван, ты же хотел приказать убрать улицы!

- Да, да, но... гм, я этого тоже хочу... Все же, нужно сначала посмотреть, стоит ли это делать на самом деле. Он медленно подходит к окну и смотрит безразлично и нерешительно на толстую, непроходимую уличную грязь, по которой лошадь, до коленей в грязи, тянет старый тарантас своим обычным, медленным шагом. Заспанный и безучастный сидит на козлах крестьянин. – Отсюда это вовсе не выглядит так плохо, но стоит только однажды упасть в нее, так же как я вчера, тогда это низость, страшное свинство! Но ведь грязь у нас повсюду, не так ли? Ужасное положение; мы здесь живем действительно как свиньи. Если бы такое однажды произошло в Петербурге, на Невском проспекте, или тем более у тебя, в Берлине, на Унтер-ден-Линден, чтобы лошади тянули экипажи по живот в грязи. У нас здесь есть муниципалитет! Один идиот сидит там рядом с другим, один глупее другого! Ну, они скоро сильно удивятся. Их лица так вытянутся, что бритые для них будет стоить слишком дорого!

Теперь его взгляд падает внезапно на бутылку водки. Его руки уже обвили ее, взгляд становится нежным.

- Как называется все же, собственно, эта чертова водка? Мне так понравился ее чудесный вкус. Вообще, для непьющего человека у тебя необычайно хорошие знания о водки, действительно, тут только хорошие вещи, откуда ты все их получаешь тут, Федя? Ах, ну дай мне все же быстро один совсем маленький стаканчик, так, попробовать, только чуть-чуть, я вовсе не хочу пить... Он причмокивает, прищуривает хитро глаза и наслаждается водкой,

как настоящий знаток. – Все же, я остаюсь у тебя на обед; тебя это устраивает?

- Ты же знаешь, ты можешь приходить, когда хочешь.

- Об уличной грязи я подумал так. Он делает длинную паузу; я с большим нетерпением жду. – Если грязь все века лежала на одном и том же месте – и, все же, так долго она лежит, она возникла ведь вовсе не вчера – то она может полежать еще один день. Ты так не думаешь?

- Это действительно не зависит от одного дня, – я отвечаю со смехом.

- Немец, ты ведь самый благоразумный человек, с которым я когда-нибудь познакомился. Действительно, ты можешь мне поверить, это не комплимент, это факт. Поэтому наша дружба будет существовать всегда.

Следующим утром, к моему самому большому удивлению, мужчина продолжал спать как мешок с мукой, хотя я уже дважды будил его.

- Иван! Иван! – Я трясу гору мяса на диване. – Ты хотел вставать, приказать убрать грязь с улиц!

- Федя, ты страшный человек, насильно будить спящего, пугать человека, видящего сны, это неслыханно... Ты хулиган! Зачем человеку сон, все же, он должен смочь нормально выспаться! Твоя уличная грязь!... Нет, я мог бы высмеять тебя, если бы я так не разозлился! Помешать своему другу спать! Ты подлинный варвар, человек без какого-либо чувства, внимания и тактичности! Плаксиво, как ребенок, он сидит, наконец, на диване и трет свои заspanные глаза. Наконец, его ноги стоят на земле, короткая рубашка едва достает ему до коленей, и я, видя это, начинаю смеяться.

- Вот чтобы город тебя таким увидел, Иван!

- Крёгер, ты с ума сошел! Ты сумасшедший, Божий человек! Как тебе могла прийти в голову такая глупая шутка! Кто я такой, на самом деле? Ты вырвал меня из сна, смеешься, отпускаешь сомнительные шутки, смеешься надо мной!... Все же, ты в своем возрасте должен постепенно стать более разумным, стать более зрелым, солидным, взрослым мужчиной!

В отполированных сапогах, чистой форме, важно и с достоинством он покидает мою квартиру. Мы, естественно, снова помирились.

В городском управлении ругались долго, много и страшно. У заключенных, землекопов и пленных было много работы. Неутомимо копали колонны, лопата за лопатой, день за днем; грязь, казалось, действительно была неисчерпаемой.

Там произошло чудо! Настоящее чудо, из-за которого все жители не могли успокоиться долго, долгое время.

- Федя, иди быстрее, ты должен увидеть это! Взволнованно Иван Иванович вытянул меня из дома к месту работы. Он прибежал, совсем запыхавшись, пот струился у него по лбу маленькими ручьями, пока мы шли к месту чуда. Сбежавшаяся, удивляющаяся толпа расступилась. – Пожалуйста, здесь, посмотри сам, убедись прямо на месте... кто придумал эту идею, кто?! Вот ее плоды! Это стоило того. Я сейчас же отправлю подробный доклад в Омск.

Я удивлялся «чуду».

Под когда-то высокой теперь частично убранный уличной грязью- я видел блестящую мостовую! Большие каменные блоки одинакового размера лежали соединенными по всем правилам искусства.

Не была ли мощеная улица, в действительности, чудом, в покинутой местности Сибири?

Каждую субботу Никитино оживало. Тогда был базарный день, большое событие, так как со всех сторон сюда устремлялись крестьяне и мелкие торговцы и все, что было иначе уже забыто. Все, у которых было хоть что-то на продажу, или кто хотел обменять это на другие товары, выползали сюда из самых дальних углов. Отсчет времени у этих людей был очень прост. Они всегда встречались тогда, когда солнце восходило в седьмой раз.

Каждую субботу я с Фаиме и моей поварихой занимаюсь покупками на рынке. Можно было спокойно покупать и покупать снова и снова, денег не становилось меньше.

Цены, например, были такие: пара тетеревов, рябчиков или куропаток 30 копеек, заяц со шкуркой 15 копеек, дикий гусь 60 копеек, раки за 100 штук 30 копеек. Глухарь, который весил примерно 15 фунтов, стоил 50 копеек, 1 фунт рыбы 5 копеек, 1 фунт мяса 15 копеек, 1 фунт осетровой икры один рубль. Живой гусь стоил 50 копеек, 1 фунт масла 30 копеек, 30 яиц 15 копеек. Один пуд (16 кг) медвежьего мяса или лосиного мяса стоил 10 рублей. 1 литр лучшей сметаны, в которой стояла ложка, 25 копеек, и так далее. (Валютный курс 1914 года: 1 русский рубль = 2,15 рейхсмарки).

Тяжело нагрузившись, часто с живыми гусями под рукой, которые нередко убегали по дороге, и их снова приходилось ловить, мы шли домой. Когда я однажды снова делал мои покупки, меня встретил полицейский. Я знал их теперь всех, так как большинство их каждый месяц получали от меня «пенсию».

- Барин, – сказал он, – разные крестьяне снова и снова спрашивают меня о том, нет ли в Никитино кого-то, кто пишет письма «в плен». Может быть, вы могли бы делать это; крестьяне давали бы вам за это, что вы хотите.

Он привел меня к нескольким крестьянам и крестьянкам, и мы все пошли к почтамту. Едва я вошел в здание, как услышал сетующий, плачущий голос женщины.

- Ты нехристь, татарин! Креста на тебе нет! Я не могу столько заплатить, я ведь бедная женщина!

Это была крестьянка, от которой почтовый служащий требовал 50 копеек за почтовую открытку, которая была адресуема якобы в Германию ее пленному мужу. Женщина была очень бедна и не могла заплатить такую высокую сумму, эквивалент живого гуся с пухом и перьями. Служащий шумел и ругался, как будто бы его жарили живьем.

- Что тут происходит? – накричал полицейский на важничающего писаря. Все умолкли боязливо. Он приблизился к служащему и взял из руки у него открытку. Он сознавал полностью свою власть и вертел открытку в разные стороны, пока я не взял ее у него. Буквы, которые даже самым отдаленным образом не напоминали немецкие, были нацарапаны на открытке.

- И что же должно означать написанное тут? – спрашиваю я.

- Это немецкие буквы, если вы точно хотите знать это, – дерзко отвечал служащий. – Вы не знаете этого?

- И за это вы требуете от бедной женщины 50 копеек?

- Найдите кого-то, кто может писать по-немецки!

- Вы что, не знаете, что я немец? Собственно, каждый ребенок в Никитино скажет вам это!

- Вы – каторжанин, проклятый гунн!

Я приближаюсь к служащему, он отступает, открывает дверь за окошком и исчезает. Только за дверью я слышу самые ужасные бранные слова; парень думает, что он уже в безопасности.

Я раскрываю дверь, удар кулаком, и мужчина летит в противоположный конец комнаты, при этом он тащит за собой стол, стулья, чернильницы, дела, почтовые марки и подушки для штемпелей. Двое его коллег пытаются противостать мне, все же и они вскоре оказываются в том же самом месте.

- Боже всемогущий, эти люди мертвы! – кричит крестьянка. Другие молча стоят вокруг меня.

Начальник почты, мужчина в почтенном возрасте, толстый и уже довольно пропитый, прибегает с красным как рак лицом. Он видит служащих, лежащих на полу, и внезапно его агрессивность исчезла. Медленно его подчиненные снова поднимаются. Начальник откашливается, потом говорит о грубом оскорблении должностных лиц, о протоколе и о моем неслыханном поведении.

Я даю мужчине выговориться и за это время пишу открытку для крестьянки. Все больше и больше женщин и мужчин окружают меня. Все хотят, чтобы я написал открытку, и они просят меня умоляюще и предлагают мне свое последнее.

Вдали, подобно внезапным раскатам грома, звучит голос полицейского капитана. Как сильный морж разрезает волну, так я вижу, как пробивается ко мне Иван Иванович сквозь плотную толпу. В его фарватере следуют бледные, взволнованные Фаиме и два солдата.

Все сразу умолкают и боязливо расходятся.

- Что случилось? Где мертвые? – шумит Иван над нашими головами.

Возбужденный начальник почты, запинаясь, произносит непонятные слова.

- Эй, говори же нормально, что за чепуху ты там несешь, да еще и заикаясь? У тебя кто-то украл наших русских вшей? Говори, все же, как положено, ты говоришь, как сумасшедший! Я тебя не понимаю, совсем не понимаю, а ты хоть понимаешь его, доктор? И такие люди – это начальники почты у меня!

Я объясняю ему в коротких словах инцидент, так как начальник так и не может произнести хоть одно связное предложение.

- Ладно, – Иван Иванович прерывает меня, – хорошо, Крёгер, все понятно. Но где все же мертвецы?

- Да нет тут никаких мертвецов, у них только небольшое кровотечение из носа.

- Андрей! Подойди сюда, парень! Что ты рассказываешь мне о мертвых служащих, которых якобы убил Крёгер? Где эти типы? Это все, что ли, вот те немного окосевшие рожи? На фронт бы вас, ребята! На колючую проволоку! Сюда! Встать смирно! Хотите туда, а? Я еще покажу вам, что вы отца от матери не отличите, сучьи дети! Андрей! Ты скотина! Ты даже не знаешь, о чем докладываешь? Это неслыханно, солдат, который лжет, мошенничает, не-

правильно докладывает! Такой старый, верный солдат, стыдись, мой дорогой! Или ты забыл, что мы все должны служить нашему Царю-батюшке верой и правдой?

- Слушаюсь, ваше высокоблагородие! Бедный солдат скорее мертв, чем жив. Он с последним отчаянием овладевает своим телом, его выражение лица застыло, как положено по уставу.

- Начальник почты, ты что, Божий человек, не знаешь, что служащие не могут требовать особой оплаты за свою службу? Пятьдесят копеек за одну единственную почтовую открытку! Если ты напишешь только десять таких почтовых открыток в один день, то ты заработал за день пять рублей! Успокойся, подумай, но не обожгись! Это коррупция! Или ты, например, уже забыл свою должностную присягу? Может, тебе больше не нравится у нас в Никитино, а? Может, ты хочешь, чтобы тебя перевели, может, мне сообщить о тебе в Омске, как уже было с Игнатьевым?

Управляющий на глазах становится все меньше. Теперь единственное слово возражения равнялось бы для него самоубийству.

- Радуйся и благодари, что кто-то вообще знает тут немецкий язык, чтобы писать нашим смелым землякам в плену. Этих женщин и мужчин, родственники которых на фронте или в плену, теперь обслуживать в первую очередь! Понятно? Если бы не было крестьян, мы все умерли бы с голоду, это ты должен точно запомнить и соответственно действовать, понятно? Теперь ты устроишь тут бюро, так, чтобы в нем можно было писать письма всем военнопленным за границу. Ты понял? Повтори, что я сказал! Полностью растерянный начальник почты повторяет, заикаясь.

- Ну, вот так! Но в следующий раз больше не заикайся!

Полицейский капитан хлопает его по плечу, взгляд, который он бросает мне, это взгляд гордого испанца.

- Я привел твою Фаиме, – обращается он ко мне шепотом, – она должна была успокоить тебя, так как Андрей рассказал мне, что ты убил трех служащих, хотел уже броситься на начальника почты, почтамт был якобы в самой большой опасности, ты мог бы расколотить тут все вокруг. Я ж тебя знаю... Впрочем, Исламкуловы только что получили новый товар... Тогда до сегодняшнего вечера, не так ли?... Хочу только кое-что попробовать. Итак, – говорит он тогда громким голосом, – чтобы ничего подобного больше не повторялось, поняли? Все поняли?

- Конечно! – так же громко говорю я.

Иван Иванович прокладывает снова путь через толпу и исчезает.

В базарные дни крестьяне и охотники на пушного зверя часто предлагали мне купить разные шкурки. Готовую, дубленую шкурку белки можно было купить уже за 30 копеек. Спрос был исключительно невелик, зато запасы, напротив, очень большие. Охота на пушных зверей была единственным, пусть даже весьма скудным источником дохода для многих. Я говорил об этом с Фаиме, так как она очень хорошо ориентировалась в шкурках, потому что ее братья тоже торговали ими.

Но как я, пленный, мог бы заниматься коммерцией? Это было невозможно. Я хотел и должен был найти выход. Собственно, мне это нужно было не столько ради денег, сколько ради деятельности, которая должна была дать мне разнообразие.

Я обратился к полицейскому капитану.

- Иван, ты можешь оказать мне большую услугу?

- Проси что хочешь, мой дорогой.

- Я хотел бы уехать на несколько дней.

- Куда? Я поеду с тобой и оплачу тоже за себя. Но мы поедem без жен, как...?

- Я хотел бы поехать по деревням, чтобы скупать там шкурки. Я хочу работать.

- По деревням, шкурки скупать? Но это чистый вздор, это не может быть всерьез. Только подумай о трудностях, которые связаны с этим, они прямо-таки страшны. И к чему все это, разве тебе не хватает денег? Зачем тебе вообще работать? Ты мечтатель.

- Ты думаешь, наверное, что я убегу от тебя, нет?

- Честно говоря, не обижайся за это на меня, я никогда еще не был абсолютно уверен в тебе. Ты – отличный брат. Я должен отказать тебе, я, к сожалению, не могу этого позволить. Тебе же известны распоряжения из Петербурга. Против них я абсолютно бессилён. Будь тут моя воля, я, со своей стороны, сразу разрешил бы тебе уехать в Петербург.

- Но я обещаю тебе, дорогой Иван.

- Ты знаешь, что ничего не выйдет. Я здесь отвечаю за все, и как раз за это, это будет стоить мне головы. Почему ты хочешь навлечь на меня беду? Посмотри на других, они все радуются, если им не нужно работать.

- Но, Иван, мне нужно работать, иначе мне в голову лезут всякие печальные мысли!

- Ты возьмешь с собой Фаиме? Только честно!

- Фаиме для меня тут самое главное. Она прекрасно разбирается в мехах, а я, напротив, ничего о них не знаю.

- Тогда твое предложение абсолютно неприемлемо.

- Иван, и это твоя дружба? Я обещаю тебе, что точно вернусь. Ты мне не веришь?

- Нет, тут я тебе не верю, потому что если ты хочешь удрать, ты наплюешь и на нашу дружбу. Я тебя знаю!

Беседа была закончена. Я должен был придумать новый план действий и атаковать упрянца с другой стороны.

В принципе, Иван был прав. Все же, все мое бытие и мышление состояло только в Фаиме и в побеге. Все остальное было ложным.

Я доверял только Фаиме, только она знала это. Это знание у нее скрывалось в самой скрытой палате всех тайн. Как часто летал ко мне взгляд, когда кто-то из моих гостей во время беседы ронял слова, которые казались нам важными. Едва заметное вспыхивание глаз, опускание век, и я знал, что имела в виду Фаиме. Как кошка обходила она в базарные дни своих земляков, беседовала с ними по-татарски о на первый взгляд неважных вещах, пока не узнавала того, что как раз хотела узнать. Тунгусы, буряты, чукчи, вогулы, лапландцы, у которых на крайнем севере были олени стада, прибывали в базарные дни в Никитино, и чем севернее они жили, тем больше они интересовали девушку. Ее ищущие, пристальные глаза воспринимали все, одежду людей, их оснащение и множество мелочей, которые наверняка ускользнули бы от меня. Она осведомлялась о дорогах и погодных условиях, о ценах на оленей, ездовых и полярных собак. Она гладила животных, которых показывали ей, внешне просто из удовольствия и из чистого любопытства, и училась обходиться с ними.

Эти базарные дни были самыми счастливыми днями для нее. Она забирала меня после работы с почтамта, брала меня под руку, и тогда мы медленно шли домой.

- Я узнала кое-что новое, шептала она мне по дороге. Только вечером, если мы были одни, она рассказывала это мне шепотом.

Однажды она пришла с рынка с засоленными, высушенными рыбами, как их едят на севере. Полицейский капитан как раз был у нас.

- Попробуй-ка эту рыбу, – сказала она.

Когда я огляделся в поиске вилки, она заметила лукаво:

- Ты говорил мне, что гурман ест сосиску только пальцами; так же ты должен есть и эту рыбу.

- Но, все же, Фаиме, Крёгер настолько избалован, что он не будет есть эту старую жратву!

Я пытался попробовать рыбу. Глаза татарки смотрели на меня, они были спокойны... как всегда. Только маленькая искорка, едва заметная, вспыхнула и погасла.

Если я видел Фаиме в доме, когда она занималась хозяйством, если мы делали покупки, если девушка встречала меня в городе – всегда я должен был помнить: она хранит мою самую большую и самую прекрасную тайну – побег.

Шаг за шагом мы приближались ко дню, который должен был принести нам свободу.

Вся подготовка была закончена до самых мелочей. Мы ждали только лишь первого снега и небольшого мороза, так как большие пространства несравненно легче пройти зимой, чем летом без снега.

Сегодня, много лет спустя, я и в отдаленной степени не могу передать моих чувств, которые тогда ошастливляли меня так бесконечно, когда Фаиме по вечерам прикладывала свой пальчик к моему рту и шептала:

- Петруша, ты... ты... ты... скоро, теперь совсем скоро мы оба убежим... убежим... убежим...

Тогда я целовал ее со всей страстью, и хоть она едва ли могла дышать, ее глаза снова и снова манили меня, и она шептала: – Но никто не знает об этом... кроме меня.

Однажды в субботу вечером, было уже темно, Фаиме ушла. Примерно через полчаса она вернулась. В ее глазах был странный, еще незнакомый мне блеск; она дышала тяжело, быстро.

Она просит: – Положи руку мне на сердце.

Я кладу руку – и внезапно вздрагиваю. Фаиме достает настоящий бельгийский «браунинг». Холодная сталь хранит еще тепло ее тела. Револьвер заряжен боевыми патронами.

- Али достал его для меня, как обещал. Ты говорил мне, что побег означает опасность не на жизнь, а на смерть. Я иду с тобой, и если вдруг все будет потеряно... то вот мое оружие и моя смерть, и тут решать буду я...

Теперь рот, который всегда говорил только полные любви, добрые слова, стал другим, он стал настолько странным, ее глаза колючи и холодны... Вот так убивает таинственная Азия. Так она тоже лишает себя жизни добровольно, думаю я с большим волнением.

Твердой рукой татарка кладет револьвер и пять заряженных магазинов. (Автор использует слово «револьвер», вероятно, речь, однако, идет о магазинном автоматическом пистолете – прим. перев.)

Всю ночь снаружи ревел шторм. Он срывал последние увядшие листья деревьев. Дождь беспрерывно барабанил по маленьким окнам.

Мы внимательно слушали... тесно прижавшись друг к другу.

У Фаиме и меня была новая тайна.

Только один единственный раз я сделал полицейскому капитану неопределенный намек на мой побег. Он не мог понять его, так как его образ мыслей был приличнее моего.

- Если меня снова отправят из Никитино дальше или я умру здесь, то ты должен получить всю мою мебель и все, что принадлежит мне в Никитино. Я дарю их тебе при жизни. Фаиме – это свидетель, кроме того, у тебя вот здесь письменное обязательство от меня. Я подал ему лист бумаги.

- Но, ради Бога, ты же не хочешь сказать, что совершишь самоубийство? Ты же должен оставаться здесь навсегда! Пожизненно!

- Я надеюсь, что война продлится не пожизненно, Иван. И если она однажды закончится, то я совершенно определенно снова вернусь в Петербург, тогда я снова стану человеком с теми же правами, что и ты. Я очень тоскую по этому.

- Но чего же тебе, собственно, не хватает в Никитино, Федя? У тебя есть все, совсем все!

- Но у меня тут нет свободы! Я рожден как свободный человек и воспитан в неограниченной свободе. В Никитино я чувствую себя как животное в клетке. И не знаешь ли ты потребности работать, творить что-то в жизни?

- Ты, однако, странный человек, Федя!... Мы здесь... мы забыли о стремлениях. Я тоже когда-то был честолюбив, но все улаживается со временем, так как нет никакого толку. Посмотри, что вышло из меня? Ничего, совсем ничего. Как старый осел, как абсолютно незначительный, забытый чиновник я завершу в Сибири свою жизнь. Что мне еще остается..., вероятно, только выпивка...

Внезапно он хватается мою руку, и я замечаю по его глазам и его рту, что он прямо тут хотел бы произнести огромное множество слов, рот вздрагивает, пока он медленно не успокаивается и убирает судорожно сжатую руку от моей.

- Федя, мой дорогой, дорогой Федя! Неужели ты действительно хочешь оставить меня здесь одного среди дикарей? Забери меня с собой, пожалуйста, забери с собой, потому что я боюсь оставаться здесь один, так как все вокруг меня так безнадежно. Разве ты не видишь, что я близок к отчаянию? Ты растормошил меня из моей летаргии, разыгрывал передо мной достаточно часто крупный город, о котором я уже почти забыл. Ты думаешь, у меня нет тоски по городу, по маленькому кино, опере, по свету и радостным голосам? Зачем ты растормошил меня, Федя, зачем? Ты знаешь, я был у границы забвения. Почему ты теперь не хочешь взять меня с собой? Скажи хоть словечко!... Ни к кому, Федя, я не был так открыт в моей жизни как к тебе, мне никто не нравится, так как ты... ради Бога! Я знаю, что ты должен наблюдать за мной, а вовсе не я за тобой. Разве я не безумно открыт к тебе?

Иван Иванович рассматривает мою дарственную и делает недружелюбное движение рукой.

- Чепуха, полная чепуха, что ты там написал. Что ты от меня теперь не убежишь, я знаю. Твоя Фаиме тоже никогда не получит от меня разрешения на выезд. Я обращаюсь с ней уже давно точно так же как с тобой. Она такая же заключенная, как ты, доктор! Строгий взгляд добродушных глаз встречает меня на секунды, потом он снова становится приветливым, и человек превращается снова в старого, доброго Ивана Ивановича. Все же, в его глазах продолжается работа.

- Если война окончится, тогда ты достанешь для меня местечко в Москве или Петербурге, не так ли, Федя? Ты же сделаешь это, правда? Для тебя это легко, ведь у тебя есть связи, ты даже лично знаешь генерал-лейтенанта Р. Я тогда снова оживу, снова стану нормальным человеком, как раньше. Тогда я приду в гости к вам обоим, и за хорошей бутылкой вина мы вспомним о Ни-

китино. Бери, забирай назад свою дарственную! Ты там нацарапал полную чушь, мой дорогой!

- Но если я умру здесь, Иван! Это ведь возможно!

- В другом случае я сказал бы, что ты должен подарить все твоей Фаиме, но девушка... Он замолкает нерешительно, не зная, следует ли ему это говорить. Это очень тяжело дается ему, и поэтому он серьезно смотрит мне в глаза, с энергией кладет мне свои руки на плечи и успокаивается, наконец. – Фаиме... не проживет тогда ни дня после твоей смерти, Федя, ты знаешь...? Он долго смотрит на меня, долго, его губы дрожат. Он отодвигает наполненный стакан, который стоит перед ним, прочь от себя, и в этом жесте лежит презрение к самому себе. Потом он смотрит на землю, и произносит слова, запинаясь: – С тех пор, как Фаиме любит тебя, Федя... она как преобразилась... Я больше не могу смотреть ей в глаза... они смотрят мне глубоко в душу... они беспокоят меня... я становлюсь небезопасным, они... они как бы требуют что-то от меня. Здесь для меня и для всех мужчин Фаиме... – это сатана искушения... для тебя она... все! Он судорожно стискивает пальцами мои плечи, как будто хочет глубоко внушить мне эти слова. – Для тебя она – Бог... Бог безграничной любви... Бог, которого мы, другие, будем искать вечно и, все же, не найдем. Наши жены?... Жить и стремиться, ты говоришь..., но это не стоит ради таких... действительно не стоит! Его руки падают мне с плеч. Погруженный в мысли, он встает передо мной, делая усталый, оборонительный жест, как будто хочет отогнать чувство. – Ах, какую чепуху я тут намолол!... К чему все это, снова и снова думать об этом, не стоит, не стоит! Ну, мы же друзья, Федя, иногда говорят что-то такое... Я думаю, ты даже вообще не понял меня, не так ли? Ты даже не особо и слушал, нет?

- Наташа, – сказал я однажды верной женщине, – сядьте за стол, я должен вам сказать что-то важное. Я прошу вас, чтобы вы не говорили об этом ни с кем. Беспокойно, с боязливymi глазами женщина садится, забыв даже разглядеть фартук. – Вы верно служили мне, как моим родителям, в течение долгих лет. Я благодарю вас за это от самого чистого сердца. Деньги, которые вы здесь найдете, – это не выражение моей благодарности, а только возможность, которую я хотел бы дать вам, чтобы месяцами жить беззаботно, чтобы купить себе, может быть, маленький домик в вашей родной деревне. Мы все не знаем, как долго продлится война, как долго мы можем оставаться вместе, кто знает, смогут ли мои родители или я позже снова позвать вас к себе. Мы можем и умереть. Мне в любой момент может грозить смерть. Я не хочу, чтобы потом началась неразбериха. Если вы хотите иметь что-то из моих вещей, которые вы привезли сюда с сестрой милосердия, я не знаю, скажите это мне, так как оставшееся я подарил моему полицейскому капитану. С деньгами вы найдете дарственную. Деньги принадлежат вам, вы можете распоряжаться ими, как хотите, независимо от того, жив ли я или умер.

Женщина тихо плакала. Ей понадобилось несколько дней, чтобы побороть произнесенное.

Я посвятил братьев Исламкуловых в мои планы бегства, так как я снова и снова видел, с какой нежностью они общались со своей сестрой. Кроме того, мне нужно было покупать оружие, боеприпасы, инструменты и запасы и где-то это все прятать.

Подготовка длилась уже много недель. Приобретение оружия было исключительно трудным. Теперь все было готово, вплоть до самой незначительной мелочи.

У Исламкуловых в конюшне с некоторого времени стояла маленькая, косматая сибирская лошадка. Фаиме назвала ее «Колькой» [ласкательное имя для Николая]. Животное было сильным и терпеливым; о нем заботились с особой тщательностью. Рядом с гнедым, бодрым Колькой стояли сани и в самом глубоком, самом скрытом углу конюшни две смазанные, совсем новые солдатские винтовки с 250 патронами и для надежности также штыки к ним, а также дробовик. Запас мясных консервов, банки с сухарями, сушеное, вяленое мясо, два полных комплекта одежды самоедов из лучших шкур, спиртовой кипятыльник, топор, пила, нож, гвозди, брезент и еще много разного.

В последнее время мы с Фаиме часто оставались у Исламкуловых до позднего вечера. Мы даже иногда ночевали там, чтобы в день побега наше внезапное отсутствие не бросилось сразу в глаза.

Я надеялся, что таким путем получу нескольких часов форы. Также я планировал идти не по дороге к ближайшей станции, а наоборот, ускользнуть в противоположном направлении. На пути к станции как, вообще, к железнодорожным линиям меня искали бы значительно больше, чем где-нибудь в лесу, на всех этих обходных тропинках и затерянных лесных просеках. Если, однако, немногочисленные преследователи там задержат меня, то у меня все еще была возможность защищаться с помощью двух армейских винтовок. Фаиме научилась быстро перезаряжать магазины.

Взятого продовольствия хватило бы нам двоим на целый месяц; лес снова и снова мог бы пополнять его.

Если зима будет очень сурова, и мы не сможем двигаться дальше, то у нас всегда была возможность перезимовать у северных кочевых народов. Полярная зима, если уметь построить снежную хижину, оказывается вполне сносной и для нас, жителей центральной Европы. В полярных местностях не знают полиции, особенно в России. Весной – к тому времени о нас давно бы забыли – мы могли бы потом приблизиться к границе.

Маршрут бегства был довольно точно разработан, если можно вообще говорить об установлении дороги протяженностью более трех тысяч километров, преимущественно через леса и снежные пустыни.

Дорога должна была вести нас сначала в северную Сибирь, так как преследование почти всегда ограничивалось железнодорожными линиями и их связями. Потом на запад через Урал, дальше в район Архангельска на Белом море. Там, вероятно, можно было бы ускользнуть на баркасе, так как Белое море благодаря влиянию Гольфстрима часто замерзало только в декабре. Если водный путь был слишком опасен, то можно было попытаться попасть от Архангельска через самую северную русско-финскую границу в Швецию. Эти самые северные области предлагали очень большую перспективу успеха, так как они были очень слабо заселены и были очень холодны, и поэтому преследование на этих территориях остается всегда очень сложным.

Ничто не указывало на наши планы бегства. Так же как Никитино готовился к зиме и к зимней спячке и хозяева лавок и большинство жителей наполняли свои кладовые, то я тоже проводил разные изменения в моей квартире.

В комнате был построен камин, полы выложены толстыми, домоткаными коврами, большие собачьи шкуры сшивались и тоже использовались как ковры. Окна с двойными рамами были недавно замазаны, только маленькие форточки устанавливались для вентиляции комнат. Входная дверь была обшита толстым войлоком, на дворе сложена гора дров; несколько дней назад начали топить.

Сильный ветер много дней хлестал по пустынной местности.

Осенний дождь погружал все в меланхолический, холодный, влажный серый цвет. Он сделал широкие лесные дороги через далекие земли едва проходимыми и настраивал людей на печальное, ворчливое, сонное состояние. Потом еще раз пришла сияющая солнечная погода, издали слышали голоса, лай дворняжек, возгласы, пение и игра на гармошке и балалайке, смеющиеся и визгливые девичьи голоса, одиноко затихающий выстрел охотника.

В воздухе уже чувствуется мороз. Каждый день может принести нам снег. Стрелка барометра, которая сначала упала так низко, поднималась быстро, все же, в течение последних дней она снова постоянно падает.

Каждый день может принести нам снег – тогда настанет зима!

Каждое утро мы просыпаемся, и теперь наш первый взгляд всегда направлен из окна на улицу: не выпал ли уже снег?...

Мы тогда надеемся всегда на следующий день. Это только лишь промежуток из немногих, совсем, совсем немногих дней.

В течение дня я тоже нередко спрашиваю:

- Фаиме, не идет ли еще снег?

- Нет, Петруша, но совсем, совсем скоро!

Я, как часто бывало, положил свою голову на колени Фаиме. Девушка сидела на подушках, которые лежали на толстом ковре из собачьих шкур. Она охотно сидела, как это делают жители Востока, на полу и тихо качала мою верхнюю часть туловища, так же как укачивают маленьких детей.

Поленья в камине горели, трещали и распространяли приятное тепло вокруг нас. В углу светилась лампада. Снаружи плакал и ревел ледяной ветер. Иногда он нажимал на оконные стекла, и мы чувствовали, как сильно тряслась деревянная постройка.

Теплый, стеганый домашний халат, две толстых косы иссиня черных сверкающих волос, два глаза, которые видели только меня в далеком мире, руки, которые гладили только меня, губы, которые страстно целовали только меня, маленькие, голые ножки, которые с первого дня неумоимо выравнивали мне дорогу к свободе, аромат любимого человека, которого мы встречаем единственный раз, а потом приходит только лишь пустота... все это окружало меня со всеми его невидимыми колебаниями, которые только обнаруживают в нас, людях, наличие души. Спокойный свет лампады и в слабом свете едва освещенное, бородатое лицо святого... он сверху улыбается нам.

- Знаешь ли ты, что на рынке рассказал мне старый вогул? Прекрасная, чудесная новость, Петруша. Она укачивает меня дальше, равномерно и убаюкивая, приближает свой рот к моему уху, и ее горячее дыхание шепчет: – На севере первый снег выпал уже пять дней назад... три дня снег шел непрерывно... скоро, совсем скоро мы оба убежим... убежим... убежим...

* * *

Внезапно ко мне приходят высокие гости. Это генерал и Иван Иванович.

- Дорогой господин Крёгер, – начинает генерал, – я пришел с просьбой к вам. Будьте моей правой рукой, в подлинном смысле слова. Помогите мне в обращении с вашими товарищами, так как я не знаю вашего языка и больше не ориентируюсь... Вы хотели бы это делать?

- Это по моей инициативе, дорогой друг; я долго хлопотал об этом у его превосходительства, – говорит, сияя, полицейский капитан.

- Да, правда, Иван Иванович меня очень просил об этом. Он говорил мне так часто: «Все же, мой друг Крёгер всегда ищет себе работу, позвольте ему разбираться со своими соотечественниками и помогать им».

У меня перехватило горло, я судорожно сжимаю руки.

- Я не могу, ваше превосходительство! Ради Бога, я действительно не могу, – срывается внезапно в ужасе с моих губ. Кровь приливает мне в голову, лоб покрывается потом.

- Дорогой господин Крёгер, – говорит спокойно и мягко генерал, – вы хотите отвергнуть мою просьбу? Человек с таким добрым сердцем, и к тому же немец? Вы не хотите помочь старику, который мог бы быть вашим отцом, не хотите помочь вашим землякам в притесненном положении? Но вы же вряд ли сказали это всерьез?

- Ваше превосходительство... простите меня... я не могу... ради Бога, я не могу!

Тягостное молчание. Мой пульс бешено колотится.

- Почему же нет, мой дорогой господин Крёгер? – снова звучит кроткий голос старого офицера.

- Я не могу!... Я не могу!... Я... не могу...! – я прижимаю руки к вискам и к ушам, чтобы не слышать слов, которые снова и снова обращаются ко мне.

- Я полагаю, что понимаю Вас. Не нужно сразу, но действительно придите скоро ко мне, и вы согласитесь. Я очень прошу вас об этом, господин Крёгер.

Озадаченно Иван Иванович смотрит на меня. Мой отказ для него остается навечно загадкой. Мы подаем друг другу руки, мужчины уходят. Я не в состоянии проводить их до двери.

-... Фаиме...

Это крик неудержимого отчаяния. Я падаю перед нею на колени, упираюсь лицом в ее лоно... я всхлипываю. Мое самообладание подходит к концу. Я только лишь смертельно огорченный, разочарованный слабый ребенок.

Она позволяет мне выплакаться.

- Мой бедный ребенок, мой дорогой, дорогой мальчик, мой маленький Петр, не плачь, не плачь, мой милый, – шепчет она.

Ее руки успокаивают меня.

Я внимательно прислушиваюсь глубоко, глубоко к себе самому...

Когда я потом взглянул вверх, она улыбалась мне, как благосклонный, все понимающий... Бог.

Однако я смотрю вниз на себя и внезапно обнаруживаю: я всегда был только жалким, позорным карликом!

Медленно я встаю, набрасываю пальто на плечи, надеваю шапку. Дверь защелкивается на замок, тогда все снова спокойно в доме.

Жалкий карлик шагает устало, как будто бы на его суставах цепи и шары. У границы зоны свободы он останавливается, потом садится на скамью, который сам много недель назад принес на это место. Шапка падает с него, но он не замечает это. Голова уперта в ладони, взгляд широк, направлен далеко вдаль, туда, где уже давно зашло солнце. Там лежит его родина.

Доктор технических наук Теодор Крёгер, сын крупного промышленника, привыкший приказывать другим и формировать свою жизнь только согласно своему мнению, должен принуждаться к исполнению долга!

Серые, согнувшиеся колонны, бледные, замученные лица с волнующимися глазами глядят на него, серьезно и отдаленно на целый мир. Эти глаза, уже видевшие смерть, которые в борьбе против целого мира врагов, с находящейся под угрозой родиной за их спиной, твердо верили в свою победу. Они все выполнили свой долг, они отдали для своей страны даже жизнь. – Они все смотрят на него теперь:

- Выполнил ли ты свой долг?

«Товарищи! Я считаю своим самым большим долгом заботиться о вас, не щадя сил!»

Он же сам им это обещал!

- Теперь, когда пришло время сдержать слово, ты хочешь убежать? Ты хочешь быть свободным? А другие пустьдохнут! Разве только ты тоскуешь по своей родине, только у тебя есть право убежать? У других, пожалуй, нет такого права? Ты возвышенный, ты чудесный мужчина, мужчина с образованием и высокой культурой! Ты болтун, ты лжец!

Мне внезапно показалось, как будто ветер шевелил волосы Фаиме у моего лица. Я провел рукой по лбу. Она была мокра...

«Это все европейцы, собственно, являются такими трезвыми? Разве вам не знакомо ощущение, когда вы отдаете что-то от всего сердца и от самой чистой души?»

Я не мог убежать, должен ли я оставаться здесь, должен ли я отказаться от моей свободы, продолжать жить как пленник и ждать, как другие ждут, часа освобождения?

Фаиме тоже пыталась утешить меня, она, которая так радовалась при одной мысли убежать со мной!

Даже для девочки, для татарки в глубокой Сибири, для ребенка, это была самоочевидность – только не для меня! Темное, тяжелое чувство стыда глубоко вползло мне в душу.

Долго, очень долго я сидел в темноте.

Борьба совести с упрямством была жестокой и трудной.

- Я... остаюсь...!

Эти слова слетают с моих губ, произвольно, и я чувствую внезапно, что маленькая радость скрывалась во мне, она растет, растет все больше, теперь она – уже счастье... и потом... большое, сияющее счастье!

Постепенно я прихожу к себе, как после сна, после наркоза. Я содрогаюсь от холода, открываю глаза, широко раскрываю их...

Вокруг меня все изменилось.

Плотными снежинками, в возвышенной, внимательно слушающей тишине падает снег...

Он падает и падает, на непокрытую голову, на лицо, на открытые руки.

И я... я все же счастлив...!

Когда я открываю дверь в свою квартиру, Фаиме стоит передо мной; я знал это, когда шел домой.

Я весь в снегу, холодный и мокрый. Она стоит передо мной в теплом, длинном домашнем халате. Ее взгляд напряженно всматривается в черты моего лица; у нее такие прекрасные, великолепные черные глаза.

- Идет снег, моя дорогая! Я... остаюсь...

Товарищи

Первые солнечные лучи падают на ослепительно белую, блестящую снежную поверхность. Термометр показывает два градуса мороза.

- Вы все же пришли, дорогой господин Крёгер, – встречает меня генерал, – это очень любезно с вашей стороны!

- Простите, ваше высокопревосходительство, что я вчера...

- Ладно, ладно, не стоит об этом! Ведь все мы люди, а не безгрешные боги. Он кладет мне руку на плечо. – Вы молоды и у вас очень горячая кровь. Я тоже когда-то был мальчиком, теперь... теперь многое изменилось. Я тоже был на фронте, на Японской войне, там я тоже дважды попадал в плен и... думал тогда точно как вы, хотя у меня были уже тогда седые волосы. Для меня это все совершенно понятно. Знаете ли вы, что я даже и не ожидал от вас ничего другого? С вашими здоровыми, сильными костями можно плевать на законы и верить, что справятся с самим чертом! Я знаю это... я все это знаю! Генерал молчит довольно долго. – Позвольте мне обратиться к вам как отец. Мои седые волосы дают мне на это некоторое право. Я думаю, что ваш отец на моем месте сказал бы вам то же самое. У нас, людей, есть обязанности, есть долг! Долг перед нашими близкими, перед окружающими. Никогда не обременяйте вашу совесть действиями, за которые вам потом придется стыдиться, потому что их никогда нельзя будет исправить, если позже вы почувствуете за совершенное вами самое глубокое раскаяние. Ваше «нет» наверняка навредило бы многим из ваших товарищей. Проклятие чертовой войны тяготеет над всеми нами. Идите теперь к вашим товарищам, помогите им. Кто знает, может быть, потом это будет вашим единственным радостным воспоминанием о нашей стране, о вашей ссылке в Сибири.

Генерал благосклонно похлопал меня по плечу и разрешил идти. По пути к винокурне я прохожу мимо дома Исламкуловых. Я вспоминаю про Кольку. Вскоре я вывожу его из убежища.

Теперь лошадка может двигаться на свободе, в то время как я остаюсь – добровольным пленником.

Часовые у ворот винокурни вытягиваются по стойке «смирно». Я вхожу. В канцелярии сидят унтер-офицеры и фельдфебель, староста лагеря. На короткое время все стоят навытяжку. Я подаю каждому руку. Коробка с сигаретами переходит от одного к другому.

- Я уполномочен комендантом лагеря, чтобы быть посредником между вами и здешним начальством. Я понял так, что обе части не особенно хорошо находят общий язык, не так ли?

- К сожалению, нет, мы никак не можем правильно договориться, – говорит фельдфебель.

- Ну, это уж мы устроим.

Передо мной, на чисто отдраенном щеткой столе, лежат донесения старосты лагеря. Они все ужасающе одинаковы.

Болезни. Шесть пленных больны. Они только простужены, это еще не так плохо.

Дверь открывается. Я смотрю на лагерь для пленных.

Плохо одетые мужчины сидят на нарах. В середине проход, у потолка керосиновая лампа. Пол чист. Сотни глаз глядят на меня, изможденные, серые лица. Голод, лишения, безделье, отчаяние написаны на них.

Сибирская зима близка, что она им принесет?... Братские могилы?... Медленную смерть?... Чего хочет этот человек от нас? Даст он нам что-то? Или забрет у нас последнее?

- Пожалуйста, сразу пустите по людям список, – обращаюсь я к фельдфебелю. – Пусть каждый точно внесет в этот список, что он изучал, какая-либо профессия, ремесло или что-то другое, что он умеет. Я хочу попытаться добиться для вас как можно больше работы.

Мы снова в канцелярии. Вместе мы подробно обсуждаем все установленные проблемы, которые записываются. Все очень стараются дать практические, исполнимые предложения. Лист заполняется все больше и больше. Три слова огненными буквами стоят у меня перед глазами: еда, чистота, дисциплина.

Вечером Фаиме и я были гостями у Екатерины Петровны. Стол почти ломался от изобилия блюд. Я сидел напротив хозяйки дома, генерал увивался вокруг Фаиме в своем очаровательном образе, как будто он снова стал молод, как когда-то. Иван Иванович ел и пил, лицо его было довольным, и он постепенно начинал потеть, знак того, что он теперь достаточно поел и, естественно, также соответственно и напился.

- Иван, недавно ты говорил мне, что у тебя есть более четырех тысяч немного поврежденных молью валенок. Что с ними? – спросил я его, пока все остальные сидели теперь за чайным столиком.

- Почему это тебя интересует?

- Ты же как-то сказал, что не знаешь, что с ними теперь делать.

- Ну, это верно, что мне делать со всей этой партией? Это военное имущество, но никто не спрашивает о нем, потому что все об этом уже давно забыли. Нельзя ли было бы продать этот хлам?
- Вряд ли, кто же его купит? Но я хотел бы как-то взглянуть.
- Скажи-ка, Крёгер, не поиграть ли нам, мужчинам, немного в карты?
- Нет, нет, совсем исключено, мой дорогой. Теперь господин Крёгер хочет выпить немного чаю и полакомиться сладостями к нему, – перебивает капитана его жена, берет меня за руку и тянет к чайному столику.
- Ну что же ты за мужчина, Федя, – голос полицейского капитана звучит за моей спиной. – Ты не пьешь как правоверный, как у нас обычно говорят, ты не играешь в карты, разве что только тогда, когда это обязательно, зато охотно ешь сладости, все же, это не по-мужски, мой дорогой!
- Оставь его в покое, Иван! – говорит несколько сердито его жена.
- Ну, что у господина Крёгера неплохой вкуса, видно по его маленькой жене, – смеется генерал. – Вы – самая потрясающая женщина, которую я когда-нибудь видел, – и с этими словами старый солдат целует девочке руки.
- Ваше высокопревосходительство очень добры, – говорит, улыбаясь, Фаиме и при этом краснеет. За оживленной беседой проходит время.
- Иван, я должен поговорить с тобой наедине.
- Но, Крёгер, дорогой мой, ты как барышня, – смеется Иван Иванович, – у мужчин ведь не бывает тайн. Такого со мной за всю мою жизнь не было.
- Но, Иван, это вроде служебного дела, давай, я действительно должен сказать тебе что-то важное.
- Ну, если так должно быть, то пошли. Великан поднимается с громким стоном и кряхтением. Он идет первым, я за ним.
- Я сгораю от любопытства, что же ты мне скажешь. Ну, выкладывай!
- Я куплю твои валенки, – говорю я без промедления.
- Ты?!... Ради Бога, и чего ты хочешь с четырьмя тысячами валенкам?
- Сколько стоит вся партия? Как ты считаешься за нее с городской управой?

- Ну, скажем так... тысяча рублей. Они обрадуются, получив что-то за них.

- Хорошо, Иван. Тысяча рублей. Я попрошу Исламкулова поговорить с твоей городской управой. Все, что он собьет с цены, принадлежит тебе. Он должен предложить им триста рублей – на пятистах они договорятся. Татарин в этом деле мастер.

- Великолепно! Просто здорово! Я уж смогу позаботиться о действительно низкой цене! Я получу пятьсот рублей? И как выглядит такая большая сумма денег? Они хоть поместятся в одном кармане? Так я скоро сойду с ума! Тогда он внезапно глядит на меня, замечает, что я смеюсь и говорит: – А что же ты хочешь, собственно, с ними делать? Ты странный парень! Подумай только, четыре тысячи валенок, целая гора, огромная гора валенок!

- Мои товарищи замерзают, Иван, – отвечаю я.

Внезапно смех мужчины умолкает, он становится очень серьезным и опускает взгляд. Потом он обнимает мою голову, так как в его глазах стоят крупные слезы, и он по русскому обычаю целует меня в обе щеки.

- Федя, брат! Прости мне! Завтра я иду к святому причастию. Прости мне, что я никогда полностью не доверял тебе в глубине души. Я искренне прошу тебя о прощении!

- Я ничего не должен прощать тебе, мой друг. Теперь я тоже стал другим человеком.

- Но почему, все же, я не понимаю тебя. Ты теперь думаешь иначе, чем раньше?

- Да, Иван... с ночи сегодняшнего дня. Сегодня ночью шел снег. Я вывожу совершенно озадаченного мужчину из комнаты.

Этим вечером я снова смог смотреть Фаиме в глаза так же как раньше, с радостью и преданностью. Когда я следующим утром выхожу из дома, то вижу, что часовой и его будка внезапно исчезли. В полдень я получаю официальное подтверждение и разрешение закрывать отныне мою входную дверь.

Два дня в полицейском управлении длилось затяжное собрание. Генерал Марион Николаевич, Иван Иванович и я совещались о радостях и проблемах моих товарищей. Мои предложения об улучшении их положения были приняты после нескольких дискуссий.

В здание полицейского управления никогда еще постоянно не заходило и не выходило из него так много людей. Все профессии были тут представлены, купцы, ремесленники, крестьяне, между ними пробегали служащие муници-

палитета. Как и повсюду, в Никитино учреждение военной администрации и полиция во время войны тоже имели неограниченную, диктаторскую власть, которой должны были беспрекословно подчиняться все.

- Ну, вы прямо содрали шкуру с нас, господин Крёгер!

- Ваше превосходительство, я хотел бы все исправить...

- Согласен, завтра вечером мы ваши гости. Пока передайте вашей прекрасной жене мой самый сердечный привет.

Я огляделся в кабинете. Он был полон табачного дыма. На столе тарелка с окурками, рядом остатки бутербродов с маслом и три стакана, частично еще полные чая.

- Скажи-ка, Федя, ты вообще в своем уме? Ты загнал меня до смерти! Ты всегда так работаешь? Это в вашей стране такой обычай – так сдирать шкуру с людей при работе?

- Теперь ты можешь отдыхать, Иван, теперь все прошло. Завтра вечером у меня ты сможешь возместить свои потери.

Медлительно капитан встал и молча покачал головой. У него действительно не было слов, вероятно, впервые в его жизни.

Сотни глаз направлены на меня. Я сижу в середине пленных товарищей, плотно вокруг меня унтер-офицеры. Все напряженно смотрят на меня.

- Мы хотели держать военный совет, товарищи. Мне удалось убедить учреждение военной администрации и полицию в том, что вам нужно помещение, где вы могли бы чувствовать себя хорошо. Получено разрешение на строительство дома для вас.

Разразились громкие аплодисменты.

- Кто хочет работать на этом строительстве? – спрашиваю я.

- Я... я... я..., – звучит со всех сторон. Глаза мужчин светятся, они хотят протиснуться вперед.

– Но кто из вас знаком с этим ремеслом?

Все, совсем без исключения, сразу снова называют себя.

- А, так вы великие строители? Раздается громкий смех наступает, слышны шутки и веселые слова. Потом создается план действий.

Военнопленные строят свой дом. Мужчины, внезапно вырванные из постоянной монотонности, работают над исполнением своего желания. Как муравьи они принимаются за строительство. Снег высотой всего лишь несколько сантиметров, холод вполне сносный. Веселые призывы, шуточные слова летают по воздуху на всех языках и диалектах Германии и Австрии. Видно, как чернявый венгр шутит со светловолосым берлинцем, видно за работой много рук, которые знали другие ремесла. Команды раздаются, коротко, ясно, все исполняют с радостью и озорством. После нескольких недель «родной угол» стоит!

Весь город на ногах. Это освящение.

Тяжелая входная дверь раскрывается, и я смотрю в зал, который может принять примерно тысячу человек, украшенный гирляндами и еловыми ветками. Крепкие столы и стулья, кресла, пусть и с жесткой обивкой, но изготовленные красиво и современно, покрытые тканью со старых военных мундиров. Маленькие ниши с резными стенами, у потолка четыре большие керосиновые лампы, две чистых цилиндрических железных печи излучают ужасную жару. Из маленького узелка самых скудных пожитков каждый отдал самое лучшее.

У стены сооружен маленький подиум. Недалеко от него сидит генерал в полной форме, со всеми орденами. Рядом с ним Иван Иванович, также в парадном мундире, с сияющей звездой за строительство лица. Возле него Екатерина Петровна. Еще два пустых кресла зарезервированы для Фаиме и меня. Сразу за ними сидят унтер-офицеры военнопленных. Все, вплоть до последнего, нарядились самым лучшим образом, даже на самых небрежных видны свежезалатанные мундиры.

Помещение наполнено ожиданием, торжественностью.

Я говорю короткие приветственные слова и слова благодарности от имени моих товарищей в адрес российских властей. Мы долго и сердечно пожимаем друг другу руки.

- Хорошо, очень хорошо... с удовольствием..., прерывистые слова слышны из уст генерала. – По-немецки... немного, – и его руки делают жест сожаления. – Товарищи, я тоже благодарю. Он указывает на помещение, кивает пленным солдатам, и лицо его улыбается тихо и благосклонно.

Теперь Иван Иванович тоже встал. Он тоже кивает всем, смеется всем лицом и говорит: Никс дойч, но большое спасибо.

Затем один парень, черный как черт, кудрявыми волосами и черными глазами, встает на подиум.

Озорно и вызывающе он смотрит на нас. С широким движением он поднимает свою примитивную скрипку и начинает играть. В зале наступает полная тишина.

Тоска... Широкий... пылающий жар изливается из его скрипки. Он и инструмент стали одним, так как она – только отзвук чувств этой взволнованной души. Его глаза закрыты, он успокаивает сам себя, и лицо преображено, как будто бы он шагает по своей любимой, широкой Пусте.

Внезапно скрипка умолкает! Горящий, вспыхивающий взгляд цыгана – и вокруг него снова снег, холод, Сибирь...

Неистовое, бушующее одобрение из тысяч рук.

Венгры кричат ему «Eljen, Dajos! Eljen!». И снова черноволосый Дайош должен играть.

Потом на подиуме поют, исполняют куплеты и рассказывают действительно хорошие шутки. Начальство слушает благовоспитанно, хотя не понимает ни слова, и улыбается.

Короткие слова благодарности в адрес властей и товарищей, потом мы оставляем их одних.

У выхода стоит фельдфебель. Он берет меня за рукав, он пытается говорить, но только заикаясь произносит слова: – Господин Крёгер, я хотел бы... могу я себе позволить сказать... нашим товарищам, что...

- Нет, фельдфебель, вы обещали, что будете молчать.

- Я не могу... я должен громко сказать это всем...

- Почему?... Я самый счастливый из всех вас, фельдфебель. Вам этого недостаточно?

- Слушаюсь, господин Крёгер!

Старый солдат хватается мою руку. Его губы твердо сжаты. Тяжелая дверь закрывается.

Надо мной сверкают звезды...

Каждое утро, точно в девять часов, было «построение с парадным маршем».

Чтобы вырвать людей из монотонности, каждое утро проводилась строевая подготовка. В валенках, но безупречным походным шагом пленные шли пить

кофе в «родной угол». Звучали резкие прусские команды, и колонны маршировали перед унтер-офицерами, а также нередко и перед генералом, который принимал прохождение войск торжественным маршем, отдавая им честь и улыбаясь.

Никто не возражал против этого распоряжения. Каждый приветствовал его, видел в нем доброжелательное развлечение, которое позволяло ему встряхнуть тело и размять кости и снова сильно прогнать ленивую кровь по артериям.

- Федя, у тебя дар мучить живых людей, что... у меня нет слов! Теперь ты уже требуешь от меня, чтобы я пошел с тобой к пекарю Воробью. Что мне там делать? Ты мог бы пойти и один, ты же знаешь точно так же хорошо, как я. Ты, пожалуй, думаешь, мне больше нечего делать, кроме как гулять с тобой? За что же я получаю мое с трудом заработанное жалование? За безделье, или как? Ты легкомысленный человек! Ты хочешь взвалить всю работу на нас, как будто мы рабы на галерах. Два дня я почти не выползал в свое время из того строительства, и если бы не было генерала, я бы уже давно...

- Иван, ты должен только разок пойти со мной, от этого так много зависит, – прошу я.

- Что, я должен? Нет! Очень большая ошибка, мой дорогой! Я вовсе не должен. Я должен надевать пальто, мочить мои ноги? Снаружи собачья погода! Нет, я останусь здесь. У меня так много дел, что у меня нет времени, ни одной минуты. Посмотри, сколько работы, которая ждет меня. Если бы я не был так крепок... я бы уже давно умер.

- Ну, теперь я на тебя всерьез рассердился, – говоря я и ухожу. Я иду один к пекарю Воробью.

Стертые, гнилые ступеньки ведут вверх в его торговое помещение. Маленький прилавок, на нем кучка плохо выпеченных булочек, несколько в стороне пирог, неаппетитный и непонятный. За прилавком гора плохо выпеченных хлебов.

Приходит хозяин, маленький, толстый, не неприятный мужчина. Руки, одежда, волосы и борода запорошены мукой. Его выражение лица недружелюбно, так как он знает, чего я хочу, и он враждебно настроен ко всем новшествам, также он ни в грош не ставит пленных, «врагов».

Мы садимся в комнате рядом с лавкой.

Я достаю бутылку водки. Пекарь сначала косится на нее, потом приносит две рюмки и решительно откупоривает бутылку ладонью.

Наконец, после прелюдии о выпивке и трезвости, о морали умеренности, ее условных преимуществах и недостатках, во время чего мужчина бесцеремонно выпивает несколько рюмок, я, наконец, перехожу к делу.

- Воробей, ну почему ты никак не хочешь понять, что правильное зарабатывание денег приносит радость?

- Барин, я не верю в это! Конечно, я хочу зарабатывать деньги, столько, сколько возможно, и я с удовольствием мог бы построить новую булочную, но, все же, это не настолько просто, как вы это мне объясняете. Я все еще никак не могу все это правильно понять, вот такой я тугодум. С давних пор я занимаюсь моей булочной, она также самая лучшая в городе, но... теперь я должен сделать все другим?

Наконец, мы спускаемся по тонким ступеням. Под торговым помещением находится пекарня. Невероятная неразбериха господствует там. Я объясняю уже несколько успокоившемуся Воробью, как я все продумал, что необходимо перестроить, как можно увеличить помещения для пекарни и как можно создать помещение для нескольких пленников.

- Петр, ты там внизу? – слышу я внезапно голос Фаиме. – Мы сейчас спустимся к тебе.

- Ах..., ах, эта проклятая лестница, почему она у тебя такая узкая и тонкая? Человек по ней вовсе не может спуститься! Так..., ах... где меня теперь только не носит... ну и жара же тут внизу!

Охая и со стонами спустился Иван Иванович и теперь вытирает пот со лба. За ним появляется, смеясь, Фаиме. Гигант, кажется, больше не может дышать, ему не хватает воздуха, так нерасторопно он смотрит в разные стороны, где мог бы положить свою шапку. Я беру ее у него.

- Ну и жарко у тебя, Воробей, как в аду! Это так и должно быть, скажи-ка? Ну, открой хотя бы окно, быстрее, я тут прямо задыхаюсь! Или ты не знаешь, парень, кто стоит перед тобой? И уже он пытается раскрыть окно. Но пекарь опережает его.

- Ради Бога, ваше высокоблагородие!... Тесто поднимается, ради Бога, нельзя, иначе оно упадет...

- Твое тесто, Воробей, вздор, хоть чуть-чуть воздуха! Оно снова поднимется, как только я уйду. Тогда из-за меня натопишь еще раз.

- Разве это не мило со стороны Ивана Ивановича, что он пришел? – спрашивает Фаиме и легонько стучит по руке толстяка.

- Ну да, здесь все только мучат, иначе и жизни совсем не будет. И так, – он внезапно прерывается, – вы теперь пришли к общему мнению насчет перестройки?... Смотри, Воробей, это дело совсем простое, ужасно простое. Ты позволишь увеличить это помещение, скажем так, примерно на пять шагов, этого достаточно; потом ты построишь еще помещение для пленников, для пяти-шести человек, где они могли бы жить и спать. Торговое помещение тоже нужно сделать чище, внушительный прилавок непременно необходим, и дело сделано, понятно? Сегодня, прямо сейчас, придут люди и приступят к работе. Строить нужно будет днем и ночью. Сейчас мы живем в совсем другое время. Сон и безделье пора, наконец, прекратить. Мы все должны принять участие, хотим мы или нет.

- Ваше высокоблагородие...

- Не вмешивайся, Воробей, ты не понимаешь этого, но позже ты будешь только благодарен мне, конечно, да, будешь благодарен. И так, поняли? Работу начать прямо сейчас, без возражений! Иначе ты никогда в жизни больше не сможешь поставлять мне свой хлеб; вкус у него, впрочем, очень скверный; неслыханно предлагать мне что-то в этом роде! И теперь мы можем, пожалуй, идти, не так ли? Он приходит в движение, тяжело поднимается вверх по ступенькам, пекарь молча следует за ним.

- Твой торговый зал ужасен, здесь все нужно поменять. Люди должны радоваться, когда приходят к тебе. Все должно быть полно товара, до потолка, тогда и деньги потоком потекут в кассу. Радуйся, все же, что я помогаю тебе, не делай такое глупое лицо, как будто на тебя какое-то чудовище напало. Ты увидишь, дело пойдет. Если нет, тогда доктор возместит твои затраты! Не так ли, Федя?

- Да, я это сделаю, Воробей, я тебе обещаю!

- Тогда другое дело. Я уже боялся за свои с таким трудом заработанные копейки, ваше высокоблагородие...

- Не болтай! – капитан снова прикрикнул на пекаря. – Ты заработал больше, чем только копейки! Разве ты кому-то задолжал? Нет, у тебя долгов нет, значит, ты состоятельный человек! Мы снова на улице.

- Фаиме убедила меня. Я был по дороге домой, когда она встретила меня, и просила меня, чтобы я пошел с ней. Она искала тебя. Я буду обедать у тебя, Федя.

- Кузьмичев, – говорит Иван Иванович, когда мы случайно встречаем солдата, – прямо сейчас отправляйся к моей жене и скажи ей, что я не приду на обед. Потом собери ремесленников, приведи их к пекарю Воробью и скажи, что я приказываю им, чтобы они безотлагательно начали работу. Пусть пото-

ропятся. Если парни в оговоренное время не справятся... я прикажу всех повесить! Потом пойдешь в лагерь для пленных и скажешь Майерхоферу, хорошо запомни это имя, скажешь Майерхоферу, чтобы он сразу шел к Воробью и приступал к перестройке. Он и его ребята тоже должны приступить к работе. Ты меня понял? Повтори!

Солдат вытягивается в струнку и повторяет.

- Ну, хорошо! Марш! – и Иван Иванович важно шагает дальше и поднимается по лестнице к моей квартире.

- Скажи-ка, Федя, ты ведь поверил мне, что у меня так много работы, да? – спрашивает он меня хитро, отдав свое пальто.

- Да, конечно, Иван, я тебе поверил!

- И попал впросак, я тебя провел! Зачем же тогда вокруг меня такая куча чиновников...? И он смеется во все горло над моим удивленным лицом и над своей победой.

- А что у нас сегодня на обед? – бросает он взгляд на Фаиме, – можно ли узнать? Лучше всего, я пойду с вами сразу на кухню, хочу посмотреть, все же, мне интересно. Но моя жена не должна знать об этом. Я хочу только разок взглянуть, – и Иван Иванович исчезает на кухне. – Как это пахнет, чудесно, здесь у меня всегда появляется аппетит, черт его знает. Твоя повариха, если бы я мог поделить ее пополам, я сделал бы это тотчас. Она превосходно знает свое дело. Ну да, это же Петербург! Чудесно, восхитительно. Можем ли мы сразу поесть? У меня безумный голод! А где же, собственно, водка? Я ничего не вижу! Здесь А... а..., ах, – вот она! Смотрите, специально выделенная для этого кладовая! Можно было только мечтать об этом...

Внезапно он умолкает, вид множества бутылок полностью покорил его.

С этого посещения у бедного пекаря Воробья не было ни одного спокойного часа. В своем доме он больше не чувствовал себя хорошо, так как мешал всюду и всем. Никто больше не спрашивал о клиентах, так как во время перестройки хлеб вообще не выпекали.

- Все уходят уже к моему конкуренту, – жаловался он мне плаксиво. – Я вырву себе волосы. Я потеряю все, в конце концов!

Наконец, так как он действительно больше не мог помочь себе, он с женой спал на сеновале. Оба были смертельно несчастны. Они видели, как приближается их закат.

Наступил день открытия. Он стал событием.

Еще самым ранним утром, когда первые старые клиенты снова покупали их булочки, они были поражены их внезапным качеством и их видом. С быстротой молнии слухи разлетелись по Никитино, и мгновенно магазин был полон, но булочки были распроданы уже давно, так что нужно было довольствоваться хлебом. Но также и хлеб изменился. У него был превосходный вкус, потому что был выпечен очень воздушным и мягким. Скептическое лицо пекаря немного посветлело, но в глубине души он еще оставался очень недоверчивым.

Только несколько часов назад большая толпа собралась перед булочной, потому что один говорил другому: сегодня тут есть особенные пироги, их пекут пленные австрийцы! Разве это не было любопытно? Это стоило увидеть. Теперь металлические листы с пирогами выносят! Все глаза направлены на них. За несколько минут все распродано. Многие уходят разочарованно, рассерженные и ругаясь.

Воробей и Майерхофер приходят ко мне. Они приносят булочку и пирог. Я не могу описать Воробья: он постоянно сиял улыбкой и непрерывно обнимал Майерхофера. Вечером они оба были в стельку пьяные, обращались друг к другу на «ты»; русский клялся австрийцу в вечной дружбе!

Мгновенно у Воробья появилось пять подмастерий. Из-за количества покупателей его лавка превратилась в проходной двор. Жители Никитино бросались на это великолепие с поистине детским воодушевлением.

Конкуренты позеленели от зависти.

Первая попытка оказалась более чем удачной. Сейчас нужно было приступить к следующим.

Теперь мясники были на очереди. В один миг на месте были подмастерья мясника, которые изготавливали толстые и тонкие, длинные и короткие колбасы всякого рода для желающих купить публики. Все хвалили новый товар, все покупали их массово, как будто опасались голода. Но когда один очень утонченный художник украсил забитую свинью, то жители не могли наговориться об этом. Перед витриной долго стояло много любопытных, и потом каждый из них хотел купить кусок как раз этой так красиво украшенной свиньи.

Но искусство стрижки тоже не нужно было недооценивать. В городе был прежний столяр, у которого была цирюльня. Вероятно, он был искуснее в своем старом ремесле, но в стрижке он мало что понимал. Он сразу согласился с моим предложением устроить у себя нескольких военнопленных как подмастерий. Маленькая комнатуха, которая служила раньше парикмахер-

ской, увеличилась. Было куплено новое, пусть и примитивное оснащение, и особенное внимание уделили действительно большим зеркалам.

К самым первым клиентам принадлежали Екатерина Петровна и ее супруг. Учитывая важность этого посещения, была выполнена «вся работа». Высокие господа были всем довольны и вознаградили моих товарищей великодушными чаевыми. Почти в то же время головы учительниц и большого количества девушек из старших школьных классов тоже мыли и причесывали. За это время братья Исламкуловы существенно увеличили свои запасы духов и пудры и прочей благоухающей воде и предметов туалета и поставляли их парикмахеру. Все применялось безотлагательно и квалифицированно, каждый перенимал у другого, и оборот и здесь стал поистине значительным.

Все новые парикмахеры были берлинскими парнями. С пугающей быстротой они вертели страшно гроыхающие ножницы и с особенным вдохновением также махали бритвами. Так как они непосредственно соприкасались с публикой и должны были слышать и учитывать желания клиентов, их лексика обогатилась двумя сопровождаемыми бесконечными вопросительными знаками русскими словами: «Стричься???» и «Бриться???» Обе стороны были обрадованы, очевидно, когда они остроумно и весело научились находить общий язык. Но парни, все-же, причинили некоторые хлопоты. Внезапно в городке можно было видеть крестьян или служащих с типично европейской прической или же совсем без бороды. Кое-кто косо усмехался над этими кажущимися теперь странными лицами, тогда как самим этим людям не оставалось ничего, кроме смущенной улыбки. Им тогда приходилось упрямо заявлять, что «немецкий парикмахер» его не понял, но он не решился задерживать опасно размахивающую руку с бритвой. Более важным, чем злой смех, для данного лица, однако, был твердый факт, что у него теперь была настоящая так называемая «европейская» прическа. Это делало его счастливым!

Мне без большой заботы удалось убедить Ивана Ивановича в необходимости обновления его мундира. Он должен был использовать для этого искусство моих земляков. Я обещал подарить ему форму, так как он оказался предупредительным по отношению ко мне в любом отношении, и поэтому я хотел вновь проявить благодарность.

- Если ты так думаешь... ты, собственно, прав, доктор. Почему бы мне и не выглядеть несколько импозантнее? Моя профессия и мое положение могут требовать этого от меня.

Он пошел и дал снять с себя мерки для мундира.

- Тебе бы вполне пригодилась бы и пара сапог, действительно приличных, ручной работы, Иван. Все же, у благородных людей дома всегда есть несколько пар сапог. Попробуй заказать их, все же, у пленных. Тебе не при-

дется даже платить за них, ведь у меня и так еще есть кредит у сапожника. При случае мы как-то сочтемся между собой. На это есть время, и долги, как известно, не разбегаются, это же зайцы, что ты, пожалуй, знаешь из собственного опыта, не так ли?

Иван Иванович пошел и заказал себе две пары сапог. В своей новой форме он пришел ко мне.

- У меня просто нет слов, Федя. Смотри, как сидит, пожалуйста, взгляни! Посмотри внимательно, найдешь хоть где-нибудь складку, какое-то место, которое не было бы безупречным? Нет, ты ничего не найдешь, можешь искать, сколько хочешь! Он поворачивался в разные стороны, смотрел на себя в зеркале. – Просто чудесно, я настолько доволен, что уже рассказал это всем, каждому, с кем встретился. То же самое с сапогами. Даже мои мозоли не болят. Хочешь ли ты чего-то еще? У тебя была блестящая идея, мой дорогой, я очень благодарен тебе, кроме того, с оплатой... нет, просто фантастически!

- Но скажи, все же, Иван, ты ведь веришь, что я радуюсь, когда вижу тебя в новой форме и новых сапогах?

- Безусловно, почему бы мне тебе не верить? Я вижу, что ты радуешься этому.

- Вот теперь ты попал впросак. Я провел тебя, как ты провел меня тогда, говоря о том, что у тебя много работы.

- Ради Бога, что это значит? Почему я попал впросак, почему ты провел меня? Я не понимаю тебя! Почему? Почему?

- Ты должен был в твоей новой форме и твоих новых сапогах только делать рекламу для моих товарищей!

- Безумие! Ты с ума сошел! Я, в моем качестве наивысшей полицейской власти здесь? Как реклама я должен ходить? Я, со всем моим достоинством, как офицер, в роли рекламного манекена? Ты же опозорил этим мою форму! Нет, ну, скажи же, что это не так, ты же не мог сказать это всерьез! Это же и не придумаешь! И я рассказал все моим знакомым повсюду, все хвалил, расхвалил до небес, и теперь это будет представлено как реклама? Я никогда не успокоюсь из-за этого, пока я жив!

- Но ведь никто не знает это, кроме меня, как же им об этом узнать?

- Это будет моим единственным утешением. Так подвести такого добродушного человека, Федя, твоего друга! – Он мог только лишь покачать головой.

- Ивана, ты выглядишь как полковник. Я и подумать не мог, что ты можешь выглядеть прямо так грандиозно, так аристократически.

- Да, ты действительно так думаешь, или снова промах? Нет, Федя, на сегодня я достаточно рассердился, теперь я хочу уйти. И пить у тебя я тоже ничего не хочу, потому что у меня нет такого желания. Ну... совсем маленький стаканчик, чтобы уходить не пустым... так, за твоё здоровье, пусть даже ты этого не заслужил. Все же, говорят, что не хорошо стоять на одной ноге. Давай, я выпью еще один, так, я хочу быть теперь сильным. Ну, а вот теперь, я действительно ухожу и категорически.

Так парикмахеры, портные и сапожники также показали свое мастерство. Пришла очередь фотографов.

У братьев Исламкуловых был барак со всевозможным хламом. Его освободили, крышу частично покрыли оконным стеклом, внутрь поставили две большие печи и рядом с ними темную комнату для проявления снимков. К счастью, в Никитино нашелся древний фотоаппарат огромных размеров. Он был размером почти с пушку и характеризовался всяческими сложностями в обслуживании. Дюжина кассет тоже имелась в наличии.

С неслыханной быстротой воодушевленные художники нарисовали пеструю стену, изображавшую чудный сад. Она служила задним планом. Так же быстро прибыли фотографические товары, пластины и прочая оснастка из Перми, так что работа могла начинаться. Предприятие принадлежало братьям Исламкуловым.

- Мой дорогой, мой дорогой, – грозил мне Иван Иванович, – ты думаешь, что я Дамиан. Нет, господин доктор Крёгер, вы изволите ошибаться. На этот раз я не клюну на твою удочку; но ты знаешь, что я выдумал? Я объявлю осадное положение над всей этой лавкой и прикажу тебе, тебя сразу фотографировать, тотчас и без возражения, Федя, так, как ты есть, в шляпе и пальто.

- Охотно, Иван, я уже сижу, можно начинать!

Товарищ прицеливается, наводит аппарат, настраивает, затвор щелкает.

- Я хочу присутствовать при проявке, иначе ты снова обманешь меня.

Диск недодержан полностью. Новая съемка, но она тоже не удастся, третья и четвертая, наконец, я вижу себя во влажной эмульсии. Быстро отхожу, и мой друг Иван сгибается от смеха, так как я высунул язык и сделал невозможную гримасу.

– Этот диск нельзя уничтожать, ни при каких обстоятельствах, это служебное распоряжение, серьезно! Я покажу всем твою фотографию! Пусть все смеются над тобой!

Я перевожу моим товарищам эти слова, которые теперь обращаются с диском с особенной осторожностью.

Затем мы идем домой.

По субботам, в базарные дни, двадцать товарищей часто прилагали все усилия, чтобы справиться с огромным наплывом публики. Клиентов, в большинстве случаев крестьян, можно было фотографировать с чадами и домочадцами, всеми семьями. Их выражения лица на фотографиях были серьезны и очень важны. Дюжина карточек в формате почтовых открыток стоила три рубля, то есть цену шести гусей. Такой цены это удовольствие стоило решительно всем.

Также частные лица вскоре объявили о своей готовности занять военнопленных на работах у себя. Для пленных солдат повсюду было полно работы. Они кололи дрова, топили печи, помогали убирать или чинить квартиры или избы, шли с женщинами на рынок и делали покупки в городе. Так как русский человек известен широтой своей натуры, пленники почти в один миг оказались в гражданской одежде, явно набрались сил, и во многих случаях я с радостью мог заметить, что кое-где возникли даже нежные чувства.

Весьма важным был единственный факт: начальство должно было на длительный срок согласиться с нынешним состоянием занятости пленных. Не должно было произойти никаких эксцессов, никаких вредных недоразумений, ссор или споров.

Сохранять начальство всегда в хорошем, даже в очень хорошем настроении – это задание я взял на себя и заботился об этом со словами, делами и... деньгами.

Так постепенно «европейское влияние» становилось ощутимым во всех профессиях. Ни в коем случае не в ущерб жителей Никитино.

Для меня мои товарищи изобрели скоро кличку. Меня прозвали «отцом Крёгером». Если среди них возникали какие-то разногласия, то с важным выражением лица говорили: «Эй, ты, я расскажу об этом отцу Крёгеру!»

Я знал каждого пленного, как фельдфебель знает своих рекрутов. Я помогал им уютно обставить свой угол в избах их новых работодателей и вешал видовые открытки, фотографии членов их семей на стены из бревен сибирских деревьев. Каждый угол был известен мне, и они показывали мне все с почтением и гордостью, вещи, которые они уже купили себе, которые подарили

им, которые они сделали себе сами. В мгновения подавленности, отчаяния мы говорили о далекой родине, и эти разговоры заканчивались снова и снова одним общим выводом: война не может продолжаться вечно, но потом... Тогда наши глаза светились, тогда наша вера могла снова свернуть горы, тогда снова с новым мужеством можно было приступить к работе, до тех пор пока... пока война не кончится.

Часть третья

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

Я становлюсь торговцем мехами

Постепенно в моей деятельности наступил застой. Все было организовано; я становился излишним. На весну у меня были на Никитино большие планы. Все же теперь, когда снаружи лежал снег, можно было вести себя только пассивно и просто ждать наступающих событий.

Я стал спокойным, необычно спокойным для самого себя. Я сидел, погрузившись в мысли, и размышлял... над чем, я и сам не знал.

У меня было слишком много бесполезного времени.

«Ты снова и снова должен говорить себе, что у меня есть так много бесполезного времени, что я должен его убить. Погрузись очень глубоко в прекрасные воспоминания. Старики и мы, заключенные, живут только воспоминаниями». Мой друг, великан Степан, часто говорил эти слова мне, когда мы оба были связаны цепями друг с другом. Он учил меня ожиданию. Ожиданию чего?... Ожиданию как раз... ничего. Где он был теперь? Где могла бы быть его Маруся? Сопровождает ли она его еще, или потеряла его из виду за это время?

Да, тогда приходилось ждать часами, целыми днями, можно было думать обо всем, также и о возможности побега, теперь, однако... не обо всем!...

Я добровольно отказался от этого, с самым полным воодушевлением, из самого глубокого убеждения!

Но теперь...?

Я должен снова ждать! Только я не могу думать обо всем! Мне придется научиться еще и этому. Научиться владеть собой и ждать!...

Теперь я мог иногда серьезно и долго смотреть Фаиме в глаза.

- Не печалься, не печалься, Петруша, подожди, пожалуйста, только лишь немного. – Так она каждый день снова утешала меня.

- Не печалься, нет, не печалься, только подожди немного, – я как эхо повторял ее слова, и у девушки снова появлялась ее таинственная, необъяснимая улыбка. Я знал, что она улыбалась, чтобы не заплакать.

- Если бы я смог научиться твоей улыбке, моя дорогая, я больше не был бы в своих глазах карликом!

Наступил день моего освобождения.

Фаиме, только она, снова и снова только она, никогда не устававшая, всегда заботящаяся обо мне, принесла его мне в своей детской ручке.

- Капитан разрешил тебе покупать шкурки в деревнях. Я говорила с ним. Я могу сопровождать тебя повсюду, куда бы ты ни поехал.

Как будто свалившись с неба, я стою и не могу поверить озорно смеющейся девчонке.

- Я – я могу покупать шкурки в деревнях?

- Да, Петр, теперь пусть глаза у тебя станут такими большими, как грецкие орехи. Разреши мне только сначала рассказать. Условия очень благоприятны. Два солдата, самые испытанные и самые надежные, постоянно должны сопровождать тебя. Ты должен заботиться о еде и питье для этих часовых. Ты осуществляешь все сделки от имени моих братьев, ты – их уполномоченный. Капитан получает, согласно твоему клятвенному обещанию, десятипроцентную долю от прибыли и больше ничего. Ты согласен с этим, Петр, или я сделала что-то не так?

- Мой капитан не потребовал клятвенного обещания, что я при этом не попытаюсь убежать?

- Нет, Петр, это совсем не было нужно! «Крёгер скорее бросит на произвол судьбы меня, чем поставит на карту жизнь своих товарищей своей попыткой побега. Его товарищи надеются на Крёгера, и он никогда в жизни не злоупотребит этим их доверием» – так я говорила ему, и он учел это, да, он должен был это учесть, Петр, так как это самая святая правда!

- Надежда... Доверие... никогда не злоупотребит... самая святая правда! Да, Фаиме, это правда и, все же, ... это так тяжело!

Я охватываю голову Фаиме обеими руками и смотрю ей в глаза. В их глубине, я вижу, они излучают великолепный свет. Только в этих черных, глубоких, таинственных глазах я видел этот свет...

Этот свет не позволил мне стать мерзавцем.

- Смотри, Петруша, теперь ты улыбаешься точно так же, как я. Ты научился нашей улыбке, все же...

Тут внезапно снова меня охватывает страсть к этой девочке. Я покрываю ее лицо поцелуями, я должен коснуться каждого места ее любимого тела и целовать, чтобы знать, что она принадлежит мне.

- Ты ведь теперь снова счастлив, Петр, любимый?

- Да, Фаиме, счастлив и силен!

Вечером нам позвонили в дверь. Ольга пошла открывать: это был Иван Иванович.

Добродушная, очень смущенная улыбка играла на его лице. Медленно он подал свою армейскую шинель и шапку служанке, отстегнул саблю, поставил ее аккуратно в стойку для зонтиков, снял перчатки, очень аккуратно положил их на стоячую вешалку, пригладил волосы и только потом, не смотря мне в глаза, протянул мне руку.

- Иван, я благодарю тебя. Я благодарю тебя от всего сердца!

- Ладно, ладно, Федя, я не мог иначе. Он сказал это так, как будто бы он должен был просить прощения у меня. Только когда он удобно устроился в кресле и несколько раз затянулся предложенной ему сигаретой, он добавил:

- Целыми днями я не мог смотреть Фаиме в глаза. Я знал, что она хотела бы меня кое о чем попросить. И при этом я точно знал, что однажды мне придется это сделать, что я не смогу отказать ее просьбе. Я пытался не попадаться ей на пути, снова и снова ничего не помогало, она буквально окружала меня. Даже ночью, во сне, ее черные глаза глубоко проникали в мою душу. Я знал эту девочку, когда она была еще ребенком. Мы все называли ее тогда «черным чертенком», потому что она была черной и проворной как черт. Мы все избегали ее, из-за ее странного взгляда. Только если ребенок смеялся, то ее глаза сияли как настоящие солнца, как сверкающие угли.

Сегодня она пришла ко мне. Спокойная, уверенная, неприступная. Она действительно стала другой. Она смотрела на меня так мило, и внезапно я, старый осел, не мог ей налюбоваться. Очень спокойно она говорила мне, как дети говорят со своим отцом, когда он не хочет разрешить им какую-то ма-

ленькую шалость: «Иван, будь добр и разреши это, как вознаграждение я положу мои руки тебе на щеки», так мне, по крайней мере, тогда показалось... и тогда... тогда я как раз согласился и сам был этому очень рад.

Она подошла ко мне, я не мог встать со стула, и действительно она положила мне руки на щеки, улыбалась и говорила своим немного глубоким голосом: «Это очень мило с вашей стороны, очень, очень любезно, я благодарю вас от всего сердца...». Она уже шла, а я все еще сидел. Странно, не так ли? Я был рад, что запах ее духов остался в моем безобразном кабинете, и я не хотел его проветривать, хоть в нем и было накурено. Ну, не скотина ли я, нет? И капитан сделал недружелюбное, усталое движение рукой.

- Дай мне, пожалуйста, хороший стаканчик, чтобы выпить!

Он осушил его одним глотком, новая сигарета зажглась, и теперь это снова был прежний, улыбающийся Иван Иванович.

Когда вошла Фаиме, он чрезвычайно осторожно взял ее правую руку обеими руками, склонился над ней с необычайной величавостью и поцеловал руку девочки.

- Теперь я могу смотреть Фаиме в глаза. Я выполнил ее большое, долго не высказывавшееся желание. Не так ли, Фаиме?

- Это ужасно мило с вашей стороны, Иван Иванович, – и татарка со всей ее силой пожала руки капитана, у которого возникла благосклонная, вежливая улыбка. Она привстала на цыпочки, и мужчина наклонил голову к ее рту. – У меня сегодня вечером для вас есть сюрприз. Омар с майонезом, – прошептала она. Капитан от радости покраснел как рак. – Я заказала его специально для вас из Петербурга, я знала, вы не отвергли бы мою просьбу, – добавила девочка.

С прямо-таки детским воодушевлением Иван Иванович ел омара с майонезом, потом я проводил его домой.

Когда я позже снова стоял перед моей квартирой, я видел, что окна столовой были широко открыты. Но в спальне Фаиме они были плотно занавешены.

Я поднимаюсь. Дым и запах чужих людей исчезли. Все проветрено. В салоне горит керосиновая лампа. Ее слабый свет падает на мягкий, широкий диван. Сильно пахнут духи Фаиме. Я раскуриваю свою трубку и хожу по комнате туда-сюда.

Вокруг меня беззвучная тишина.

«Я могу покупать шкурки в деревни...»

Теперь это от меня на расстоянии вытянутой руки, и это беспокоит меня.

Пленные товарищи... Тысячи человеческих жизней нельзя ставить на карту из-за попытки побега... Он никогда не злоупотребит надеждой и доверием... никогда в жизни...

Я сажусь, я пытаюсь уяснить это, привыкнуть к этому, суметь думать об этом.

Фаиме вмешалась.

Фаиме принесла мне свободу...

Моя Фаиме!...

Только одно единственное, маленькое ее слово, и я, несмотря на все, еще этим вечером стал бы бесчестным.

- Петр, дорогой, о чем же ты так задумался?

Внезапно я поднимаю голову. Передо мной стоит Фаиме в своем экзотическом, татарском вечернем наряде. Она похожа на персонаж из чужеземной сказки.

Внезапно она опустилась между моими коленями, ее глаза наполовину закрыты, ее рот раскрыт, и она шепчет:

- Поцелуй меня, теперь ты должен поцеловать меня...

Пробка шампанского прыгает высоко, жидкость, как золото, сверкает в наших бокалах. Как умиравшие от жажды мы пьем, один бокал, второй, только потом мы снова смеемся.

Ночь становится светлее, первые едва ли отчетливые контуры предметов становятся различимы. Я накрываю Фаиме, складываю подушки, и она со счастливой улыбкой уютно укладывается. Поцелуй в щеку, дорогое, доброе слово, и потом я выскользнул из комнаты.

Я приказываю поварихе и горничной вести себя очень тихо, и выхожу в сияющее зимнее утро, на мою новую свободу...

Едва выпадает первый снег, жизнь в Сибири просыпается. Теперь крестьяне, которым все лето приходилось работать в поле, используют зиму, чтобы обеспечивать свои покупки и сделать все, на что у них не было времени летом. Дороги тогда еще мало заснежены, первый снежный покров не слишком высок, и холод вполне терпим. Так отовсюду приезжают люди, покупают,

продают, обменивают свои товары, и возникает оживленная торговля и деятельность.

Я купил себе вместительные сани, шириной примерно два метра и длиной около трех метров, специально подходящие для далеких поездок по стране, по очень низкой цене и тщательно отремонтировал их.

У саней на месте сиденья был матрас длиной два метра и шириной один метр. Это приспособление было очень важным, так как во время дальних поездок можно было спать в санях, так как по дороге едва ли можно было найти ночлег. Кроме обычных, но особенно широких полозьев на высоте примерно полуметра была прикреплена еще пара откидных полозьев, чтобы предотвратить опрокидывание саней на неровных местах. Выступающий верх, от края которого опускался занавес, защищал пассажиров от порывов снежных бурь и ветра. На широких козлах сидел ямщик (кучер). Три неутомимые и очень неприхотливые маленькие сибирские лошадки были запряжены в нее.

Оснащение для поездок состояло из многих вещей.

Поверх обычного костюма нужно было натянуть что-то вроде костюма летчика, с подкладкой из шкурок. На него надевали теплое, тоже с подкладкой из шкурок пальто или обычную крестьянскую шубу из собачьих шкур. В особо холодные дни надевалась еще «бурка» с подкладкой, пелерина, достававшая до лодыжек, с тоже утепленным капюшоном. На ногах было три пары шерстяных носков, маленькие меховые унты и толстые валенки, высотой до коленей. Несмотря на такую теплую одежду мерзнуть начинали часто уже после двух-трех часов езды. Тогда помогал только алкоголь. Я брал с собой еду и горячие напитки в больших, специально заказанных в Петербурге термосах.

Подготовка была проведена. Образцы шкурок уже давно были посланы в Петербург и Москву различным фирмам. Условия платежа прилагались.

Я собирался уехать на одну неделю. Чтобы устроить закупки в отдельных деревнях быстрее и более рационально, я послал туда заранее нескольких крестьян. Они должны были созвать крестьян с товаром в этих местечках в указанное время.

Дорожные сани стоят у ворот. За ними меньшие с двумя солдатами, Лопатыным и Кузьмичевым, и еще третьи сани для купленных товаров.

Мягко и удобно я уложил Фаиме в санях и положил ей несколько подушек за спиной. Ямщики сидят на козлах, маленькие косматые лошадки терпеливо ждут. Теперь я тоже укладываюсь на мягкую обивку наряду с Фаиме, кучер поворачивается, удобно устраивается на козлах, немного натягивает поводья-

ях, и три бодрых лошадки пускаются в путь. Маленькие колокольчики тройки звенят весело и звонко. Стоящие вокруг машут руками, из окна нам вслед глядят повариха Наташа и Ольга.

Скоро мы преодолели границу зоны свободы.

На обеих сторонах дороги нас окружает темная, непроницаемая тайга. Она повсюду стоит молчаливая, много столетий подряд, и такой же она останется навечно. Она сопровождает нас постоянно по обе стороны, сколько бы нам ни ехать.

Верх саней теперь опущен назад. В солнечном свете блестит и сверкает снег; тепло, всего лишь несколько градусов мороза.

Мечтательно я смотрю вдаль. Мне все же разрешили бросить маленький взгляд на дикие просторы Сибири и выйти за пределы очерченного круга. Что я там увижу?...

- Петр... я лежу неудобно.

-Нет...?

Я стараюсь поправить подушки.

Фаиме смотрит на меня. Я приближаюсь еще ближе к ней, она кладет голову на мое плечо, потом она улыбается. Она не хотела быть одной, хотела знать, счастлив ли я, и была благодарна, что я понимал ее без слов.

Меховая шапка с опущенными ушами закрывает почти все лицо девочки, видны только ее глаза и рот. Но теперь ее губы едва заметно складываются в дудочку, глаза наполовину открыты, и счастливая улыбка играет в уголках глаз.

Я целую ее, и внезапно внешний холод исчезает.

Днем мы сделали двухчасовой привал в деревне. Местные жители сбежались и с большим любопытством смотрели на нас. Когда солнце село, мы закончили второй этап путешествия. Снова деревня, едва ли несколько домов. После ужина я с Фаиме заполз в большие сани, так как переночевать на «постоялом дворе» из-за паразитов было едва ли возможно. Озадаченно оба солдата смотрели на меня. Что им, собственно, теперь нужно было делать? Тоже ночевать в санях? Не было ли это довольно опасно позволить немцу переночевать без надзора под открытым небом? Они ведь обещали это своему капитану, когда тот громко наставлял их: никогда не оставлять немца из виду! Они стояли растерянно.

- Но я же не смогу убежать от вас без лошадей! Это, похоже, действительно стало им ясно. Кроме того, на столе стояла большая бутылка водки, которую я подарил обоим. Капитан был очень далеко, никто бы не увидел, было действительно холодно, итак, можно было рискнуть.

Фаиме и я великолепно спали этой ночью. Это было что-то совсем новое. Я видел, как над нами сверкает множество звезд. Первый солнечный луч разбудил меня. Непонимающе крестьяне смотрели на меня, как я совершал свой утренний туалет. Оба солдата еще крепко спали. Я попросил поставить самовар и пошел гулять с Фаиме.

Я чувствовал себя как школьник, прогуливающий школу, когда на пять минут сбежал от обоих часовых. Когда мы вернулись, все уже встали. Могло начинаться чаепитие, и скоро поездка продолжилась.

Резкий поворот внезапно отходит от главной дороги налево к северу. Заснеженная дорога, также постоянно окруженная лесом, после бесконечных часов езды приводит нас к большой деревне.

Издалека мы видим, как сверкают кресты церкви. «Журавли» у колодцев вытягивают свои длинные шеи, и вот уже избы боязливо выглядывают среди снегов. Наконец, широкая деревенская улица, по ее краям низкие хижины. Они все серы и производят печальное, сгорбленное впечатление. Первые жители уже выбегают к нам навстречу. – Эеей! – звучит ликующий крик нашего ямщика. Лошадки радостно тянут сани, их длинные хвосты развеваются, шипят в воздухе, в то время как звон валдайских колокольчиков на упряжке весело и громко отражается эхом от стен домов. Мужики, бабы и дети бегут рядом с нами, пытаются поспеть за лошадьми.

Теперь наши сани останавливаются поблизости от деревянной церкви на вместительной площади в центре деревни, перед великолепным домом, из ее трубы валит дым толстыми клубами. Любопытные окружают нас. Статный, ухоженный крестьянин появляется под выступающей частью дома. Волосы аккуратно расчесаны на пробор, они блестят, потому что смазаны маслом. На нем чистые, высокие сапоги, домотканая рубашка, рукава и кайма ее украшены пестрой вышивкой. Он трет рукой переносицу, разглаживает причесанную бороду, его черты лица добродушны, его глаза умны и ясны. Это староста села Забытое.

Он кланяется глубоко и спокойно. Так же спокойно он смотрит на нас, только, похоже, вид двух вооруженных солдат ему несколько неприятен.

Сразу за деревенским старостой следует крестьянин, которого я попросил отправиться в деревню раньше, чтобы сообщить о нашем прибытии заранее. Он знает меня, и он подходит ко мне тоже без робости и приветствует нас,

сияет всем лицом, потому что гордится своим мужеством и с удовольствием любит зеваками.

Из первых саней поднимается высокий, широкоплечий мужик. У него нет бороды, он говорит на языке страны, только четче и громче, чем местные жители. Он сбрасывает тяжелую накидку и меховую шапку, кладет их в сани и разминает свои онемевшие члены. Белокурый мужик, должно быть, очень опасный человек, раз его охраняют два вооруженных солдата.

- Добрый день, папаша!

Приезжий, улыбаясь, подает руку деревенскому старосте. Стоящие вокруг боязливо смотрят на их руководителя, подаст ли и он иностранцу руку, не случится ли с ним чего-то при этом?

- Добрый день, братец...

Слова деревенского старосты звучат четко. Без страха он подает мне правую руку и следует крепкое рукопожатие.

- Нам сказали, что ты приехал, чтобы покупать у нас шкурки, это так? – спрашивает он.

- Да, папаша, это так, правда, – отвечает другой, возвращается к саням, извлекает большой пакет и ставит его перед деревенским старостой. Появляется закутанная маленькая женщина, она улыбается как чужой мужчина и подает крестьянину руку.

- Это моя жена, я взял ее с собой, так как она разбирается в шкурках, – говорю я, пока теперь Фаиме разминает свои окоченевшие члены.

Солдаты между тем вышли из других саней. Их довольные лица отчетливо говорят, что тут для них найдется горячая еда и что-то из выпивки.

Со всех сторон теперь стекается все больше и больше крестьян. Они все стоят, плотно обступив нас, каждый хочет что-то увидеть, каждый хочет услышать наше слово. Мы для деревни – настоящая сенсация.

- Братцы, посторонитесь немного, мы хотим пройти в избу. Так деревенский староста прокладывает себе дорогу к своему дому.

Пока мы проходим сквозь небольшую толпу, то один, то другой из местных пытается прикоснуться ко мне рукой, настолько сильно их любопытство, так непонятно все, что вокруг нас. Парень почти два метра ростом, совсем без бороды, в сопровождении двух вооруженных солдат, и все только смеются и

шутят... Можно только осторожно покачать головой; чего только не бывает в мире по ту сторону леса?

Забывтое – «забытая» большая деревня в девственном лесу.

Где-то на далеком севере, окруженное мрачным сибирским лесом, на неизвестной, занесенной снегом дороге, почти полностью отрезанное от далекого мира непроходимыми дорогами и болотами, ни на какой еще точной географической карте не отмеченное, лежит «Забывтое». Так это маленькое пятно человеческого поселения было забыто миром и людьми, стало вневременным, как тайга, природа, животные и широкая река, вневременным, как потерянные пути, которые никто не знает. Также маленькие серые хижины кажутся вневременными, только сияющие кресты светятся сверхъестественно светло в лесу, и в церквях горит множество самодельных свечей и вечные лампы в «красном углу» самой маленькой хижины.

Природа и люди из года в год, каждый час вели самую ожесточенно борьбу друг с другом. Человек боролся за жизнь и за самосохранение, он оттеснял лес, чтобы добыть для себя большую пашню и луга, тот минимум, который был ему нужен для себя и скота. Все же, лес не хотел уступать, и землю, которую он отдавал, нужно было обрабатывать тяжело и тщательно. Снова и снова бесчисленные корни хватали плуг, держали его, не давали ему проникнуть в грунт.

Летом после бескрайней заботы всходил лишь жалкий посев, жалкий, как и люди, кривой и безобразный. Люди не успевали и оглянуться, как за одну ночь наступала зима, и начиналась борьба против холода и снежных сугробов. Часами, под бушующими метелями, в суровом, перехватывающем дыхание холоде, от которого деревья трескались как от ударов молний, им приходилось убирать лопатами снежные заносы, так как снег почти полностью засыпал окна маленьких изб. Зима длилась шесть долгих месяцев.

Лес и река поставляли людям питание в изобилии. Они не знали запрещенного времени для охоты на дичь. Они шли на охоту, когда им нечего было есть, нужно было лишь на пару шагов углубиться в лес, и уже у них было все необходимое для пропитания. Поколения рождались, поколения умирали. Лето прогоняло зиму, зима прогоняла лето.

«Забывтое» не знало летосчисления – в нем не было времени.

Мир по ту сторону леса был для его жителей абстрактным понятием, о котором у них не было никакого представления.

На пороге двери стоит молодая, изящная крестьянка, Степанида, сестра деревенского старосты. Она низко кланяется гостям, таков обычай.

Мы входим во вместительную, приветливую комнату. В одном углу стоит большая печь, на которой может спать вся семья. На низких окошках чистые белые занавески. У стен стоят деревянные скамьи. В красном углу горят перед образами вечные лампы. Комната полна людей. Все празднично одеты, как будто сегодня церковный праздник.

Я крещусь по русскому обычаю. Все глаза направлены на меня. Полный надежды деревенский староста тоже смотрит на меня.

- Вот, братец, садись в красном углу. Я вижу, ты православный, как и мы все.

Фаиме и я сдают шкуры. Бесчисленные руки хотят помочь нам, каждый хочет поддержать что-то наше, да, они даже просят нас об этом.

Между мной и старостой сидит Фаиме, напротив оба солдата.

Мгновенно придвинутый стол накрывается скатертью из домотканого полотна с пестрой вышивкой. Стеклянная посуда, украшенная рисунками с цветами, многоцветные, раскрашенные банки, вся гордость серой хижины ставится на стол. Все лучшее, что может дать дикая местность, приготовленная с невиданной, только подозреваемой тщательностью, лежит теперь перед нами.

Присутствующие беседуют шепотом. Мужики и бабы смотрят на нас с надеждой. Бороды мужиков тщательно причесаны, их высокие сапоги отполированы, рубашки и ремни чисты, также и черные брюки, заправленные в сапоги. На женщинах новые платья, их пестрые фартуки, завязанные над грудью, их косынки и блузы самых разных цветов подобраны со вкусом и с инстинктом художника. Их волосы аккуратно причесаны с пробором как у мужиков и смазаны маслом, и блестят в свете большой керосиновой лампы, висящей посреди комнаты. Снаружи слышны также приглушенные голоса тех, которые уже не смогли попасть вовнутрь. Они смотрят с любопытством через немало замерзшие стекла.

Из какого-то угла слышно осторожное бурчание самого прекрасного русского изобретения всех веков – вечного самовара.

- Так, братец, благослови тебя Бог, теперь ешь и пей со своими людьми как сердцу угодно, и пусть вкус нашей еды тебе понравится. Маленькие рюмки наполнены водкой, мы чокаемся, желаем друг другу хорошего здоровья и опустошаем их.

На наших тарелках лежит великолепная куропатка с сытным соусом из сметаны и запеченным на огне картофелем, несколько в стороне, на другой тарелке брусника. Староста облегченно вздыхает, увидев, что я разламываю

кости рукой и сильно вгрызаюсь в мясо. Мы все голодны, поэтому мы тоже в основном молчим.

Едва куропатка съедена, когда уже вторая лежит на тарелке. Кроме Фаиме и меня никто не протестует, мы тоже не хотим больше ни водки, ни других спиртных напитков.

- Неужели тебе не понравилось? – осведомляется староста удивленно и не без строгости.

- Немцы все не пьют, только за немногими исключениями, я вижу это также по нашим пленным в Никитино, – сообщает Лопатин озадаченному хозяину, – и едят они тоже не так, как мы, только наш барин не особо следует этим обычаям, он ест, как делаем это мы, православные, если нужно, руками.

Нерешительно мужики смотрят на меня. Могут ли они, пожалуй, есть дальше?

- Спокойно продолжайте кушать, а я хочу только выпить стакан чая.

Мгновенно мой стакан наполнен чаем, множество пирогов и других домашних сладостей окружают татарку и меня. Я с удовольствием ем их, потому что они мне нравятся больше любой водки.

Фаиме и я настолько сыты, что мы едва ли можем дышать. Нам очень тепло, наши щеки, уши и лица становятся очень красными.

Мне приходится вытирать пот со лба, Фаиме тоже чувствует себя нехорошо.

- Прости меня, мой дорогой, – обращаюсь я к нашему хозяину, – мне нужно немного выйти на свежий воздух, потому что я больше не могу вынести жару.

- Лопатин, я дам вам деньги. Татарка пододвигает кожаную сумку солдату, который с большой растерянностью смотрит озадаченно то на сумку, то на девушку. – Мы не сбежим от вас, – добавляет она, улыбаясь.

Внезапно шепчущие голоса умолкли.

Значит, иностранец – пленник?

Много рук помогают мне и Фаиме одеться в шкуры. Когда мы выходим на улицу, стоящие снаружи люди тоже умолкают.

Снег хрустит под нашими ногами. Мы идем вдоль всего ряда домов, пока деревня не оказывается за нашей спиной.

- Ну, Ульянов, покажи свои шкурки! С этими словами деревенский староста хватает большую связку беличьих шкурок, которые крестьянин положил связанными на прибранный стол. Нож меховщика разрезает веревки, и шкурки вдруг затопляют весь стол.

Сведущая рука татарки скользит над отдельными шкурками, которые быстро сортируются. Все смотрят на нас, полные надежды. Все молчат напряженно, только в углу начинает жужжать и свистеть снова поставленный самовар. При этом чаепитие не прекращается.

- И сколько ты хочешь получить за свои шкурки, братец? – звучит внезапно мой трезвый вопрос.

- Я не знаю. Сколько мне у вас за них просить, их тут у меня все равно никто не покупает, мой дорогой. Сколько же я должен потребовать за них? Я не знаю.

- Ну, а о какой цене ты все же думал, скажи.

- Я не знаю... Давай мне, сколько ты думаешь... это хорошо.

- В Никитино шкурка белки стоит тридцать копеек, я дам тебе за это по двадцать копеек, оптом. Ведь ты хочешь продать мне все триста шкурок, значит, ты должен получить шестьдесят рублей. Согласен?

Внезапно становится так тихо, как будто бы все затаили дыхание. Безмолвно все смотрят на меня.

- Марфуша, самовар убежал, – звонкий детский голос звучит из угла. Но, никто, похоже, не слышит его.

Твердая рука ложится на мое плечо.

- Если ты платишь, сколько обещаешь, то наш русский, православный Бог до твоей смерти будет благословлять тебя. Еще никто не предлагал нам таких цен. Бог мой свидетель! Голос дрожит от волнения. Глаза деревенского старосты становятся блестящими, и он трет себе лицо внезапным движением.

Фаиме кладет шесть красных купюр по десять рублей перед крестьянином, но он не берет их. Он слегка опускает голову, и невыразимо печальный взгляд, в котором стоит глубокое отчаяние, попадает мне прямо в сердце.

- Нехорошо с твоей стороны так зло шутить и смеяться над нами, смотри, мы ведь не сделали тебе ничего плохого, братец...

Этот непонятный упрек поражает меня как удар плетью по лицу.

- Ульянов! – гремит вдруг голос деревенского старосты, – как ты можешь что-то такое говорить? Ведь красные купюры – это тоже деньги, просто не монеты. Ты просто никогда еще не видел таких денег. Я ручаюсь тебе за это, я, твой староста!

Как пораженный молнией мужик за столом опускается на колени.

- Папаша, прости меня, грешного!

В невероятной печали и отчаянии стоящий на коленях смотрит на светящиеся лица образов в красном углу, пока слезы текут по его обветренному, рябому лицу.

- Хорошо, хорошо, Ульянов, я верю тебе, ты никогда еще не видел такие денежные знаки. Как будто успокаивая ребенка, деревенский староста хлопает крестьянина по плечам и гладит по голове и плечам, в то время как Лопатин и другие крестьяне снова связывают шкурки и недовольно качают головой.

- Смотрите, барин, – говорит унтер-офицер, – если нам, крестьянам, делают немного добра, то мы больше не можем в это поверить. Нас всегда так обманывали и водили за нас. Стыдно смотреть на это! Сердце кровью обливается.

Другой крестьянин и его жена подходят к столу. Шкурки проверяются, они почти все одинакового качества. Мы их быстро пересчитываем и выплачиваем деньги.

- Маруся, – обращается деревенский староста к женщине, – но только ты забирай все деньги себе, Иван не получит ни копейки, иначе он все пропьет, а пьяным он тебя еще и убить может. И ты, Иван, теперь будешь у меня действительно усердно ходить на охоту, пока у тебя дома снова все не будет в лучшем порядке; только тогда ты будешь получать деньги на руки, понятно?

Женщина улыбается, ее муж пристыжен и молчит.

Один за другим приходили они к столу, раскладывали свои шкурки, и их костлявые, мозолистые руки медленно и нерешительно брали деньги. Я не слышал ни одного слова благодарности, также лица были так же невыразительны как раньше, только их руки и медленные, ищущие на ощупь и нерасторопные движения похожих на корни пальцев говорили красноречивым языком, который никто не мог бы выразить словами.

Уже давно комната опустела, керосиновая лампа у потолка погасла, только мягкий свет лампад витал в полутемном помещении.

Я сидел, прислонившись в углу. На моих руках лежала уставшая, спящая Фаиме. Передо мной, за столом, сидел деревенский староста и рассказывал мне о своей жизни.

- ... вот так я увидел многое в святой Руси, и такова была воля Бога, что я вернулся здоровым и с честью с Японской войны в мою родную забытую деревню... Но я отрекся от мира. Здесь я стал для маленьких и больших учителем жизни, священником непоколебимой веры в нашего справедливого Бога. Он закрыл глаза, и перекрестился правой рукой спокойным широким жестом, в то время как черты его лица прояснились в глубоко прочувствованном душевном мире.

Наступило утро. Я осторожно уложил Фаиме в красном углу. Она спросонья открыла глаза, прошептала тихо «Петр», улыбнулась устало и счастливо, и снова заснула.

Между тем я побрился и умылся. В углу печи снова поставленный самовар начал опять напевать едва ли умолкшую, приветливую песню. Печь растопили. Горели огромные поленья. Теперь деревенский староста занялся своим утренним туалетом. Он стоял снаружи перед домом, пару раз наливал воду себе в ладони из глиняного кувшина, тер себе ею лицо и волосы, и уже он был готов. Тщательно разделил он волосы на пробор, расчесал бороду, разгладил ладонями свой гардероб, и снова сел за стол. Снаружи перед дверью стоял Кузьмичев. Он никого не пускал в избу, так как... Фаиме еще спала.

- Весной я пришлю к тебе много военнопленных, – обратился я к деревенскому старосте, – это порядочные люди. Они помогут вам всем правильно распахать землю, им нужно не много, еда, питье и несколько копеек жалованья. Они все будут только рады, если смогут выйти из лагеря.

- Это было бы для меня очень хорошо, брат, правильно возделанная земля приносит нам деньги. Поля для посева нужно было уже давно расширить. Забытое часто терпит нужду, а привезти сюда зерно очень трудно, так как мы живем очень далеко от больших дорог. Но наши люди кое в чем и сами виноваты, так как они ленивы и слишком нетребовательны. Они хотят только прозябать так. Они и не стремятся к большему.

- Пушная торговля наверняка оживит Забытое, и у людей появятся деньги.

- Еще как оживит! Ты удивишься, что за шкурки будешь покупать у нас. Мне не хватило времени, чтобы сообщить об этом настоящим охотникам на пушного зверя, но в следующий раз, если приедешь, ты должен привезти, по меньшей мере, вдвое больше денег. Я уверен, большинство крестьян уже сегодня пошли на охоту.

- Ты можешь скупать для меня столько шкурок, сколько хочешь, я у тебя куплю все, любое количество, – ответил я.

Между тем, самовар уже стоит на столе. Вокруг него снова пестрая посуда и вдоволь еды. Сестра хозяина, все еще празднично одетая, раскладывает все на столе. Она белокура, высокая и с приятным, открытым лицом. Но особо выделяются красотой ее руки.

Я четко замечаю, что между нею и моим хозяином царит большая симпатия.

- Грешные мысли подстерегают меня, как сатана, когда я вижу свою сестру, – бормочет он себе под нос, – но, давай, братец, ешь и пей, тебе предстоит еще дальняя дорога, – и он с глубоким вздохом пододвигает ко мне блюда, пока его сестра наливает чай в стаканы.

- Петруша, ты позволил мне так долго спать! С мягких шуб, импровизированной кровати, пытается подняться Фаиме. Я откидываю шубы, девочка протирает свои еще заспанные глаза, но они, как каждое утро, сияют счастьем и удовлетворением.

Сразу наш хозяин встает. – Теперь готовься в путь, барин, твоя жена уже умылась, и мы тогда все вместе поьем чаю.

В душе я удивляюсь такой большой чуткости. Мы выходим из хижины и грузим на привезенные сани купленные шкурки.

Оживленная жизнь и деятельность наблюдается у дома старосты. Снова много любопытных стоит вокруг запряженных саней. Оба солдата усердно помогают, и вскоре все сани, подобно маленькой горке, битком набиты шкурками. На них набрасывают полотнище и усердно перевязывают.

Мы снова заходим в хижину. Татарка между тем готова, начинается чаепитие.

Потом все готово к отъезду, Фаиме закутана в шкуры, я снова ложусь возле нее. Староста тщательно накрывает нас.

- Я не забуду ничего, что ты говорил мне, я позабочусь обо всем, что ты хотел бы получить, брат мой, и теперь храни тебя Бог, твою жену и твоих людей. Если ты вернешься, это будет праздник для нас всех. Мы будем радоваться этому и будем считать дни.

- Я дал тебе слово, и я вернусь, точно.

Косматые лошадки ступают вперед, и маленький караван приходит в движение.

- Бог с тобой, братец, и спасибо тебе!

Деревенский староста и крестьяне машут нам, мы машем в ответ. Дети бегут за нашими санями, вдали я еще вижу стоящего с непокрытой головой мужика и его сестру. Они смотрят вслед нам, пока сани не исчезли за первым поворотом.

Тогда мы снова посреди однообразного, тусклого леса.

К вечеру мы прибываем в другую деревню. Новые люди, новые лица. Все одеты празднично, как будто бы был праздник. Деревенский староста встречает нас. Обыкновенное чаепитие, потом следует закупка шкур. Руки, похожие на сморщенные корни дерева, осторожно завязывают полученные деньги в узелки из пестрых носовых платков.

Снова я готовлю Фаиме постель в красном углу, а сам укладываюсь на деревянной скамье у стенки. Мягкий, спокойный свет лампад витает в комнате, глаза слипаются, я засыпаю.

Новое утро розовеет за замерзшими стеклами. Умывание, питье чая, и уже наши сани двигаются дальше; машущие крестьяне остаются вдали, пока также и они не исчезают за вечным лесом.

Наш маршрут правильно продуман, все хорошо подготовлено. Всюду нас ожидают, закупка происходит безупречно и быстро. Взятые нами с собой для товара сани уже полностью забиты покупками в Забытом. Теперь к ним присоединяются еще три следующих.

Весело звучит в холодном воздухе множество звонких колокольчиков. Мы всюду оставляем за собой счастливых, сияющих людей.

В указанное время, со сравнительно маленьким опозданием, мы возвращаемся в Никитино. Лопатин и Кузьмичев спешат в здание полицейского управления, чтобы сообщить о моем прибытии и доложить о поездке.

Приветливые, любимые помещения снова окружают нас. Наташа позаботилась об образцовом порядке. После купания, смены белья, одежды чувствую себя заново рожденным и снова сплю с особым наслаждением в своей кровати.

Следующим утром, в воскресенье, приходит Иван Иванович. Фаиме и я еще сидим за столом и завтракаем, так как мы встали довольно поздно. В шапке и пальто, не отдавая их, он подходит к нам.

- Не смейся надо мной, Федя, но мне здесь действительно было одиноко все эти дни. Он бросает свою круглую меховую шапку на кресло. – Как же чер-

товски быстро можно привыкнуть к человеку. Когда мужчина говорит что-то в таком роде, это звучит сентиментально, но Бог ведает, это действительно правда! Теперь он отдает свое тяжелое зимнее пальто горничной и садится за нашим столом.

- Ну, Фаиме, как вам понравилась эта долгая поездка? Вы, наверное, еще очень устали от трудностей? Крёгер – это такой чудак, с его вечным страхом перед клопами. Вам, конечно, всегда приходилось ночевать в санях под открытым небом? Это все же, бесцеремонное требование, Федя!

- Петр меня всегда укладывал спать в красном углу на наших зимних пальто.

- Ну, а он сам, где же спал этот длинный парень?

- Рядом со мной, на деревянной скамье, иногда тоже рядом с моей скамьей... на полу.

- Ты, такой избалованный? Неужели тебе это действительно доставляет удовольствие? Я не понимаю этого, Крёгер, не обижайся за это на меня, но это чистое безумие! Зачем все это?

- У всего есть свой цель и смысл, – говорит Фаиме, – и это великолепно засыпать в свете лампад.

- Гм... гм... может быть, Фаиме... может быть, – говорит задумчиво полицейский капитан.

Весь день проходит в подготовке к новому путешествию, в которое мы должны отправиться рано утром в понедельник.

Снова наши сани у ворот, машем руками, и оставляем Никитино за спиной.

Колокольчики уносят нас.

Мы видим новые местности, но они в большинстве случаев похожи друг на друга. Новые лица проходят мимо нас. Счастливые руки без конца пожимают наши, всюду, куда мы приезжаем, большой праздник, и все радуются встрече. В субботу маленький караван снова в Никитино. Мои верные «поводыри» Лопатин и Кузьмичев с огромным воодушевлением рапортуют о поездке. Один день отдыха, потом снова выезд из Никитино и всегда в другом направлении.

Наконец, очередь снова подходит к Забытому.

Люди подходят к нам без опаски и страха, как когда-то, нет, все машут нам, выкрикивают приветливые, восторженные слова, окружают нас, хотят по-

мочь, мы братья среди братьев, да, они почти несут нас на руках в дом деревенского старосты. И он принимает меня как своего кровного брата.

Маленькая хижина до отказа набита людьми. Они ждали нас много часов. Обеденный стол, место, на котором я сидел при первой закупке, полон подарков. Это куропатки, глухари, кострецы медвежьих и лосиных туш чудовищных размеров, зайцы, куры, утки, домотканое полотно, вышивки, произведения ремесел самого различного вида. Наверное, каждый без исключения приготовил подарок для меня. Полные надежды они все смотрят на меня, пока я молча рассматриваю эти сокровища. Их глаза ищут мой взгляд. Они говорят так бесконечно много, что не нужно выражать это словами. И пока они, эти бедные, забытые, молча рассматривают меня, мой взгляд тоже внезапно становится хмурым, горло сжимается, и я долго не могу произнести ни слова.

- Я благодарю вас от всего сердца... от самой чистой души...

Приходит ночь. Я снова сижу со старостой в красном углу в святом свете лампад. Фаиме спит у меня на коленях как счастливый, беззаботный ребенок. Снаружи слышны тихие шаги вокруг маленькой хижины. Осторожно шаги хрустят по снегу, время от времени кто-то подходит к замерзшим стеклам и внимательно слушает, и перешептывается, едва слышно, с затаенным дыханием.

Эта хижина сегодня ночью в «Забытом» стала святыней для всех.

Загруженные доверху подарками и шкурками стоят сани. Вся деревня собралась для прощания, и все толпятся вокруг наших саней, чтобы мы каждому пожали руку.

- Спасибо, папаша, спасибо тебе...! – слышится со всех сторон. Мы не можем расстаться. В стороне стоит деревенский староста, его оттеснили, потому что все хотели видеть нас и говорить с нами. Его авторитет внезапно уничтожен, но он улыбается.

Эта поездка всюду проходила почти одинаково. Состоявший первоначально из шести саней караван увеличился почти вдвое. Всюду его встречали с небывалым ликованием, даже самые бедные не отпускали меня без подарков.

Мы приезжаем в Никитино с большим опозданием.

Издаലെка я вижу мою квартиру светло освещенной. Наружу вылетает Иван Иванович, без шапки и пальто, с еще горячей сигаретой в руке.

- Федя, мой дорогой, что случилось? Мы тут все так переживали, так боялись за тебя!

- Однако, ты не очень галантен, Иван, ты должен был бы спросить об этом мою жену, а не меня, – я отвечаю со смехом.

- Знаешь, Крёгер, я тебя люблю и ты мне дорог как друг, но с тобой никогда нельзя говорить серьезно! Вообще никогда, ни одного разумного слова от тебя не услышишь, это ужасно! Естественно, я беспокоился также о твоей жене, даже очень беспокоился, но... что все же произошло? Говори же, ради Бога! И хватит уже смеяться, ужасный ты человек! Нагишом я стою перед тобой на улице, и ты даже не говоришь мне... Лопатин! Лопатин! Ну, парень, говори, не глазами так на меня!

- Ничего не произошло, ваше высокоблагородие, совсем ничего, – рапортует Лопатин, стараясь стоять навтыжку, что у него не очень получается из-за занемевших конечностей..

- Не получалось быстрее, Иван, крестьяне не хотели отпускать нас, – вмешиваюсь я быстро, так как вижу, что капитан уже готов броситься на бедного Лопатина. – И тебе мы тоже принесли кое-что особенно красивое; давай, заходим внутрь, а то ты простудишься. Быстро я освобождаю Фаиме из множества меховых покрывал, поднимаю ее на руку и тащу за собой и Ивана Ивановича.

- То, что вы не подумали обо мне, это не любезно с вашей стороны. Эти немногие слова Фаиме, единственный ее быстрый взгляд, и всемогущий стоит в комнате как застывший. Он настолько пристыжен, что полностью теряет самообладание; его гнев тут же утих.

- Но, Фаиме, я думал также и о вас..., однако, я же не могу думать о вас...

- Дорогой Иван Иванович, вы, все же, друг Петра, и его друзья – это также мои друзья. Почему вы не можете думать о жене другого, особенно вашего друга? Я никогда не сомневалась в вашем добром сердце и вашей честности. Поэтому вы можете думать обо мне точно так же часто, как о Петре.

- Да, Фаиме, ... да, ... так это должно быть, – запинаясь, произносит он. Глаза его опущены вниз.

- Вы должны думать, и можете поступать как он. Сегодня он привез домой все сани полные подарков. Даже беднейшие из бедных одарили его...

- Да, Фаиме, да... Все же, у вашего Петра есть, однако, Фаиме... а у меня... меня...

- Поэтому вы должны как раз думать также обо мне и радоваться этому. Разве вы не хотите делать это?

- Но, Фаиме, я хочу делать это..., – и внезапно он хватает руки маленькой татарки и покрывает их поцелуями. – Все же, я очень плохой человек... дитя мое.

Не говоря ни слова, он идет в приемную, берет шапку и пальто, и, не надевая их и не прощаясь с нами, выходит.

Одну неделю спокойствия позволила себе Фаиме. Я баловал ее и ублажал всеми находящимися в моем распоряжении средствами.

Между тем поступили первые платежи от фирм, которые я снабжал. Братья Исламкуловы отправляли товар и управляли моими деньгами. Они гордились тем, что я предоставлял им деньги, не требуя никаких расписок. Их участие в моей пушной торговле почти превосходило доходы от их лавки.

- Я принес тебе деньги, Иван, обещанная доля от прибыли – десять процентов, – с этими словами я положил пятьсот рублей на стол.

Кулак толстяка обрушился на стол, и единственным движением руки капитан разбросал по столу купюры. Потом он посмотрел сначала на деньги, потом на меня.

- Ты, что, Федя, смеешься надо мной, что вообще значит эта чепуха?!

- Твое участие в прибыли, дорогой Иван – 500 рублей!

- Ты с ума сошел или пьяный, или же это я сам такой? Неужели ты заработал пять тысяч рублей? Этого не может быть! Крёгер, будь же серьезен! Не смейся! Я не могу этого понять! Это целое состояние! И это только доля?! Ты это всерьез?!

- Если я организовал все правильно, то ты еще испытаешь чудо, Иван, это лишь начало. Только подожди, следующей зимой мы поработаем уже совсем иначе!

- Федя... Ты бедовый парень!

Его радость не знала границы. Он обнимал меня множество раз, он снова и снова хватал деньги, ронял их на стол, чтобы обнять меня снова.

- Я должен поблагодарить тебя, Иван...

- Вздор, что за чушь! Это я должен благодарить, твою Фаиме я должен благодарить!

Он со всеми усилиями пытался предложить мне что-то поесть или выпить, но я отказывался.

- Не злись на меня, пожалуйста, я хочу к себе домой, Фаиме ждет меня. И еда там тоже уже приготовлена.

Моя меховая торговля распространялась. Деревни, которые я регулярно посещал, стали сборными складами товаров. Купленные партии становились все больше и больше. Нередко мне было жаль посылать великолепные шкурки. Я откладывал некоторые из лучших для Фаиме.

В конце ноября наступила первая большая волна холода. Термометр постоянно показывал от 25 до 30 градусов мороза. Теперь преодоление далеких расстояний для людей и лошадей становилось почти невозможным.

– Только один-единственный раз, моя дорогая, отпусти меня еще раз в Забытое; это будет действительно в последний раз, я тебе обещаю.

- И я не смогу видеть тебя, Петруша, все семь дней? Это очень долго! Но если ты так хочешь ехать... Я хочу все время думать о тебе и чувствовать, как это, если тебя больше нет рядом и я, все же, могу ждать тебя. Я хочу снова чувствовать это счастье, с самого начала испытать это снова.

Так я поехал один. Фаиме осталась дома.

Закупки в Забытом были закончены.

Вместе со старостой я выхожу в ночь. Господствует убийственный холод, и абсолютная темнота, хотя на самом деле едва ли четыре часа вечера. Небо усеяно звездами, которые светят неописуемо ясно. Мы направляемся к застывшей реке.

С сильным треском, похожим на удары грома, иногда лопается лед. Затем снова вокруг нас воцаряется заколдованная тишина. Зима нагромодила в этой пустоши снеговые массы прямо-таки фантастических размеров. Тайга стала похожа на низкий маленький лесок, деревья ломаются под тяжестью снега. С большим трудом приходится постоянно очищать от снежных сугробов двери и окна в избах.

Забытое, кажется, вымерло. Скоро оно полностью впадет в зимнюю спячку.

Под высокими, толстыми валенками очень звонко хрустит снег. Он такой жесткий, что почти не отличается от льда.

- Ты должен остаться здесь на несколько дней, братец, – говорит деревенский староста, – идет сильная буря. Ты не сможешь проехать со своими людьми.

- Но я должен идти, потому что обещал. Ведь я не свободный человек, ты это знаешь!

- Пусть так, пусть так, мой дорогой, но ты ведь не можешь просто так рисковать жизнью твоих людей, это чистое безумие!

- Мы возьмем с собой больше провизии и питья, тогда мы точно прорвемся.

- Тебе хорошо говорить! Но будь благоразумен! Обещание полицейскому капитану – это смешно! Ты должен думать о своей жене, брат, о твоей прекрасной черноволосой жене! Она выплачет себе все глаза, если вы пропадете. Я видел, как она тебя любит. Она будет плакать так долго, пока не высушит свои глаза. Или ты думаешь, например, вас можно будет найти? Прежде чем растает весь этот снег, никто не найдет вас в ваших снежных могилах.

- Но, может быть, ты ошибаешься, друг мой, может, буря начнется позже, определенно на один день позже!

- Вот, взгляни, у большой звезды буря. Она послезавтра придет в Никитино и самое позднее через три дня будет у нас.

Нерешительно я останавливаюсь. Что мне делать? Как я смогу дать знать Фаиме и полицейскому капитану, что мне придется опоздать на несколько дней? Мысль о Фаиме, о ее страхе за меня, подтачивает мою уверенность в себе и заставляет меня колебаться.

- Братец, – мужик хлопает меня по плечу, – я вижу, что ты все-таки разумный человек, ты остаешься у меня?

- Нет, я так не могу! Я обещал моей жене, что приеду и капитану также. Я должен считаться с этим. Я хочу в любом случае попытаться! Пурга, впрочем, может продолжаться только несколько часов.

- Ты даже не знаешь, что значат несколько часов в пурге при таком морозе.

- Я оставлю весь товар у тебя. Потом ты отошлешь его мне. Пошли, мне нужно поторопиться, я не могу теперь ни минуты, пошли, быстро!

- Ты искушаешь Бога!... Ты грешишь против него!... Ты совершаешь преступление!

Я спешу с мужиком в его избу, прошу его разбудить обоих сопровождающих солдат, которые с храпом наслаждаются своим послеобеденным сном, потом запрягаем лошадей, грузим вдоволь продовольствия, и наполняем все принесенные термосы чаем, смешанным с алкоголем. Внезапно разбуженные, заспанные люди путано торопятся, поспешно приступают к работе, одеваются, затягивают свои матерчатые пояса вокруг толстых шкур как можно плотнее, и натягивают глубоко на лицо меховые шапки.

Я на прощание захожу в избу. В середине стоит деревенский староста. Он тоже в шубе.

- Я поеду сопровождать тебя, братец...!

- Боже всемогущий! Спаси и сохрани их всех на опасной дороге! Не отворачивайся от них, даже если они, грешные дети, забывают тебя, Боже...! На коленях, перед красным углом, в свете лампад, молится сестра старосты. Она крестится и низко кланяется перед иконами.

Шестеро мужиков, в своих шкурах почти неотличимые от диких животных, держат в руках шапки и крестятся. Некоторые бормочут слова молитвы.

- Ступайте, я за вами!

Мы молча выходим из избы.

Мы все знаем, что нам предстоит.

Теперь и староста тоже подошел к нам. Красивая женщина с плачем смотрит ему вслед.

Маленькие лошадки ступают вперед. Из хижин как из снежных пещер выползают люди и непонимающе смотрят нам вслед. Затем Забытое исчезает.

Мы едем уже два дня и все еще не достигли следующей деревни. Накопившиеся снеговые массы противостоят нам, мы должны карабкаться через низ, должны вести лошадей на поводу, подпирать сани скоро то с одной, то с другой стороны. При каждом соприкосновении с засыпанными снегом деревьями маленькие снежные лавины обрушиваются нам на голову и плечи и в наши сани. Наша дорога трудна. Мы проезжаем самое большее от трех до четырех километров в час. Погода невероятна прекрасна и ясна, нет ни малейшего ветерка, и мороз смягчился. Но мы не думаем о зимнем великолепии вокруг нас, наша единственная мысль: быстрее, быстрее, быстрее, мы должны добраться до деревни. Мы едва ли позволяем себе отдых и сон, наши лошади отдают свои последние силы. После того, как они тянули сани два-три часа, их выпрягают и меняют на тех, которые идут на поводу за санями.

Наконец, лес расступается, и перед нами лежит широкая, абсолютно пустая поверхность. Солнце, темно-красный шар, поднимается над лесом. Через не-много часов оно покинет нас. Но наши глаза увидели достаточно: приближается буря.

С крайней поспешностью мы несемся дальше. Все лошади запряжены, кнуты щелкают, и наши усталые члены должны передвигаться, подпирать, толкать, высоко поднимать сани, тянуть лошадей вперед; теперь не может быть ни минуты разрядки.

Потом мы больше не можем двинуться дальше. Почти в самой середине широкого снежного ландшафта лежит расширяющаяся во все стороны метель. Лошадей распрягают, из саней вылетают лопаты, и все люди зарываются в снеговые массы. Нам нужно построить себе снежную пещеру.

Вдали, темная до черноты и чудовищная по размеру, стоит стена; это приближающийся шторм.

- Эта метель – наше спасение, братец, – сообщает мне деревенский староста, – если она не станет нашей могилой, храни нас Бог от этого!

Молча, как заключенные, мы копаем непрерывно, неутомимо, стоически. Наше спасение зависит от нашей выносливости. Лица мужиков сдержаны, с опущенными головами, как готовящиеся напасть лоси, они борются со снежной стеной.

- Эй, эй! Я кричу изо всех сил. Мужики поднимают головы, их взгляд становится мягче. Я смеюсь так громко, как только могу, я бросаю веселые слова удивленным людям, пока, наконец, и они не начинают смеяться. Так, теперь мы справимся с приближающейся бурей, теперь мы можем над ней смеяться!

Время ползет медленно. Люди устают один за другим. Мужики опускаются в снег и остаются сидеть там, хотя мы выкопали пока всего лишь одну маленькую пещеру. Снежный покров жесткий, работа трудная. Мы достаем термосы, тесно садимся рядом, и стакан по несколько раз проходит по кругу. Горячий напиток горит во внутренностях и подстегивает наши силы. Уже слипаются глаза достаются, люди больше не могут копать, их сила ослабла, они стали безразличными и апатичными и хотят уже отказаться от борьбы. Все Но староста не знает сострадания. Он прикрикивает на мужиков, подгоняет их, заставляет снова взять лопаты и продолжать работу.

Громкий протяжный свист, блестящая снежная волна проносится со зловещей быстротой над широкой площадью.

На секунду мужики останавливаются, и в следующее мгновение, как будто у них внезапно появились неземные силы, они с яростью и отчаянием снова вгрызаются лопатами в гигантскую снежную стену.

Свистящий, поющий, воющий ветер гонит одну снежную волну за другой, как приближающийся сильный прилив, по поверхности. Дышать все сложнее, лицо горит, мы раз за разом вытираем его снегом. Рядом с нами лошадки, покрытые нашими тяжелыми шубами из собачьих шкур, сбились в боязливую кучку, будто хотят друг друга защищать. Их ноздри полностью превратились в ледяные сосульки, на их шкуре полно снега, они опускают головы, они тоже едва могут дышать.

Деревенский староста и я копаем рядом, мы наблюдаем за другими, подгоняем их, смеемся над ними, пусть они злятся на меня, лишь бы только не сядились, не сдавались.

- Хотел бы я знать, как долго ты еще будешь смеяться! Это звучит яростно, почти презрительно Я едва ли могу понять это.

- Пока не просунем головы на другой стороне метели, а, наверное, и еще дольше! – кричу я в ответ.

- Мы все сдохнем!

- Это тоже занятие!

- Да ты с ума сошел, брат!

- Ну и пусть, зато, смотри, как увеличивается пещера. Мы только что сделали это!

Лопата за лопатой, лопата за лопатой, снежная пещера достаточно велика, но также и силы людей окончательно на исходе. Деревенский староста заводит лошадей. Мужики измученно садятся. Они, пожалуй, еще смогут держать лопату в руке, но они больше не двигаются. Даже угрозы не помогают.

Внезапно снаружи стихает, свистящий ветер остановил свое дыхание, как будто готовясь теперь к уничтожающему удару. Почти по грудь в снегу мы со старостой поспешно пробираемся к нашим засыпанным саням. Мы машем лопатами, как сумасшедшие. Уже необходимые вещи вытащены, мы быстро карабкаемся к пещере, спешим назад, хватаем все, что только можем найти и схватить, но потом...

Внезапно небо почернело, вокруг нас ночь, и огромные снеговые массы падают как лавина. Теперь наши конечности двигаются только лишь от отчаяния; мы достигаем пещеры. Буря уже неистовствует вокруг нас. Своей силой

она высоко подняла нас, потом жестоко бросила вниз. Я вижу, как деревенский староста дважды кувыркается, затем остается лежать неподвижно. Я осел рядом с входом. Наконец, мы вползаем в защищающее отверстие.

Снежный ураган неистовствует там! Это больше не свист, это грохот! Уже невозможно отличить небо от земли, все – одна лишь черная, падающая лавина. Мне кажется, что наша снежная пещера может обрушиться каждую минуту. После долгих хлопот зажигается маленький костер, и дым выходит из уже почти занесенной снегом норы пещеры. Все же, огонь трещит. Лошади и люди, наконец, в безопасности, спасены.

Мы даем лошадям еду. Садимся у их ног. Горячий чай согревает наши внутренности, и застывшим, почти неподвижным ртом мы жуем. Прислонившись к снежной стене, я разжигаю трубку и смотрю на огонь.

- Покарауль нас, братец...

В этих словах деревенского старосты скрыта вся усталость мужиков. Теперь они сдались. Их мужество, их выносливость окончательно исчерпаны.

Единодушный храп гремит в маленькой пещере, и в то время как я снова и снова разжигаю огонь, черная ночь урагана глядит на меня через маленькое отверстие в снежной стене. Я снова и снова должен защищать его от снега. Моя трубка составляет для меня молчаливое общество. Но она тухнет снова и снова, я зажигаю ее снова, несколько затяжек, и рот застывает, глаза закрываются. Тогда я вскакиваю, хватаю лопату, отбрасываю от отверстия снова и снова наметенный снег, расширяю нору, вглядываюсь в бушевание бури, слушаю напряженно, потом сажусь и прислоняюсь к стене.

«... Фаиме...!»

Я пугаюсь своего собственного голоса. Но в этом слове заключается вся моя выносливость, мое мужество и моя воля сопротивляться дальше. Лошадки спят, истощенные мужики тоже, костер засыпает..., но моя маленькая трубка горит!

День начинается, но его едва ли можно заметить в непрерывном снегопаде.

Я – единственный, который выкарабкался из нашего строения. Мужики спят три четверти дня. Не такой сонный и пассивный только староста. Он помогает мне готовить еду, разжигает костер, кормит лошадей, которые трогательно тихо лежат, плотно прижавшись друг к другу, в углу.

Едва стало несколько светлее, я на четвереньках выползаю из нашей норы, с трудом пробиваюсь к саням или ползу через глубокий снег к близкому лесу. И как раз эти немногие шаги к лесу едва не стоили мне жизни. В порыве

плотной снежной пурги, внезапно превратившей день в ночь, я потерял направление после метели. Я был близок к отчаянию, когда едва заметный запах дыма показал мне приблизительное направление к нашей снежной пещере. С тех пор я отмечал немногими ветками шаги к лесу и снова собирал их на обратном пути. Пожалуй, я приносил меньшее количество древесины и должен был идти еще второй раз, но, по крайней мере, избегал благодаря этому опасности заблудиться.

Снова начинался новый день. И его тоже едва ли можно было узнать, и он тоже уже идет к закату. Новый день, и снова вокруг нас ночь. Бушевание пурги немного ослабло. Моя работа состоит в доставке дров и в растрачивающем силы продвижении к нашим саням, затем в ободрении ставших апатичными людей, а также в приготовлении еды.

Как долго шторм еще будет бушевать? Мужество мужиков заметно падает. Мы должны есть очень мало, наши запасы табака тоже подходят к концу, так как уже три дня мы заключены в снежной пещере и больше не можем добраться к саням. Иногда я смотрю на тихих лошадок; какая из них ослабла больше всех... Нам скоро придется съесть ее...

- Когда закончатся наши запасы, мы пойдем на охоту, – говорю я Лопатину. – Иначе твой револьвер окончательно заржавеет. Но мой «поводырь» отмалчивается, другой тоже.

- С револьвером, барин, на охоту ходить нельзя, – отвечает он через некоторое время.

- Нельзя, ты думаешь? Тогда нам завтра придется бросить жребий, кто из нас первым попадет в суп.

Все оглядываются молча. Я не могу удержаться от смеха, начинаю хохотать, и теперь все смеются изо всех сил, какие еще остались. Это на долгое время согревает нас и делает довольными.

Ночью я просыпаюсь. В свете костра я вижу застывшие от ужаса глаза мужиков. Невыразимый ужас на лицах, они вместе сидят на корточках.

Шторм снаружи стал снова ураганом. Мы слышим, как трещат деревья, сатанинский свист и грохот.

- Благослови нас Боже, помилуй нас Боже! ... И крестьяне снимают свои меховые шапки и крестят себя, их маленьких лошадок и полностью заметенный выход...

Огонь забыт... Я не знаю, это напряженные нервы или это факт, но мне кажется, что наша пещера дрожит как при землетрясении и может обрушиться в любую минуту и похоронить всех нас под массой снега.

Ураган – безграничная, божественная праприрода!

Когда он постепенно успокаивается, я выхожу. Также я невольно делаю знак креста.

Со всей силой я прокладываю дорогу через заметенное снегом отверстие. Снег доходит мне до груди. Я поднимаю голову к небу: снегопад кончился.

Сначала одна, потом еще одна звезда, несколько, много, много звезд сияют теперь на небе. Как сценический занавес снежное облако отодвигается, и небосвод изгибается надо мной, как мы это всегда знаем, далеко, недостижимо далеко... после убийственного бушевания – вечность.

Теперь и другие тоже выходят. Мы видим почти только наши головы, так глубоко мы находимся в снегу. Лес подобен непрерывной снежной стене. Мне внезапно кажется, как будто мы – несколько мужчин – единственные жители этой неизвестной части света, такое впечатление покинутой и неприкосновенной создает засыпанная снегом местность.

Наконец – буря непрерывно бушевала три дня и четыре ночи – появляется Солнце, и мы все улыбаемся ему как школьники, весело резвящиеся зимой. Только одно напоминание витает над нашими головами – времени нет, мы не можем терять ни минуты, потому что у нас не осталось еды, и до ближайшего поселения людей еще далеко. С объединенными силами человек и животное перебираются через снежные заносы, мы запрягаем лошадей, движемся дальше.

За нами вдали, в беспредельном снежном поле, теряются наши следы.

Солнце исчезает опять, темнеет, приходит ночь. Мы снова в лесу. Только по деревьям по обе стороны мы еще узнаем нашу дорогу. Мы пьем предусмотрительно собранную в термосах и прокипяченную еще в снежной пещере воду и едим оставшиеся сухари.

Шесть часов вечера. Какой чудовищный контраст между моими золотыми наручными часами с циферблатом с радиом и нашим путешествием по никогда не заканчивающейся сибирской лесной дороге в тайге...

Пять мучительных часов, частично пешком, частично в санях, через маленькие и большие сугробы вверх и вниз. Ни мгновения нельзя отдыхать. Отдых, остановка, усталость и сон являются верной смертью.

Внезапно мы видим дым, поднимающийся из нескольких холмов. Это избы! Они полностью занесены снегом и их больше не видно. Спуск почти отвесный к двери. Мы стучим, кричим, пока нас не впускают. Полностью истощенные мужики сразу валятся на пол и мгновенно засыпают. Они похожи на мертвецов.

Только я стою в замерзшей шубе. Мужики храпят хором. Также и я... спать... устал... Храп трясет меня. Я едва могу стоять на ногах. Вокруг меня растерянные мужики и бабы, которые набрасываются на меня с вопросами. Они все знают меня по моим прежним поездкам.

- Быстрей! Лошадей в конюшню! Поставьте самовар, приготовьте поесть! Когда все будет готово, разбудите меня, но вам придется будить меня так долго, пока я не сяду за стол, понимаете?

Я бросаю замерзшую шубу на пол и шатаюсь бреду к скамейке, к красному углу. На ходу я уже сплю.

- Барин! Барин! Все уже готово! Руки пытаются снова и снова поднять меня.

В наполовину отсутствующем состоянии я хлебаю чай, жую, и только теперь, когда горячий напиток разливается по моему телу, я, наконец, прихожу в себя. Я ем все больше и теперь просыпаюсь окончательно.

- Это снова стемнело, или нас опять замело? Темнота приводит меня в отчаяние, – говорю я довольно грубовато крестьянину, как будто бы это от него зависит. Его жена и обе взрослых дочери стоят в шубах у печи и улыбаются оттуда.

- Барин, это все еще темная ночь, до дня еще далеко, мы потратили очень много сил, пока откапывали конюшню из-под снега. Теперь ваши лошади размещены там, вы можете ехать дальше с новыми. Еда в дорогу тоже готова. Моя жена и обе мои дочери постарались. Вам понравится.

Я смотрю на мои часы, шесть часов утра.

- Хорошо, хорошо, мой дорогой. У меня снова прекрасное настроение, я курю, болтаю еще довольно долго с моими хозяевами и окончательно чувствую себя в хорошей форме.

Но моих «поводырей» не так легко разбудить. Тщетно пытаюсь я растормошить Лопатина. Кузьмичев в таком же состоянии, они оба придерживаются непоколебимой зимней спячки. Со всей силой я поднимаю с крестьянином сначала одного, потом другого и несую их в сани. Деревенский староста и два ямщика остаются спать в избе.

Я отъезжаю с обоими солдатами.

Они продолжают спать, как будто им за это платят и, по-видимому, неплохо. Так продолжается несколько часов, пока не светает и солнце смеется вместе со мной над долго свернувшимися в клубок и храпящими солдатами. От наблюдения, толкания, таскания и подпираания саней я снова медленно устаю.

Лошади знают дорогу в Никитино; да ее и не трудно найти, потому что есть всего одна лесная дорога, замеченная глубоким снегом, никогда не заканчивающаяся. Она внезапно становится хорошей и ровной, насколько я могу видеть. Поводья выскользывают из моих рук, мое самообладание, моя сила воли ослабли... только спать... только спать... спать.

Из далекой, далекой дали я просыпаюсь. Что-то холодное течет мне вдоль спины. Я пытаюсь пошевелить ногами, но мне это не удается. Моей правой руке пришлось, по-видимому, держать огромные грузы, потому что я не могу ее поднять.

Наконец, мой рассудок проясняется. Все же, вода от растаявшего снега на затылке очень холодна.

Наши сани перевернулись. На моих ногах лежит, храпя, Лопатин, на моей руке – Кузьмичев. Луна стоит на небе, и светло как днем. Тихо и неподвижно стоят обе лошади, потому что для них это довольно привычное дело. Они тоже спят. Пьяных крестьян нередко находят в опрокинутых санях или тарантасах где-то на обочине дороги. Лошадки привыкли ждать так долго, пока их хозяева не попросят их снова двигаться. Я бужу обоих мужиков всеми находящимися в моем распоряжении средствами. Наконец, они открывают глаза. Они долго не могут сообразить, что к чему.

Поездка продолжается, по дороге я рассказываю солдатам, что произошло.

- Мы очень благодарны вам, барин, что вы погрузили нас двоих в сани. Представьте себе только лицо нашего капитана, если бы вы прибыли домой один! Для нас это означало бы немедленное увольнение или даже тюрьму.

- Да и ехать одному очень скучно. Так, по крайней мере, время проходит быстрее с небольшой беседой. Теперь вы могли бы хорошо поесть. Но, наконец, теперь позвольте и мне немного поспать. Я растягиваюсь в санях. Челюсти обоих солдат осторожно жуют... Я мгновенно засыпаю.

Семь часов утра, еще полная темнота. Снова продолжается трудоемкая поездка, то вверх на гору, то под уклон. Но назло всему: Никитино появляется, первые знакомые, сильно замеченные снегом дома. За ними выглядывает

убывающая луна, как будто она только и ждала, пока наше путешествие не закончится.

Сани останавливаются перед моей квартирой. Быстро я сбрасываю замерзшее пальто, снимаю и второе, потому что знаю, что ожидает меня теперь, и мне не нужно ни звонить, ни кричать. Но я ошибся. Дом, кажется, спит, как и все другие. Входная дверь еще заперта. В комнате Фаиме, однако, горит свет.

Мой домовладелец встал. Через двор попадаю к черному ходу и в кухню. Тихо я открываю дверь.

- Доброе утро, Наташа!

- Великий Боже! Барин! Мы уже все думали... Ваша жена уже два дня ничего не ела... Она только ждала вас. Однако, это было не хорошо с вашей стороны, барин!

- Мы попали в снежный буран.

- Я быстро приготовлю все, наверное, вы голодны. То, что вы еще живы, это милость Божья. Никто уже не надеялся снова увидеть вас. Уже четыре дня у нас больше нет связи с внешним миром, и телеграф тоже не работает. Транспорт товаров заметен снегом на пути с железной дороги в Никитино, все люди замерзли. Вчера выехала спасательная команда, но где теперь их искать? Я сейчас все приготовлю, барин!

Осторожно я открываю дверь в комнату Фаиме. На широком диване она спит, свернувшись калачиком, в одежде как будто прилегла только на минутку. Я тихо приближаюсь и хочу уже взять ее в свои руки. Но тут я понимаю, я грязный, небритый, на мне, вероятно, есть паразиты. Я моюсь и бреюсь в кухне. В своей комнате я переодеваюсь. Одежда отправляется в сарай.

Снова я подкрадываюсь к Фаиме. Она все еще спит, но не так, как я часто наблюдал их, как спят дети, с этой особенной преданностью, этими полностью расслабленными чертами, с этим чувством блаженства. Теперь ее лицо кажется напряженным, как будто бы она внимательно слушала. Осторожно я беру ее в руки и прислоняю свое лицо к ее голове. – Петя..., – шепчет она во сне. Звучит как писк проснувшейся птички. Так она шептала и по ночам, когда я склонялся над ней. Я качаю ее на руках, все же, она продолжает спать беспечно, только ее головка откидывается чуть-чуть назад, как будто я должен поцеловать ее.

- Я уже давно снова здесь... , – шепчу я. Теперь она открывает глаза, так как, все же, она услышала тихий голос.

- Петр..., ах, Петр, мой самый любимый. И глубокий вздох исходит из ее груди. В нем собрана вся долго копившаяся тоска и страх.

Лаская ее руки гладят мою голову. Я долго не могу говорить, лишь снова и снова я должен целовать ее, и она целует меня снова, но не бурно и с избытком страсти, а как женщина, которая сформировала смысл и цену своей жизни с ясными глазами и большой любовью из собственной душевной силы.

- Я тебе так благодарна за все, что я чувствовала в эти дни. За радость новой встречи, за страх за тебя и тысячи мук, что я могла бы потерять тебя, что ты мог бы умереть, замерзнуть, заблудиться в снежных сугробах – и ты, думал ли ты также обо мне, хоть единственный раз, или много, очень много? Ах, Петруша, ты озорной как всегда, и у тебя теперь снова такие веселые глаза.

- Я пережил что-то очень, очень прекрасное, моя любимая, и теперь я безумно рад видеть тебя снова!

- Ты должен рассказать мне все, пожалуйста, пожалуйста, прямо сейчас, хочешь?

Так я рассказываю Фаиме о том, что испытал, сказку – ветер, черные облака, небо, снежинки, звезды, солнце, они все могли говорить, бежать, они могли быть добрыми, а могли быть и злыми. Она внимательно слушала, как дети слушают сказку, и делала удивленные глаза. Ее левая рука лежала вокруг моей шеи, она наклоняла голову, чтобы не пропустить ни словечка. На своей груди я чувствовал биение ее сердца.

- И теперь Петр очень, очень быстро помоет свою Фаиме и оденет ее, и потом мы вместе выпьем кофе с хрустящими булочками.

- Ну, тогда, быстро, только очень быстро. Мгновенно одежда снята, и она плескается в тазике. Я вытер ее, делая при этом всяческие странные гримасы. Мы оба смеемся как вырвавшиеся на свободу дети.

Солнечный свет лежал на посуде и белой скатерти. Печь шумела, было приятно тепло. Запах кофе возбуждал аппетит.

Через маленькие холмы и долины мы вдвоем позже пошли к полицейскому зданию.

Кабинет полицейского капитана был полон табачного дыма, когда Фаиме и я вошли. Иван Иванович сидел на углу стола, в середине стояли Лопатин и Кузьмичев. Они, кажется, как раз закончили свой рапорт.

- Скажи-ка, дорогой Крёгер, как мои люди вели себя в течение всех дней? И наблюдали ли они тоже правильно, не спали?

- Знаешь, Иван, эту поездку мне испортили как раз Лопатин и Кузьмичев, причем, основательно. Они ни на мгновение не оставляли меня из виду. Когда я сплю, один стоит рядом со мной, я просыпаюсь, стоит уже другой. Неужели им совсем не нужно спать, нет? Револьвер, кажется, сидит у них тоже довольно свободно, особенно в поездке. Действительно ли это необходимо? Все же, я доказал...

- Смирно! Марш! – капитан внезапно прервал меня. Оба солдата обрадовано выбежали из комнаты.

- Ты мошенник, очень большой мошенник! Он схватил меня за плечо и серьезно посмотрел на меня. – Ты притащил их обоих спящих в свои сани. Они мне все сами рассказали. В следующий раз тебе больше не придется брать их с собой.

На главной улице мы видим, как его превосходительство генерал подходит к нам через огромные сугробы.

- Идите со мной, мы хотим принять их «парад».

Вместе мы идем к лагерю военнопленных, из которого выходят уже первые пленные и быстро выстраиваются в шеренги. Унтер-офицеры появляются перед фронтом, фельдфебель с постоянной толстой маленькой книгой между пуговиц его шинели. Раздаются команды.

- Равняйся! Смирно!

Фельдфебель рапортует со всеми находящимися в его распоряжении знаниями русского языка. Генерал благосклонно кивает.

Новые команды раздаются, резко, коротко. Шеренги выстраиваются, и пленные идут вдоль главной улицы на питье кофе. Жители Никитино удивляются этому как каждый день.

Я киваю фельдфебелю.

- Пожалуйста, фельдфебель, возьмите с собой необходимые документы, мне нужно с вами обсудить разные дела. Пойдемте в «родной угол», выпьем кофе.

- Слушаюсь, господин Крёгер, сейчас буду там!

На немного минут позже мы подходим за колонной. Генерал, между тем, уже попрощался.

Шинель фельдфебеля безупречно чиста, его шапка сидит точно до миллиметра, пуговицы блестят на солнце, ремни начищены, только на его валенках множество пятен.

- Скажите, дорогой фельдфебель, что случилось с вашими валенками?

- Это просто позор для меня. Этот разгильдяй, ефрейтор Шмитт, берлинец, который нынче цирюльником у этой пани, как ее там, как раз вылил воскресный суп на мои валенки И в воскресенье суп гораздо жирнее чем по будням. Даже сегодня я все еще сержусь из-за этого.

- Ну, идите вперед, мы на месте.

Мужчина большими шагами спешит в начало колонны. Команда останавливает ее, она перестраивается и исчезает в «родном углу».

В углу «родного угла» стоит стол с чистой скатертью, старший официант приближается к нам. Под фартуком я вижу австрийскую форму.

- Целую ручку, милостивая государыня... Имею честь, господин Крёгер, имею честь.

- А, ефрейтор, вы и в Вене тоже работали официантом? – спрашиваю я его.

- Да, в Вене, в Гринцинге, господин Крёгер, – звучит голос с мягким австрийским акцентом.

- В Гринцинге, даже так!?... Тогда принеси нам кайзершмаррн. (Традиционный десерт в Южной Германии и Австрии – сладкое мучное блюдо – прим. перев.)

- Видите-ли, господин Крёгер, этого у нас как раз и нет, к сожалению.

- Жаль, очень жаль! Тогда нам придется выпить как раз сибирский кофе, – отвечаю я, и сияющий венец удаляется.

Мы сдали наши пальто и садимся за стол, за которым сидят унтер-офицеры. Рядом с нами пылает большая печь. Окна покрытые толстым слоем льда. Немного в стороне, за длинными, отполированными столами сидят товарищи и пьют кофе. Дежурные товарищи-официанты приносят большие керамические кружки. Миски с огромными хлебами путешествуют от одной стороны стола к другой. Я вижу серьезные, но довольные лица, некоторых среди них непрерывно смеются и шутят.

Венец подает нам кофе. Он ставит первую чашку перед Фаиме, рядом с ней маленький кофейник со сливками и деревянную резную сахарницу с маленькой деревянной ложкой. Фаиме берет в свои руки сахарницу и показывает мне вырезанные на ней слова: «In der Heimat gibt's ein Wiedersehen!» Я перевожу ей – «На родине встретимся снова»!. Она смотрит на меня, улыбаясь.

- Прекрасно... Петруша... очень, очень хорошо, – тихо говорит она.

Неожиданно для меня на столе стоит тарелка с великолепной выпечкой, которая удовлетворила бы и самые изысканные вкусы.

- Откуда это все у вас? – спрашиваю я уроженца Вены.

- Имею честь, для милостивой государыни, позволили себе это принести. И, пожалуйста, я вас очень прошу, маленький знак внимания с моей стороны, с большим почтением... Венец добавляет последнее слово, когда видит строгие глаза фельдфебеля, потом улыбается со всем своим внутренним шармом и смущенно расставляет кофейные чашки сначала передо мной, потом перед своим начальником. Внезапно мне бросается в глаза, что на его правой руки осталось только два пальца.

- Я вас тоже очень сердечно благодарю, – говорю я и кладу ему на руку мою левую руку.

- О, пожалуйста, пожалуйста, я прошу вас, господин Крёгер, это особенная честь для меня. Потом он удаляется от нашего стола.

Когда питье кофе закончено, я раздаю по кругу сигареты, и затем мы все беремся за дела. Первая папка: «Болезни». Кроме нескольких случаев простуды, болезней в лагере нет. Появляется другая папка: «Еда».

– Мы пройдем эту папку в самом конце, мне нужно наедине обсудить с вами много разных дел, – говорю я фельдфебелю.

«Работа», читаю я на другой папке.

- Унтер-офицер Вильгельм Зальцер докладывает.

Я смотрю на заговорившего человека. Это маленький, сильный мужчина около сорока пяти лет. Седые виски, несколько мечтательные глаза, сильные пальцы. Он был по профессии «строитель», сразу после начала войны добровольно пошел в армию. Его тщательно почищенная форма очень изношена, залатана на многих местах, она украшена Железным крестом первой степени. Левая половина лица искажена ударом сабли, рот поэтому относительно широк, левое ухо полностью отсутствует. Мужчина из-за трудностей похо-

да заработал себе серьезную болезнь сердца и на долгое время был прикован в Никитино к кровати. Под его руководством и возник «родной угол».

Он спокойно достает из кармана уже довольно грязноватую книжечку, листает ее, причем в ней можно увидеть несколько эскизов строений, проекты чашек, кружек, мебели. Множество страниц исписаны бесконечными рядами чисел. Он кладет книжку на стол и подробно рассказывает, что муниципалитет хотел бы самой ранней весной начать строительство домов, что посевные площади и луга вокруг Никитино больше чем удвоились бы из-за обширного вырубания лесов в начале года и вследствие этого для некоторых товарищей появляется и новая возможность для работы.

- Кроме того, следует сообщить, что к нашей общей радости прибыли музыкальные инструменты для нашего оркестра. Я могу несколько нескромно выдать, что он уже усердно репетирует под руководством скрипача Дайоша. Наша библиотека обогатилась после прибытия следующих ящиков с книгами теперь на 684 тома. Наш самый молодой товарищ, доброволец Ганс Вендт, стал бухгалтером.

Мы смотрим через замерзшие стекла в светящееся сверкание зимнего солнца.

Новая папка прибывает на стол: «Претензии» стоит на обложке.

- Ну, фельдфебель, – замечаю я, – туда наверняка включены всякие плохие вещи, с сильными выражениями, да? Мы все смеемся, обложка открывается.

- Работа, работа, работа..., – читает фельдфебель, – все же, здесь, тут действительно много, мгновение, нужно было бы сделать, – очень медленно начинает читать он, «городскому управлению или какому-либо иному ответственному учреждению предложение продлить железнодорожную линию от конечной станции до Никитино. Тогда у всех товарищей была бы работа и заработок, если бы можно было после очень точных расчетов решиться на сдельную работу. Очень хитрый и умный человек должен был бы вести эти переговоры с русскими, которые вовсе не настолько глупы, все же, как мы все думали раньше. Я предлагаю, после того, как я посоветовался с несколькими товарищами, господин Крёгер должен был бы вести эти переговоры для нас. Я и многие другие считаем его достаточно хитрым. Рядовой артиллерии Фриц Шульц, по гражданской профессии «землекоп».

Мы смотрим и смеемся, как мы можем.

- Рядовой артиллерии Фриц Шульц очень хорош! Он, к сожалению, не знает, что русские всю войну ведут за кредиты союзников, – говорю я.

Пока я, еще смеясь, перевожу этот инцидент Фаиме, кто-то внезапно хватает меня за рукав. Я оборачиваюсь.

- Я Дайош, господин Крёгер, венгерский скрипач Дайош Михали.

Два светящихся глаза, черные как угли, встревоженная голова, растрепанные волосы, рука, которой он отбрасывает волосы назад, дрожащие пальцы в моей руке, форма наполовину расстегнута – в таком виде венгр стоит передо мной.

- Мария и Иосиф!... прекрасный подарок... я так счастлив... Она так удивительно прекрасна... скрипка... я плакал... Я буду играть вам как никогда прежде...

С избытком воодушевления глаза мужчины блуждают по моему лицу, и когда я встаю, он хватается за меня, обнимает меня, потом закрывает руками лицо, широко разводит их и кричит:

- ... я так счастлив... я могу снова играть!... И уже он исчезает, без шапки и пальто, такой же, как он стоял передо мной.

- Оркестр будет играть летом в здешнем кафе. Вы, унтер-офицер Зальцер, сделайте, пожалуйста, при случае проект для этого кафе, а потом еще проекты для пляжа и кинотеатра, который должен вмещать примерно триста – четыреста человек.

Наконец, еще одно благоприятное сообщение. Военная администрация выдала разрешение пленным работать летом у крестьян в деревнях. У меня сам был случай говорить с крестьянами всей окрестности об этом. Товарищей все ждут с удовольствием, их хорошо кормят и хорошо с ними обращаются.

Вопросы, которые еще нужно обсудить, рассматриваются, решения принимаются, потом мы заканчиваем. – Фельдфебель, я хотел бы видеть вас и бухгалтеров завтра до обеда, примерно в десять часов утра, у меня на квартире. Прихватите папку «Еда».

Унтер-офицеры встают как по команде, я подаю им руку, – затем я с Фаиме на сияющем зимнем солнце. Мы идем к дому братьев Исламкуловых.

Дверь открывается, и Али подает мне руку. Он и его братья всегда очень рады моему приходу.

- Добрый день, мой дорогой Федя, – приветствует он меня и дарит своей сестре сердечный поцелуй.

В кабинете татар мы просматриваем счета и поступления денег. Пушная торговля очень сблизила нас всех. Безмятежно – до последнего мгновения – осталось во мне ощущение абсолютной честности этих людей.

После обеда снова подробно обсуждались разные коммерческие дела. Мы планировали устроить каток для бега на коньках и горку для катания на сани. Необходимые коньки должны были приобрести братья Исламкуловы, а необходимые сани должны были сделать военнопленные. Это был для татар новый, непредвиденный заработок, а для моих приятелей выгодное занятие. Но когда я пил душистый турецкий кофе мокко глоток за глотком и разрабатывал мои идеи построить кафе с венгерским оркестром, кинотеатр и пляж, их радость не знала границ. Условие оставалось прежним: мои пленные товарищи должны были вследствие этого получить работу и заработок.

Этим вечером Фаиме и я пошли домой поздно. Была холодная ночь, слабый свет керосиновых ламп из замороженных окон показывала нам дорогу. Над нами изгибалось, усеянное множеством бесчисленных звезд, зимнее небо.

Дома приятно тепло. Душистый чай, маленькие лакомства и сладости стоят на столике. В углу горит перед образом никогда не гаснущая лампада, в камине мерцает и шуршит береза. Это чудесная тишина.

- Все же, у нас прекраснее всего, – говорит Фаиме и гладит меня рукой по лбу и волосам.

- Да, Фаиме, и когда мы будем на самом деле дома, тогда это будет еще гораздо прекраснее.

- Будешь ли ты тогда так же часто бывать у меня, как здесь? Сегодня я, когда ты говорил с твоими товарищами и вел переговоры с Али по коммерческим делам, отчетливо видела, что это едва ли будет возможно. Ты с таким большим удовольствием работаешь.

- Тогда я как раз меньше буду заниматься делами и ходить на фабрику моего отца. Я буду прогуливать, как в школе, и прибегать к тебе.

- Петр, Петр! Для тебя нет в жизни преград, и если ты говоришь так, то можно быть уверенным, что их действительно нет. Но я уже придумала, как я могу помочь тебе во время работы. Во-первых, я буду вставать одновременно с тобой и ходить с тобой вместе на работу. Так долго спать, как ты здесь часто мне позволяешь, я как раз не буду. Тогда я буду работать вместе с тобой. Я выучу все, что умеет секретарша в бюро, я буду управлять также кассой, чтобы никто не добрался до твоих денег, и тогда я хочу еще...

Ее руки гладят меня, скоро ее голова склоняется то на одну, то на другую сторону. Постепенно, очень постепенно ее голос звучит ко мне как из дале-

кой дали, и вдруг, смертельно устав от перенесенной борьбы против зимней бури, я заснул.

Мне снился сон: большая комната с множеством окон и длинных батарей отопления. Огромный письменный стол, над ним географическая карта европейской и азиатской России; она занимает всю стену. Черный клубок на ней – это Петербург, черные нити выбегают оттуда вплоть до крайних углов гигантской страны, да, даже спешат за ее границы.

У массивного письменного стола сидит мужчина. У него широкие плечи, белокурые, зачесанные назад сильно поседевшие на висках волосы, кустистые брови, голубые со стальным отливом глаза.

Этот мужчина является черным клубком огромной географической карты.

Это мой отец.

Каждый, кто вступает в его рабочий кабинет, становится маленьким, смущенным и неуверенным; со мной дела тоже обстоят так. Я ведь тоже только маленькое колесо в механизме этой никогда не отдыхающей головы.

Длинный выложенный линолеумом коридор, на обеих сторонах двери с маленькими табличками: касса, бухгалтерия, канцелярия, регистратура, правовой отдел, калькуляция, отдел Европы, отделы Азии, Германии, Англии, Франции, Америки. Винтовая лестница, тяжелая дверь, грохот и тяжелый стук встречают там человека. Залы, полные занятых людей, они подтаскивают формы, копаются в машинах. Огромные жерла раскрывают свои пасти, раскаленная, белая отливка медленно выходит оттуда. В зале становится светло как днем.

Снаружи далекая, совершенно ровная песчаная площадь, в центре ее лежит завод как огромное огнедышащее чудовище. Небо красное.

Чугунные ворота раскрываются. Я уезжаю на своей машине.

Маленькие, низкие каменные дома, между ними многоэтажные; газовые фонари, освещенные магазины, темные фигуры людей, вдали дымящие фабричные трубы. Появляется зал «Николаевского вокзала», перед ним лежит гордость столицы – «Невский проспект». Огромные сдвоенные дуговые лампы, яркий свет, тяжелые, шикарные ряды домов. Трамвайные вагоны, неистовые автотакси, между ними дрожки, элегантные экипажи с бородатыми кучерами в толстых тулупах. Прносящиеся лошади с длинными, причесанными хвостами блестят своей чистотой. Все расступается и разбегается перед ними.

По правую руку светло освещенные витрины роскошных магазинов, по левую руку темный массив собора «Святой Казанской Божьей матери» с широко разбегающейся колоннадой по обе стороны, перед ним широкая площадь. Снова скользит мимо ряд магазинов, «Большая конюшенная», единственная улица, покрытая асфальтом вместо булыжника, которую из-за этого постоянно приходится чинить в холода, дворцы банков с широкими входами, гранитные здания, охраняемые обшитыми галунами швейцарами, четырехэтажные, шестиэтажные дома.

Внезапно эти пестрые картины остаются позади.

Широкой аркой поднимается колоссальный фасад здания Генерального штаба с его 800 окнами, рядом с ним триумфальных размеров железная упряжка из шести коней со скульптурой бога войны. Посередине площади поднимается гордая Александровская колонна. Тридцать метров высотой и пять метров в диаметре, самый большой монолит современности, отполированный из единственного блока красного финляндского гранита покоится на высоком постаменте. Наверху на бронзовой капители, на шаре, поднимается бронзовый ангел, в левой руке его видимый издали позолоченный крест, а правая рука поднята к небу.

Святейший Синод... Полукилометровый фасад Адмиралтейства окружен рядами колонн, карниз украшают ангелы, которые несут имперское знамя над Невой. Петр Великий принимает из рук Нептуна трезубец. Но над мощными воротами поднимается башня Адмиралтейства с ее тридцатью колоннами и тридцатью статуями, и над ней тонкий, позолоченный шпиль высотой почти сто метров, на который укреплены корона и кораблик в виде флюгера.

Маленькая гора, гранитный блок, на нем бронзовый памятник, больше ничего нет на широкой площади. Только работа тысяч рабов, только воля императрицы Екатерины могли справиться с этим. Петр Великий на вставшем на дыбы коне, кажется, хочет перескочить через Неву. Он, титан, силой взял себе этот маленький клочок земли, и на месте, где когда-то молчаливые финны отправляли свои обветренные рыбацьи баркасы на ловлю рыбы, плотно у края моря, возник всей природе и врагам назло, на миллионах столбов, забитых в бездонные болота, город из гранита – Санкт-Петербург!

Стены набережной Невы и множество каналов сделаны из гранита. Из гранита изготовлены опоры мостов и колонны с бронзовыми царскими орлами, из гранита – Исаакиевский собор, самая монументальная, самая великолепная церковь метрополии из гранита и мрамора, и – казематы Петропавловской крепости.

- Петруша... Любимый... Петруша... проснись, я провожу тебя в кровать, ты устал... проснись...

Шум моря, картины дворцов, море домов, казематы исчезают постепенно как в тумане. Из далекой дали прилетают слова. Я спросонья открываю глаза.

Фаиме согнулась надо мной, моя голова лежит у нее на коленях.

Березовые дрова в камине превратились в маленькую раскаленную кучку. Окна покрыты толстым слоем льда, на который падает лунный свет.

Я – снова только пленник в глубокой Сибири.

Лампада овекает нас священным светом. Где-то трещат деревья дрова в ужасающем холоде. Гляжу на наручные часы, уже поздно.

- Я дала тебе поспать, потому что я очень люблю смотреть как ты спишь... Так же я сидела когда-то, когда ты болел, у твоей кровати, клала твою голову себе на колени и говорила с тобой, час за часом.

С трудом я снимаю одежду. Я абсолютно сонный. Я прислоняю голову к обнаженной руке девочки, целую ее еще раз в рот, в глубокий боковой вырез ее тонкой рубашечки и засыпаю снова.

Я был счастлив только в плену...

Зимние радости – зимняя спячка

Следующим утром в десять часов раздался звонок. Это фельдфебель и бухгалтер, доброволец Ганс Вендт.

Открываем папку с надписью «Еда». На самом верху лежит ежемесячный отчет по всем правилам настоящей бухгалтерии. Ни одной исправленной или стертой буквы.

Громкий стук в дверь прерывает нас. Я открываю, передо мной, в совершенно замерзшей шкуре, стоит деревенский староста из Забытого.

- Братец, мой дорогой, я сейчас же вернусь. Мне только нужно быстро заглянуть к полицейскому капитану и здешнему священнику, и потом я снова тут. Напиши мне несколько строк, капитан непременно хотел бы принять меня... речь все же идет о моей жизни, добавляет он, сияя, – я расскажу тебе чуть позже все подробно, ты удивишься, мой дорогой!

С моим листком в руке он выбегает из дому.

- Идите, пожалуйста, к пекарю Воробью, – говорю я добровольцу, – пусть он прямо сейчас идет сюда вместе с австрийцем Майерхофером. Я должен

предоставить ему большой заказ. А Майерхофер пусть принесет мне точные цены на муку, миндаль, сахар и все прочее, что нужно для выпечки рождественского «штоллена». («Штоллен» – традиционный немецкий рождественский пирог – прим. перев.)

Паренек тут же убегает и вскоре возвращается с пекарем и Майерхофером. Все запыхавшиеся.

- Воробей, я хочу попросить тебя испечь примерно три с половиной тысяч особенных пирогов, и кроме этого несколько пудов выпечки. Майерхофер покажет, как и из чего это нужно делать. Подсчитай мне, сколько все это удовольствие будет стоить. Если у тебя окажется слишком дорого, я пойду к твоему конкуренту.

- Но, барин, скажите хотя бы, ради Бога, зачем вам нужно так много выпечки! Неужели вы все это съедите?

- Выпей-ка пока рюмочку водки и не оставляй ее перед тобой, другие тоже хотят пить, они ждут только тебя.

За один момент рюмка пуста.

- Так, давайте повторим еще раз. Рюмки наполнены и снова опустошены. Потом мы все закуриваем.

- Да, Воробей, мне нужны все эти пироги для моих пленных товарищей, для предстоящего Рождества.

- Так вам нужно было сразу сказать мне об этом, барин, – перебивает меня пекарь, – это же совсем другое дело. В таком случае я совсем не буду брать с вас деньги за все это использование моих печей. Я сделаю это безвозмездно... Я вам, кроме того, еще и два мешка белой муки подарю. Майерхофер и его товарищи научили меня очень многому, я увеличил свою лавку и очень хорошо заработал, и знаете ли вы, что я делаю каждое утро? Майерхофер подсказал мне одну хитрую мысль... Я с помощью пленных поставлю хлеб, булочки, и всю выпечку утром прямо на дом клиентам, и им теперь вовсе не нужно самим приходить в магазин. Разве это не великолепная идея, барин? Это чудесно!

Он замолкает и смотрит на меня.

- Мастер, мастер, говорит Майерхофер, – пойдём домой, все пироги подгорят.

- Хорошо, хорошо, Майерхофер, – отвечает пекарь, встает, наливает себе и Майерхоферу еще по рюмке водки на прощание, опустошает их со своим

подмастерьем и торопится домой. В двери он оборачивается и говорит серьезно и определенно:

- Все выпечем безвозмездно и еще два мешка белой муки, ради Бога...!

Дверь защелкивается.

Я смотрю ему вслед. Это русская душа!

Я смотрю в сторону и вижу бухгалтерский баланс – а это Европа!

Затем мы подробно обсудили тему еды.

Был полдень, когда вернулся староста из Забытого.

- Я могу жениться на моей сестре! – выпалил он вместо приветствия. – Она вовсе не моя сестра, только так, согласно какому-то закону, а на самом деле, нет. Мой отец много лет тому назад удочерил внебрачного ребенка богатых родителей, это и была Степанида, моя сестра. Теперь я выяснил все, как ты и советовал, – рассказывал крестьянин, очень волнуясь от радости. – Но теперь хватит, хватит, я хочу знать, как ты доехал, брат, что говорила твоя прекрасная жена, боялась ли она, плакала, печалилась ли она, заламывала ли себе руки? Тебе не стоит снова делать это, кто знает, найдешь ли ты во время бурана опять глубокий снежный сугроб.

- Скажи, Илья, ты не хочешь прямо сейчас жениться на Степаниде? Тогда чего ты, собственно, еще ждешь? Иди, покупай обручальные кольца и свадебную одежду для своей невесты и едь домой.

Прошло три дня. Незадолго до отъезда маленького каравана назад в Забытое Илья Алексеев пришел ко мне.

Он положил на стол гигантский пакет, который едва мог нести, осторожно размотал его и достал отдельные предметы. Это были великолепные пестрые ткани для одежды, косынок и рубашек, женская и мужская обувь, новая фуражка с козырьком из лаковой кожи, пестрые, дешевые ожерелья, красные носовые платки, шелковые шнуры с галунами для рубашек... и самое прекрасное и самое важное, обернутое бесчисленными листами тонкой бумаги – два обручальных кольца! Сам мужчина просто сиял от неземной радости.

- Ты помог мне, бедному крестьянину, стать счастливым, я никогда не забуду об этом, братец, никогда... ради Бога! – медленно говорил он.

Снаружи, перед моим домом, стоял маленький санный караван. Он привез в Никитино те шкурки, которые я тогда оставил в Забытом из-за бури, теперь он вернулся, полностью нагруженный товарами. Мужчины в толстых тулупах

и шапках из собачьих шкур еще хлопотали в санях, когда мы оба вышли из дому.

Илья сел в первые сани. Он поцеловал меня по русскому обычаю и перекрестил меня.

- Будь здоров, братец... Бог с тобой!

Он улегся в санях. В руках его было множество подарков, которые он купил для невесты, потом он посмотрел в сияющее синее небо и на дальний горизонт. – Хорошая погода сохранится, но идет большой мороз. Мы долго больше не увидимся. Он надел свою меховую шапку, еще крепче затянул матерчатый пояс вокруг тулупа и натянул толстые рукавицы, которые висели на веревке у него на шее. Другие крестьяне как по команде уселись в свои сани, косматые лошадки внезапно очнулись, и сани медленно пришли в движение.

- Тысячу раз я благодарен тебе, брат... Храни Бог тебя и твою жену!

Щелканье языком, особенный растянутый и ободряющий крик «Эеей!», громкий хруст и пение жесткого снега под полозьями, и сани двинулись гуськом.

Над ними цепенеющий, яркий холод Сибири.

Илья Алексеев оказался прав. Термометр качался между 30, 35 и 40 градусами мороза, солнце светило каждый день. Путешествовать дальше, чем на совсем короткие расстояния, стало почти полностью невозможно. Солнце, только лишь раскаленный шар, восходило в одиннадцать часов, его едва ли можно было увидеть над опушкой леса. В три часа снова была полная ночь. Теперь вся жизнь ограничивалась исключительно Никитино. Единственной связью с внешним миром была почта. Дважды в неделю почтовые сани отправлялись к дальней железнодорожной станции Ивдель. Нередко случалось, что эта поездка была подвигом. Никитино напоминал мне одну огромную пещеру, в которой люди, как медведи, переносили свою зимнюю спячку в абсолютно занесенных снегом избах.

Утром, после завтрака, когда я делал свою обычную прогулку с Фаиме, мы часто обнаруживали следы лесных зверей. Мы видели порой в стороне от городка даже следы крупного зверя.

Обустроенные между тем каток на реке и горка для катания на санях со множеством виражей по всем правилам искусства процветали, несмотря на царящий холод. Наплыв был очень велик вплоть до темноты, Никитино было очень благодарно любому, пусть самому маленькому развлечению. Копейки

поступали в кассы братьев Исламкуловых и наполняли сердца моих товарищей новым, свежим мужеством.

Фаиме получила беговые сани, на которых были вырезаны все лесные звери – подарок моих товарищей. Мы вдвоем демонстрировали, особенно взрослым, какое удовольствие могут доставлять гонки на санях.

Так мне удалось внести маленькое разнообразие в вечную монотонность сибирской зимы. Не будь тут искренней, настоящей детской сердечности людей, не наступай всегда снова часы плохих, безнадежных депрессий, в которые Фаиме приходилось снова утешать и ободрять меня как ребенка с ее подлинным материнским инстинктом – я смог бы превратиться в заносчивого человека. Похоже, что все, за что я брался, мне удавалось.

Через несколько дней после отъезда деревенского старосты из Забытого ко мне пришел Лопатин. Он мял свою меховую шапку в руках и не знал точно, с чего ему начать. Я пришел к нему на помощь.

- Я знаю, ты снова был на допросе в Омске в штабе корпуса, Иван Иванович мне рассказал. Что случилось теперь?

Не отвечая, мужчина расстегнул свою армейскую шинель, вытащил из нагрудного кармана завернутый в газетную бумагу маленький пакет, осторожно снял бумагу и дал мне маленькую коричневую коробочку, а также документ.

В коробке был военный Георгиевский крест второй степени, а документ был приказом, согласно которому Лопатина повышали до чина фельдфебеля, за его особые заслуги.

- Все же, это большая радость, Лопатин, я тоже тебя сердечно поздравляю, ты отличный солдат.

Задумчиво и печально мужчина посмотрел на меня.

- Ты вовсе не рад этому?... Почему же нет?

- Мне даже стыдно, барин, очень стыдно. Такая высокая награда только за то, что я сопровождал вас, что я должен был стоять перед вашей дверью в карауле.

- Но что же тут постыдного, ты ведь выполнял свой долг и исполнял приказ как солдат, и теперь тебя за это наградили.

- Должен ли я был охранять именно вас? Да и охранял ли я вообще вас, разве вам не приходилось часто напоминать мне о моих обязанностях? Что было

бы со мной, если бы вы тогда не затащили меня сонного в сани и не отвезли в Никитино? Нет, это стыд для меня, барин! Да и знаете ли вы, за что еще я получил высокую награду? Я не могу даже думать об этом, мне хотелось бы даже плюнуть в самого себя, если бы все это было правдой. Меня, среди прочего, спросили, есть ли у меня невеста; я подтвердил это и сразу добавил, что она работает горничной у вас. Внезапно все замолчали, долго смотрели и улыбались. «Однако, это тонко, блестяще, просто великолепно, Лопатин. За твою умную голову тебя наградят. Поэтому он также знает все в точности, что немецкий шпион делает», говорили мне, и допрос тогда внезапно закончился. На следующее утро мне вручили орден и документ о производстве в чин, офицеры хлопали меня по плечу, и господин Попов, ваш знакомый, подарил мне даже двадцать пять рублей как вознаграждение. Я стоял совсем сбитый с толку и все время хотел сказать, что я не собираюсь через свою невесту шпионить за вами, но я ничего не сказал, другие все время что-то говорили мне, я слышал только похвалу, снова и снова меня хлопали по плечу, я должен был есть и пить, пока я не уехал.

Медленно солдат положил угасшую сигарету на стол, на лице его была написана полная беспомощность. Тяжко он порылся в карманах и достал красный носовой платок. В нем была завернута купюра. Он разгладил ее и положил на стол возле сигареты.

- Я не хочу и этих денег, дорогой барин, я, все же, не предал вас. Ведь я не Иуда, великий Боже! Я глуп, как мы все тут, доверчив, наивен, да, наверняка..., но не предатель... И он отодвинул купюру, которая означала для него маленькое состояние, подальше от себя и охватил лицо руками.

Я встал и подошел к нему, глубоко потрясенный этой безграничной честностью. Мне понадобилось много времени, пока мне удалось убедить его взять все же себе эти деньги, объяснив, что он не предал меня.

Как солнце после грозы проявляется медленно между облаков, так улыбка скользнула только смущенно и неуверенно по лицу мужчины. Наконец, он опустошил рюмку водки одним глотком и выпрямился.

Но когда я подал ему на прощание руку, его медвежья шапка снова путешествовала из одной руки в другую.

- Ну, а теперь, что у тебя все же еще лежит на душе, Лопатин, скажи спокойно, может быть, я смогу помочь тебе?

- Моя невеста... в положении, – едва слышно произнес он. – Черт искусил меня, и я...

Пристыжено стоял он передо мной, как большой ребенок, который не знает, что ему делать.

- Ну, так тогда тебе как раз и пора жениться на своей невесте, Лопатин, или ты сам не хочешь этого, или она не хочет?

- Я совсем не спрашивал ее, барин, мне было так стыдно спросить ее... я не знаю, что делать, – он посмотрел на меня, и я прочел большую, невысказанную просьбу в его глазах.

- Ступай пока, мой дорогой, я поговорю с твоей Ольгой, и сегодня вечером ты снова придешь ко мне.

Он медленно вышел, не застегивая шинель и не надевая свою медвежью шапку.

Я позвонил, пришла горничная.

- Ольга, тут только что был Лопатин, он попросил меня, чтобы я поговорил с тобой. Он рассказал мне все, так как он хочет на тебе жениться.

Внезапно девочка упала передо мной на колени, и заплакала, громко всхлипывая. – Смилуйтесь надо мной, барин, ради Бога, смилуйтесь, я согрешила... я согрешила...

- Давай, вставай, не плачь! Передо мной ты не должна стоять на коленях. Радуйся, что ты можешь любить, так как это милость. Ты не должна стыдиться своей любви, мы все – грешные люди, только перед твоим Богом ты должна суметь ответить за это. Ты должен обещать ему, что будешь жить для своего ребенка и своего мужа.

- Я клянусь в этом вам, барин, перед Богом! – и девочка крестилась сквозь слезы и смотрела на икону.

Когда вечером вернулся Лопатин, он нашел его невесту сияющей. Покраснев, оба поцеловались. В их любви было что-то глубокое, земное, нечто естественное, как у животных.

- Ради тебя, Саша, я пошла бы нищенствовать по всей святой Руси, с тобой я хочу вынести горе и нужду, – говорила Ольга и нерасторопно гладила своему возлюбленному взъерошенные волосы.

Мужчина не мог выразить свои чувства словами, он тяжело дышал, стоял неподвижно, в руках еще держа свою медвежью шапку, только его честное, открытое лицо и глаза сияли.

- Завтра мы идем к попу, – произнес, наконец, он и внезапно принялся обнимать и целовать свою невесту дико и безгранично. Потом он встал и засиял от счастья. Его шапка лежала небрежно на полу. Теперь он сжимал кула-

ки, мышцы лица распрямылись, и он бросился на меня. Он обнимал меня и со всей силой прижимал меня к груди, целовал меня в щеки. Он тяжело дышал.

- Барин, мой дорогой барин... И с этими словами он обнимал меня снова.

- Если Бог подарит мне сына, то я назову его твоим именем, барин, Федя, и ты должен стать его крестным.

Этим вечером отпраздновали помолвку. Никто из гостей не пришел ночью домой. Только на следующий день в полдень можно было видеть, как они шатались по улицам.

Лопатин и Ольга получили двухнедельный отпуск. Фаиме подарила им деньги, большую корзинку с провизией и соответствующее количество спиртного для «обмывания».

По инициативе учреждений военной администрации и полиций в гимназии провели благотворительный праздник в пользу военнопленных.

Залы и многие классные комнаты были ярко освещены, натоплены и вычищены. «Церемониймейстером» стал унтер-офицер Вильгельм Зальцер. С помощью немногих средств он как фокусник смог внезапно превратить помещения в маленький лес. Всюду видны были деревья и кусты, между ними столы, стулья и скамьи. В актовом зале в середине стояло несколько елок, плотно сдвинутых, вокруг них столы с блюдами и импровизированная лотерея. На подиуме восседал Дайош с его венграми.

Когда Фаиме и я отдавали наши пальто в гардеробе, лагерный староста и унтер-офицер Зальцер подбежали к нам и приветствовали нас. Лестница вела в зал.

Дверь вскоре открывается. Я вижу, как Фаиме в сопровождении двоих унтер-офицеров идет через широкую танцплощадку, как генерал быстро встречает ее и целует ей руку. Он говорит с нею, оба оглядываются, и вот они уже обнаружили меня. Они смеются и подходят ко мне.

- С вашим ростом трудно спрятаться! – и его превосходительство тянет и меня на танцплощадку.

Он берет под руку Фаиме и меня, унтер-офицер Зальцер ведет нас в угол, где уже сидят Иван Иванович и его жена.

- Вы так поздно пришли, господин Крёгер, мы хотим танцевать, – приветствует меня Екатерина Петровна, пока я касаюсь губами ее руки.

- Где же ты все время прятался, каланча? Все ждут вас, вы же знаменитости! Нужно танцевать, пить и кушать. Вы должны начинать! Тебя, Федя, ждут прекрасные женщины, которые едва могут усидеть на своих стульях. Они уже своими взглядами так просверлили входную дверь, что она стала похожа на решето. Моя жена не оставляла меня в покое уже весь день, итак, вперед, Федя! Капитан хочет быстро и сразу выговорить все, что у него на душе.

- Я ждал вас с нетерпением, – обращается генерал к татарке. – Вы же знаете, Фаиме, что вы единственная радость для меня, старика.

- Извините, ваше превосходительство, но раньше не получалось...

Искра из ее глаз вылетает в мою сторону, и лицо ее сияет...

- Но теперь, однако, мы хотим танцевать, Фаиме! – просит его превосходительство.

- С большим удовольствием, – отвечает она смущенно.

- Пожалуйста, музыку, обращается генерал к фельдфебелю, который тут же удаляется. Я вижу, как седой военный идет с Фаиме на свободную танцплощадку, как осторожно он кладет руку на ее талию и как он тихо и довольно улыбается ей.

Фаиме наклонила головку немного вбок, покраснела, потому что все вокруг смотрят на нее.

На подиуме Дайош хватает скрипку, резко откидывает назад голову, черные волосы разлетаются в стороны, и оркестр начинает играть.

Бессмертный король вальса Штраус звучит в городке в глубине Сибири. Фаиме парит в руках генерала. Он держит ее осторожно, как драгоценность, потом оба возвращаются к нашему столу.

Теперь я тоже должен танцевать. Жена полицейского капитана уже давно смотрит на меня. После танца я вижу, как Иван встает из-за стола и медленно уходит.

- Иван, я хотел бы кое о чем поговорить с тобой, – кричу я вслед ему. Я быстро прошу прощения и следую за ним.

- Я уже выпил вино, Крёгер, это плохо, или как? Нет, нет? У него действительно хороший вкус.

Мы все больше отдаляемся от танцующих. Я еще раз поворачиваюсь, вижу, как генерал снова танцует с Фаиме, и киваю обоим.

- Собственно, я хочу есть, знаешь! – говорит очень решительно капитан. – Может, пойдём на кухню, или как? Он смотрит на меня как озорник. – Там мы уже что-то выловим, прежде чем другие присоединятся. Я только поэтому встал, хотел лишь немного разведать содержимое кастрюль для мяса.

Дверь на кухню открывается. Как по команде мои товарищи стоят навтыжку, но капитан добродушно машет рукой. Мы доходим до стола, на котором готовятся закуски. Тарелка, и вот она уже полна; капитан на самом деле голоден, это видно по тому, как быстро тарелка опустошается. Благосклонно капитан хлопает по плечу товарища, который держал ему тарелку. – Хорошо, очень хорошо. Потом он поднимает крышки кастрюль. – Очень хорошо, очень хорошо! – говорит он с важным выражением лица. – Однако, парни умеют готовить, черт возьми, – и он осторожно качает головой.

- А знаешь, Федя, – и капитан берет меня за руку, – мне бы очень пригодились немецкий и австрийский повара у меня дома, что ты об этом думаешь?

- Блестящая идея, мой дорогой Иван.

- Тогда пришли ко мне сразу двоих. Мне хочется попробовать что-то новое, не вечное однообразие. У моей жены и глупой Машки нет никакого представления о приготовлении пищи.

- Фельдфебель! – кричу я пронсящемуся.

- Слушаюсь, господин Крёгер!

- Господин капитан хотел бы иметь немецкого и австрийского поваров. Есть у вас кто-то подходящий?

- Так точно, господин Крёгер!

- Прекрасно, тогда попросите, пожалуйста, обоих товарищей приступить к работе прямо завтра.

- Слушаюсь!

Мы снова усаживаемся за нашим столом в зале.

Закинув назад голову, с плутовскими, смеющимися глазами, так танцует Фаме со мной, в то время как черный Дайош подмигивает нам с подиума.

Ритм венгерской музыки заставляет быстрее биться наши сердца.

- Мои губы еще пылают от твоих поцелуев, моя любимая.

- А мои... холодны как лед... , – отвечает она.

Я вижу алые губы, белые зубы, сверкающие глаза. Наконец, подают на стол. Оркестр продолжает играть. Венгры не знают усталости, как будто хотят, наконец, наиграться вдоволь.

Время идет и идет, но никто не хочет идти домой, так нравится всем этот вечер в импровизированном лесу. Учителя, многие переселенцы в самом лучшем настроении. Можно видеть девушек в безвредном ухаживании, мужчины делают им комплименты, угощают их сладостями. Они смеются, шутят, танцуют.

Оркестр делает один перерыв за другим, музыканты едят, пьют, снова пьют, и после этого их ритм становится все быстрее, горячее, их глаза пылают. Дайош извлекает из своей скрипки истинно волшебные звуки. Он снова подмигивает мне, но, особенно, конечно, женщинам, черный черт. Фаиме танцует со мной как вакханка.

Лотерея почти пуста, так как щедрые люди наполнили кассу моих товарищей.

- Осталось лишь последние десять билетов! – кричит громко и озорно обычно такой тихий и печальный адвокат городка.

- Даю десять рублей, господин коллега, – отвечает прибывший несколько дней назад из Екатеринбурга нотариус.

- Я плачу вдвое больше! – откликнулся адвокат.

- Пятьдесят рублей! – прерывает нотариус, – и они принадлежат мне!

Наступает внезапная разрядка, так как лотерея распродана. Теперь люди смотрят на номера и получают вещи. Это разные предметы, все они изготовлены моими товарищами. Мой билет выигрывает немецкую кокарду с цветами моего государственного флага.

- Господин Крёгер, – обращается ко мне генерал, – теперь будет главный выигрыш, смотрите! Он встает, берет Фаиме под руку, и они идут в середину зала. Там он высоко поднимает обе руки, и все умолкает.

- Сколько можно заплатить за единственный поцелуй этой женщины...?!

На мгновение воцаряется полная тишина, но потом начинаются бешеные аплодисменты и бурный шум, числа гремят в зале, люди смеются, они в восторге. Я складываю ладони рупором у рта и кричу: – Сто рублей.

- Не считается, – звучит голос Иллариона Николаевича, – супруг не участвует в соревновании. Это не считается! Смеясь, он машет мне рукой, склоняется к Фаиме и говорит ей что-то на ухо, в то время как крики «браво!» снова вызывают новую радость. Я вижу, как Фаиме усердно качает головой, а генерал упрощивает. Предложения сыплются со зловещей быстротой.

- Пятьдесят рублей! – кричит, смеясь, адвокат.

- Пятьдесят пять! – откликается нотариус глубоким басом.

Генерал снова поднимает руку, и все умолкает.

- Сто рублей! – говорит он и осматривает присутствующих своим добродушным взглядом и смеющимися глазами.

- Сто пять, – решительно произносит адвокат.

- Сто пятьдесят! – предлагает генерал.

Никто больше не откликается. Все стоят в напряжении. Царит внезапная тишина. Генерал достает ярко-белый носовой платок, проводит им по маленьким, коротким усам, потом смотрит на Фаиме. Девушка очень покраснела от смущения. Она медлит, вследствие этого напряжение еще возрастает, тишина становится еще более подчеркнутой. Теперь Илларион Николаевич снова улыбается, как будто хочет побудить Фаиме к поцелую.

Девочка встает на носки и поднимает свою голову к мужчине.

Медленно Илларион Николаевич склоняется вниз, осторожно берет темную головку Фаиме в обе свои руки и целует ее нежно и с полной преданностью... в лоб

В следующее мгновение я вижу, как Фаиме, совсем сконфуженная, подбегает ко мне. Я встречаю ее, поднимаю ее на руки, она охватывает мою голову обеими руками и целует меня.

Наступает бесконечный шум, аплодисменты, слышатся крики «браво!». С девочкой на руках я иду к генералу, тогда к казначею лотереи, которому Фаиме передает деньги. Он пожимает ей руку, потому что он в таком же восторге, как и все присутствующие.

«Вечер в лесу» надолго запомнился жителям Никитино.

Зимней монотонности, на которую местные снова и снова жаловались, я во все не замечал. Каждый день использовался с толком, и даже если я довольно часто и говорил сам себе, что это могло бы быть иначе, то я, все же,

вполне представлял себе, что, будучи пленным, я добился для себя действительно значительной свободы. Можно было жить, было что есть – и война тоже однажды должна была закончиться.

По утрам я усердно тренировался на боксерской груше и делал гимнастические упражнения, чтобы сохранить свежесть и гибкость тела. После утреннего завтрака следовала маленькая прогулка, потом следовали занятия с Фаиме. Девочка очень усердно учила немецкий язык. Книги международной литературы, классиков и другие прибыли некоторое время назад, а я, со своей стороны, получал стопку газет и журналов всякого рода, а также технические сообщения. Если эти сообщения достигали своей цели, то через немного дней они отправлялись в библиотеку товарищей.

После обеда следовал краткий доклад о событиях в лагере для пленных. Он был почти всегда одинаков, ведь что могло произойти в Никитино при морозе в 30-40 градусов. Потом было совещание о подготовке к Рождеству, я посещал несколько инстанций, как и пекарей, мясников, женщин, вязавших шерстяные носки, чтобы вовремя получить все заказанное. При этом не всегда все шло гладко, так как нашей единственной связью с миром была почта, а она иногда не справлялась при жутком морозе. Если после обеда не было никакого обсуждения, то мы шли кататься на санях или на коньках или выводили бодрую Кольку из конюшни для короткой санной поездки. Во второй половине дня при кофе и пирогах сидели в «родном углу» и внимательно слушали Дайоша Михали.

Вечерами Дайош нередко устраивал концерты, на которых исполнялись только классические произведения.

Таким проходило время до Рождества.

Лопатин готовился к свадьбе. Все говорили об этом, и его свадьба должна была стать большим праздником. Ольга все больше витала в облаках, часто становилась забывчивой – но мы все желали ей счастья, так как она была сиротой и прожила тяжелую, полную забот жизнь.

Примерно за восемь дней до свадьбы однажды вечером Иван Иванович вместе с Лопатиным ворвались ко мне.

- Не хочешь пойти на охоту? Волки порвали сегодня ночью двух лошадей, корову и трех собак. Больше нельзя защититься от проклятых бестий. Я привел тебе для этого Лопатина, он в этом деле мастер, «лукаш», как его называют, я уже часто с ним охотился, кроме того, он с удовольствием заработает к свадьбе еще несколько рублей, и это, наконец, самое важное, ведь женятся не каждый день, иногда только один раз в жизни. Итак, скажи, ты хочешь поохотиться?

- Конечно, Иван, очень хочу, я этому очень рад!

- Я думаю, все же, Федя, ты ведь умеешь стрелять, правда? Ты уже держал в руке ружье. Я прав, или?

- Разумеется! – отвечаю я.

- Ну, это, однако, возможно, почему бы и нет? В армии, как известно, учат стрелять, но вовсе не в дичь и волков. Итак, дело совсем простое, Федя. Лопатин окружит проклятых волков, и ты очень удобно подъедешь, станешь так, куда мы скажем, зверюги по очереди будут нестись мимо тебя, а тебе понадобится лишь стрелять, совсем просто, не так ли? Тебе даже напрягаться не понадобится. Эта охота, естественно, не совсем безопасна, если волк почует тебя, но... Ты должен как раз точно целиться сохранять спокойствие и нажимать на курок в правильный момент, тогда все получится. Впрочем, у твоего хозяина есть превосходное немецкое ружье; где она хранится у мерзавца, ни одному черту не известно, но, наверное, он забрал ее у одного из убитых постояльцев его прежнего ночлега, и, вероятно, им даже был какой-то немец, который хотел поохотиться в Сибири. Скажи ему, чтобы он дал тебе это ружье, иначе я прикажу его повесить, а также патроны, десять – двадцать штук, так как я не знаю, как хорошо ты стреляешь. Надо надеяться, как минимум одно попадание у тебя будет!

Лопатин был превосходным «лукашом». Это наименование происходит от имени «Лука», так звали одного крестьянина, ставшего знаменитым, который прославился в Псковской губернии своими неподражаемыми способностями окружать лис и, особенно, волков, в охотничий круг. Он передал свое искусство окружения своим сыновьям, те за большие деньги продали его другим. Но не каждый мог быть хорошим «лукашом», для этого обязательно требуются чрезвычайный талант и почти безошибочная оценка территории. Пропитанные керосином пестрые матерчатые тряпки нужно было выложить широким кругом вокруг лежбища волков на земле, на кустах, под маленькими деревьями и ветвями. Волк не может вынести запах керосина, бросается назад, особенно, если тряпки колышутся на ветру. Точно такой же трудной, как и искусство «обвешивания тряпками» была, однако, расстановка стрелков, так как окруженное животное выходило не в любых, а в большинстве случаев на хорошо закрытых местах или в низинах.

Лопатин сообщил мне об удавшемся окружении с откровенной радостью. Мы отправились, едва рассвело. Он взял с собой своего двоюродного брата Кузьмичева и еще одного крестьянина. Всего чуть больше часа поездки, и мы должны выходить. Мы привязываем лошадь и на лесных лыжах пробираемся через действительно глубокий снег.

- Барин, вы становитесь здесь, – говорит мне Лопатин, – смотрите, старайтесь стрелять в волков не спереди, потому что теперь, при таком морозе, они голодные и дикие, поэтому очень опасны. Кроме того, мех животных очень плотный, и вам придется стрелять в каждого зверя по два или даже по три раза. Волки выносливы. Но если вы, по возможности, сможете выстрелить им в след, то пуля пройдет против шерсти, и у вас будет куда лучший успех.

Мужчины исчезают в заснеженном лесу. Я остаюсь один, посреди глубоко свисающих ветвей дерева. Вокруг себя я вижу свежие волчьи следы.

Ружье заряжено, и я жду загона.

Из далекой дали звучит голос Лопатина, доказательство, что загон начался. Я слышу удары палок по стволам деревьев, я знаю, они приближаются очень медленно, потому что исследуют каждый заснеженный куст, каждый маленький угол, каждое сомнительное, засыпанное снегом место. В середине Лопатин, двое других идут справа и слева от него на расстоянии нескольких шагов.

Там приближаются волки!

Они подкрадываются гуськом и проносятся всего в тридцати шагах от меня.

Мой первый выстрел трещит по лесу. Массы снега на деревьях почти глушат звук.

Я забыл совет, выстрелил слишком быстро и попал в вожака спереди, потому что он лает на меня, почти как собака, скалит зубы, сгибается, трясет головой, и скачками убегает прочь немного в стороне от меня, в то время как стая снова исчезает в лесу.

Второй выстрел, и животное обрушивается, вздрагивает хвостом, задними ногами, валится в снег, и я вижу темно-красную кровь, потом серая собака застывает.

Ружье быстро перезаряжено, перчатки небрежно лежат в снегу. С напряжением я озираюсь по сторонам, так как теперь стая может прибежать с другой стороны. Я должен быть очень внимательным.

Правильно, вот они снова. Едва заметные, почти вплотную касаясь животом снега, скользят серые тени, сами покрытые легким слоем снега. Я позволяю им пробежать сбоку.

Снова выстрел гремит; последний волк обрушивается, другие как тени несутся прочь. Пораженный зверь больше не двигается, его последние судороги застывают, и я снова вижу кровь на девственно белом снегу.

И опять я стою в засаде с заряженным ружьем.

Стук приближается только очень медленно, проходит уже продолжительное время, но ничего больше не двигается под заснеженными ветвями. Теперь я больше не чувствую холода, хотя собственно стоит убийственный мороз.

Между деревьями стоит раскаленный, застывший шар – солнце, я могу смотреть на него незащищенными глазами. В местах, которые оно освещает, снег блестит всеми цветами радуги.

Издали снова приближается отчетливый стук загонщиков.

Стая повернула назад и подходит на этот раз непосредственно ко мне. Готовые к прыжку, но все еще сидя, они вместе нагибаются, застывают на едва ли две – три секунды. Не прицеливаясь точно, я прикладываю ружье к щеке, стреляю в кучу, которая разбегается. Только один, с жадностью и ненавистью в глазах, скалит зубы и нагибается, чтобы прыгнуть на меня. Но я быстрее. Второй выстрел бросает его на землю. Но только на очень короткое время, он снова поднимается, я должен быстро перезарядить ружье... иначе... Спокойно, спокойно! внушаю я себе, тогда как пальцы хотят как можно скорее втолкнуть два новых патрона в ствол. Я стою по колени в снегу, так что увернуться будет трудно.

Раненая bestия истекает кровью, она кусает снег, она только с трудом может держаться прямо, и, все же, все в ней – одна лишь воля, одна лишь ненависть. Скачок, и она уже ближе!

Наконец, затвор щелкает!

Зверь готовится ко второму прыжку.

Доли секунды.

Уже bestия снова прыгает на меня. Я инстинктивно протягиваю в ее сторону стволы ружья, как будто хочу наколоть волка на них. Стволы проникают ему в пасть, он заглатывает их, в то же время раздаются выстрелы из обоих стволов. С широко зияющей раной волк валится к моим ногам.

Я снимаю меховую шапку, так как мне внезапно стало невыносимо жарко. Но мне нельзя забывать про ружье, перезарядку, про волков. Я бросаю шапку в снег, быстро заряжаю ружье и жду: придут ли другие волки или они прорвались через загон?

Снова и снова я смотрю в разные стороны, отступает быстро на один шаг от убитого животного, чтобы получить лучший обзор, но вот уже из леса приближается Лопатин с двумя другими загонщиками.

- Ну, как это было? – его первый вопрос.

- Хорошо, отлично! – мой ответ.

Мужчины очень близко приближаются ко мне, и я смотрю на Лопатина, как мальчик на своего учителя – хорошо ли я сделал свое дело? Взгляд «лукаша» осматривает маленькое поле битвы. Однако, он ничего не говорит, только оценивает расстояние, а потом усмехается.

- Этот волк, первый, барин, совершенно определенно напал бы на вас, если бы первый выстрел не поразил его в глаз, вы сами можете убедиться, – и он поднимает последнего убитого мною волка, качает головой, осматривает широко зияющую рану. – Вам повезло. На охоте на хищников никогда нельзя горячиться, так как часто речь идет о жизни и смерти. В будущем лучше дайте зверю убежать, но не подвергайте себя опасности нападения – зачем?

Его голос звучит так спокойно. Он похож на засыпанный глубоким снегом лес.

Мертвые волки подобраны, охота заканчивается, я вынимаю патроны из ружья, вешаю его на плечо.

Но глаз «лукаша» высматривает дальше и при этом это приобретает особое, ожидающие с нетерпением, строго и точно проверяющее выражение; мужчина проходит несколько шагов по следу, высоко поднимает кусок снега, на котором я, приблизившись, вижу несколько волос и кровь.

- Барин, мы хотели бы пойти по этому следу, так как этот волк болен и не может уйти далеко.

Мы отправляемся в путь. Я снова зарядил ружье. Мы карабкаемся по глубокому снегу, «лукаш» впереди, я следую за ним. У нас короткие лесные лыжи, но мы все равно глубоко погружаемся в высокий новый снег, так что мы оба после нескольких минут буквально искупались в поту. Мы снимаем тяжелые шубы и оставляем их, затем после нескольких сотен шагов следуют наши теплые куртки, потом жилеты с меховой подкладкой.

- Если все и дальше так пойдет, Лопатин, тогда мы на тридцатиградусном морозе будем идти по снегу в рубашках с короткими рукавами.

- Да, барин, может и такое случиться при такой охоте. Но каждое животное, даже если это и волк, заслуживает выстрел милосердия, так как оно, все же, божье творение и не должно зря мучиться, для этого же мы разумные люди.

Пот буквально течет мне по лицу. Внезапно «лукаш» застывает на месте передо мной как вкопанный, потом указывал вдаль, машет. Но я ничего не ви-

жу, только всюду плотно покрытые снегом ветви и стволы деревьев, из-за которых мало что можно увидеть даже на расстоянии в несколько шагов.

Я подаю мужчине ружье. Обрадовано он хватает его, оно уже у щеки, и он, едва прицелившись, стреляет.

Ничто не двигается, только опытный охотник продвигается дальше, наклоняется под маленькой елкой и вытаскивает оттуда серое животное – волка. Капающую из его раны кровь он ловит руками, втирает ее, а потом проводит языком по одной и по другой ладони. Таков обычай – искусство «лукаша» должно с помощью этого обычая сохраняться у него и дальше.

Старые следы ног ведут нас к нашим вразброс лежащим предметам одежды и к терпеливо ждущим лошадям. Лопатин вынимает широкий нож, и с помощью других мужчин все четыре волка вскоре образцово освежеваны. Уже прилетают первые вóроны и вороны, почуяв легкую добычу, и кружатся вокруг нас на высоте всего нескольких метров. Их крик звучит противно.

Дома ждет Иван Иванович. Он даже потрудился выйти на улицу.

- Никого не подстрелил, Федя, сердисься из-за этого, да?

- Нет, я стрелял, но из двадцати выстрелов было только два прямых попадания, все прочие прошли мимо.

- Но хотя бы одного, как минимум, ты принес? – спрашивает он весело и несколько свысока. Но Лопатин теперь уже поднял добычу из саней. Иван Иванович не хочет верить своим глазам, потом он начинает страшно злиться.

- Лопатин, ты очень хитрый крестьянин, очень ловкий и умелый. Если ты идешь со мной на охоту, то я, самое большее, подстреливаю двоих, только в последний раз мне особенно повезло, застрелил троих. Но если ты идешь охотиться с немцем, тогда он приносит сразу четырех волков домой. Он может громко хвастаться по всему Никитино! Мы стали в его глазах чучелом, никакими не охотниками, дилетантами! Если человек впервые идет в лес и действительно приносит четырех волков! Это просто неслыханно, Лопатин!

- Иван! – я пытаюсь утихомирить его.

- Ваше высокоблагородие... , – поддерживает нерешительный Лопатин.

Наконец, Иван Иванович успокаивается и поднимается ко мне выпить стаканчик.

Мы беседовали о различных охотничьих переживаниях. Поздно вечером Иван внезапно посмотрел на часы.

- Проклятое свинство! Нет, какое свинство! Представь себе, Федя, я снова обещал моей жене, что вернусь самое позднее в десять часов домой, однако, между тем, уже почти половина двенадцатого. Клятвенно я обещал это ей сегодня! Моя жена! Господь Бог, это моя самая большая боль, почему я только женился, почему? Я действительно не знаю это. В десять часов я должен был прийти домой! Чего все же она хочет от меня?

Он «перевернул» рюмашку в последний раз и поднялся со стоном.

Едва я закрыл дверь за ним, когда он снова стоял напротив и говорил действительно нерешительно:

- Не сделаешь ли ты мне очень большое одолжение? Проведи меня ко мне домой; я знаю, моя жена будет страшно ругаться, но если ты будешь рядом, то она не осмелится, а завтра все снова забыто. Будь другом и пошли со мной, да?

Немногие шаги до дома Иван Иванович молчал. Он позвонил, дверь открыл «девочка на побегушках», немецкий повар Мюллер, который принял нас обоих, как будто бы он – лучший в мире лейтенантский денщик, со всеми почестями и помог нам вылезти из шуб.

- Садись сюда, Федя, я попытаю своего счастья сначала один, и если все аргументы разума откажут, то я введу тебя. Здесь сигареты, кури. Здесь также печенье, ты любишь сладости. Ешь, сколько хочешь. Он пододвинул мне стул, пошел к двери спальни и открыл ее без промедления.

- Будет лучше, мой дорогой Иван, если завтра ты поговоришь с доктором Крёгером и скажешь ему, что впредь будешь жить только у него, – услышал я действительно ядовитый голос из темноты.

- Катенька, пожалуйста, не злись на меня, по-другому не получалось. Крёгер не хотел отпускать меня, я клянусь тебе в этом... и там я рассказал о моих самых прекрасных охотничьих переживаниях, и время внезапно прошло. Я сам не хотел поверить своим часам, так я сам был удивлен. Теперь, однако, я здесь, Катя, теперь снова все хорошо, не так ли? Все снова хорошо! – подчеркивал он с энергией.

- Да, все хорошо, ты можешь идти туда, откуда пришел. Твою кровать я попросила выставить на двор. Зачем она здесь нужна? Я с этого момента больше не рассматриваю себя как в браке с тобой. Завтра я подам на развод. Пусть все Никитино знает! Что у меня, собственно, есть от тебя, Иван? Я чувствую себя достаточно молодой, чтобы еще раз выйти замуж.

- Проклятое дерьмо...! Что все же происходит с этой проклятой коптилкой! Если она должна гореть, она не горит, она дымит; если она не должна го-

реть, то ее нельзя погасить даже силою всех легких. Так! Ну, наконец! Уууу..., я мог бы размазать ее об стену!

Я слышал, как цилиндр лампы жужжит в патроне, через полуоткрытую дверь я увидел, как зажегся свет. – Да, правда! Моей кровати больше нет в комнате! Куда же она подевалась?

- Я тебе уже все полностью объяснила, Иван! – звенел нетерпеливый, возбужденный голос маленькой женщины.

- Катенька, я вовсе не слышал тебя..., все же, ты видела, что я был занят лампой... Ты, наверное, ругалась? Ты делаешь очень злое лицо, Катя, почему, собственно? Только смотри, я принес для тебя сюрприз... что только не взбредет мне в голову, среди ночи... ты не сможешь надивиться... я сейчас снова вернусь, Катя!

- Заходи, Федя, давай, мой дорогой, быстро иди к ней, – шептал он таинственно и, схватив меня за руку, поднял меня со стула и потянул в направлении спальни его жены.

- Очень быстро неси две бутылки шампанского, Иван, дай своей жене хорошо напиться, она говорила в твой адрес ужасные вещи, – прошептал я ему не менее таинственно.

- Все слышал, все? И он сделал кислое лицо, однако пошел за шампанским.

- Такая неожиданность! Добрый вечер, Екатерина Петровна!

Прежде чем женщина могла произнести хоть слово, я поцеловал ее обнаженную руку. Внезапная, приятная краснота бросилась ей в лицо, но она судорожно натянула красное, утепленное ватой одеяло почти до подбородка, при этом глаза ее увеличились, рот раскрылся, она хотела что-то сказать, но не могла. В моей действительно странной ситуации я мог только улыбаться.

- Федя!... Вы здесь?... Почему?... И мой муж? – заикалась она.

- Иван попросил меня, чтобы я проводил его, так как мы хотели еще немного поболтать друг с другом, если вы не против. Простите мне, что задержал вашего мужа... Я виноват, но он рассказывал мне такие интересные охотничьи рассказы. Я в этом деле совсем еще новичок. Могу ли я поцеловать вам руку?

Она испуганно протянула мне руку, и я заметил, как она дрожала.

- У вас такая прекрасная, мягкая рука, – и я коснулся ладони губами.

- Федя! – шептала женщина с упрашивающими глазами. – По крайней мере, вы понимаете меня, вы мужчина с чувствами.... Мой муж... я не могу говорить это вам, но... Вы будете знать, что я имею в виду, и мне стыдно, что говорю вам эти слова, но это ужасно иметь такого супруга. Что у меня еще есть в этой дикой местности? Все же, я выросла в Москве, а не здесь в этой пустоши! Дни проходят и с ними молодость, и не успеешь оглянуться, уже становишься старой. Не так ли, Федя, разве я не права?

– Но, Екатерина Петровна, вам следовало бы быть более милой, более любезной к вашему мужу, так как он – очень добрый человек, и, вам должно было легко женить его на себе. Вы – молодая, красивая женщина. Подумайте, что и ваш муж тоже неизбежно стал апатичным в этой ужасной пустоши. Нужно помогать друг другу и сохранять друг другу верность. Но все же, сами возьмите в свои руки инициативу, поезжайте с мужем на две недели в Пермь, Екатеринбург, в Омск, где вы сможете развлечься.

- Мой дорогой Федя, вы страшно благоразумны. Я ничего подобного не ожидала от вас. Можете ли вы пообещать мне, что с помощью ваших связей в Петербурге постараетесь добыть другую должность для моего мужа, чтобы он смог покинуть Никитино?

- Я хочу ответить на этот ваш вопрос решительно честно, и надеюсь, что вы сможете понять меня – как пленного. Подождите конца войны, и тогда я с удовольствием сделаю для вас все, что в моих силах, клянусь.

Екатерина Петровна выпила бокал шампанского за свое здоровье, потом за мое здоровье, ее мужа, за будущее... в Петербурге.

Следующим утром, когда я с Фаиме посетил Ивана Ивановича в здании полицейского управления, я нашел его расхаживающим с довольным видом туда-сюда.

- Ты очень хитрый лис, Федя... У меня дома солнце сияет, моя жена стала задорной, я такого и представить бы не мог. Я сам счастлив и доволен, так как ты снова придал мне мужество. Я хочу подождать, пока война не закончится, потом все вместе поедem в Петербург, тогда все снова будет хорошо. Не смейся надо мной, если я тебе честно скажу, мне тяжело далось бы оставить тебя здесь навсегда... никто мне не нравится так, как ты, Федя... даже моя жена.... Я всегда останусь твоим старым, верным Иваном, и, вероятно, я могу немного помочь тебе и твоей жене, как маленький, незначительный полицейский чиновник, но все же. Да, Федя... вот так обстоит дело.

Два дня спустя полицейский капитан со своей женой поехал «по служебным делам» в Пермь.

Рождество и Новый год

Рождество приближалось.

Вокруг меня таинственно шептались. Внезапно у Фаиме появились тайны, ее братья, Иван Иванович и его жена, мои товарищи, все, кажется, готовили заговор против меня. Таинственные пакеты всех размеров появлялись, доставлялись в мою квартиру, снова выносились, распаковывались где-нибудь, снова упаковывались, и вдруг исчезали. Скоро мне не разрешали входить то в одну, то в другую комнату. Плутовские лица, лукавые глаза всюду, и за этим радость сердец.

Но и у меня тоже были свои тайны, также мне приходилось прятать разные пакеты. Ямщики, которые вели почтовые караваны от железнодорожной станции в Никитино, зарабатывали себе некоторые чаевые; это побуждало их сопротивляться опасностям и трудностям ужасного холода. С любопытством и полные надежды наши глаза искали в здании почты предназначенные для нас пакеты, и стоило их открыть, как каждый как можно скорее старался убрать их в сторону, чтобы другие и предположить не могли, что содержится в них.

Наконец, праздник наступил.

Внезапно таинственный шепот, нерешительные, многозначительные и таинственные взгляды, все исчезло. Что-то носилось в воздухе, заставляющее сердце биться быстрее и радостнее. Все были полны ожиданий, надежд, как когда-то, когда еще верили в прекрасную сказку про Деда Мороза.

Я выхожу на улицу. Тихий, ясный вечер, какой бывает только на севере при яростном морозе от 40 градусов и выше. Небо усеяно звездами, на далеком горизонте стоит очень тонкий лунный серп, над опушкой леса сияют Венера и красновато-желтый Марс. Медленно они продолжают свой путь на небе.

Это Сочельник.

Я пробираюсь в старую церковь как вор. За толстыми, пестрыми стеклами я вижу мерцание свеч. Я подхожу к засыпанному снегом входу, снимаю с головы толстую меховую шапку и останавливаюсь благоговейно. Внезапно хрустит снег, темная торопливая фигура шмыгает мимо меня и медленно открывает высокую, тяжелую дверь.

Сияющий блеск бесчисленных огней и лампад, которые горят перед блестящими образами, овитый ароматом ладана и долгого мелодичного пения священников и хоров на тягучем церковнославянском языке, вытекают ко мне наружу в прислушивающуюся ночь. Я вижу стоящих на коленях, молящихся людей, над ними струится освященный свет их больших и маленьких жерт-

венных свечей. Свет, пение застывают в неподвижном воздухе, дверь закрылась... ночь окружает меня... Я делаю знак креста на груди.

И снова кто-то пронесется мимо меня, снова тяжелая дверь медленно открывается к свету, лучам и светильникам, и я чувствую себя как нищенствующий, мерзнувший ребенок, который стоит перед многообещающим домом неприступного богача. Я не могу войти в церковь.

Я иду к моим пленным товарищам в «родной угол» и стучу в дверь. Я стучу действительно сильно и слышу, наконец, энергичный голос:

- Заходить нельзя, только позже, готовимся к Рождеству!

- Это Крёгер! – отвечаю я, и уже дверь открыта.

- Просим прощения, господин Крёгер, мы как раз готовимся устроить рождественские сюрпризы для товарищей, – говорит венец и сам сияет как рождественский праздник.

Ель больших размеров, украшенная искусственным снегом и множеством свечей, стоит посреди зала. Вокруг нее поставлены столы, покрытые белой бумагой и украшенные еловыми ветками. Также на стенах укреплены еловые ветви. Всюду мужчины занимаются делом. Я смотрю на них, оставаясь ими незамеченным. Они никак не могут расставить свои скромные подарки друг другу достаточно быстро и красиво. Постоянно новые и новые грузы они приносят из кухни.

Приходит староста лагеря. Мне бросается в глаза, что его волосы и усы сегодня особенно тщательно напомажены и подровнены, и обычно никогда не отсутствующей записной книжки в мундире сегодня нет.

- Ну, все в порядке? – спрашиваю его.

- Так точно! – отвечает он. Сегодня он точно так же счастлив, как его товарищи.

- Я удивлен, – продолжает он, – щедростью населения. Вы не поверите, сколько всего подарили нам люди. Тут лежат целые горы подарков, которые мы еще должны распределить. Но больше всего подарков получили венгры, эти чернявые черти, и, прежде всего, Дайош, естественно, все от женщин. Последние слова звучат несколько неуверенно и смущенно. – Как вы думаете, – и внезапно он берет меня за рукав, – это наше последнее Рождество на чужбине?... Все же, газеты пишут... мирные переговоры... или...?

- Вероятно..., вероятно, дорогой фельдфебель, это было бы просто прекрасно... да, удивительно прекрасно, – отвечаю я.

Между тем подготовка продвигается. Я чувствую себя как в муравейнике. На столах нагромождаются подарки, у подножия елки лежит полевая почта, пакеты, письма, открытки с родины.

Взгляд в кухню. На плите стоят огромные кастрюли, там варится картошка, больше ничего не видно. На столах стоят горы посуды.

-... а жаркое...? – спрашиваю я удивленно.

- Все уже переместилось в ящик-термос, – говорит хитрый шеф-повар из Берлина и показывает на нагроможденные огромные ящики.

Внезапно мы слышим знакомый звонок.

- Внимание! Собраться! – звучит трескучий голос фельдфебеля.

- Ну, сейчас будет гулянье, господа! – смеется шеф-повар.

Не прошло и несколько минут, как мы слышим шаги и команду. Свечи у рождественской елки зажигаются, теперь все готово. Дверь раскрывается, входят мужчины. По хорошо продуманному плану каждый сразу идет на свое место, потому не возникает самой малейшей неразберихи.

Молча все они стоят на своих местах. В их глазах сияет сдержанная, детская радость. Они смотрят на горящее дерево и, кажется, все грезят. Боязливо тянут они руки к подаркам. Украдкой они вытирают глаза чистым, но уже очень оборванным рукавом мундира.

- О, веселое, о радостное, милосердное Рождество!

Сначала приглушено и неуверенно, потом все более усердно и громко звучит рождественская песня из грубых глоток. Постепенно она умолкает. Теперь другая наполняет помещение, до тех пор пока снова не наступит тишина в рождественском сиянии вокруг дерева.

И еще раз как шторм вырывается песня из мужчин.

Они все, сплавленные в маленькую кучку в дикой местности, образуют в этот момент одно целое. Они воплощают их далекую, находящуюся под угрозой, сражающуюся родину.

Мужчины, воины поют! Внезапно отчетливо слышно, как в хоре отказывает то один, то другой голос, тогда упомянутые лица, погруженные в мысли, смотрят вниз и... плачут.

Я тоже изо всех сил стараюсь, чтобы мои нервы выдержали. Внезапным толчком я хватаюсь за ручку двери и выхожу наружу.

Захватывающий дух мороз охватывает меня.

Звонят колокола во всех церквях.

Звуки текут друг за другом, сливаясь в торжественную гармонию, и мне внезапно кажется, как будто бы они во всей их святости устремлялись к дальним, холодным звездам, к нашему большому Господу Богу, который позволяет нам идти мучительными, одинокими, потерянными путями.

Я открываю дверь к своей квартире с весело стучащим сердцем, и церковный звон расточительно вливается внутрь. Пахнет свежей хвоей, пряниками и орехами, подарками и сюрпризами.

Все очень по-рождественски, да, «пахнет» рождеством. Можно ли забыть об этом в жизни?

- Ты приносишь с собой Рождество, Петруша. Все колокола звонят! – принимает меня Фаиме.

- Да, моя любимая, – я отвечаю, – всюду действительно рождество.

Я быстро тяну Фаиме в ее спальню.

- Здесь, мой первый сюрприз. Я даю удивленной девушке в руки белую картонную коробку. Мгновенно тонкая бумага снята, и там обнаруживается вечернее платье.

Первое настоящее вечернее платье!... Фаиме должна сразу его надеть. Я помогаю ей в том, потому что я долго и подробно переписывался с салоном мод обо всех подробностях и всех маленьких тайнах. Теперь она готова. Покраснев, она стоит передо мной, во всей ее молодой красоте.

- Платье такое изящное, такое тонкое... я едва ли решусь двигаться в нем... Петр...

- Но какая ты в нем красивая, моя дорогая, такая прекрасная, что боги могли бы мне позавидовать... Давай!

- Нет, только лишь мгновение, пожалуйста, я хочу только зажечь деревце, – и она спешит из комнаты.

Я жду несколько мгновений. Никогда еще мое сердце не билось так дико от настоящего счастья.

Я подкрадываюсь из комнаты, но девочка поражает меня, когда я выглядываю за дверь; я больше не могу ждать ни мгновения.

- Я так и думала. Но так не пойдет. Закрой быстро глаза! Так... Петруша, вот так хорошо...

Я слышу шелестение, мне становится очень светло перед закрытыми глазами, пока Фаиме не убирает мои руки.

Множество свеч распространяет свой спокойный свет по комнате. Они объединены в единственном, могущественном луче, и он проникает вплоть до самых скрытых углов моей души. Это тот же луч как в церкви, который я видел через дверь, стоя там ночью.

Фаиме, вопреки своей другой вере, угадала во мне это великое желание.

В углу комнаты стоит изысканно прекрасное деревце. Оно украшено искусственным снегом и многочисленными горящими свечами. Вокруг деревца, на столах и стульях, разложены подарки, и их так много, так много.

Нежно Фаиме целует меня. У нее рождественские глаза. Церковные колокола звенят и звенят.

Я рассматриваю подарки. Они пришли от людей, которых я едва ли знаю; наверное, я смог сделать для них какую-то мелочь, дал им возможность есть, возможность работать, зарабатывать. Теперь они думали обо мне, как я раньше подумал о них. Это много самых простых вещей, и все же, так отчетливо говорят они своим безмолвным языком. Рядом с ними лежат ценные подарки. И большое количество «штолленов», пироги, орехи, яблоки, вино.

Теперь я заносу уже мои подарки. Каждая мелочь – это радость.

В ее ослепительно белом фартуке входит Наташа, за ней Ольга и незаменимая «морильщица мышей», солдатская жена, которая с неограниченной властью неумолимо занимается борьбой с разного рода паразитами в моей квартире с момента прибытия моей мебели из Петербурга.

Они все были в церкви и у них торжественные лица, еще красные от мороза, и в руках у них подарки от Фаиме и от меня. Мы обменялись подарками друг с другом.

Едва мы покончили с приготовлением еды, как появились Лопатин и Кузьмичев. Каждый передал мне коробку сигарет, кроме того, они принесли красивое рождественское деревце из леса.

Потом раздался еще звонок. Это были унтер-офицеры моих товарищей. Зальцер должен был произнести речь, но я быстро опередил их и поздравил их всех. Мы уселись.

Было уже довольно поздно, Унтер-офицеры как раз собирались уходить, как пришли генерал и Иван Иванович с женой. У меня они могли встречаться все, так как моя квартира была достаточно вместительной. Они тоже принесли для Фаиме и меня подарки, мы дарили им в ответ. Особенный интерес Екатерина Петровна проявляла к вещам, которые я подарил Фаиме. Одеждой вообще любовались.

Следующим утром, едва Фаиме и я встали, прибывали поздравители. Это были пленные товарищи, которым я достал работу, а также русские: пекари, мясники, портные, плотники, я должен был пожимать всем им руки, все выпивали стаканчик за мое здоровье, так что моя квартира весь день была полна людей.

Фаиме вечером утомленно опустилась на кровать. Она уже давно утверждала, что ее правая рука совсем онемела, и пальцы болели от множества рукопожатий.

- Совсем не легко быть знаменитой женщиной, – смеялась она.

Последующие дни в Никитино не работали. Обед у полицейского капитана, потом у его превосходительства, у братьев Исламкуловых, вечер в женской гимназии, снова обед у меня, тогда адвокат был на очереди, затем нотариус Бахтев. Так продолжалось день за днем, день за днем, и мы нигде не могли отказать.

На новогодний вечер мы все собрались на праздник в женской гимназии. Все взрослые пришли туда. Сначала было очень весело, ели и пили, танцевали, шутили, но чем ближе подходила полночь, тем более расслабленными и шумными становились люди. Я оттянул его превосходительство в сторону.

- Простите меня, но мы с Фаиме хотели бы попрощаться!

- Напротив, я даже высоко ценю это с вашей стороны! Генерал поцеловал Фаиме руку, и мы незаметно ушли.

- Я так благодарна тебе, Петр! Но люди бывают неприятны, если они много выпили, – говорила девочка по дороге и крепче прижималась ко мне.

- Как прекрасно тихо... как, все же, уютно у нас... я так счастлива, быть с тобой, – говорила она.

- Скоро полночь, дорогая, не хотим ли мы зажечь наше деревце?

- Да, Петр, мы хотим этого.

Огни рождественской елки горели, я открыл окно. Снаружи в ледяной ночи звенели колокола нового 1916 года. Я наполнил наши бокалы шампанским, и мы чокнулись.

- Нет, Петр, ты ничего не должен желать нам на новый год, – и Фаиме приложила свою руку к моему рту. – Разве есть что-то, что мы еще могли бы себе пожелать?

Этой ночью, когда Фаиме уже спала, я встал, прокрался из комнаты и встал перед горящей лампадой.

Долго я смотрел на бородатое, спокойное лицо святого. Тихо, с бесконечно благосклонной улыбкой, живые глаза были направлены на меня, как будто они хотели что-то сказать, дать ответ на мой немой вопрос...

Я вдруг испугался судьбы и почувствовал жгучий страх за мое большое, неведомое мне прежде счастье, страх снова остаться одиноким, страх перед будущим.

Приветливо, благосклонно и спокойно бородатый святой улыбался ко мне сверху.

- Не бойся, я с тобой!

Я внимательно слушал этот голос и чувствовал в тишине, которая царила в помещении, как все вокруг меня беззвучно и безудержно приближалось к упадку, шло навстречу смерти, и я знал, что это нельзя остановить. Неслышной смерти, однако, точно так беззвучно следовала наша судьба, которая так исчезающе мала и незначительна в сравнении с бескрайней вечностью.

Я преклонил колена...

Тем не менее, я боялся...

Маленький камешек

Дни веселых праздников миновали. Население Никитино снова свалилось в дрему привычной монотонности и безразличия. Их медвежья спячка продолжалась.

Только лагерь военнопленных работал со мной над различными вопросами и занимался подготовкой к весне. Приходилось многое обсуждать и точно пла-

нирывать, чтобы позже не довелось конфликтовать с каким-либо органом власти и не потерять снова едва ли достигнутую свободу.

И еще один человек лелеял замечательные планы: мой домовладелец. Однажды он появился в моей квартире. Он никогда прежде не приходил ко мне, мы всегда встречались на улице или во дворе его дома, по отношению ко мне он был полон чрезмерной преданности, уже почти переходящей в покорность. Я был единственным человеком в Никитино, который справился с ним, потому что с нашей памятной первой встречи мы больше ни разу не обменялись ни одним недобрым словом. Больше того, только он один с непоколебимой верностью помогал Фаиме и мне во время моей болезни, когда все вокруг меня качалось и тонуло. Да, тогда он даже осмеливался сопротивляться часовым, не пускал их ко мне, и не боялся даже полицейского капитана. Для него люди были только «дерьмом», «сбродом», «сволочью». Жители городка боялись моего домовладельца; как известно, они не говорили ни одного доброго слова в адрес этого странного человека. Хотя он числился в полиции в черном списке, но больше его уже ни в чем нельзя было обвинить.

Мы уселись в жилой комнате. Горничная принесла немного закуски и графин водки моему гостю, но он отказался и отодвинул бутылку.

- Я уже давно намеревался вообще бросить пить, но я ведь только слабый человек. Однообразие в нашей дикой местности, жалкое существование всех нас превращает в пьяниц.

- Что все же привело тебя ко мне, Иванович?

- Я пришел к барину за советом. У меня родилась чудесная идея. Я хотел бы уже весной построить силами военнопленных гостиницу для путешественников, и пусть унтер-офицер Зальцер сделает точный и достойный проект для этого. Я ничего в таком деле не понимаю.

Испытующим взглядом я посмотрел на мужчину. Неужели его снова поманило прошлое? Не подумал ли он снова о гостинице на Урале, где, как поговаривали, он со своим отцом убивали и грабили путешественников? Его зеленоватые глаза сверкали, и при этом он размеренными движениями разглаживал свою седую бороду.

- Ваше высокоблагородие, знайте, что после смерти моего отца, который умер от ужасной, пожирающей болезни, я отправился через Сибирь, Монголию, Индию, Аравию на Святую Зеилю как бедный паломник. Я путешествовал босиком, зимой и летом, месяц за месяцем, с непокрытой головой, не прося и не требуя для себя ничего, помимо скудных подаваний, потому что именно это я пообещал отцу на смертном одре. Я вижу, барин не доверяет мне, больше не хочет подать мне руку – вы поступаете неправильно. Он

медленно встал, приблизился к иконе в углу, встал перед ней на колени и, неоднократно перекрестившись, коснулся лбом пола. – Всемогущий, справедливый Бог, перед которым я как скудный червь ползаю в пыли, – это мой свидетель. Прокляни меня на веки вечные, пусть очищающий огонь ада вечно жжет и мучит меня, если я у могилы твоего любимого сына Иисуса Христа от самой чистой души, с самым честным желанием не поклялся начать новую жизнь. Он медленно встал.

- Ну, хорошо, Иванович, я поговорю с Зальцером.

- Если бы ваше высокоблагородие взяли на себя эту заботу? Я заплачу пленным вдвое больше, чем обычно за такую работу получает русский. Зальцер должен сделать проект для двухэтажного здания примерно с сорока комнатами, вместительной столовой и с целым рядом конюшен. Я, когда барин снова вернется в Петербург, хочу перенять у вас меховую торговлю. Я буду отдавать барину двадцать пять процентов моего чистого заработка от пушной торговли и гостиницы, так как вы, барин, уже все начали и организация уже существует. Я буду точно вести учет всего в книге, и здешний нотариус Бахтев подтвердит правильность моих отчетов. Здесь, перед вами, я клянусь вам, ваше высокоблагородие, и, кроме того, перед лицом святых братьев, переводчиков нашей Библии, Кирилла и Мефодия.

Я пообещал ему свою помощь. С радостью он простился со мной со всеми внешними почестями.

Короткие зимние дни постепенно становились длиннее, холод все мягче, тяжелое время было преодолено.

«Первые ласточки» прибыли из Забытого. Прибыл длинный караван, нагруженный шкурками и изделиями крестьян. Илья Алексеев, сияя, стоял передо мной, в одной руке он держал связку шкурок, в другой свою жену.

- Братец, дорогой мой, как я скучал по тебе! Ну, как у тебя идут дела, что делает твоя прекрасная черноволосая жена? Вот, теперь она – моя жена, – и он пододвинул навстречу мне свою Степаниду, которая была ужасно смущена.

- Мы очень любим друг друга, братец, и мы очень счастливы, и, – добавил он несколько неуверенно, – она уже в положении, потому что Бог благословил ее.

- Это действительно так, мой дорогой! – и я хлопаю ему по плечу. – Что там делает Забытое? Хорошо ли вам всем живется? Перенесли ли вы более или менее зиму?

- Ты, собственно, так набедокурил у нас во всей округе. Мужики ничего больше не делают, только ходят на охоту. И, знаешь, я ведь сам был одним из первых. Я принес тебе на этот раз шкурки, твоя жена удивится, но такие! Он сделал широкий жест, как будто хотел обнять гору. – Вот они: бобр! Ты сделал княжеский подарок мне осенью, ты был настоящий барин! А теперь пусть и у тебя будет княжеский подарок от мужика. Вот, смотри, меха для тебя и твоей жены. Я сам всех подстрелил!

В «родном углу» на столах были разложены шкурки, привезенные крестьянами. Голубые песцы, черно-бурые лисы, бобры, куницы, соболя, медведи, волки, белки, лоси и олени – все, что только можно было пожелать.

Братья Исламкуловы собрали отовсюду разменную монету, платили и платили неумолимо. Деньги катились, блестели на столе и соперничали в блеске с крестьянскими глазами. Илья Алексеев был бесспорным кумиром своих людей.

Мужики и охотники на пушного зверя, радуясь долго отсутствовавшим доходам, ели и пили в изобилии, и мои товарищи при этом неплохо заработали. Для них открылся новый источник дохода.

На рыночной площади и в купеческих лавках в эти дни была очень оживленная торговля. Жители Забытого покупали все в больших количествах, потому что им никогда еще не доводилось видеть так много денег. Для них все казалось дешевым, они действительно были довольны, и на несколько дней оставались в Никитино. Больше всего их заинтересовали изделия, сделанные руками военнопленных. Вырезанный из дерева крест или кораблик, помещенный в бутылку, был для них настоящим мировым чудом, каждый хотел взять домой такую редкость.

- Когда же ты снова приедешь к нам? – спросил меня староста из Забытого.

- Только летом, не раньше, моя жена не хочет, чтобы я ехал один, а для нее сейчас такая поездка будет еще слишком трудна. Кроме того, как вижу, ты мобилизовал теперь всю свою местность. Мое присутствие больше не нужно.

- И еще как я все там мобилизовал! Меха охотники и звероловы привозят нам товар, который добывают на далеком севере. Туда мы сами даже не ходим. То, что ты сегодня видел, это только часть, скоро привезем еще больше.

- У меня для тебя, Илья, тоже есть хорошая новость. Среди пленных, которых ты видел, есть один умный, опытный мужчина, он на своей родине, в Германии, был градостроителем. Скоро он приедет к вам и отгородит Забытое от всего мира, точно, как ты хотел, помнишь?

Я не забыл, что Илья когда-то рассказал мне: как он со своими товарищами после Русско-японской войны встретил в одной расстрелянной деревне старую женщину у костра, которая объявила им странное предсказание. Наступит война, говорила она, которая охватит весь мир. Невыразимые бедствия поразят человечество, годами будут души погибших бродить по всему миру и нигде не найдут успокоения. Однако, самая тяжелая беда постигнет Матушку-Россию, где «неверие» победит верующую Россию. И старуха заклонила их:

- Тем, кому дана власть над их ближними, заповедано защитить их от гибели, спрятать их, до тех пор пока неверие не будет изгнано из страны!

Тогда Илья, как приказала ему старуха, принял решение полностью изолировать Забытое от мира, чтобы дух Зла не проник в доверенную ему общину.

Деревенский староста разволновался.

- Пусть этот немец приедет как можно скорее, мы не можем терять времени, братец!

- Когда ты снова появишься в Никитино?

- На следующий за ближайшим базарный день я точно снова буду здесь!

- Тогда ты сможешь взять с собой этого человека, Илья.

Саннный караван возвратился в Забытое.

- Зальцер, – сказал я унтер-офицеру, – вы не хотите поработать в деревне, как строитель? Вам хорошо заплатят, будут хорошо кормить, и о приличной квартире тоже позаботятся.

- Мне не нужны деньги, господин Крёгер, я только хочу работать. Но что же мне придется строить у крестьян? Их хижины? Для этого я им не нужен.

- Деревенский староста в Забытом хочет отделить свою деревню от мира, совершенно изолировать. Он убежден, что сразу после войны наступят очень плохие времена, голод, бедствие, эпидемии и сильные беспорядки. Он как руководитель чувствует себя обязанным уберечь своих ближних от этого. Поэтому он хочет стереть подъездные пути в деревню и наверняка укрепить деревню валами каким-либо способом.

- Это меня очень интересует. Я охотно поеду. Я там буду единственным немцем?

- Нет, позже присоединятся многие из ваших товарищей.

Илья Алексеев прибыл в условленный день.

Унтер-офицер Зальцер стоит напротив него. Они подают друг другу руки. Они – не враги. Русский берет немногочисленные пожитки Зальцера и кладет их в сани. Оба подходят ко мне. Мы прощаемся. Илья укладывает Зальцера в сани с такой тщательностью, как будто он девочка, накрывает его множеством шуб из собачьих шкур, кивает мне и еще пару раз кричит: – Спасибо, спасибо!

Только немного дней зима боролась с весной. Яростные снежные бураны снова и снова пытались засыпать землю новыми массами снега, но все же, когда солнце потом прокладывало себе путь через несущиеся по небу грозовые тучи, внезапно наступила оттепель. Из сугробов устремились бесчисленные маленькие ручейки, они объединялись в маленькую реку, она заметно росла, за одну ночь превратилась в поток, со всех сторон новые водные массы устремились к нему, с грохотом и треском ломался лед метровой толщины, и река с дикой силой выходила из берегов. Пока глаз мог видеть, вся местность была затоплена. С треском, свистом и грохотом сталкивались друг с другом куски льда, лед накапливался, вырывал деревья и с невероятной мощью тащил с собой все, что оказывалось у него на пути. Произошло несколько незаметных трагедий. Люди и животные тонули во внезапно нахлынувших потоках наводнения.

Каждый день горело солнце, все выше и выше поднималось оно на горизонте над лесом. Была середина апреля. Массы воды постепенно схлынули. Они принесли благословение нового урожая.

Юная весна приходила на эту землю. У нее были пестрые, трепещущие на ветру брюки, белокурые, растрепанные волосы и смеющиеся глаза. Она засовывала свои руки глубоко в далекие карманы и рассеивала над широкой поверхностью со всем своим озорством множество маленьких, пестрых цветов.

На перекопанных, бесконечных лесных дорогах маленькие лошадки снова с трудом тянули примитивные повозки. Грязь доставала им, как обычно, до коленей. Только в Никитино больше не было такой грязи, так как улицы теперь всегда содержались в чистоте.

Рыночная площадь Никитино снова стала достопримечательностью. Русские, татары, лапландцы, вогулы, зыряне, остяки, самоеды, тунгусы и буряты все вместе бегали, разговаривали, жестикулировали тут между собой.

Непредвиденный взлет переживали пушная торговля и продажа всех изделий усердных рук. Я буквально был засыпан товарами всякого рода. Теперь помещения «родного угла» резервировали не только в базарные дни, но и

ежедневно для многих приезжавших. Там многие ночевали, там ели, пили, там было действительно весело. Все караваны окружали дом, вокруг них собирались мужики, бабы, дети, собаки и коровы, и жизнь кипела как в улье.

На рыночной площади стоит Илья Алексеев. В руке он держит листок с надписями, сделанными прямым почерком унтер-офицера Зальцера. Это список предметов, которые нужно купить. Теперь крестьяне Забытого больше не могут располагать как угодно своими деньгами и тратить их без толку, каждый должен покупать то, что идет на пользу ему самому и общине. Илья Алексеев и Зальцер стали настоящими диктаторами. Со своей точностью и организационным даром Зальцер разработал до мелочей продуманный план, который теперь необходимо воплотить в жизнь.

Сначала закупались различные сельскохозяйственные орудия, теперь пришла очередь закупки скота. Сведущей рукой выбираются и после упорного торга покупаются коровы, телята, овцы, свиньи, лошади. Завистливыми глазами другие, которые раньше только пренебрежительными словами отзывались о самых бедных крестьянах, смотрят, как те могут теперь купить себе прекрасную корову, крепкую, сытую лошадь или какую-либо другую великолепную скотину.

Третье место сбора крестьян и переселенцев – это маленький почтамт; здесь тоже стоит много телег. Возле них, на них, вокруг них лежат, стоят, спят, разговаривают крестьяне, их жены и дети. Громкая неразбериха голосов людей и животных, крики, лай, мычание, блеяние.

- Это здесь пишут письма в плен? – спрашивает один крестьянин.

- Да, папаша, там в почтамте. Мы должны подождать, пока он придет.

- А кто же он такой?

- Немец, такой же человек, как все мы, точно такой же человек, и белый, а не черный, как нам всегда рассказывали, только он очень большой и разговаривает очень четко, его легко понять.

- Смотрите, смотрите! Вот он идет, это он!

Я на голову выше людей невысокого роста. Они все ждут меня, с любопытством, с надеждой, со страхом. Рядом со мной идет полицейский капитан.

- Расходитесь, братцы, нам нужно пройти! – говорит Иван Иванович гремящим, довольным грудным голосом.

- Начальник почты! Подойди сюда! Хочу посмотреть хоть разок, правильно ли у тебя все тут организовано. Еще хочу послушать, не орут ли все еще

твои служащие на народ. Теперь, Федя, с Богом, к работе! И всемогущий пробивает себе дорогу через толпу.

Во вместительной комнате, которая служит для отправления писем крестьян, сидят за четырьмя столами восемь молодых почтовых служащих, которые усердно пишут открытки полевой почты. Грохот пишущих машинок – это что-то новое, необычное.

Они быстро выучили немецкие буквы и теперь могли безошибочно писать адреса. Работа продвигалась быстро, так что мне приходилось проверять только правильность написанных адресов и исправлять ошибки в отдельных случаях.

Сначала дела шли очень тяжело, так как крестьяне даже не знали самых обычных выражений. Их просьба достигала высшей точки в передаче «приветов». Отец, мать, сестра, брат, столько-то тетюшек, племянниц, племянников «передавали привет», это было все, и для получателя это означало, что упомянутые люди еще живы.

- Но вы бы лучше написали, что произошло у вас в деревне за прошедшее время, как вы поживаете, что нового у вас в хозяйстве, потому что все это интересует его больше чем приветы, – советовал я озадаченному крестьянину.

- Коричневая маленькая корова отелилась... картошка в этом году очень хорошо уродилась... овес частично сожгло жарой... курятник увеличили... Еще у тебя родился брат, его назвали Александром, его уже окрестили и он будет крепким мальчиком..., – произносил он тогда, запинаясь.

Пальцы порхают над клавишами пишущей машинки, из тарахтящего устройства выскальзывает чистая открытка, на ней появляются отчетливые немецкие буквы, имя, полк, батальон, рота, место, лагерь, барак – все готово! Я подаю открытку упомянутому человеку.

Боязливо и робко приходили они ко мне... маленькие фигуры, бедно одетые, едва ли соответствовали сезону. Мужчины с толстыми, растрепанными волосами, на голове даже в самое жаркое лето толстая меховая шапка, русская рубашка с вышитой каймой и у шеи застежка с пуговицами, пояс или простая веревка на поясе. Залатанные и засаленные брюки, с сильно растянутыми коленями и снова порванные, на ногах высокие валенки. Женщины в пестрых, даже веселых платьях, перехваченных поверх груди, на голове тоже пестрый платок, из под которого выбивались каштановые или белокурые волосы. На них тоже частично были сапоги, частично хорошие ботинки, в большинстве случаев, однако, «лапти», обувь из сплетённой бересты. Часто они так же ходили и босиком как их дети и мужья. Почти у всех их были яс-

ные, немного печальные глаза, которые мы так часто встречаем у этого народа.

В их руках они держат свою святыню – открытку полевой почты; знак жизни мужчины, который когда-то был с ними, который знал их спрятанные уголки в дальних лесах, который когда-то с ними пел печальные песни, шаловливо-веселые слова. Теперь он был далеко от них. Они уже считали его мертвым, но все же, он был жив, и даже если его неопытная рука с нерасторопными пальцами не умела писать, то нашлась другая благосклонная рука, которая с большим трудом выводила едва ли разборчивые буквы. Он в плену! В стране врагов! Ужас глядит из каждой буквы. Можно ли вообще жить там, не является ли все это одним единственным мучением, невыразимым горем? Они слышали от попа и из газет об ужасных зверствах врагов, которые сжигали деревни и людей, пожирали детей, о врагах с собачьими головами, говорящих на чужих языках. И в такой стране он в плену! В отчаянии они в их жалких избах опускаются на колени перед образами, и страх их не знает границ, их молитва за спасение душ бедных пленников никогда не заканчивается.

Они приходили ко мне, боязливые и робкие...

Я был немцем! Я был ужасом! Нечистым духом, чертом!

Медля и нерешительно подавали они мне свою святыню, грязную, часто целыми днями хранившуюся у них на груди открытку полевой почты, она была еще тепла от их тела.

Боязливые, напряженные глаза постоянно следили за этим кусочком бумаги, но в то же время их глаза говорили мне: прости нас, что мы сомневаемся, прости, что мы все ничего не знаем. Испуганным шепотом они рассказывали: – Маленькая коричневая корова отелилась... урожай овса плох... У тебя родился брат, его назвали Александром, его уже окрестили...

Вот такие стоят они передо мной, боязливые и просящие, и я смотрю им в прекрасные, печальные глаза, я, мужчина с гладко выбритым лицом, в одежде крупного города, которую они никогда еще не видели.

Я подаю написанную ответную открытку стоящей передо мной женщине. Маленькие, мозолистые, искривленные пальцы медленно берут ее.

- Готово. Ты можешь бросить открытку в почтовый ящик.

- Что же я должна дать тебе за твою безграничную заботу и любовь?

Они боятся, что не смогут расплатиться деньгами, которых у них всегда так мало. Они боятся, что придется вернуть открытку, не подав знак жизни тому,

кто со жгучей тоской ждет этого. Это мужчина, отец ребенка, которого женщина несет на руках.

- Ты ничего не должна давать мне, матушка! И снова эти печальные, светлые глаза смотрят на меня, и я вижу в них, как поднимается беспредельная радость.

- Нет, я не хочу оставить тебя без вознаграждения, мой дорогой, – и костлявые, морщинистые пальцы роются в кармане широкой юбки, чтобы подарить мне хотя бы одно яйцо ее маленькой, несчастной курицы.

На короткое время я решительно беру ребенка из рук матери и вижу направленные на меня и ребенка на секунды объятые ужасом, ошеломленные глаза. – Немцы питаются детьми – проносится в мозгу, но ребенок смеется очень громко и озорно, так энергично хватает мое ухо, мой нос, что я смеюсь, и многие боязливые матери извергают вздох облегчения.

Они идут от меня с их драгоценностью в руках, почтовой открыткой, осторожно опускают ее в почтовый ящик и молчат.

По далеким окрестностям шепотом распространяется слух о великане, немце, который со смехом держит ребенка на руках, играет с ним, который умеет писать «в плен так, что приходит ответ», да еще и ничего не требует за это.

Слух идет далеко за дикие леса и реки, поля и озера.

Ко мне приходит крестьянин. Он одет просто, но лицо его сияет.

- Барин, ты купил так много изделий ручного труда, полотен и плетеных на коклюшках кружев у моей жены, что я смогу построить себе новый дом. Я принес тебе подарок. Это собака или даже молодой волк. У нас в деревне есть мужик, которого считают колдуном, он заговорил зверя; он всегда останется тебе верным и защитит тебя от опасности как друг.

Крестьянин достает из мешка светло-серую собаку. Животное испугано и сразу прячется под мебелью. Оно похоже на молодую овчарку. У нее длинные ноги и она страшно худая.

По прошествии продолжительного времени голод выгоняет животное из убежища, и начинает жрать все долго и жадно. Я называю ее «Бродягой», потому что после еды она бродит сначала по всей квартире, обнюхивает все, и только потом засыпает.

Последующие дни собака бродит со мной по всей территории, обнюхивает любого, кто подходит ко мне, интересуется всем, всюду сует свой молодой нос, гоняет кур, гусей и уток и весело лает, когда птицы с ужасным кудахта-

нием разбегаются. Собака очень прожорлива, очень много спит, и так постепенно ее выпирающие ребра исчезают, потому что она проявила особенно к моей поварихе Наташе очень большую симпатию.

С огромной энергией весной снова началась постройка домов. Едва первые солнечные лучи появлялись за лесом, машины с чистой, зубчатой сталью уже вгрызались в лес. Дом ставился за домом. Каждый, кто действительно хотел быть усердным, находил достаточную работу и хорошие деньги.

Для военнопленных наступил, наконец, долгожданный день. Их отпустили из лагеря, и они могли работать в Никитино и в близлежащих деревнях.

Забытому требовалось почти четыреста пленных.

Под сияющим, теплым весенним солнцем стояли они группами перед лагерьем, перед каждым лежал маленький узелок – их пожитки, все их богатство.

Звучит команда, выстраиваются шеренги, новая команда, и в ровном шаге, как когда-то к фронту, они идут теперь – на работы. Ряды проходят мимо меня, они приветствуют меня, вытягиваясь, и вот уже они исчезли за первым лесным поворотом.

Я держу в руке листок, список этих мужчин. Увижу ли я их вновь? Мы сохранили верность друг другу в верном товариществе во все эти тяжелые месяцы, каждый внес для всеобщего блага все, что мог. Мы привыкли друг к другу, и теперь нам нужно прощаться друг с другом. Лагерь опустошается все больше; за день он теперь абсолютно пуст, теперь у каждого есть своя работа.

Двор лагеря как вымер. На солнце за самодельным столом сидит, согнувшись над списком, фельдфебель. Он положил свою фуражку на край стола, расстегнул форму. Когда он видит, что я иду, он торопливо застегивает мундир и надевает армейскую фуражку. Он отдает честь; ни одна мышца его лица не вздрагивает, ничего не выдает нашу взаимную дружбу. По моему требованию он снова кладет в сторону фуражку, снимает мундир, засучивает рукава рубашки и закуривает сигару. Все это совершенно противоречит его достоинству военного.

- Здесь действительно стало пустынно и одиноко, мой дорогой.

- Да, господин Крёгер, но это радость, видеть товарищей во время работы, потому что они шаловливы и довольны как дети. За прошедшее время они прекрасно отдохнули. Я и представить себе не мог ничего такого.

Мой палец скользит по списку имен.

- Вы ищете Дайоша, не так ли, господин Крёгер?

- Верно, куда он пошел?

- Он и его люди? Все остались здесь! Они совсем не пошли на работу на поля. Но я дал слово Дайошу, что не скажу, почему они все остались. Он вытаскивает свои часы, улыбается и говорит: – Если у вас есть время подождать примерно пятнадцать минут, тогда вы увидите его; он как раз дает обеим дочерям начальника почты урок игры на фортепьяно.

- Вам сделали гравировку на часах? Покажите, все же, пожалуйста.

Фельдфебель медленно отцепляет часы с цепочки и подает их мне. «Мировая война 1914-...», за цифровым обозначением года – черточка и свободное место, чтобы там потом можно было выгравировать год окончания войны.

- Вам в последнее время пришлось действительно очень много работать, – говорю я, – не хотите ли на некоторое время передать командование? Теперь лагерь пуст, и тех, кто работает в Никитино, очень хорошо может контролировать унтер-офицер Йон.

- У меня никогда не получалось устроить себе правильный отпуск. И в Берлине тоже было так. Я шел гулять по улице Унтер-ден-Линден... посещал музеи... порой заходил в театр или в кино, но у меня не было от этого настоящей радости. Все же, оставаться без службы для меня очень странно; у меня тогда всегда ощущение, как будто я прогуливаю школу. Вообще...

Он снова и снова изучает список товарищей, отправленных на полевые работы, и внезапно полностью погружается в свои мысли. О чем думает этот мужчина? Думает ли он о ком-то, чье имя не хочет называть? Я кладу ему свою руку на руку и хочу спросить об этом.

- Осмелюсь доложить, ефрейтор Дайош Михали прибыл с занятий.

Фельдфебель достает часы. Они показывают несколько минут опоздания. Перед нами стоит венгр. Он, кажется, бежал, потому что совсем запыхался. В руке он держит пакет, который во время рапорту никуда не может приткнуться. Лицо серьезно, хотя в уголках рта немного дергается от невысказанных слов. Строгий взгляд фельдфебеля смягчился.

- Он всегда опаздывает, – замечает он, – но посмотрите, пожалуйста, разок на этого парня. Я не могу злиться на него. Я никогда еще не встречал его в плохом настроении, он всегда весел, всегда готов разделить со своими товарищами последнее, что у него есть. – Марш! – прерывает он самого себя грубовато.

- Я искал вас в списке, но вы остались в Никитино, Дайош! – обращаюсь я к венгру.

- Господин Крёгер, мои товарищи и я, все сказали, что останемся в Никитино, так как, все же, господин Крёгер подарил нам музыкальные инструменты, и... у вас тоже нет другой радости... мы хотим немного музицировать для вас, вы же очень любите музыку. И пусть даже нам всем доведется сдохнуть тут, мы останемся у вас, господин Крёгер!

Венгр охватывает мою руку обеими руками.

Пакет раскрылся из-за плохого и, по-видимому, поспешного перевязывания. Дайош полностью раскрывает его и показывает нам всю роскошь. Это большой кусок жаркого, несколько колбас, пироги, сигареты и три пары носков.

- Все от женщин, которые любят меня, все от женщин, подарки, прекрасно! – говорит Дайош и сам радуется этому. – Вот, господин фельдфебель, для вас носки от прекрасных женщин, жаркое, от прекрасной руки, и пирог, такой же сладкий, как поцелуи. В открытые руки пораженного фельдфебеля Дайош кладет подарки. – Берите все, потому что я всегда что-то получаю в подарок. Женщины очень любят меня, ведь у меня такие черные волосы и я умею играть на скрипке. Они влюблены все, все, и они всегда улыбаются мне, когда я смотрю на них.

Этой весной Никитино пережило сенсацию – кино!

После бесконечных забот мне удалось приобрести всю аппаратуру и необходимые машины и привезти в Никитино. Все было разобрано на части и с большим трудом на конных телегах доставлено через плохо проходимые дороги.

Кинотеатр был устроен. Это был маленький дом с двумя сотнями мест. Впереди был построен маленький салон и касса, за ними машина и демонстрационный зал, из бетона и камней.

В течение первых дней наплыв был так силен, что представления должны были происходить под постоянным надзором полицейских. На церемонии открытия развевались флаги, все население, молодые и старые, присутствовали. Весь дом качался, как с испугом утверждали многие. В кассу лился денежный дождь. Один из братьев Исламкуловых сидел за окошком, и множество монет скользило по его маленьким татарским рукам, хотя его глаза и лицо вечно демонстрировали только обязательную улыбку.

Любопытство населения было настолько велико, что многих только с помощью полиции можно было вывести из кино. Они хотели снова и снова смотреть заново все, и отдаленно не понимая, на самом деле, сюжета продемонстрированного фильма. Они пристально смотрели на передвигающиеся картины на экране в истинном смысле слова «с открытым ртом». Их удивление

не знало границ, и никто не забывал перед выходом из кинотеатра недоверчиво и с любопытством заглянуть за экран.

Не менее интересно было, однако, электрическое освещение. Большинство людей ничего в таком роде никогда еще не видели, и если те, кто уже побывал в кино, рассказывали об этом другим, те просто не верили, что такое возможно. Потому они бежали в кино, пока все не удивились этому чуду света собственными глазами. Самые сомневающиеся и недоверчивые непрерывно пытались задуть электрический свет в лампочках, что вызывало бескрайние восторженные взрывы хохота у остальных. Но когда некоторые касались к недостаточно заизолированному месту и отскакивали от полученного удара током, они очень удивленно и осторожно качали головой – у них теперь было очень большое уважение к «холодному» свету. Молча, как бы отсутствуя, пытаясь по-видимому, найти в своей голове ответы на самые чудовищные вопросы о замеченном, они выходили из кино. Вдали они останавливались и снова оглядывались по сторонам.

На машине и в демонстрационном зале были заняты только пленные товарищи, которые очень быстро уяснили не слишком сложный механизм показа.

По планам унтер-офицера Зальцера также строилось долгожданное всеми «кафе».

Зальцер вернулся из Забытого. Наша встреча была очень сердечной. Он хорошо отдохнул, и на мои вопросы, хорошо ли он чувствовал себя в Забытом, отвечал, сияя радостью, что он и близко не мог представить себе такого счастливого решения.

- У меня есть маленький домик, где я живу один, я получаю наилучшую еду, и меня действительно носят на руках. И у товарищей, которые позже приехали в Забытое, тоже все исключительно хорошо. Староста и я стали друзьями. Он в восторге от моих предложений по изоляции деревни от внешнего мира. Работа уже началась, и я этому очень рад. Вам, господин Крёгер, Забытое тоже готовит сюрприз. Он несколько наивный, пожалуй, в наших глазах, но исполнен самых благих намерений. Но я ничего не могу сказать вам пока, вы должны увидеть все сами, когда это будет готово.

Под искусными руками и под руководством этого умного человека началось строительство кафе. Однако одновременно Зальцер должен был работать и над гостиницей моего домовладельца.

У кафе был сильный фундамент, там размещались помещение для мойки посуды, ледник и буфет с маленьким канатным подъемником. Само здание было многоугольником в стиле сруба, с множеством маленьких окон. В середине находилась паркетная танцплощадка, на противоположной от входа

стороне подиум для оркестра. Перед входом была большая терраса под крышей, на которой даже при дождливой погоде можно было сидеть на свежем воздухе.

Строение лежало на маленькой возвышенности на реке, примерно в пятнадцати минутах от городка. Из окон можно было смотреть далеко вдаль, на реку, ее изгибы, однообразные луга и близкий лес.

Дайош Михали прилагал все усилия, чтобы увеличить свой оркестр. Чтобы удовлетворить вкус жителей, теперь обучались и музыканты, играющие на духовых инструментах. Многим нравилась, пожалуй, больше громкая, нежели искусная музыка.

Наконец, еще одна группа военнопленных принялась выравнивать берег реки, убирать камни и обставлять пляж. Все Никитино было на ногах!

Вечером, когда работа повсюду прекращалась, был слышен доселе неизвестный шум: хлопающее топотание дизельного двигателя в кинотеатре.

Вечная тишина дикой местности прислушивалась.

Посреди новой жизни я снова подумал о моем старом друге, великане Степане, и попытался смягчить каким-то образом его участь с помощью Ивана Ивановича.

Все же, для таких дел у полицейского капитана не было никакого понимания.

- Как только ты можешь заступаться за преступника! Все же, он – только скотина в человеческом образе. Самое большее, что ему можно пожелать, это, чтобы его судьба действительно поскорее освободила его. Исключено, мой дорогой, совсем исключено, что я хотя бы пальцем пошевелил ради таких вот типов. Я согрешил бы этим перед моими ближними!

- Но, Иван, ведь на мне когда-то тоже было клеймо преступника, и все боялись меня, когда я просил о работе в городке, ты же знаешь это!

- Да, но в твоем случае это было совсем другое дело, тут нельзя сравнивать!

- Почему же? Я тоже якобы убил кого-то, если верить моему досье и свидетельским показаниям. Теперь уже никто больше не боится этого субъекта.

- Если послушать тебя, Федя, то действительно начинаешь сомневаться в твоем нормальном человеческом рассудке. Не обижайся на меня за эти слова, но я прав, ты, все же, должен это признать!

Он решительно отказался от дальнейшего обсуждения и ничего больше не хотел знать об этом.

Поэтому я снова обратился к друзьям в Петербурге, просил провести пересмотр дела Степана, и опять подтвердил безвредность его характера. Также я информировал всех знакомых, что, если жена Степана обратится к кому-нибудь из них, они должны непременно поддержать ее деньгами и советом, и при случае направить ее ко мне в Никитино. Я все еще надеялся, что смогу как-то помочь Степану и Марусе, так как оба знали мой старый петербургский адрес, по которому они в любое время могли обратиться. Я тогда неоднократно внушал им это.

Спустя короткое время я получал категоричный ответ, что пересмотр дела для Степана является абсолютно бесцельным, и смягчающие обстоятельства какого-нибудь вида при всем желании не могли бы быть применены.

- Видишь, Федя, кто оказался прав? Я знаю законы нашей страны. Все протесты ни к чему не приведут.

- И, все же, я попробую снова и снова, Иван.

- Вы, немцы, настойчивы. У вас нет ни малейшего уважения к фактам, и вы снова и снова придумываете что-нибудь новое. Ты должен принять осуждение к тюремному заключению как факт, например, как будто бы ты бросишь камень в стекло. Результат: стекло разбито, камень остается целым – и это установленный факт.

- Но если ты возьмешь маленький камешек и бросишь его в толстое стекло, то стекло не разобьется – и что ты тогда сделаешь со своим установленным фактом?

- Нет, Федя, ты все же... лучше я ничего не скажу, но можешь думать, что хочешь, – и капитан недовольно отвернулся от меня. Некоторое время мы не возвращались больше к этой теме.

Однажды я был занят современной пилящей машиной, которая после хорошей работы в лесу внезапно не захотела больше функционировать правильно. Потребовалось много времени, пока снова все не было в порядке. Молча и погрузившись в мысли, совсем рядом со мной, капитан сидел на стволе дерева. Рассеяно он смотрел на меня во время работы. Он долго искал меня в лесу, пока рабочие не показали ему дорогу ко мне.

С глубоким уважением и в молчании стояли мужчины, так как они действительно не могли объяснить себе это долгое пребывание всемогущего. Таким они все еще его не знали. Если капитан снимал свою шапку, вытирал пот со

лба и глубоко вздыхал, все чувствовали себя микроскопически малыми в его близости и желали оказаться где-то в другом месте.

Когда я передал отремонтированную машину мужчинам, капитан встал.

- Пошли! И его рука крепко легла мне на плечо. Мы отошли несколько шагов в сторону. – Пойдем, давай присядем здесь, пожалуйста, – сказал он. Мы уселись на поленнице.

- Крёгер, ты лишил меня веры. Мой камень не разбил стекло, а сам разбился. Зато твой маленький камешек разбил толстое стекло...

Я вынужден был подумать о маленьком камешке, который я как опасный преступник носил с собой, брал его в рот, если меня мучила жажда, и который спас мне жизнь.

Ему тоже пришлось преодолеть большую судьбу, которая когда-то казалась мне неизбежной.

Иван посмотрел на свои сапоги, отодвигал маленькие ветки ногой, осмотрел внимательно свои руки, потом строго посмотрел на меня.

- Твой маленький камешек, Федя, сделал мой большой камень пылью. Ты уничтожил мои так тяжело сконструированные гипотезы, принципы, законы, которые я вдолбил в свою голову еще в школе и как мужчина разработал в жизни, ты, трезвый европеец! В моих собственных глазах я теперь только лишь заморыш, смешной мечтатель. Чего ты еще хочешь? Могу ли я быть еще более честным, еще более откровенным по отношению к тебе?... Степан помилован! Его отправляют на фронт... Он должен показать себя на деле.

- Все же, это исключительный случай, чисто индивидуальное, особенно рекомендованное рассмотрение такого преступного случая, Иван...

- Федя, – прервал он меня, – Степан – твой друг, ты говорил это сам, и я, полицейский капитан, тоже хотел быть твоим другом. Я хотел стать на одну ступеньку с тобой. Я злился, когда ты сказал мне, что Степан – твой друг. Каторжник, многократный, гнусный преступник! Какое сопоставление с царским офицером! Теперь я ясно вижу, что ты можешь также и Степана назвать своим другом, точно так же, как и меня, потому что ни я, ни Степан тебе не ровня. Ты превосходишь нас обоих. Ни у кого, кто знает тебя, и в Никитино тебя каждый знает, не было ни одного злого слова в твой адрес. А как обстоит дело со мной? Ничто, кроме страха, не овладевает людьми, когда я где-нибудь появляюсь! Страх передо мной и перед моим мундиром! Никому и в голову не приходит, что мне самому этот мундир ненавистнее, чем грех, чем жизнь в этой проклятой дикой пустыни. Никто не думает обо мне, что я – че-

ловек с теми же самыми чувствами, как все другие. Я раз и навсегда остаюсь для всех только ненавистным полицейским.

Ты подарил мне деньги, едва ли мы познакомились. Ты заказывал для меня форму, сапоги, потому что я был оборван, в лохмотьях, как бродяга, босаяк, и при этом я должен был быть, все же, капитаном царской полиции. Ты снова и снова даришь мне деньги, я теперь действительно удобно устроился, наслаждаюсь незаслуженным изобилием, моя жена позволяет себе все, чего она хочет, и к чему у нее только есть желание в Никитино. Ты, пусть и вопреки моему желанию, увеличил мою тягу к спиртному, до пьянства, добыл для меня награды у властей с маленьких, безвредных уловов, до которых я сам никогда в жизни не додумался бы. Я после всего этого все еще твой друг, Федя? Могу ли я вообще еще быть другом? Я с первого момента был только твоим слугой, который благодаря своему алкоголизму и своей тяге к порядку, чистоте и комфорту оказался полностью в твоих руках, послушным тебе. Твой приличный образ мыслей не дает тебе замечать это во мне, но я чувствую это, Федя. Скажи сам, не безгранично плачевно, не жалко ли все это?

- Сегодня ты действительно пессимистично настроен, мой дорогой. Почему ты не хочешь все-таки поверить в мои честные, откровенные чувства?

- Ты всегда был другом безоговорочной честности. Ну, хорошо, я верю тебе с тяжелым сердцем. Но в дружбе всегда есть тот, кто приказывает, и тот, кто подчиняется. Потому не бросай меня, Федя, пообещай мне, потому что мне не на кого больше опереться.

Заключенных, которые работали в лесу, сменила новая колонна. Все они смотрели на нас, и мы видели, что в их глазах стояли отвращение, презрение, тупая ненависть. Только многочисленные конвоиры выпрямлялись уже издали и в таком виде проходили большой отрезок пути мимо нас.

- Я в прошлое время достаточно часто заботился об этих людях, пытался сблизиться с ними... Но все напрасно, только ненависть, неизгладимая ненависть ко мне и царской форме еще удерживает их в жизни. Они верят в их месть, как мы христиан в Евангелие, как я в... ни во что, Федя!

- Федя! Он твердо схватил меня за руку. – Не должны ли эти люди стать, например, таким же маленьким камешком, который разрушит огромную гору?... Знаешь ли ты, что тогда будет с Россией?... Гибель!... Анафема!...

Сияющее, теплое солнце! Чудесное повторное пробуждение природы! Впервые я испытывал это с широко открытым сердцем.

Как будто бы я никогда не мог чувствовать раньше!

На деревьях и кустах были прекрасные почки, они раскрывались, становясь цветами и листьями, великолепной зеленью. Я ожидал солнца и чувствовал, как его теплые лучи проникали в мое тело, новым, необъяснимым способом это делало меня счастливым и озорным.

Я видел как растут маленькие невзыскательные цветы – из далекой дали, из чужих стран прилетали перелетные птицы бесконечными, кричащими, порхающими стаями. Это были журавли, серые гуси, утки и множество других птиц.

Я, мужчина с первыми седыми волосами, впервые в жизни почувствовал бытие. Я оглянулся назад – и испугался! Я никогда еще не проживал эту жизнь сознательно, не никогда так глубоко чувствовал это! Повторное пробуждение природы было для меня до сих пор фиксированным фактом, как например, математическая формула.

Я испугался!

Уже тогда, когда я впервые поцеловал Фаиме, когда она сказала мне, что она дала мне милостыню, я почувствовал мою слишком незначительную чувствительность к жизни, чувствительность по отношению к природе. И теперь мои знания, мои прежние умения оказались только лишь смешной чепухой!

С критическими, безжалостными глазами я стоял перед зеркалом: «У тебя появились первые седые волосы! Ты постепенно стареешь, мой мальчик!» И я отходил от зеркала прочь, внезапно, резко, как сердито рвут лист бумаги.

С тонкими ножницами я снова подхожу к зеркалу, и вижу, как я улыбаюсь украдкой; этого я тоже в себе не знаю. Разве то, что я теперь делаю, не такая же чепуха? С большой тщательностью я пробую срезать седые волосы. Я хочу сделать прожитые годы не прожитыми... зачем это?

Я долго смотрю себе в глаза.

Мои мощные машины, которые я так любил, биение их пульса, темп их работы, который делал меня счастливым... это были фетиши, идола... Они никогда не делали меня счастливым – только довольным, и этим я тогда довольствовался.

И внезапно по моим венам несется новая, еще неусмирённая сила. Я вдруг хочу догнать непрожитую жизнь! Догнать! Настичь! Я должен торопиться! Быстро!... Быстро!...

Не терять времени больше. Я уже потерял так бесконечно много времени!

Я иду... и она принимает меня.

Она принимает меня снова и снова по-новому, с распростертыми руками, с ее чудной, возбуждающей кожей, с ее закрытыми глазами, ее горячим, открытым ртом... моя черноволосая Фаиме.

Теперь Фаиме носит много пестрых, легких европейских платьев, и чем теплее становится, тем глубже будут вырезы.

- Ты не слишком легко одеваешься? – спрашиваю я ее.

- Нет, Петенька! Это весна, и я люблю тебя очень, очень! – отвечает она мне.

Она права – это весна!

Беспокойство повсюду

Так снова пришло лето.

Безжалостно горело солнце на безоблачном небе. Жара ежедневно достигала 40 градусов и больше. Потом внезапно начинались длящиеся часами ливни, затоплявшие все.

Недавно открытый «пляж» теперь всем был очень желанным. Просеянный, тонкий песок был насыпан на берег реки, в тени деревьев стояли шезлонги, можно было освежиться, чувствовать себя там действительно уютно, так как обо всем позаботились, и маленький оркестр военнопленных играл веселые произведения для развлечения. Наступал купальный сезон прямо-таки непредвиденных размеров.

Сначала жители Никитино очень пугались, но потом и для них само собой разумеющимся делом стало показываться на людях в купальном костюме. Украдкой смотрели на меня дамы, когда я осмеливался сидеть на пляже в купальном костюме, обедать и спокойно передвигаться. Сначала все говорили: «Неслыханно!», потом «Ну, если», и, наконец, это стало привычкой, которой начали подражать.

Особенно ободряющее действовала Фаиме в своих купальниках, которые привлекательно подчеркивали ее изящную фигуру. Она сама выбирала особенно пестрые ткани, которые сама кроила и шила. Не прошло и двух недель, когда никто больше не мог сопротивляться искушению, и пляж заполнялся все больше и больше.

- Вы непостижимый чудак, – сказала мне маленькая жена полицейского капитана, когда мы оба лежали на солнце на пляже, – вы совсем не знаете, как много людей вас обожают.

- Как мило с вашей стороны, Екатерина Петровна, что вы все это рассказываете мне. Я не знал этого.

- Вы не знаете этого? И я должна вам поверить, мой дорогой? И она погрозила мне пальцем. – Я бы радовалась на вашем месте, а вы, вы совсем никак этим не пользуетесь. Она пододвинулась несколько поближе ко мне. – Вы ловелас, Федя, и очень большой. Такой большой, как вы сами, и, вероятно, еще большой кусок выше.

- Но как раз наоборот, дорогая Екатерина Петровна, я вовсе не такой. Я верен одной единственной девушке. Никакого следа сердечества!

- Знаете ли вы, что вашу Фаиме все ненавидят? ее голос внезапно стал холодным.

- Да, это я знаю. И очень напрасно.

- Ее ненавидят только потому, что вы не принимаете никакой другой женщины. Почему вы не делаете этого? И знаете ли вы еще, что некоторые из женщин настолько озлоблены, что просто убили бы Фаиме, если бы мой муж не был ее другом?

- Я не могу поверить в это, – ответил я.

- Федя, это святая правда! Я знаю женщин, я говорила с ними, и они сами мне это говорили. Если женщина ненавидит, то ее ненависть часто не знает границ. Почему вы не принимаете никого другого, почему вы равно любезны со всеми?

- Потому что я люблю Фаиме.

- В ней есть что-то особенное?

- Да. И поэтому я тоже люблю ее.

- Федя! – и Екатерина Петровна твердо уперлась головой об руку. Я заметил по ее спине, что у нее внезапно мурашки пробежали по коже. – Все же, она только татарка... Фаиме. Просьба, надежда и печаль одновременно лежали в этом единственном слове.

- А я? Я – еще меньше, только опасный преступник, каторжник на цепи. Мы оба не полноценные люди, нас обоих презирают те, кто живет на Святой Руси.

- Федя, почему вы говорите такие ужасные слова? Вы сами знаете, что идет война. Вы знаете, что у меня есть большое расположение к вам, итак, поче-

му же вы всегда отвергаете меня? Снова она пододвинулась поближе ко мне. – Откажитесь от Фаиме. Барышня порочна как грех. Видели ли Вы когда-нибудь ее глаза, когда вы беседуете с другой девушкой?

- Екатерина Петровна, вероятно, я люблю прегрешение больше, чем вы думаете. Вы забываете, что я не пользуюсь теми же правами как вы и другие граждане вашей страны. Меня здесь только терпят, и я стою вне всяких законов и прав. Я не могу брать то, что как раз мне нравится. Я не могу позволить себя уговорить.

- Вы всегда взвешиваете, что вам позволено и что не позволено? Вы как раз и берете именно то, что вам нравится. Что-то другое вам вовсе не было бы к лицу. Я права?

Я коснулся ее голого плеча, не встретив сопротивления. Глаза женщины говорили больше, чем ее рот.

- Вероятно, я еще изменюсь, это возможно. Надо надеяться, я тогда еще буду в Никитино и не слишком стар.

- Всегда нужно ждать! И ждать так долго!

- Знаете ли вы, что вы сами – грех? Или вы не знаете, что Иван – мой друг? – сказал я внезапно.

Я видел, как Фаиме сидит в шезлонге. Она со всем ее мастерством в немецком языке беседовала с венским официантом, который, как все другие товарищи, носил белый костюм из домотканого полотна. Девочка махнула мне, встала и подошла ко мне. Я легко коснулся губами руки Екатерины Петровны и двинулся навстречу Фаиме.

Одним толчком я взял ее на руки, понес ее к воде, и поплыл вместе с ней.

- Что говорила тебе Екатерина Петровна? – спросила Фаиме, когда плыла рядом.

- Она сделала мне недвусмысленное объяснение в любви.

- И что ты ответил ей на это, Петр?

- Я бывший каторжник, и татарка была бы еще слишком хороша для меня.

Я совсем близко подплыл к Фаиме, перевернул ее на спину и беззаботно поцеловал ее. Скоро мы исчезли за изгибом реки.

Маленькая, засаженная лесом возвышенность; мы взобрались на нее.

Фаиме развязала бант своего купальника и сбросила его с себя; освобожденно она сделала глубокий вдох.

Рядом со мной лежало мокрое, блестящее тело. Татарка... Ее глаза блестели и жили, как в калейдоскопе преломлялись в них самые пестрые солнечные лучи. Она была похожа на блестящую, переливающуюся светом рептилию, которая хочет вдохнуть в себя весь солнечный жар. Между нами лежало сильное напряжение, разожженное, вдобавок, знойными солнечными лучами.

- Я не отдам тебя ни одной женщине, как бы она ни была красива. Я даже могла бы забыться, потерять самообладание, никогда не пожалев о своем поступке.

Глаза девочки стали колючими. Дикая ненависть вспыхнула в них.

- У тебя не будет повода для этого, любимая!

Накопившееся нетерпеливое напряжение отступало между нами обоим.

- Петруша, – она подползла очень близко ко мне, приложила свою щеку к моей груди, и внезапная краснота окрасила ее загорелое лицо. – Я хотела бы у тебя что-то спросить. Не злись на меня из-за этого; мне так часто приходилось думать об этом.

- Я уже знаю, что ты хочешь спросить, любимая, это неизбежно. Ты очень хочешь стать матерью?

- Да, Петруша, матерью твоего ребенка. Я завидую всем этим женщинам, у которых есть ребенок. Почему у меня не должно быть ребенка? Или я не должна, Петр, нет, ты не хочешь этого?

- До сих пор судьба была очень благосклонна к нам, Фаиме. Нам предстоит еще очень дальняя, дальняя дорога – к нам домой. Только когда мы оба сначала будем дома, тогда...

- Хорошо, тогда я хочу ждать так долго.

- Но это не зависит от меня, любимая.

- От кого же, Петруша?

- От судьбы.

- От Бога, от твоего Бога, Петр?

- Да.

- Но, а ты сам, в этом случае, не являешься ли Богом?

- Нет! Я могу только любить тебя. Но подарит ли Бог тебе детей, я не могу этого знать.

- Можно ли сделать что-то, чтобы получить детей?

- Нет, едва ли.

- И если я молюсь теперь твоему Богу, чтобы он подарил мне детей, поможет ли это? Ты думаешь, я должна делать это?

- Ты не должна молиться моему Богу. Твоя религия точно так прекрасна, и твой Бог точно так же мудр и добр. Если он не подарил тебе до сих пор ребенка, вероятно, так и должно было быть. Это лучше всего для тебя.

- И, все же, я так хотела бы иметь ребенка от тебя, мальчика. Он должен быть очень похож на тебя, быть большим и сильным как ты, у него должны быть твои глаза, точно такие же синие как море, на котором ты родился, которое я не знаю.

Она снова положила мне свою голову на грудь и молчала довольно долго. – Дай мне твою руку. Я буду ждать, – промолвила она тихо и задумчиво, – ждать и быть терпеливой.

... и внезапно она поцеловала мою руку.

- Петр Великий, – шептала она благоговейно, как будто бы это было имя великого святого.

Однажды вечером я был с Фаиме в недавно открытом кафе. Мы сели за стоящий немного в стороне стол, который почти всегда был зарезервирован для меня. Со всех сторон знакомые кивали нам. Дайош и его оркестр бросали жгучие взгляды со своего возвышения. В своих белых, хорошо сшитых костюмах, парни выглядели так, что не влюбиться в них было невозможно. Венский официант принес нам пирог и мороженое.

Полумрак, типичное явление для ночей крайнего севера, распространил свой странный, молочно-слабый свет по всему пейзажу. Раскаленный ветер дул со стороны леса и качал пестрые бумажные фонарики на веранде.

Шум близкого леса соединялся с глухим рокотом реки, движение которой как матовое серебро, кажется, терялось в расплывчатой дали. Белые сибирские филины как тени скользили мимо. Когда на несколько секунд все умолкало,

таинственные звуки ночного девственного леса проникали в наше ухо. Очень далеко, где-то вдали, внезапно слышен был ужасный вой волков, которые травили, вероятно, одинокое животное или преследовали заблудившегося человека. Ууууу... ууууу... ууууу... ууууу... И на этот зов темных, почти не осознанных древних дней, которые лежали, пожалуй, много десятков тысяч лет назад, на призыв предков, которые знали еще вольную свободу, отвечали собаки; они садились на костреч и с поднятой головой выли вдалеку.

Дайош Михали подошел к нашему столу. Фаиме и я подали ему руки. Мы пригласили его присесть и предложили ему сигареты.

- Господин Крёгер, что нового? Не наступит ли все же скоро мир? На всех фронтах наши армии победоносно наступают, и наши враги не хотят заключить мир?

- Нет, Дайош, нет даже самой незначительной надежды на мир. Нам всем придется еще ждать...

- Но нельзя ли как-то отсюда убежать, ускользнуть, скрыться, пусть даже это стоило бы жизни – все равно, лишь бы не остаться здесь навсегда!

- Мы здесь все как цепями связаны друг с другом. Если некоторые из нас убегут, что почти безнадежно в дикой местности со всеми ее многочисленными опасностями, то придет конец свободе других. Мы должны думать также о других, Дайош!

- Но это так тяжело – выносить многолетний плен, не зная, когда он закончится, эту вечную неизвестность.

- Вы очень неблагодарны; подумайте о свободе, которой пользуетесь вы и все другие товарищи. Да знаете ли вы, что в других местах есть лагеря военнопленных для десятков тысяч, даже вплоть до тридцати тысяч человек, которые медленно гибнут от лишений, болезней и эпидемий? Разве вы забыли о ваших мертвых товарищах, которые так жалко умирали в земляных норах в Никитино? Нам, можно сказать, очень повезло, что местные власти проявили такое понимание к нашей судьбе.

- Да, я неблагодарен. Вы правы, господин Крёгер..., – венгр опускает голову и долго ищет спичку, чтобы зажечь свою угасшую сигарету. – Вы правы. Не будь у меня моей скрипки... можно было бы покончить с собой... но я так молод, и почему все это, к чему? И внезапно он внезапно поднимает голову, взгляд его диких глаз становится жестким и колючим. – Верите ли вы, что мы вновь увидим нашу родину? Мне иногда кажется, что нам всем придется умереть здесь! Его рука судорожно хватается мое запястье, его глаза смотрят в мои.

- Конечно, мы еще увидим нашу родину, наверняка, Дайош, только нам всем нужно подождать, немного примириться с судьбой. Ведь мы же – солдаты, мужчины!

- Отец Крёгер... Отец... Крёгер..., – и венгр снова умолкает. – Тогда! Тогда вы поедете с нами, пожалуйста. Вместе мы все поедem домой. Тогда... как великолепно это будет!

Он встает поспешно, прыгает на подиум, отбрасывает назад черноволосую голову, хватая скрипку, и прежде чем его товарищи успевают это заметить, начинает играть с энергичным движением.

Я смотрю на него, как будто я Иуда Искарот, который предал его, подло обманул.

Звуки его тоски охватывали меня. Мой взгляд скользнул от летних полуботинок, моих белых брюк, белой рубашки с короткими рукавами, темно-коричневых рук к вечно идущим, удивительно точным золотым наручным часам. Они, они измеряли время, как все часы делают это. Но я несколько последних недель чувствовал странное почтение к этому изобретенному человеком устройству, которое постоянно сопровождал меня, со страхом смотрел на часы, как будто бы однажды должен был прийти тот злой час, который они покажут с таким же безразличием, как и эти бесчисленные часы непрерывного ожидания... и чрезмерного счастья.

Мой взгляд скользнул к Фаиме. В простом белом летнем платье она выглядела удивительно прелестной. Она ела мороженое, как будто ожидала чего-то. Также в уголках ее немного раскосых глаз я, казалось, заметил нетерпеливое ожидание.

Мой взгляд скользнул к товарищам. Они играли на своих инструментах, как будто все они внимательно прислушивались к чему-то очень далекому. Они тоже, похоже, ждали чего-то, что непременно должно было скоро наступить, теперь уже совсем скоро.

Только жители Никитино не ждали ничего. Они были здесь прошлым, настоящим и будущим.

Я помнил, с какой тщательностью читались газеты, как снова и снова бесчисленные руки нетерпеливо хватали их. Пытались читать между строками, не наступит ли скоро мир. Но снова и снова откладывали газеты разочарованно. Они ничего не приносили нам, ни единого проблеска надежды.

- Читайте, здесь, очень отчетливо можно понять, что, все же, мир близок, по-другому никак нельзя понять эти строки. Более отчетливо газеты, наверное, не могут писать. Мы все придерживаемся такого же мнения! – говорил то

один, то другой из моих товарищей, когда встречали меня при каком-либо случае.

Я также помнил, как Фаиме за последнее время почти с неестественным интересом читала газеты. Напряженно мелькали ее черные глаза над строчками, долго головка сгибалась над страницами, прядь волос незаметно скользила вниз, и пальцы уже хватали новую страницу. Она искала только одно слово «мир», и как раз это одно словечко отсутствовало там день ото дня, от недели к неделе, из месяца в месяц... уже два года... Если она тогда поднимала глаза вверх, ее взгляд был дик и колюч. Я гладил девочку, так как мне было жаль в душе, и при этом мои глаза становились хмурыми.

- Почему ты так усердно читаешь газеты, любимая? – однажды спросил я ее, как будто бы сам не знал страшный ответ.

- Я так хотела бы к тебе, домой, Петруша... у тебя дома мы можем тоже иметь детей, ты же говорил это, правда...

У ее преданности в прошлое время было что-то нерешительное, почти боязливое.

Она часто просила бокал шампанского...

Сибирь, ссылка, проклятие войны, кажется, хотят схватить своими когтями также ее, этого ребенка?...

Как часто я брал в руки расписание движения поездов; я знал все станции пересадок, все поезда, все часы прибытия в Петербург.

Был только один человек среди всех, только он один никогда не спрашивал меня об этом, да, он никогда не пробовал скрывать от меня немой вопрос, который я читал в его глазах – это был седой выросший на жестокой солдатской службе, всегда замкнутый фельдфебель. Он был слишком правильным, слишком точным, он знал только приказы, и этот единственный приказ пока не поступил: «Собратся! Отправка на родину!» Поэтому он никогда не спрашивал меня.

Он и я, мы еще не хотели уступать, но как долго? Мы терпели нашу слабость, только -

Как долго еще...?

Был ли побег действительно совсем невозможен? Почему я все же спрашивал себя снова и снова? Мой самый большой шанс состоял в совершенном владении русским языком и в помощи моих друзей. Если бы я где-нибудь добрался до железнодорожной линии, я, вероятно, ускользнул бы.

Но другие были бы потеряны безнадежно, так как опасности пешего перехода через дикую местность, о которых житель Центральной Европы не имеет никакого понятия, сразу бы застигли беглецов.

Летом неопишуемые тучи комаров господствуют в тайге. Мириады комаров всякого рода, начиная с большого до самого маленького, преследуют людей и животных. Ни одна москитная сетка, даже очень плотная, не может защитить от маленьких комаров и мух. Они заползают в нос, уши, глаза, под одежду, покрывают миллионами лицо и руки, если их стирать, они оставляют липкую слизь, на которую снова садятся мириады новых комаров, их снова стирают, до тех пор, пока не обессилят, ничего не слышат, ничего больше не видят, так как лицо мгновенно опухло. Глаза закрываются от безумного жжения, дышать ртом и носом невозможно, и снова и снова преследуют тучи комаров. Если люди или животные становятся добычей роев мух и комаров, то они падают на землю полностью истощенные, измученные жаром, неспособные слышать и дышать. Тогда они слышат уже в непосредственной близости вой серых собак, которые как загонщики охотятся на своих жертв. Падая, можно также услышать, как кружат птицы-падальщики, драки и грызня, борьба не на жизнь, а на смерть жадных хищников друг с другом. Недолго они ждут, так как они знают, что только здоровый человек, только сильное животное означает опасность для них. Они приближаются без страха. Рычание, шипение, треск изогнутых клювов. И с выбитыми глазами не видно ничего кроме жадных, полных ненависти глаз, ужасно белых, измельчающих, разрывающих зубов. Последними остатками полакомятся навозные мухи и жуки, и чистые обглоданные кости лежат тогда где-нибудь в лесу, рядом с ними вечно ухмыляющийся череп, означающий ужасное предупреждение для каждого беглеца в лесу.

Хотим ли мы, которые сегодня в ослепительно белых формах принесли цивилизацию в эту дикую местность, погибнуть как разорванные, кровавые трупы, загрызенные животными, и когда белые кости останутся лежать в тайге, сами сдаться из-за недостаточного самообладания?

Ждать... продолжать ждать..., вероятно, уже недолго.

Громкие аплодисменты пробуждают меня из моих мыслей... почти отсутствующе кланяется цыган. Он играет не для нас, а только для себя самого.

Я вижу вопросительные глаза Фаиме передо мной. Ее рука ложится на мою и тихо нажимает на нее.

- Петр... Великий! – шепчет она мне ободряющее.

Для этой ждущей девочки, для ждущих приятелей и для многих других я – всегда «немец Теодор Крёгер, мужчина с поистине жесткими нервами, железной дисциплиной, убийственной выносливостью».

А я?...

А я всегда один с моим большим – маленьким самообладанием...

Вероятно, я был, все же, сильнее?

Вероятно, так как в противном случае... я тоже больше не остался бы в живых...

Иван Иванович после своего чистосердечного признания в лесу стал у меня редким гостем. Сколько бы я его не приглашал, у него всегда находилась отговорка.

Внезапно он появился у меня. Он был старым, добрым Иваном, каким я всегда знал его. И свою речь он тоже снова нашел – видно и слышно. За ним я заметил двух крепких полицейских с большими пакетами.

- Федя, я принес тебе сюрприз. Я долго старался, даже ездил в Пермь, чтобы принести это для тебя. Я с большим нетерпением жду, что ты об этом скажешь.

Он взял меня за руку и ввел в кабинет. Он открыл дверь, сначала вошел сам, потом притянул меня. Его вспотевшее лицо сияло, и показал на двоих полицейских, которых он подманил рукой. Они оставили пакеты и сразу исчезли.

Я быстро распаковал пакеты. Я не поверил своим глазам. Я стоял как окаменевший!

Магазинная винтовка и безупречное охотничье ружье, трехстволка, 12-го калибра, лежали внутри.

Я в этот момент забыл обо всем, я только снова и снова брал в руки оба ружья попеременно, клал их, снова поднимал, целился, брал магазины.

- И здесь патроны для «винчестера», а тут для охотничьего ружья.

Когда я повернулся, я увидел, как полицейский капитан сидит, втиснувшись в кресло, и вытирает пот с лица со стоном. Он выкурил уже две сигареты и все еще усмехался. Его глаза едва ли можно было увидеть.

Не сказав ни слова, я поцеловал капитана в обе только что выбритые щеки. Он мог только с довольством издавать клокочущие звуки.

- От твоего слуги, Федя, ты знаешь, все же...

В этот день Иван Иванович был так пьян, что у меня в первый раз возник страх за его здоровье, за его жизнь. Это оказались сильный сердечный приступ и сильное удушье, и этим великан был серьезно озлоблен. Подоспевший ветеринар лаконично заметил: причина в пьянстве, нужно воздерживаться от алкоголя.

- Ты осел! Я сам это знаю! Ты что, пожалуй, считаешь меня совсем тупым, нет?

Но когда я следующим утром посетил полицейского капитана, он снова вполне хорошо себя чувствовал. Он лежал в кровати. В комнате было темно. Там присутствовал и ветеринар.

- Федя, я сразу напишу в Омск. Нам нужно немедленно прислать двух хороших врачей, например, военнопленных, мне все равно, но они должны обязательно приехать, причем сразу. Кроме того, с ними нужно отправить и медикаменты. У нас ничего нет. Подумать только! Что за проклятое свинское хозяйство! Дайте мне только встать, уж я примусь за дело, можешь быть уверен! Что это ты вдруг строишь глупую рожу, ветеринар? Ты едва можешь справиться со скотиной! Ничего не понимаешь! Чего ты тарачишься на меня? Если мужики приходят к тебе и жалуются на боли в желудке, понос, холеру, дизентерию, так ты прописываешь им всякий хлам, дрянь, что они постепенно становятся глухими. А если у крестьян, например, болят уши, то они регулярно становятся у тебя прокаженными, иногда они также и слепнут. Я уже знаю это. Они долго и довольно часто жаловались мне на свои беды. Ты – умная голова, по тебе тоже видно.

- Все же, вам не следует волноваться, ваше высокоблагородие, это вам, позвольте сказать, будет вредно, – пытается увильнуть ветеринар.

- Сделай так, чтобы я тебя не видел! Прочь! Уходи! Ты превращаешь меня в скотину из-за такого сильного гнева!

- Ваше высокоблагородие, вы можете поверить мне...

В следующее мгновение всемогущий сорвал влажный компресс со своей головы, бросил его ветеринарному врачу в голову, выпрыгнул из кровати, поднял вверх свою, как известно, очень короткую рубашку, с напряжением всех сил отодрал второй компресс с живота и поспешил, размахивая им в воздухе, за поспешно убегающим ветеринаром.

Я услышал громкий стук двери, не особо красивый монолог с кучей ругательств, и гора плоти снова стояла в двери – без второго компресса.

- Я должен быть болен? Мое сердце больше не должно работать? Неслыханное утверждение!

Он сделал несколько шагов через комнату, в то время как рубашка его весело трепетала за ним.

- Все шатаются здесь на цыпочках, шепчут, все закрыто, даже маленький ветерок не может попасть в комнату!

Одним толчком он отодвинул темную занавеску, вторым движением открыл окно. – Так, по крайней мере, свет и воздух есть в доме. От своего опьянения я проспался. Катя!... Машка! Когда тут можно будет, наконец, что-то поесть? Беспорядок у меня в доме! Поверь, Федя, я даже не знаю, когда я ем. Каждый раз я только слышу, я должен еще подождать. Чего мне ждать? Ждать еду, например, но почему? Если я хочу есть, то я должен есть! Машка! Машка! Эта дрянь даже не отвечает!

Уже дверь снова была открыта, уже капитан в короткой рубашке и босиком поспешил из комнаты. Я всюду слышал, как громко он кричит, но, кажется, это был глас вопиющего в пустыне, так как никто не отвечал.

Когда он снова появился на пороге двери, то смеялся.

- Великолепно, чудесно, отрада, наслаждение для души! Незастеленные кровати, все открыто, в доме никого, комнаты еще не прибраны! Мне остается только лишь смеяться над этим положением у меня. И он сел на скрипучую кровать и затрясся от смеха. Кровать трещала и смеялась вместе с ним, и я тоже рассмеялся.

- Пойдем пообедаем со мной, Иван.

Он вытащил из шкафа свежестырированный мундир, сапоги из лакированной кожи, умылся, залил пол, на помадил волосы и был готов. Теперь он снова стал всемогущим в Никитино.

- Я вовсе не хочу закрывать квартиру, часовой стоит напротив. И если у меня кто-то что-то украдет? Пусть крадут! Если у меня украдут все, мне все равно! Я тогда смогу жить у тебя, Федя. У тебя мне лучше всего.

Не прошли мы и нескольких сотен шагов, как горничная в сопровождении нынешнего шеф-повара Мюллера встретила нас. С момента появления в доме капитана немца-повара Машка всегда была элегантно одета и аккуратно причесана.

- Вы идете с рынка? – спросил капитан.

- Так точно! – ответил Мюллер.

- Покажите-ка, что вы там купили, – и Иван Иванович начал рыться в корзине с продуктами.

- Так, эта бутылка, подержите-ка, и ее. Потом вытащите еще яйца, банку с икрой, а это что? Ах, лосось, тоже прекрасно. Также подержите. Оставшееся отнеси домой. Машка, я не буду есть дома, скажи это моей жене. Мюллер, вы идете с нами и сделаете нам ваш знаменитый коньяк с яичным желтком. – Тебе уже знакомо это чудесное пойло? – обратился он ко мне. – Нет? Великолепная штука, у Мюллера к этому талант; умелый парень! Только Машку слишком сильно любит, Мюллер, никс гут, у Машки могут родиться дети, для Мюллера это тоже никс гут. Впрочем, Федя, ты заметил, как славно теперь выглядит девчонка, как на нее действует любовь? Скажи-ка, как ты думаешь, Мюллер женится на ней?

- Наверняка, Иван, – произнес я искренне.

- Ах, Федя! И увидев, что я улыбаюсь и подмигиваю ему, он дружески толкнул меня в бок и рассмеялся вместе со мной.

Под прицелом

Служба военной контрразведки еще раз ухватила за меня.

Ко мне прибежал Лопатин и сказал, что мне следует немедленно поспешить к Ивану Ивановичу, не теряя ни минуты, будь я одет или раздет. Я пошел.

На своем широком стуле, с вечной сигаретой в руке, капитан сидел с отсутствующим взглядом. Он не предложил мне сигарету, да, он даже не поприветствовал меня. Широким движением руки он пододвинул мне лист с бесчисленными печатями. Я внимательно прочел его. Для меня это не было сюрпризом, так как мои друзья в Петербурге уже давно известили меня.

Я потянулся к открытой коробке с сигаретами, зажег одну – у нее был горький вкус, так как мое горло внезапно пересохло.

Я еще знаю, как я провел рукой по затылку, как моя рука охватила мое горло. Вот как раз в этом месте и проходит веревка, внезапно подумал я.

- Завтра, Федя, ты должен уехать, – услышал я усталый голос капитана.

Нет, Иван, не завтра, а сегодня, прямо сейчас, ждать нельзя, – ответил я, – пожалуйста, подойди ко мне через час, тогда я буду готов.

- Но ты можешь уехать даже послезавтра. Я смогу это устроить. Я ведь получил письмо слишком поздно.

- Я благодарю тебя, мой дорогой, добрый Иван, но не стоит. Если я как раз через час уеду, сменю лошадей сначала в Закоулке и затем еще дважды, то я как раз вовремя приеду в Ивдель, а в Перми я успею сесть на транссибирский экспресс. Тогда я на сутки раньше буду в Петербурге... и тебе... тебе я, вероятно, в последний раз окажу честь за твою доброту и твое доверие.

- Лопатин и Кузьмичев сопровождают тебя. Мне еще раз придется строго внушить им, что они будут сурово наказаны, если ты вдруг сбежишь по дороге. Ты... ты... вдруг стал таким спокойным, Федя!

- Я не мог бы назвать это радостью.

Сначала я отправился в лагерь военнопленных. Короткая беседа с фельдфебелем и прощание с ним придали мне необходимое равновесие, чтобы мне не пришлось презирать себя самого. Потом я пошел домой. Провожая меня, фельдфебель, которого мне самому в последнее время всегда приходилось ободрять, сказал: «Мы все носим форму...» Я теперь носил эту форму, пусть даже невидимую.

- Мы должны прямо сейчас уезжать в Петербург, моя любимая. Я, вероятно, верну себе свободу. Через час все должно быть готово!

Фаиме засияла всем лицом...

Не прошло и часа, как Колька и две других лошади уже были запряжены. Моя квартира напоминала пчелиный улей. Сообщение о моем отъезде распространилось с быстротой молнии. Знакомые, пленные приходили и уходили. Каждый хотел еще раз поговорить со мной. На столе лежал большой лист бумаги, где записывались многочисленные пожелания, всё, что я должен был устроить, обеспечить и купить.

- Подойди, мне нужно сказать тебе еще одно словечко, – и полицейский капитан энергично затащил меня в комнату и закрыл за мной дверь. Там он взял меня за руки и с большим волнением посмотрел мне в глаза. – Что бы ни случилось, Федя, на меня ты можешь положиться. Бог с тобой, мой дорогой, дорогой Федя! Он быстро перекрестил меня, как будто бы никто не должен был этого видеть, потом подтолкнул меня из комнаты и ушел, не оглядываясь.

Лопатин энергично выпроваживал моих гостей. Он и Кузьмичев были обмундированы и подготовлены по-походному.

- Мне нужно обыскать вас, чтобы проверить, нет ли у вас оружия!

Я повиновался.

- Если со мной что-то случится, не забывайте мою жену, – произнес я. Фельдфебель едва заметно кивнул.

Я беру шапку и выхожу, такой же, каким я приехал в Никитино.

Фаиме и я сели в тарантас. По обе стороны запрыгнули в седло часовые, Колька вместе с другими лошадьми делает первый шаг, и вот они уже тянут повозку вперед.

- Я скоро вернусь, я обо всем позабочусь...! – кричу я машущим мне вслед. Мой взгляд еще раз оглядывает городок. Он стал мне привычным, так как я знал в нем уже каждый уголок.

Молчаливый девственный лес – тайга теперь с двух сторон окружает нашу повозку.

В Закоулке короткий отдых. Колька не устал, он хочет двигаться дальше. Через два дня мы прибыли на железнодорожную станцию, чемодан заносят в купе, Фаиме уже вошла.

Колька – маленькая, проворная лошадка – вот тебе кусочек сахара на прощание. Боязливый крестьянин приходит и уводит тебя. Он будет оберегать тебя и заботиться о тебе, как это делал я – я заплатил ему достаточно денег, чтобы ты ни в чем не испытывал нужды – пока я вернусь. А если нет, то служи своему новому хозяину, пока сможешь...

Одна станция за другой, и вот, наконец, город Пермь. Транссибирский экспресс за трое суток доставляет нас в Петербург.

Входят два крепких полицейских из уголовной полиции. В карманах их пальто можно отчетливо увидеть пистолеты. Пассажиры уже давно покинули поезд, теперь, когда вокзал пустеет, приходят новые часовые и лейтенант, в сопровождении нескольких гражданских. В стороне от вокзала меня ждет машина, за ней следует другая. В машине опущены занавески, но через щель я могу узнавать знакомые улицы. «Теперь мы проезжаем набережную, потом через мост, Петропавловская крепость со своими старыми пушками глядит на Неву. Ворота открываются, машина катится по гравию. Вскоре после этого машина останавливается, дверь быстро раскрывается... и я стою как вкопанный... наша вилла!

Тяжелая дубовая дверь открывается. Выходит наш швейцар. Я узнаю его форму и внушающее доверие лицо старика. И вот все мы в вестибюле.

- Господин Крёгер! Благодаря необычайно высокому ходатайству вам позволено жить у себя дома. Дом был обыскан нами вплоть до земли. За вами будут наблюдать днем и ночью. При самой незначительной, я определенно повторяю, при малейшей попытке перелезть через садовую изгородь или беседовать с кем-либо из часовых, вас, не считаясь ни с чем, отправят в крепость.

Недружелюбные, строгие лица, пристальные глаза. Мужчины уходят.

Фонтан с золотыми рыбками, темные, обшитые деревом стены, тяжелая дубовая мебель, толстые подушки и ковры. На низком круглом столе серебряный поднос – он пуст, на нем нет ни одной визитной карточки. Рядом с ним телефон. Я поднимаю трубку... не работает.

- Барин!

Я смотрю на широкую парадную лестницу. Это Павел Варламов, камердинер моего отца; он больше пятнадцати лет служил у него. – Барин, я всегда ждал моих господ. Прошло уже так много времени, что... здесь я чувствую себя как в могиле. В первый день каждого месяца приходит наше жалование, но мы не знаем, от кого оно. Точно не от нашего старого барина, во всяком случае, он остался бедным, ведь он смог взять с собой только двадцать пять фунтов багажа в Германию, и ваша мать тоже. – Павел, – сказал мне ваш отец на прощание, – подожди, пока война не кончится, и тогда я вернусь. И вот теперь я жду так долго, барин... Крупные слезы стекали по его впалым щекам.

Я заботливо хлопаю его по плечу. Мне кажется, что я вижу сон.

- Все подготовлено уже для вашего приема, барин, – говорит он с благодарной, тихой улыбкой.

Я вижу, как слуга помогает Фаиме снять пальто.

- Где Ахмед? – спрашиваю я Павла.

- Ах, барин, он исчез сегодня рано утром, хоть он и знал, что вы приедете. Нас всех известили достаточно своевременно. Но его ничем нельзя было удержать. Я так разозлился, что даже хотел вlepить ему пощечину, но эти азиаты такие люди, у них всегда эта улыбка, по которой православный никогда ничего не поймет. Один Бог знает, где он шатается почти ежедневно. С тех пор как вы исчезли, Ахмеда как будто подменили, он никогда не остается дома. Он стал худым, усталым, изможденным. «Женщины доставляют мне огорчение», – сказал он недавно. Они больше не будут рады ему.

- Как только он придет, сразу отошли его ко мне, Павел, а я уж возьмусь за парня, да я просто вышвырну его, если он не исправится!

Я бросаю пальто на руки верного слуги и несусь по лестнице, покрытой светлым, пестрым ковром; Фаиме едва ли поспевает за мной.

С девочкой я прохожу все комнаты. Мои глаза не могут наглядеться. Салоны, приемные, спальни, мои комнаты, каждый угол известен мне, каждый мебельный гарнитур знаком мне, каждое кресло, каждая книга, все осталось в таком виде, как его покинули, даже на ночном столике моего отца лежит еще книга: «Описания Эммин-паши из Африки»; в ней старая закладка. Шкафы полны одежды, белья, посуды, хрусталя серебра, все ждет возвращения. В душевой на привычных местах висят полотенца, мылом уже попользовались, им как раз недавно кто-то быстро вымыл руки. В столовой накрыт стол.

Десять часов вечера.

Павел открывает дверь моего кабинета, за ним стоит молодой человек, Ахмед. Он тщательно выбрит и причесан и одет в свою обычную ливрею. Он кланяется. По его худому лицу можно подумать, что он очень долго болел, только глаза его блестят от радости. Едва заметно взгляд его скользит к Фаиме, искра воодушевления, потом он снова глядит на меня.

- Принеси свежий чай и виски с содовой, но быстро! – прикрикнул я на него. Новая искра... Я знаю эти глаза – это глаза Фаиме. Они поняли меня.

Через несколько минут дверь снова бесшумно раскрывается. Ахмед и Павел приносят поднос и закатывают низкий столик. Новая посуда, сладости и маленькие печенья соблазнительно выложены татаринном на белой скатерти. На подносе остаются высокий, тонкий стакан содовой воды с бутылкой виски, рядом с ними лежат венчик и салфетка.

- Иди за мной, – коротко я говорю Ахмеду, целую Фаиме руку, и пока Павел немного дрожащей рукой убирает со стола использованную посуду, наливает свежий чай в чашки, спрашивает о пожеланиях девушки, я выхожу из комнаты.

Беззвучно, как тень, татарин следует за мной.

Дверь закрылась за нами. Мы одни.

- Я очень недоволен тобой, Ахмед..., – начинаю я, пока он проходит через комнату, поплотнее задергивает занавески и делает вид, что приводит комнату в порядок. Дверца большого книжного шкафа открывается и закрывается, портьеры приводятся в порядок.

Кроме нас в комнате никого нет, никто не услышит то, что мы должны сказать друг другу после долгих месяцев.

Это короткие, беглые слова, ответы так же коротки.

Я знаю, что меня будут допрашивать сегодня вечером.

Я укладываю Фаиме спать и прощаюсь с нею. Она смелая, моя маленькая татарка. Ее глаза очень серьезно глядят на меня.

Я знаю: если мне не доведется вернуться, то она последует за мной

Потом я снова один на один с Ахмедом.

Внезапно глаза татарина становятся колючими и полными ненависти. Он весь обращается в слух, и как кошка прыгает в мою сторону, хватая бутылку с содовой водой, вода дико пенится в стакане... дверь открывается. Входит комиссар уголовной полиции. Я с трудом делаю несколько глотков.

- Господин доктор Крёгер, я убедительно прошу вас следовать за мной. На лице мужчины лежит дежурная улыбка.

На широкой лестнице стоит Фаиме в пестром бухарском домашнем халате.

- Возвращайся скорее, Петруша, я буду ждать тебя, – шепчет она мне.

Я беру себя в руки и шаг за шагом, по каждой отдельной ступеньке покрытой ковром лестницы, спускаюсь вниз на первый этаж, к выходу. Швейцар помогает мне надеть пальто, я немного тяну время. Взгляд на лестничные ступени, по которым я только что спустился, и я ухожу.

Навсегда...?

По ночному освещенному городу, по знакомым улицам, заполненным людьми в гражданской одежде и в военной форме, машина доставляет меня в предназначенное место.

В зале заседаний меня, кажется, уже ждали, так как все глаза направлены на меня. Я узнаю несколько знакомых, в том числе также и друзей. В стороне сидят судьи и пристально смотрят на меня.

Мы смотрим друг на друга как враги перед близким боем. У нас не будет жалости друг к другу. Тут не может быть бережного обращения, так как один из нас обязательно проиграет, непременно должен будет проиграть.

Мне было известно, что одна из самых способных голов, судебный следователь по особо важным делам, господин Орлов, взял следствие в свои руки. Не было ни одного уголовного дела, которого он не раскрыл бы. Мои глаза искали его гладко выбритый череп и блестящие очки, но я не находил его. Может быть, он и присутствовал, но был переодетым. (Владимир Григорьевич Орлов (1882-1941), действительный статский советник, выдающийся русский сыщик и контрразведчик начала XX века, следователь по особо важным делам при штабе Западного фронта в период Первой мировой войны, после революции активный участник борьбы разведок на стороне Белого движения как во время Гражданской войны, так и в эмиграции. В конце 1990-х годов в России была издана его книга мемуаров «Двойной агент». – прим. перев.)

Бой начался.

Первое ходатайство звучало так: безотлагательно перевести меня в крепость.

Ходатайство было отвергнуто...

Я опустил глаза к земле: невидимый фронт во вражеской стране еще не прован.

Внезапно последовали вопросы.

- Вы часто приглашали к себе военного министра Сухомлинова, он бывал даже очень часто у вас, не правда ли, господин Крёгер? – спросил комиссар.

- Он приходил, но редко.

- Однако лично вы особенно часто имели с ним дело, – вмешался другой комиссар.

- Только если речь шла о специальных больших заказах, если это было в сфере его личной компетентности, в остальных случаях наши служащие вели переговоры с начальниками соответствующих департаментов и отделов.

- Но вас очень часто видели в военном министерстве.

- Если речь шла о специальных заказах, тогда это, пожалуй, требовалось, так как всегда многое нужно было выяснить, подробности исполнения и так далее...

Часами продолжался допрос, и он был подобен ураганному огню, заградительному огню, который не вызывал другой мысли, кроме признания, измены. Изможденный голодом, на исходе своих сил и полубезумный от постоянного хаоса вбиваемых как молотком вопросов, я вернулся домой. Это были

одиночные допросы, затем очные ставки, потом снова одиночные, потом вместе со многими другими. Неуклюжие и ловкие попытки запутать, подтолкнуть к внезапному признанию, дать выскользнуть хоть одному словечку – все это пока что потерпело неудачу.

На следующий день допрос был возобновлен с новой силой. Наверное, господин Орлов собственной персоной присутствовал во время этой атаки. Но я его не видел. Пусть это звучит смешно, но я твердо убежден, что он сидел под столом, который был покрыт зеленой скатертью, спускающейся до земли, столь искусны были вопросы, заданные мне, и их скрытый смысл.

Были доставлены конторские книги наших чугунолитейных предприятий, и многие поставки подвергнуты перепроверке, так как туда были внесены суммы, полученные от нашего завода различными геодезистами, работавшими в свое время в крепостях или поблизости от них. Эти бухгалтерские записи абсолютно совпадали со сделанными мной показаниями и объяснениями. Поставки товаров, в свою очередь, можно было безупречно проконтролировать в соответствии с расписками о подтверждении получения и о подтверждении количества. Мои отношения с называемыми мне лицами всегда можно было проверить на основании документов, все равно, встречались ли мы у границы, за рубежом или в другом месте. Меня обвиняли, что я передавал немецкой разведке документы об измерениях глубины различных рек в Польше, где теперь шли военные действия, что пробивал для различных фирм заказы на строительство и ремонт укреплений по низким ценам. Все это обосновывалось тем, что армии Центральных держав форсировали реки в самых удобных местах, чувствуя себя как дома, и что их артиллерия с неестественной надежностью сразу уничтожала самые чувствительные места крепостей.

Меня допрашивали изо дня в день, в большинстве случаев в маленькой комнате, которая из-за своей простоты и скуки производила глубокое меланхолическое впечатление. Голые стены, голый пол, узкие накрытые зеленым сукном столы, за которыми сидели три секретарши и попеременно со злоеющей скоростью стенографировали каждый вопрос, каждый ответ. Одна из них должна была при этом наблюдать и за моим выражением лица и каждым малейшим движением и их тоже стенографировать, согласовывая с заданными вопросами. Я сидел почти в центре, на простом стуле, вокруг меня три или четыре комиссара, обрушивавших на меня хаотический вал вопросов.

Час за часом в непрерывном перекрестном допросе.

Ни мгновения разрядки.

Четверо мужчин против одного. Четверо мужчин со всеми правами, защищенные законом, поощренные обещаниями наивысших наград и громадных денежных премий, против одного, лишеного прав, затравленного.

Не было найдено ничего, никаких улик, подтверждающих мою вину. Моя память работала как хорошая машина. Ни один их вопрос не остался без ответа.

Час за часом продолжался допрос – и тщетно.

Я поднимаюсь со стула, на котором просидел почти неподвижно несколько часов, с таким ощущением, как будто я усыплен наркозом. Я больше не чувствую тяжести тела и больше не вижу людей, которые выпроваживают меня. Затем я на улице... Неясно, как в тумане, стоят вокруг меня какие-то фигуры, которые приводят меня к машине. Ухо автоматически слышит, как водитель слишком долго отъезжает на первой передаче, как шестерни при переключении на вторую жестко сцепляются друг с другом, этот технически неправильный процесс озаряет меня как молния, потом включается третья, за ней четвертая передача. Все вокруг меня молчит.

Сумрачный, бледный утренний свет, в нем сверкает на Дворцовой набережной шпиль Петропавловской крепости, напротив нее лежит гигантский красный массив Зимнего дворца. Скоро свежий морской ветер дует через опущенные стекла автомобиля, раскрываются чугунные ворота в сад, несколько солдат, охраняющих их, встают по стойке «смирно», шины катятся по грубому, серому гравию, и машина останавливается. Дверца раскрывается, мужчины со всех сторон окружают меня, где-то блестит штык – царский прием.

Ахмед принимает меня со спокойными и обученными движениями, и ни одна мышца на его лице не дрогнет, все мертво, безразлично, и, все же, кажется, что азиат как кошка лежит в засаде.

Мы одни...

Он подносит какой-то напиток к моим губам, потом сигарету, но моя рука не может удержать ее, она слишком тяжела для моих пальцев. Ахмед раздевает меня как ребенка, он купает меня, бреет меня, заставляет поесть, после чего я погружаюсь в небытие. Уже снова он будит меня, помогает мне с туалетом, быстро подает на стол обильную еду, он как тренер, который всеми силами приводит своего питомца «в форму».

Меня опять ждут, я должен спешить.

Голая комната, но в ней уже другие, крепкие, свежие лица, на которых видны спокойствие, выносливость.

Снова вопросы, вопросы, вопросы, о коммерческих деталях, о применении определенных сумм, о занятости многих немецких рабочих на предприятиях моего отца.

Заградительный огонь!

Заградительный огонь по одному единственному человеку, по его духу, по его нервам!

Заградительный огонь за фронтом – неслышный, но уничтожающий, состоящий только из слов, вопросов, взглядов, картин из прошлого времени, вынутых из неизвестного тайника.

Многие против – одного единственного.

Часы – дни – ночи напролет.

Внезапно ежедневные допросы продолжились только лишь с заметным безразличием, даже скукой. Были заданы вопросы, незначительные по существу и от ответа на которые едва ли что-то могло зависеть. Меня допрашивали все реже и реже. Ночью я мог уже беспечно спать; похоже, они все больше и больше теряли интерес к моим показаниям. Тем не менее, я постоянно оставался настороже, так как эта неожиданная халатность могла означать только временную разрядку, чтобы доставить новый, обработанный и дополненный за это время материал.

Внезапно ночью Ахмед будит меня, и какой-то комиссар уже стоит передо мной. У меня нет времени заниматься туалетом, потому что ожидающий очень взволнован. И вот уже в быстром темпе меня везут в город, вдоль набережной, через маленький мост, каменные ворота, в какой-то двор...

Я в Петропавловской крепости.

Казачи с обнаженными палашами и мрачными лицами окружают меня. У каждого из них есть несколько военных наград. Меня доставляют в канцелярию. Офицер отдает команды: у двери и перед каждым окном становится часовой. Конвой не отпускает меня из виду.

Я хожу по комнате туда и сюда, обхожу ее в неизвестно какой уже раз.

- Все только для виду... все только для виду, – еще успел прошептать мне Ахмед второпях.

Вчера он снова ушел...

Значит, он должен точно знать!...

Часовых сменяют, приходят новые, потом сменяют и их. Я встаю со стула, снова брожу по комнате из угла в угол.

Приходит ночь, за ней утро.

Дверь резко раскрывается. Входит офицер.

- Выходите! Его голос резок, но мне кажется, как будто он улыбнулся мне едва заметно.

На дворе меня вновь окружают казаки с обнаженными палашами и выводят на другой двор. В стороне там стоят солдаты с винтовками к ноге, несколько офицеров.

Один из них подходит ко мне. Он держит в руке широкую белую повязку.

- У вас есть последний шанс сделать полное признание..., в противном случае... расстрел!

- Все только для виду..., – слова крутятся у меня в голове.

Ахмед... может, его предали...?

Я качаю головой.

- К стенке! – четко говорит офицер и подает мне повязку. Но я не беру ее.

Я стою у стены.

Раздаются команды, щелкают затворы винтовок. Я смотрю в стволы винтовок, в темные точки. Я не вижу ничего другого. Я оцепенел от внутреннего холода.

Теперь... смерть.

Заглушающий все голос. Винтовки опускаются. В стороне шепчутся офицеры. Меня выводят. Мы снова на первом дворе.

Темный лимузин с грохотом въезжает во двор. Дверь раскрывается, и бледный мужчина с маленькой серой эспаньолкой выходит из машины.

Все же, я знаю этого мужчину! Я же знаю его, это...

Но его уже отвели, он исчез.

Я должен сесть в свою машину. Ворота крепости раскрываются, и машина с жужжанием выезжает из нее.

Набережная... широкий мост... длинная липовая аллея... знакомые ворота с часовым перед ними.

Я снова дома.

Как только мужчины ушли, едва успел я выпить стакан алкоголя и зажег сигарету, я взглянул на неподвижное лицо слуги-татарина...

Ахмед!?

И это лицо, вечно выбритое, ухоженное... улыбается лукаво... нет... не лукаво, а зло. Он со своим вечным душевным спокойствием наливает мне новый стакан, ставит маленький поднос на расстоянии моей руки... я не могу отвернуть взгляд от его глаз, потому что знаю, он еще единственный...

- Господин Крёгер... Военный министр Сухомлинов арестован... Вы освобождены... Он заключен в Петропавловскую крепость, – он говорит это настолько тихо, что я почти должен догадываться об этом по движению его губ. Внезапно я думаю о лимузине в Петропавловской крепости и о бледном мужчине, который выходил из машины. Теперь я знал, кто это был. Я отодвигаю свой поднос.

(Генерал от кавалерии, военный министр России в 1909-1916 годах Владимир Александрович Сухомлинов (4(16) августа 1848, Тельши — 2 февраля 1926, Берлин) — был арестован 29 апреля 1916 года и находился в заключении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, пока продолжалось следствие. 11 октября 1916 года Сухомлинов был переведен под домашний арест и у него появилась возможность публичного оправдания. Со стороны императора и других сановников предпринимались попытки свернуть дело Сухомлинова, но министры юстиции А. А. Хвостов и А. А. Макаров не допустили этого, угрожая отставкой. Суд над ним начался уже после Февральской революции. В качестве соучастницы была привлечена также жена Сухомлинова. Суд проходил с 10 августа по 12 сентября 1917 года. Председателем суда был сенатор Н. Н. Таганцев, обвинителем В. П. Носович, защитником М. Г. Казаринов. Сухомлинову были предъявлены обвинения в измене, в бездействии власти и во взяточничестве. Большинство обвинений не подтвердилось, однако Сухомлинов был признан виновным в «недостаточной подготовке армии к войне» и 20 сентября 1917 года приговорён к бессрочной каторге и лишению всех прав состояния. Жена Сухомлинова была оправдана. Каторга была заменена на тюремное заключение и Сухомлинов был заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. После Октябрьской революции переведен в тюрьму «Кресты». По амнистии, как достигший 70-летнего возраста, 1 мая 1918 года был освобожден и выехал в Финляндию, а оттуда в Германию, где и умер. Хотя во времена Сталина в СССР по-прежнему выходили книги, представлявшие Сухомлинова «покровителем немецких шпио-

нов», современные ученые как в России, так и в Германии доказали полную необоснованность обвинений генерала Сухомлинова в каком-либо соучастии в шпионаже в пользу Германии. – прим. перев.)

Ахмед выпивает стакан одним залпом, наливает себе новый и снова опустошает его одним глотком, только тогда он смотрит на меня, и на его экзотическом лице впервые появляется открытая улыбка.

Мы подаем друг другу руки.

На следующий день мне разрешили гулять в саду. Коротко постриженный газон, дорожки, теплица, деревья, все было в наилучшем порядке, как будто бы дом постоянно был населен. На берегу Невы я проводил несколько часов. Моя голова как каждый вечер основательно обрабатывала прошедшие допросы, пока маленькие волны снова и снова набегали на песчаную отмель у берега. Время от времени взгляд инстинктивно замирал в том направлении, где должно было лежать открытое море, крепость Кронштадт... и берег моего родного края.

- Я должен сообщить вам, что вас больше не будут допрашивать, – внезапно прозвучал голос комиссара, стоявшего передо мной. – На вашу просьбу о пребывании в Петербурге, даже если вы заявили о своей готовности не покидать ваш дом и сад до конца войны, был получен отрицательный ответ. И ваша жена одна тоже не может здесь оставаться из-за подозрений в содействии побегу. Причины вам достаточно хорошо известны. Ваш отъезд должен состояться завтра в два часа дня. Вас заберут как обычно. Принимать каких-либо посетителей вам также запрещено.

Маленькие, беспечные волны снова и снова проворно набегали на песчаную отмель... Мысли... Чувства... Колебания...

Я пошел к Фаиме.

Она никогда не спрашивала меня о результате допросов, хотя догадывалась, что в этом деле меня могла подкарауливать смерть. Когда я, уходя, прощался с ней и целовал ее, то в ее черных глазах всегда было что-то большое, невысказанно прекрасное.

Но в течение нескольких дней я читал там еще что-то другое. Большую тайну, чудесную радость. Но она не хотела говорить об этом мне.

Ночью я бродил по комнатам. Толстые ковры заглушали самый незначительный шум. Из одного или другого окна я видел, как вышагивают в саду часовые. Окна были закрыты – таков приказ! Совсем никакой связи с внешним миром.

Эти ночи походили на те, в Никитино.

Внезапно, в какой-то комнате, в центре мертвой тишины появилась Фаиме. Без упреков, без вопросов, она стояла молча. Решение она предоставила мне, говорить ли мне с нею или удалить ее или молчать дальше.

В ее глазах всегда стояла большая тайна.

«Если ты не говоришь мне об этом, это значит, что как раз этого мне не нужно знать».

Этот принцип действовал для нас обоих.

Теперь, когда все прошло, я иду к ней. Теперь у меня снова есть только она, только она одна.

И я медленно шагаю от ступени к ступени. Я несу в себе предчувствие счастья – я прямо сейчас окажусь перед ее тайной.

Тихо я открываю высокую, тяжелую дверь. Она раскрывается беззвучно и медленно.

Фаиме стоит передо мной... Она почуяла мой приход...

- Миновало! Петр!.. Я уже держу ее в руках. – Петруша. Она так нежна.

- Теперь ты, Петр, снова можешь смеяться, как раньше, как всегда? Теперь все прошло. У меня была большая печаль. По твоей широкой спине я заметила все, она была согнута, склоненная так, как я никогда еще ее не видела.

- Да, теперь все миновало, теперь я снова пришел к тебе, дитя мое.

Я качаю ее на руках.

Она свернулась на них калачиком. – Ты хочешь мне что-то сказать, у тебя есть тайна, чудесная тайна?

- Да, Петр, – шепчет она почти беззвучно, – я молилась твоему Богу... долго, усердно... У меня будет ребенок...

Лицо ее внезапно краснеет, и она скрывает это, прижимаясь к моему плечу. Я укладываю ее в постель. Она стала такой маленькой, такой беззащитной, такой тихой.

- Твой ребенок, Петр... он должен стать таким, как ты, большим и сильным, – говорит она воодушевленно, затаив дыхание.

Я стою на коленях рядом с постелью, целую девочке руки со всем самым глубоким благоговением, и мне представляется, как будто она через свою молитву, через свое признание стала святой – Фаиме, маленькая черная татарская девочка.

Казачи сопровождают нас на обратном пути. На каждой станции один полицейский и один офицер заходят в вагон и проверяют, на месте ли я, выполняют ли караульные свой долг. Нам приносят еду и питье.

Бесконечные эшелоны катятся мимо нас, на фронт! Через открытые двери выглядывают солдаты и лошади. Это срочные рейсы, и все должны освободить им дорогу. На вагонах красуются кричащие плакаты, на домах, стенах, заборах, куда ни глянь, всюду те же плакаты:

«Подписывайтесь на военные займы!»

«Снарядов не жалеть!»

Один поезд за другим, бесконечными рядами катятся они мимо меня на запад.

«Патронов не жалеть! Снарядов не жалеть!»

Американские вагоны, японские надписи, деньги, деньги, деньги!

«Снарядов не жалеть!»

Как лавина должно накатиться это уничтожение на одинокую родину. Неужели не найдется ни одна рука, которая может взорвать эти ряды, ни один мозг, который изобретет дерзкий план, чтобы задержать это накатывание смерти?

Поезда катятся день и ночь. Ничто не препятствует их глухому, торопливому грохоту.

Казачий офицер рядом со мной – ухмыляется.

И я – возвращаюсь – на восток – за Урал...

Вологда, Вятка, Глазов и, наконец, Пермь. Я с Фаиме и часовыми выхожу из вагона. Носильщики несут чемоданы в вокзальный ресторан.

- Желая вам дальнейшей хорошей поездки. Отдав честь, офицер с его казаками уходит. Лопатин и Кузьмичев – единственные люди, которые должны оставаться со мной.

Маленькая прогулка по Перми.

На набережной широкой реки Камы мы видим сонные грузовые поезда, плоты, барки, людей. Никто здесь не торопится. Если в Петербурге никто не спешит по улицам, зачем кому-то торопиться тут, у подножия Урала, примерно на полторы тысячи километров вглубь страны? На улицах я вижу много офицеров, которые особенно гордятся новой формой, у солдат, которым приходится постоянно и самым точным образом отдавать им честь, лица скучные, их походка усталая.

Между ними можно увидеть киргизов, калмыков, монголов, татар, казаков и множество других народов и племен, которые живут здесь вперемешку.

Поездка продвигается. Через три дня мы достигли конца культуры, конечную станцию, на которой прекращается далекий, далекий рельсовый путь, так как непроходимая тайга не пускает его дальше.

Колька снова здесь! Все же, я снова вижу его... Он ржет, лижет мне руки, и получает кусочек сахара. Потом он неуклюже делает первый шаг, идет рысью час за часом, и даже когда он тянет тяжелый тарантас он все еще задорный.

Хлеб и соль

В субботу приехал Илья Алексеев, староста деревни Забытое. Это была радостная встреча.

- Братец, ты исчез, мы даже думали, что ты больше не вернешься к нам. Какая радость, что ты снова здесь. У нас всех есть подарок для тебя, даже самые бедные с любовью работали над ним. Тебе надо приехать в Забытое и посмотреть на это самому.

- Что же это за подарок, к которому все приложили руки? – спрашиваю я.

- Его нельзя ни принести, ни притянуть, ни привезти, он большой и прекрасный, и ты будешь очень рад ему, Федя, очень рад. Каждый из нас, без исключения, и также все твои товарищи способствовали этому. Теперь это готово, и ты должен его увидеть. Я тебе ничего пока не выдам. Не хочешь поехать с нами?

На заре караван отправился в Забытое. В первом тарантасе сидели Фаиме, Илья и я. Я взял с собой обе свои винтовки и хотел пойти в Забытом на охоту. За нами спокойно тряслись загруженные телеги крестьян.

Мы ехали час за часом. Вскоре то с одной, то с другой телеги зазвучали гармонь или балалайка, запели веселые песни, болтали, шутили, время от времени устраивали привал, ели, варили чай, курили и снова ехали, пели, музицировали. Время шло.

Внезапно Илья подъехал вплотную к краю лесной дороги, указал на лес и сказал:

- Смотри, здесь была старая дорога в Забытое!

- Где?

Широкая улыбка была единственным ответом на мой вопрос. Но когда я взглянул повнимательнее, то смог узнать еще отчетливые следы ответвляющейся к Забытому дороги. Теперь это место было обсажено маленькими деревцами, елями, ольхой, кедрами, пихтами и самыми разными кустами и искусно поглощено всеми этими насаждениями.

- Не пройдет и двух лет, как это место вообще больше никто не сможет найти. Если мы теперь захотим вернуться обратно в деревню, то мы должны ехать до реки, там нас ждут плоты. На воде не остаются следы, – заметил он и засмеялся при этом хитро.

Караван прокладывает себе путь через маленькую, частично уже вырубленную чащу, которая, однако, все-таки достигает живота лошадок, и по прошествии некоторого времени мы прибыли к реке.

Большие плоты привязаны в заливе на берегу и закрыты густым кустарником, так что их едва ли можно заметить. Мы выходим и заводим одну телегу за другой на плот. Косматые лошадки и здесь тоже ждут совершенно спокойно, их не может беспокоить ни вода, ни какое-либо иное обстоятельство. Плоты эти шириной примерно пять метров и длиной пятнадцать метров, так что двенадцать упряжек удобно размещаются на четырех плотках. Лошади и телеги закрепляются, и поездка продолжается под веселыми звуками гармошки.

Без труда, почти без самого незначительного внимания, крестьяне правят плотами и гребут вниз по реке шириной минимум один километр. Они поют звонкие песни, хотя пот уже давно течет им по лбу.

- Давай, Илья, мы тоже хотим показать, что мы умеем! Давай, разреши-ка нам тоже разок погрести и поуправлять.

Глаза деревенского старосты сияют, когда он поднимается и энергично плюет на ладони. Мгновенно я стягиваю рубашку через голову, Илья делает то

же самое, и мы хватаемся за весла, присоединяемся к песне, поем ее полным голосом и с большим воодушевлением.

Прямо на краю плота сидит татарка на одеяле и смотрит на нас. Маленькие волны разбиваются перед плотом, о едва обструганные бревна и проносятся мимо с ее стороны. Фаиме играет с водой и улыбается нам.

Песчаный, круто поднимающийся вверх берег скользит мимо нас, потом он становится плоским, заросшим камышом, с плотной густой травой и маленькими кустами, иногда светлые юные березы видны уже издалека, и многочисленные согнутые, заросшие ивы опустили свои ветви глубоко в лениво текущую воду. Мы пугаем стаи диких уток, гусей и других водоплавающих птиц. Они вспархивают перед нами и лишь чуть-чуть подальше опускаются с плесканием и кряканьем на воду, пока мы снова их не вспугнем. С берегов звучит никогда не прекращающееся кваканье лягушек. Осеннее солнце стоит на сером северном небе. Теперь веселая, протяжная игра на гармошке закончена, наступает черед глубоких звуков балалайки, и звучит грустная песня о любви и потерянном счастье. Но и она не длится долго, ритм становится быстрее, и уже снова царят прежнее озорство и радость.

Солнце еще довольно долго отражается в воде, потом оно исчезает за дальними берегами. На плотках зажигают костры, готовят еду, варят чай. Музыка умолкает и с нею жизнь в лесу, природа, а также и люди.

Сказочные сумерки севера окружают нас теперь.

Мы, скорчившись, сидим вместе и курим. Мы стали тихими и немногословными, ночь, красный, мерцающий свет наших костров и их отблеск в ленивой воде и на покрытых лесом берегах удерживают нас в своих чарах. Слышен только регулярный всплеск весел и тихое журчание воды вокруг наших плотов.

Становится прохладнее, и первая тонкая осенняя пелена тумана скользит мимо нас. Мы натягиваем широкие теплые бурки, большие меховые пелерины. Из сена и одеял я готовлю постель для Фаиме, тщательно ее накрываю, и она засыпает, беспечно, спокойно, точно так же, как она дома ложится спать в свою кровать. Закутанный в бурку, спит Илья. Лошади тоже накрыты.

Медленно движутся плоты вдоль спящей реки.

Никакой звук не нарушает возвышенную тишину.

Пелена тумана окружает нас, наш костер на мгновение заставляет ее переливаться множеством цветов, они закрывают нам обзор, но потом они делятся, разбегаются друг от друга и проходят мимо нас. Становишься спокойным, задумчивым, и самые скрытые мысли кружатся вокруг как прозрачные руки

тумана, поднимаясь на незаметные высоты. Мысли и пелена тумана приходят и уходят, проходят навсегда

Едва заметно, все вокруг нас просыпается.

Вода, окружающая нас, становится светлее, туман остается за последним изгибом реки, первые едва проснувшиеся водоплавающие птицы гогочут на берегу, разлетаются и совершают свой обычный утренний туалет. Подобные маленьким темным пятнам они плывут вдали.

Из леса слышно щебетание птиц. Тайга не знает веселых песен.

Высоко, так высоко, что его едва можно увидеть, над лесом парит орел. Оперение его блестит как серебро на восходящем солнце. Что он здесь ищет, зачем он прилетел сюда за сотни километров, ведь его родина – это далекая степь, синие горы Урала? Он подлетает все ближе, он следует за нами. Сильная птица не охотится. Орел подлетает совсем близко к нам, видно, как он поворачивает голову в нашу сторону и не отводит от нас взгляд. Он кружится вокруг нас, и его крылья бросают тень на воду. Затем он внезапно подсакивает в высоту – и становится едва видимой, исчезающей точкой. Он снова выбрал себе дорогу к далекому Уралу.

Эта птица свободна и вольна...

Постепенно лошади становятся беспокойными, крестьяне просыпаются и поднимаются, животные преданно ржут им, их глаза становятся светящимися, обычно слабые уши двигаются, хвосты нетерпеливо бьются. Из воды вверх выпрыгивают рыбы. Они похожи на блестящие серебряные монеты.

- Ты вовсе не спал, брат! – говорит деревенский староста и кладет мне руку на плечо. – Ты, наверное, мечтал... Да, это прекрасно – мечтать в нашей одинокой дикой местности...

Он зачерпывает воду ведром из бересты, поит лошадей и дает им еду. При этом он гладит им головы и разговаривает с ними. Ноздри вздуваются, уши двигаются, и даже ноги тотчас пританцовывают, настолько довольными кажутся животные.

Потом он становится на колени на краю плота, зачерпывает руками, основательно моет лицо и руки, приглаживает каштановые роскошные волосы и бороду, достает из кармана пестрый гребень и сначала благоговейно рассматривает его, потому что это подарок его жены, и другого такого гребня нет во всей деревне. Затем он спокойно причесывается без зеркала.

- Ну, братцы, как насчет чая? Подходите, я все приготовлю.

На плоту разжигают костер из маленькой связки тонкой, сухой древесины, на него ставится чайник.

Я за это время успел побриться, прыгнул в воду, короткое ныряние, и когда я снова стоял на плоту, у меня было ощущение такой силы, что я мог бы руками вырывать деревья.

Пока наш чай заваривается, огонь потушен, и мы распаковываем нашу провизию. Все мы богатые и избалованные люди, сделали действительно хорошие дела и заработали достаточно денег, купили очень много и радуемся теперь обильной трапезе и нашему здоровому аппетиту.

Теперь первый солнечный луч мелькает над водой! Он встречает Фаиме и будит ее. Она растягивается как кошка, ее глаза – полны сна, мечтательны как у животного. Я черпаю воду из реки и наливаю ее в руки девочке. Она трет себе ими лицо, причесывает свои отливающие синевой волосы, и вот она уже готова.

Во время завтрака забыта любая западная культура. Нет белой скатерти, посуда примитивна, и каждый ест так, как считает правильным. Потом все крестятся и прибирают; остатки отправляются в воду, где за них спорят рыбы. Они неутомимо плывут сзади и рядом с нашими плотами, хватают все, что идет за борт, причем нередко кажется, что при этом большая рыба съедает своего меньшего сородича. Так что каждый завтракает по-своему и по его вкусу.

Гребцы постоянно меняются. С воодушевлением я ударяю веслами о воду, вижу, как с них падают капли. Солнце уже припекает, поднимается все выше, и мы снова сбрасываем нашу теплую одежду.

Час за часом проходит, один изгиб реки переходит в другой, пока внезапно вдали не гремит гром.

Черная гряда туч движется нам навстречу. Мгновенно ставятся маленькие палатки, телеги накрываются навесами, и уже падают первые большие капли.

Смерч сметает песок и пепел нашего очага с плота, потом все умолкает и, кажется, внимательно прислушивается.

Внезапно начинает сыпаться дождь. Вода брызжет, кусты на берегах сгибаются под мощью ливня.

Беспечно, непрерывно гребут крестьяне.

Что значит для них раскаленное солнце, проливной дождь, захватывающий дух холод? Они – только крохотные частицы большой природы.

Она им не мешает, и они только лаконично замечают: «Идет дождь!»...

Фаиме и я спрятались в нашу палатку. Рядом лежит Илья Алексеев, и его замечание тоже звучит так просто: – Идет дождь!

Снаружи льет со всей силы. Неподвижно стоят лошадки, их уши свисают печально, их хвосты больше не движутся. Они мокнут так же, как их хозяева, но и для них это тоже привычно – они снова высохнут – после солнечного света наступает дождь, после дождя появляется солнце.

Проходит продолжительное время. Через щель брезента я обзираю пейзаж. Он серый, хмурый, мокрый, пустой. Я зеваю, зеваю еще раз... Илья благовоспитанно следует за мной оба раза.

Глаза мои слипаются, засыпая, я слышу, как дождь барабанит по крыше палатки...

- Петруша, не хочешь ли ты чего-то поесть? Скоро будет готово, вставай...

Я смотрю на свои наручные часы – я проспал четыре часа. Дождь прекратился, однако, все еще пасмурно.

У костра возится Илья. Сегодня у нас совершенно особенная еда, очень хорошая, пусть даже и дешевая: куропатки в соусе из кислой сметаны с грибами. Шестнадцать штук выложены в ряд на плоту и рядом действительно большой кусок масла. Заметно, что Илья когда-то был хорошим фельдфебелем, так как ощипанные птицы выложены очень ровно в ряд.

Нас восемь человек, подсчитываю я в уме – этого хватит.

Внезапно я замечаю, что хочу есть, и хватаюсь за весло, чтобы немного размять мои занемевшие кости. Проходит короткое время, куропатки уже шипят в горшке, рядом с ними картошка. Скоро, очень скоро еда будет готова.

Во время гребли мы болтаем, чтобы время до обеда прошло быстрее. Наконец, я спрашиваю Илью, который сидит возле меня и спокойно курит:

- Как там поживает твоя еда, лучший повар из всех поваров?

Он поднимается и идет посмотреть.

- Огонь потух, – лаконично замечает он. Тогда он разжигает новый.

После короткого перерыва та же игра продолжается: я спрашиваю, он поднимается из своей позы Будды, смотрит, огонь снова погас. Он снова его зажигает. При этом никто не произносит ни слова.

Я постепенно устаю, я греб уже продолжительное время, и меня уже давно пора бы сменить.

- Илья, посмотри, все же, на еду, она точно должна быть теперь готова. А то я безумно голоден.

- Сейчас, мой дорогой, сейчас все будет готово, – и он снова встает, прервав свою неподвижность.

Я слышу проклятие и знаю точно: огонь снова погас. С новым мужеством я берусь за весло, так как однажды еда должна, все же, быть готова, впрочем... ничего!

Осторожно огонь снова разжигается.

- Может, мне на время нужно остановить ветер? – спрашиваю я. Илья только ворчит.

Теперь он пристально следит за огнем. Он соорудил все баррикады вокруг костра, обходит его со всех сторон, иногда осторожно поднимает крышку горшка, заглядывает внутрь со скепсисом и надеждой. Наконец, он ликует:

- Еда готова!

И шестнадцать куропаток с грибами были готовы, и все шестнадцать были съедены, так что ничего не осталось.

Опоздание? – Ничего!

После еды принято спать, мы тоже поступили так. После подъема стаканчик чая очень приятен; мы пили чай вдоволь.

Между тем наше любимое солнце высушило все, людей, и животных, и вещи. Никогда не следует слишком волноваться из-за дождя и из-за того, что промокнешь, потому что вскоре все снова будет так же сухо, как раньше.

Так мы в глубокой Сибири спускались на плотках по реке... Мы не знали времени, волнения. Только я часто смотрел на мои часы, но скоро я забыл о них. Не все ли равно, в принципе, когда мы доберемся до нашей цели? Что означает понятие времени в вечной глубокой Сибири? Тут его никогда не воспринимали, и никогда не воспримут – вечность будет там оставаться всегда, так как только она истинна.

Я лежал на спине, руки под головой, и смотрел в небо и на маленькие белые барашки облаков; вокруг меня журчала вода.

- Федя!... Ты слышишь...? – прошептал деревенский староста.

Я поднимался, напряженно прислушался, но ничего не слышал, как бы я ни старался.

- Ты все еще ничего не слышишь? – спросил он шепотом.

Через некоторое время, Фаиме уже услышала это, не первые, еще очень далекие звуки достигли меня по тихому, звукопроницаемому воздуху:

... Ich traaank mit seiner Baaase
Auf duuu und duuu,
Der Mooond mit roter Naaase
Sah zuuu, sah zuuu ...

(Я пил с ее хозяином
За тебя и тебя,
Месяц с красным носом
Наблюдал, наблюдал)

Я чувствовал, как по моему напряженному лицу скользнула улыбка. Это были мои товарищи! Странными казались мне эти звуки немецкой песни в такой местности.

- Если ты даже теперь этого не слышишь, то ты глух как токующий глухарь, дружище, – произнес Илья и посмотрел на меня, полный надежды.

- Ну, вот теперь я слышу!

- А, вот это я и имел в виду! – проворчал староста довольно.

Звонкий, веселый голос слышался все ближе и ближе.

Теперь я уже слышал гул голосов, различал отдельные, отчетливые слова.

На наших плотках внезапно прибрались, сняли навесы с телег, и все без разбора побросали в них. Наши лошадки, во время поездки стоявшие как вкопанные, задвигались и заострили уши.

Внезапно из леса раздался баварский «йодль», который ни с чем не спутаешь, голоса на берегу сразу ответили ему, и через несколько мгновений я увидел множество людей, которые махали нам, размахивали платками и кричали нам.

Гребцы направились к берегу. Мы заплыли в маленький залив, на берегу которого стоит много, очень много людей. Они встречают нас с настоящими индейскими криками. Канаты перехватывают на берегу, плоты подтягиваются. Я первым прыгаю на берег, помогаю Фаиме, и вот я уже окружен моими товарищами. В их середине стоит Зальцер, и его синие глаза так смотрят на меня, как будто я его невеста.

- Как вы все тут поживаете?

- Хорошо, хорошо, хорошо! – звучит со всех сторон. – Добро пожаловать, добро пожаловать! И мне приходится пожимать примерно четыреста рук.

Зальцер идет к деревенскому старосте, оба перешептываются, потом подходят ко мне.

- Федя, мы все в Забытом подготовили тебе подарок. Мы, русские мужики, и твои товарищи, все потрудились над ним, каждый по своему мастерству и возможностям. Теперь пошли.

Колонна приходит в движение. Рядом со мной и Фаиме идут деревенский староста и унтер-офицер Зальцер, за нами товарищи несут мой багаж, пачки газет, книги, потом следуют загруженные повозки, окруженные крестьянами и военнопленными. Узкая дорога по светлой березовой роще... и внезапно я застыл на месте.

- Пошли, Федя, пошли, ты позже сможешь удивляться. Это только начало нашей работы.

Передо мной лежит Забытое! Я едва могу узнать его, настолько далеко отеснен лес! Поля, на которых стоят посевы, поля, как будто благословенные Господом Богом! Крестьяне выбегают нам навстречу, они машут нам, они веселы. Куда подевался их страх? Они присоединяются к нашей колонне, и она становится похожей на настоящую процессию.

На площади перед древней деревянной церковью стоит маленький, совсем новый домик с пестрыми ставнями. Несколько старух и крестьян держат на руках белую скатерть из домотканого полотна с пестрой каймой. На нем я вижу великолепный, круглый ржаной хлеб, в его середину вдавлена маленькая деревянная солонка с крупнозернистой солью, на ней медная копейка. Деревенский староста бросает свою шапку в руки окружающих нас людей, крестится, крестит меня и Фаиме, принимает хлеб и соль в руки и подает нам.

Потом он целует меня и Фаиме в щеку. Мы оба крестимся, и я принимаю круглую буханку хлеба и соль на скатерти.

- Это твой дом – входи! Он ведет нас.

Раскрывается массивная, оббитая внутри толстым войлоком дверь, которая ведет в маленькое помещение. На стенах висит зеркало, сбоку от него крючки для одежды. Другая дверь ведет в большую комнату. Бревна обструганы очень аккуратно, в «красном углу» висят иконы, горит лампада, перед нею массивный дубовый стол, его круглая столешница непокрыта и чиста, и в ее центре тщательно вырезано «Т.К. 1916». Вокруг стола стоят массивные стулья, на стенах такие же скамьи, в стороне стоит широкая кровать с белыми подушками и сшитым из самых разных, пестрых тканей одеялом. Рядом с кроватью шкаф и маленький комод. Прилегающее помещение – это кухня. Плита, занимающая почти половину помещения, разогрета, и пахнет тушеной дичью и сметаной. На кухонном столе лежит копченая медвежья ветчина поистине чудовищных размеров. Рядом со столом стоит блестящий медный самовар. Кухонный шкаф полон пестрой, красивой посуды, в выдвижных ящичках лежат столовые приборы. Многие люди подумали обо всем, о каждой мелочи.

Их мысли, чувства, их благодарность, радость, все это они собрали здесь.

Я выхожу из дома – моего домика.

Все глаза с немим вопросом, полные надежды направлены на меня. Внезапно пестрый гул голосов умолкает.

Они все подарили это мне, из своих скудных средств. Бедные, запущенные крестьяне, мои оборванные, забытые товарищи – на родине считающиеся пропавшими без вести, исчезнувшими.

Я хочу говорить, слова звучат в моей голове, мысли приобретают форму.

- Мои дорогие!... Я благодарю...

Мой рот больше не может издавать звуки, и он судорожно сжимается. Я могу только кулаком медленно провести по глазам...

Передо мной стоит Зальцер. По его изувеченной ударом сабли щеке я замечаю, насколько взволнован этот человек; биение пульса отчетливо заметно в плохо зажившей ране. Я хватаю его, я обнимаю его, и целую его прямо в шрам. Рот искривлен, губы дергаются как будто в судороге. И он тоже не может говорить – крупные слезы тоже текут по его лицу. Илья обнимает меня, как будто я его кровный брат.

Нас окружает масса из нескольких сотен людей.., но не произносится ни одного слова.

- Пошли, нам нужно помолиться на вечерней службе и поблагодарить Бога за его благословение, – говорит вполголоса деревенский староста, и это освобождающее слово прокатывается над головами молчащих как над зрелой нивой.

Медленно мы рассеиваемся.

Колокола звенят.

Чем лучше всего можно обрадовать русских? Дать им хорошо выпить. Так что я разрешил взять легально имеющийся запас превосходной водки и раздарил ее местным жителям и товарищам.

Едва закончился ужин в моем доме, как смех, шутки, пение и музыка начались уже снаружи.

Гармонь, балалайка, мандолина, гитара играли беспрерывно все вперемешку, в каждом углу что-то другое. Можно было только догадываться о мелодиях, так как, само собой разумеется, музыканты тоже были в таком настроении, что едва ли знали, играли они или нет. В каждом углу пела толпа, и она качалась в разные стороны, танцевала, смеялась, шутила, шаталась, каждый спал там, где только что упал, потом опять вставал, чтобы пить снова.

Пили так долго, пока не выпили все до дна.

На следующий день Зальцер со старостой водили меня по Забытому. Деревню едва ли можно было узнать. Площадь пашни удвоилась, урожай был хорош, созревал и скоро должен был быть убран. Очень широкую площадь все еще выкорчевывали. Сама деревня, казалось, была «собрана» вокруг маленькой площади у церкви. Построенные с нуля избы, прилегающие к ним конюшни и амбары замыкали круг, в который можно было попадать только через две узкие, пропускающие как раз телегу ворота, на которых уже были укреплены прочные двустворчатые двери.

- Это только начало, Федя, – сообщил мне староста, – нельзя все сделать сразу, так как для всего требуется время и усилия. Сначала нам нужно сделать так, чтобы мы могли существовать независимо от внешнего мира. Нам для этого нужна земля, и поэтому сначала мы расширили пашни для земледелия. Мы смогли купить первоклассный скот и великолепного племенного быка. Тут и там коровы уже отелились, и мы снова и снова видим, что пленные оказались правы: если заботиться о скоте, то он плодится хорошо и приносит доход. С тех пор как пленные живут у нас, это для нас настоящая благодать. Недалеко от старой улицы у нас есть маленькая речка, и я уже говорил с Зальцером, не протянуть ли ее русло в деревню и вырыть канаву вокруг полей. При лесном пожаре это может быть очень важно. Много деревень уже сгорели в тайге! Но на это у нас есть еще немного времени. И вот,

смотри сюда, пленные устроили кузницу, и рядом с ней столярную мастерскую. Не успеет взойти солнце, все идут на работу с песнями и веселыми словами. В полдень, при дневном зное, мы отдыхаем, а потом продолжаем, пока солнце не сядет. Но... – староста запнулся, но потом собрался с духом. – Наши девушки все беременны. Ты понимаешь? Твои товарищи... Ну, ты уже понял. Даже солдатские жены в интересном положении, как у нас обычно говорят. Что будут делать наши мужики, когда они вернутся с войны? Что ты думаешь? Можешь высказать мне свое мнение открыто. Я и Зальцер, мы не знаем что делать, Федя. Чертовски сложное положение.

Тут хороший совет был очень, очень дорог.

Но и эта проблема тоже само собой нашла простое, примитивное решение. Оно было по возможности наивным и примитивным для всех участников, как и многое другое в тайге. Но об этом позже.

- Во всяком случае, у нас сейчас дела обстоят так, что все усердно работают, и по утрам не бывает скучной болтовни и безделья, пока тот или другой, наконец, не решатся с неохотой пойти на работу. Я и Зальцер стали друзьями, Федя. Я очень полюбил его.

Оба посмотрели друг на друга, и откровенность их чувств была четко заметной.

- Но что же с нами будет, если немцы однажды отправятся домой? Ведь это же когда-то произойдет? Что мы будем тогда делать одни? И успеем ли мы обучиться к этому времени? Собственно, это Зальцер староста здесь, а не я. Он определяет, что и как нужно делать, и меня даже не нужно использовать как переводчика, так как все пленные уже достаточно хорошо выучили некоторые русские слова, так что мы можем прекрасно договариваться.

Когда наш обход деревни закончился, и мы пришли в наш домик, Фаиме сидела перед ним на скамейке и что-то вышивала. Возле нее сидела Степанида, жена старосты, которая вела наше хозяйство; обе женщины беседовали о делах, о которых мы, пожалуй, не должны были слышать, так как когда мы приблизились, обе умолкли и опустили глаза к земле.

Позже я пошел с Фаиме и Зальцером на берег реки.

Едва заметно скользили воды реки мимо нас, где-то в незаметной дали они соединялись с другой рекой, тогда дальше, вероятно, с несколькими другими, и, наконец, они все после многих сотен верст впадали в Северный Ледовитый океан.

Я смотрел вслед постепенно развеивающемуся дыму моей трубки... Мы беседовали долго... о нашей далекой родине.

История волка Одинокого

Дни, которые я мог провести в Забытом, прошли. У моего дома стояла Колька, немногие вещи, которые я взял с собой, медленно и осторожно грузились в тарантас. Все Забытое собралось вокруг нас. Как будто мы отправлялись в голодный край, нам надарили продуктов.

- Мне точно не нужно сопровождать тебя, Федя? – осведомлялся в уже, наверное, сотый раз староста. – Мне нетрудно немного проводить тебя, и, кроме того, поездка тогда не будет такой скучной. Ты не заблудишься? Будь внимателен! Следуй только маленьким маркировкам новой дороги, иначе ты можешь ехать, сколько хочешь, и никогда не доберешься до Никитино. Никто из нас не знает, как далеко тянется лес, и если ты не выйдешь на дорогу, ты потерян.

Я отказался, потому что хотел сам попробовать.

Последние рукопожатия, которые никак не заканчиваются, отовсюду тянутся руки, я должен пожать их все, должен вернуться, действительно скоро и на долгое время, на всю зиму, навсегда я должен тогда остаться. Я должен передать всем привет, товарищам, фельдфебелю, правильно раздать взятые с собой подарки, ничего не забыть, я должен непременно заказать и получить необходимые, включенные в список инструменты.

Много, много рук машут на прощание, голоса снова и снова кричат нам:

- До свидания! До свидания!

Внезапно как стена тайга окружает нас со всех сторон, тогда как в далекой дали медленно смолкают голоса людей.

В своей возвышенной тишине лес стоит вокруг нас как околдованный. Ни ветерка, ни движения. Мы оба – единственные люди в его подавляющей середине.

- Ты не боишься, Фаиме?

- Но Петруша! Почему, чего тут бояться?

- Мы могли бы заблудиться, не найти дорогу в Никитино, умереть с голоду в лесу.

- Я не боюсь, совсем не боюсь. Я знаю, мы доберемся до Никитино точно так хорошо, как будто бы нас сопровождали все крестьяне Забытого.

Я точно следовал данным мне указаниям и был рад, что замечал все сразу и не ошибался с направлением. Только единственный раз я все же захотел быть умнее, чем крестьяне. Я не хотел использовать еще частично сохранившуюся тропу к грунтовой дороге, а, чтобы сэкономить время, решил срезать весь угол, проехав по уже почти заросшей просеке. Но при этом я совершил серьезную ошибку.

Проходил час за часом, но я все еще не добрался до дороги и уже давно потерял путь. Часто я смотрел на часы, потом на Фаиме, но она только улыбалась, немного огорчая меня.

- Ну вот, теперь чудесный мужчина все-таки заблудился, хотел быть умнее других. Вот так сюрприз! И лес стал здесь таким плотным, что тарантас больше не может объезжать. У меня, вроде бы, есть топор, но прежде чем мы прорубим себе дорогу силой, залезу-ка я на действительно высокое дерево, вдруг увижу вдаль еще такого же умного мужчину как я, который тоже что-то высматривает.

Пока я карабкаюсь на дерево, я долго кричу Фаиме, который всегда отвечает мне. Я боюсь, что что-то могло бы ей, оставшейся одной в плотном густом кустарнике, ударить или напугать ее. Я осматриваюсь.

Будь у меня тогда борода, в ней задержалось бы немного лестных слов, которые я высказывал в свой адрес.

Меньше чем в ста метрах слева от меня я замечаю еле-еле видимую, широкую лесную просеку – долгожданную дорогу.

При помощи топора я прокладываю дорогу через густой кустарник до просеки; потом мы двигаемся дальше.

Время проходит. Смеркается. Мы должны устроить ночной привал. Он готов в один миг: взятый с собой тент натягивается над телегой, мы прячемся под ним и уже можно спать.

Кольку мы распрягаем и привязываем к длинной веревке. Он жует скудную траву с дороги, которой та полностью поросла, и только обрывки следов указывают на то, что здесь однажды ехала телега.

На краю дороги мы раскладываем костер.

На расстоянии руки лежат револьвер и обе винтовки. Так научили меня крестьяне, потому что дорога – это место сбора людей и зверей леса. Сбежавшие каторжники и прочий сброд, который не остановится перед грабежом и убийством, бродит по чаще вдоль дороги. Но убитый – это желанный корм

для волков и других животных, которые по ночам рыскают вдоль дороги. Поэтому особенно по ночам собирается жизнь тайги на заросшей дороге.

Мы едим медленно, без поспешности, и пьем чай. В стороне от нас ложится Колька, который время от времени поднимает голову и как хорошая охотничья собака чует, не подбирается ли к нам издали опасность. Огонь постепенно тухнет.

Ничего не движется, никакого ветерка. Мы тихо беседуем, так как тишина и в нас самих, запас дров на ночь быстро собран. Огонь вспыхивает и снова бросает призрачные тени вокруг нас. Теперь лес похож на красную стену, которая прерывается сверканием отдельных берез.

Пожалуй, огонь защищает человека от диких зверей, но он привлекает хороших и плохих людей из самой дальней дали. Поэтому всю ночь нужно быть начеку.

Я завернул Фаиме в бурку. Я один сижу у огня, тоже накинув такую меховую пелерину на плечи. Трубка путешествует из одного угла рта в другой, потом в табачный кисет, маленькой горячей веточкой я снова зажигаю трубку, чтобы она опять предприняла свое обычное путешествие.

- Не хочешь ли ты спать, Фаиме? Уже поздно, одиннадцать часов ночи.

- Нет, Петруша, я на всю ночь останусь лежать у огня. Выспаться я всегда смогу, а сегодня я хотела бы караулить вместе с тобой. Но расскажи мне какую-то историю. В лесу так таинственно, и я хотела бы забрать с собой так много воспоминаний из Сибири. Если мы однажды будем в Петербурге или где-нибудь за границей, то мы вспомним этот вечер в лесу. Но это должно быть действительно жуткой историей, так как если я вижу, что ты смеешься, значит, история эта вовсе не страшная на самом деле.

- Я хочу рассказать тебе историю о волках, которую услышал в Забытом от охотников на пушного зверя:

Жил-был волк. Он был помесью степной волчицы и северного волка. Он был зол, быстр, кровожаден и на костреце у него был коричнево-красноватый мех. Он наследовал это от матери; от отца у него была серая шкура и размер. Он был зловеще велик и силен. Самая яростная и самая сильная собака не могла справиться с ним. Киргизы, калмыки, башкиры, татары в степных поселениях и казаки в станицах рассказывали об его нападениях и убийствах. Но о нем знали и крестьяне в тайге, самоеды, остяки, вогулы и другие кочевые народы, которые населяют бескрайнюю тундру Сибири и пасут там свои олени стада.

Снова и снова этого гигантского волка пытались заманить в засаду, поймать в капкан, отравить его – без толку. Животное было умно и всегда ловко избегало опасности.

Волка прозвали «Одиноким», потому что в большинстве случаев его видели в одиночку. Он охотился и убивал один, и только редко становился предводителем и вожаком изголодавшейся стаи, которая приводила тогда людей в состояние панического ужаса, так сильны и смелы были его разбойничьи набеги на пасущиеся стада. Постепенно дошло до того, что в нем скоро уже видели не волка, а шайтана – злого духа лесов – который получал свою дань противозаконно и насильственно.

Мать Одинокого была невелика и почти темно-красная. Ее выводок состоял из четырех красноватых, кровожадных и двух серых, более сильных животных. На глубоко спрятанном, тщательно оберегаемом волчицей торфяном болоте лежало множество разбросанных костей. С трудом и опасениями растила она свой выводок. Молодые волки росли и развивались великолепно.

Лето прошло, наступила осень, и старая волчица постепенно обучала волчьим повадкам своих волчат.

Когда смеркалось, они все подкрадывались к стадам. Издалека молодые волки слышали блеяние овец, человеческие голоса и собачий лай, до тех пор, пока ночь постепенно не спускалось и все стихало. Тогда волчица подкрадывалась ближе, но волчата, дрожа, оставались позади. Она, осторожно пригнувшись, скользила по земле. Внезапно звучит громкий крик, яростное, хриплое тявканье собаки... пригнувшись, и испуганно сидят вместе молодые волки. Наконец, приходит мать, тащит в зубах большого гуся.

Зубы рвут, размалывают, перья летят в разные стороны, и уже ничего больше не остается от птицы. Волки спешат прочь, так как знают, что люди на ферме теперь лежат в засаде.

Несколько быстрых скачков, пригибание к земле, короткая, быстрая гонка, и уже старая волчица поймала и придушила зазевавшуюся лису. Мгновенно вся волчья семья набрасывается на животное, и по волчьим обычаям от лисы остается один лишь хвост.

Дальше бегут рысью волки, они издали чуют овечьи стада. Они должны быть очень осторожны, так как стада добросовестно охраняются сильными, косматыми собаками казаков или их охотничьими собаками, длинноногими борзыми, и такая собака легко справится с молодым волком. Снова старуха подкрадывается вперед. Она ищет защиту за любым самым маленьким возвышением, в самом низком углублении она прижимается низко к земле, чтобы потом высматривать дальше, подкрадываться ближе. С темной стороны она

подбирается к стадам, потому что боится диких собак пастухов. Долго она подкрадывается вокруг, всегда чуя, ища, высматривая, всегда под ветром, так как собаки кочевников обладают прекрасным нюхом. Наконец, ее зеленоватые светящиеся глаза обнаруживают одного оказавшегося немного в стороне от стада ягненка. Прыжок, один укус, и она убегает назад. Она слышит разбегающиеся стада, ругань пастухов, злой лай собак, которые бросаются за ней. И старая волчица использует все свои силы в беге, все, что ее легкие в состоянии отдавать в усталом, истощенном теле. Как тень она несется над землей. До высокого защищающего камыша она добегаёт из последних сил, исчезает там, продолжает бег, сжимая в зубах судорожно бьющегося ягненка. Плотный камыш удерживает собак, так как туда не осмеливаются забраться даже самые дикие из них. Волчица приносит добычу своим щенкам. Зубы рвут мясо, волки пожирают ягненка, но все же, они еще далеко не сыты. Они мчатся дальше по степи, продолжают охоту, чтобы наполнить свои ненасытные животы.

Снова старая волчица подкрадывается кругами к новому стаду. Ее в темноте не отличить от земли. Пристально она высматривает, вся превратившись в один комок крайнего напряжения. Курдючная овца беспечно пасется лишь чуть-чуть в стороне от стада, но этого волчице достаточно. Она нападает! Собака пробегает поблизости от нее! Она хотела подогнать пасущуюся в стороне овцу к стаду, но она чувствует ее, вероятно, ветер в эту секунду сменился, и уже также другие собаки бегут, и в то время как овцы убегают и звучит топот лошадей, они преследуют старую волчицу. Серая тень мелькает над черной землей ночи... бежит прочь он... яростные собаки с пеной у рта гонятся за ней.

Черная ночная степь, зловещая тьма в высоком камыше, и собаки отстают, так как они не любят мрак, как и человек. Они знают, что там их подкарауливает смерть.

И они садятся на костреч, поднимают головы к темному небу и воют. Гав-гав-гав... гав... ууууу... ууууу...

Из далекой дали, из темноты, откуда-то, им отзывается другой вой, зов их предков, которые все еще ведут вольную жизнь, глухой, ужасный, протяжный вой. Ууууу... ууууу уууу.... – волчица зовет своих разогнанных волчат.

Другой ночью волки чувствуют теплый след. Полукругом они преследуют добычу. Впереди спешат охотники. Это старая волчица и оба ее серых детеныша. Постепенно круг замыкается, лошадь боязливо сопит и хочет галопом спастись от преследователей. Земля мягкая, копыта вязнут, лошадь применяет всю свою силу, чтобы ускользнуть. Но тщетно, серые тени быстрее лошади, они скользят, перелетают беззвучно мягкую землю, они не вязнут, не оставляют следы. Все ближе и ближе приближаются волки к своей жертве, все более

диким становится преследование. Лошадь больше не может убежать от них. Вот прыжок, и Одинокий схватил лошадь за бок, теплая, молодая кровь течет в его пасть, жадно и быстро он пытается ее проглотить. Теперь старуха прыгает на лошадь спереди. Животное отчаянно защищается, оно кусает все вокруг себя, но не может схватить своих убийц; они впились в его шею и мягкие части. Теперь весь выводок вместе. Лошадь падает на землю, и волки набрасываются на нее. Кровь брызжет, зубы рвут мясо, кости трещат, все забыто, всякая осторожность, всякий страх. Чистые кости остаются лежать. Стая сначала стоит нерешительно, потом бежит дальше.

Затем идет облавная охота. Растянувшись полукругом, они идут по степной траве. Далеко впереди идут охотники, которые обнаруживают все, за ними загонщики время от времени выпускают свой наводящий ужас вой в далекую, ночную степь, и все в страхе убегает прочь от этого воя.

Внезапно самец кролика стремительно несется мимо них, и весь выводок бросается за ним... Тщетно. Никакой волк не может догнать его, он быстрее, чем они. Лисицу рвут на куски, как сильно она ни защищается. Страшная пасть волка разрывает, размалывает ее, оставляя только хвост и задние лапы. Заяц пойман... эээ... эээ... эээ... эээ, кричит он в ночи. Это вопль смерти, теперь умолк и он. Добыча делится, разрывается, поглощается, едва ли несколько волос еще остаются, только задними ногами пренебрегают, ибо таков старый обычай волков.

Когда утро едва ли начинает брезжить, выводок сыт до тошноты. Он прячется там, где камыш выглядит плотнее всего, чтобы отдохнуть.

Осень заканчивалась. Холодало, и скоро упали первые снежинки. За ними последовала пурга, которая засыпала далекую, пустынную поверхность степи мягким, белым покрывалом.

Когда однажды волки зевали и потягивались в своем убежище и хотели осторожно покинуть его гуськом, старая волчица, выходящая из убежища первой, заметила, как только в нескольких шагах от нее удалялось что-то пестрое, что тихо развевалось на ветру. Она подошла поближе, пахло керосином, и этот запах был ей невыносим, противен. Она насторожилась, побежала в другую сторону, но и там она нашла то же самое. Всюду были похожие маленькие пестрые тряпки, которые пахли керосином, и снег вокруг. Как замкнутый круг, повсюду это трепетание и шум маленьких тряпок, тот же невыносимый запах. Боязливо они вместе сидели на корточках всю ночь... Они не находили выхода.

Утром все приближался странный шум. Это были люди, стучавшие палками по деревьям. Волки прыгали высоко и снова искали выход, но повсюду те же тряпки... Нет, одно место свободно! Туда старая волчица ведет своих волчат.

Они видят искру, еще одну, треск как удар грома, старая волчица падает, катится к земле, бьет хвостом, скалит зубы, вздрагивает... От неистового страха другие идут на прорыв... Выстрелы звучат... трое волков остаются лежать на месте, другие ускользают.

На несколько миль они бегут, так долго, как ноги могут их нести. Потом они прячутся, дрожа.

Одинокий был один; пуля охотника слегка задела его шкуру. Он укрылся глубоко в чаще. Он сидел долго, пока голод не начал невыносимо мучить его. Все больше и больше он забывал дрожь и перенесенный страх, и с низко опущенным носом и волчьим аппетитом в животе, он покинул убежище и теперь один отправился на охоту за добычей.

Одинокий точно следовал советам матери. Он всегда охотился только под ветром, подкрадывался с особенной осторожностью к стадам животных, теперь он был предоставлен себе самому – но зато ему не нужно было и делить с кем-то свою добычу. Он бродил на далекие расстояния. Он мог пройти до двадцати пяти миль за один день. Скоро и у него был опыт своей матери, за ним гнались собаки, его ранило дробью, раздавило лапу капканом. Не было ничего, с чем бы он уже не столкнулся.

Через бесконечную, пустынную степь Одинокий добрался до синих гор и тихих, глубоких озер Урала. Там он прокрадывался к примитивным лагерям и пещерам золотоискателей и горнорабочих, питался всеми остатками, выкапывал едва ли зарытые трупы убитых, корыстолюбивых людей, огибал покинутые, вымершие усадьбы, светло освещенные города, бежал вдоль трактов, вдоль одинокого рельсового пути, приводил немногочисленные крестьянские поселения в лесах, которым только редко приходилось опасаться волков, в панический ужас и добрался до тундры с самоедами и их стадами северных оленей.

Теперь он знал, что вкуснее всего лиса, собака и самое лучшее – человек. Для него как для каждого волка это были лакомые кусочки. Он знал: где есть люди, там также есть и корм, так как человек убивает. Без труда он преследовал еще теплые следы подстреленной дичи, так как она едва ли оборонялась и больше не могла сопротивляться его страшной челюсти, его быстрым, летучим движениям. Из дня в день, всюду ему предоставлялось много шансов, убивая, добыть себе пропитание. Так прошла зима.

Когда самые первые теплые солнечные лучи упали на снежный ландшафт, в нем проснулся непреодолимо, сильно и великолепно инстинкт порождения новой жизни. Он забыл спокойствие, пропитание, опасность, все. Теперь маленькие злые, дикие волчицы пахли для него сладко, одну из них он избрал для себя. Он бился за нее с множеством кобелей. Смело он приближался к

ним. Короткая борьба не на жизнь, а на смерть, яростное, хриплое пыхтение и щелканье зубов, кровь брызгала вокруг, серые волки боролись ожесточенно, не зная пощады друг к другу.

С оскалившей челюстью, растянутыми, раскрытыми, кровоточащими губами победитель гордо стоит над побежденным.

Никто из кобелей теперь не оспаривает больше волчицу у него. Несколько дней они справляют свадьбу, тогда, когда время прошло, они расходятся, как они встретились, один на север, другой на юг или на запад и восток.

Одинокий снова был только один... и бродил дальше.

Он охотился на водоплавающих птиц, питался их яйцами и больше не давал уткам сбить себя с толку симуляцией подбитого крыла. Он точно знал, что такая утка очень хорошо могла летать и хотела только отманить его подальше от своего гнезда, от птенцов. Он питался останками рыб, даже если они уже замерзли. Он откапывал мышей, хомяков, барсуков. Он не оставлял ничего, питался также человеческими трупами, причем с самым большим удовольствием.

Одинокий никогда не бежал за волчьими стаями, но они бежали к нему и принимали его. Таким образом, он становился вожаком стаи.

Он правил строго по обычаям своего вида, и эти обычаи были твердым правом. Абсолютно вся стая подчинялась ему, и он улаживал каждую ссору, наказывал виноватых, кусая их до полусмерти. Никогда ни один волк не решался заворчать на него. Разбойничьи набеги, которые они предпринимали, руководились им. Они были осторожны, но при этом смелы и сильны в натиске. От пойманной добычи он всегда сначала пожирал первый кусок, как этого требовали обычай и честь, и никто не спорил с ним за его пищу. Он вел свой род с крайнего севера в леса, в степь, в местности, где эпидемии господствовали, где люди умирали сотнями, и волки наедались до отвала, так как корма – и людей, и животных – было более чем достаточно.

Долго Одинокий был вожаком стаи. Долго он распространял панический ужас среди населения. Тщетно попы после длительных песнопений в дыму церковного ладана освящали многочисленные капканы, которые раскладывались повсюду. Пойманы были лишь немногие из волков, которых потом бесильные от ярости крестьяне и яростные собаки разрывали на куски.

Но Одинокий становился все умнее и осторожнее.

- Одинокий – это не волк, – говорили крестьяне, – он шайтан, мы не можем бороться с ним.

Прошло несколько лет. Крестьяне должны были снова и снова платить могущественному серому черту богатую дань и печально качали головами.

Однако Одинокий становился все более одиноким из года в год.

Это случилось вновь в разгар лета. Солнце уже много дней невыносимо жгло. Поля, посевы были почти полностью высушены, трава сожжена, скот голодал и худел. Ежедневно мужики собирались в церкви и двигались, неся в руках иконы и святые кресты, вокруг деревни, умоляя Бога о дожде. В отчаянии они смотрели на небо, на котором неделями не появлялось ни одного единственного облака, потом они стояли на коленях на засохшей, раскаленной земле, пели псалмы, крестились, опрыскивали поля и посевы святой водой, и поп в церковном облачении, почти обессилевший от тяжести святой одежды и знойной жары, неутомимо размахивал кадиллом.

Голод, лишения, нужда и, вероятно, также смерть предстояли им, если Бог не услышит их молитвы.

И большой, добрый Бог услышал мольбу своих детей.

Ночью, когда маленькая, склонившаяся к земле деревня спала, черная, зловещая гряда туч появилась со стороны леса. Молнии сверкали, удары грома следовали один за другим. Земля содрогалась, и людям становилось страшно. – Илья-пророк катится по небу, – шептали крестьяне и крестились раз за разом. Дождь со зловещей мощью обрушился вниз, и, наконец, умершая от жажды земля пила воду полными глотками. Избавленные от беды люди с распущенными волосами и босиком стояли вокруг своих изб, на полях и лугах, мокли под дождем, опускались на колени и хвалили Бога.

Когда дождь прекратился, самые маленькие дети с веселым криком побежали в близлежащий лес. Но там они внезапно умолкли. Молча и с опущенными головами они возвращались, боязливо держась за материнские юбки, и в глазах у них был большой вопрос, невысказанно-непонятная тайна.

- Одинокий... мертв, – шептали они едва слышно. – Там... И они указывали неуверенно в сторону леса.

Мгновенно вся деревня была на ногах. Они вооружились косами, цепями, серпами, старыми ружьями, и боязливо пошли к лесу, из которого только что прибежали дети.

Шаг за шагом приближались они к опасному месту, которое показали им дети. Они не говорили ни слова, настолько силен был их страх. Выстроившись полукругом, они подошли туда.

У подножия расколотого вплоть до корня дуба... лежал Одинокий, одинокий чужак.

Молния поразила его.

Не рука слабого человека, а рука Создателя положила конец его жизни.

Нерешительно крестьяне стояли в кругу и молчали.

Настя, девочка едва ли трех лет, подошла к мертвому зверю и встала на колени у его головы.

- Мама, Одинокий мертв..., – и ребенок гладил породистую тонкую голову волка, его плотный серый мех, слабые уши, его когда-то такие быстрые, сильные ноги.

Мужики принесли лопаты, глубоко раскопали землю, опустили в яму мертвое животное, чего они прежде никогда бы не сделали. Маленькая Настя принесла пучок травы, там было несколько цветочков. Она осторожно приблизилась к яме, где лежал зверь, посмотрела вниз, бросила пучок травы с цветами и склонилась в сторону льняную головку.

- Одинокий, я всегда буду приходить к тебе, и играть с другими детьми у тебя.

Яму быстро забросали землей, и лес хранил молчание над могилой Одинокого.

Вечером, когда все собрались за рюмкой водки, веселились и вспоминали о прежних набегах Одинокого, маленькая Настя плакала. Но слезы ребенка еще не успели просохнуть на толстых маленьких щечках, когда она уже заснула.

Ей снился волк Одинокий.

Розовел рассвет.

Робко снопы холодных солнечных лучей опустились на пейзаж, и внезапно, как после чуда, лес вокруг нас предстал в своем полном осеннем великолепии.

Целый день телега с плетеным кузовом тряслась по тракту. Вечером мы переночевали в деревне, потом телега снова тряслась долго, до самого дома.

Ребенок

1916 год заканчивался.

Повсюду все более заметным становилось приближение зимы. Связь с далекой дорогой оживилась, полностью загруженные телеги снова двигались в Никитино, разгружали грузы, так что почтамт едва ли мог справиться с таким наплывом. Почтовые служащие были перегружены и потому всегда пребывали в плохом настроении. Жители Никитино снабжали себя продовольствием и всем необходимым, купцы складывали товары вплоть до потолка. Особенно заботились они о необходимом притоке продуктов всякого рода, так как городок далеко не мог удовлетворить свои потребности собственными полями и зерном. Маленькие стада убойного скота размещались в конюшнях мясников, горы мешков с мукой и зерном складировались у пекарей.

Военнопленные возвращались. За каждой группой тряслись телеги с плетеными кузовами, груженные продуктами и подарками. Лагерь наполнялся.

Видны были трогательные сцены прощания с добродушными работодателями. Женщины и девушки в «интересном положении», заплаканные глаза. Зима разлучала их с их мужчинами на шесть месяцев.

Первые снежинки падали. Веселой вьюгой крутились они у окон, летели в глаза пешеходов, цеплялись к бородам, создавая странные картины, собирались на шапках и косынках, длинных валенках, покрывали косматых лошадей белым покрывалом и оставались лежать на земле и в лесу. Когда однажды утром мы проснулись, все вокруг преобразилась и температура опустилась на несколько градусов ниже нуля.

Жизнь проснулась еще раз. Все занимались самыми последними приготовлениями к зиме. Каждый торопился с подготовкой, каждый знал, что скоро это уже окажется невозможно.

Вскоре после этого большие тучи непрерывно двигались над Никитино, и насколько глаз мог видеть, небо было темно-фиолетовым и пепельно-серым; потемнело, внезапно подул сильный ветер, и днем и ночью постоянно шел снег. Когда через несколько дней снова появилось сияющее солнце, все приступили к работе, убирали лопатами высокий, блестящий, девственно белый снег – его высота уже превысила два метра. Термометр показывал двенадцать градусов мороза.

Люди постепенно проваливались в зимнюю спячку, улицы пустели. Все сидели дома, умело топили печь и наслаждались хорошей едой. Искусство пекарей, мясников, портных, сапожников снова проявилось. Всюду долго и по-

дробно шли разговоры, все равно, забирали ли пирог или снимали мерку для пары ботинок.

Люди придумывали самые различные уловки, чтобы использовать свое свободное время. Австрийский кондитер Майерхофер снова и снова выдумывал новые сорта пирогов, глазури всех цветов радуги, и всевозможные украшения, с изречениями на всех языках. Это было благоприятным случаем, чтобы объясниться кому-либо в любви, но не «с помощью цветов», а «с помощью пирога».

Мясники снова ставили в витрины смеющиеся и усмехающиеся свиные головы, телячьи головы, бычьи и коровьи головы, где на чертах и углах рта без труда можно было заметить удовольствие от того, что их зарезали. Разве не радостно было бы приготовить себе жаркое из такого красиво украшенного куска?

Парикмахеры стригли всех под одну гребенку. У всех были коротко остриженные, слишком короткие волосы. Но «европейская прическа» стала в Никитино модной. Дамы, похоже, просили сделать себе завивку даже чаще, чем это требовалось. Еще у парикмахеров так великолепно пахло самыми разными духами и помадами! Здесь также «случайно» встречались, ждали «случайно так долго», что, в окружении множества приятных запахов, как раз было очень даже приятно.

Также в кино постоянно кипела напряженная работа. Там было тепло и приятно темно, и прекрасно можно было «шептаться друг с другом». Маленький оркестр военнопленных заботился о необходимом настроении, даже если музыка не всегда совпадала с кадрами на экране; это было не так уж важно.

Кафе процветало. Конъюнктура длительное время была «растущей», тенденция «исключительно дружелюбная». На пути к кафе снова «случайно» встречались, шли одной и той же дорогой..., а также к одному и тому же столу. Дайош Михали и его цыгане были явными нарушителями спокойствия, но их все любили, даже боготворили.

Так проходили зимние дни.

Фаиме стала другой. Большие и чудесные, хранящие в себе тайну новой жизни, ее черные глаза смотрели на меня со спокойствием и большой радостью. В их глубине только лишь редко вспыхивала искра прежней страсти; она все больше гасла и сменялась чувством глубокого счастья.

Фаиме не щадила своего тела. После возвращения из Забытого она как обычно делала все покупки для магазина своих братьев, и даже одно это уже было значительной работой. Вместе с тем она заботилась еще и о нашем хозяйстве, пусть даже Наташа, Ольга и неутомимая «морильщица мышей» вы-

полняли большую часть работы. Ежедневные уроки усердно продолжались, прогулки и выезды на Кольке никогда не прекращались.

- Петруша, ты как добрая мать-медведица, и ты с самым большим удовольствием целый день одевал бы меня, раздевал, мыл, купал, носил на руках, чтобы со мной ничего не случилось, – часто говорила она мне, когда я пытался объяснить ей, что то или другое для нее было бы уже слишком. Да, я сам иногда чувствовал себя как нерасторопная мать-медведица, мои лапы были, пожалуй, сильны, но у них на этот раз не было ни малейшего опыта.

В толстых книгах, которые я заказал по совету знакомых петербургских специалистов, я вычитывал самые разные инструкции. Голова моя кружилась и заполнялась малопонятными вещами; возникала страшная неразбериха. Я обращал внимание на симптомы, которые непременно должны были проявиться, но проявлялось всегда не то, к чему я готовился.

Я внезапно обнаруживал странные припадки у Фаиме. Теперь она сначала очень охотно лакомилась сладостями, потом ела сухую корку ржаного хлеба, то становилась беспричинно веселой, а затем играла мне на гитаре печальные мелодии, иногда у нее был сильный аппетит, а вскоре она вообще не хотела есть. Она вдруг становилась бледной, хваталась рукой за сердце, как будто бы ей не хватало воздуха, но по ее лицу тогда всегда скользили чудесные лучи.

В каком-то отдаленном углу, обычно в комнате Наташи, куда татарка редко заходила, я долго листал толстые научные книги, чтобы попытаться объяснить себе все это.

- Ты, старая мать-медведица, что же ты там нового открыл? Все же, медведи ничего не читают о том, как рожать детей... , – говорила мне тогда Фаиме, когда обнаруживала меня, углубившегося в книгу.

- Не лучше ли было бы, любимая, вызвать в Никитино хорошего врача и сестру из Петербурга или из Москвы? Я прочитал тут такие ужасные вещи, все, что еще может произойти.

- Я здорова и счастлива. И я совсем не боюсь – да и чего мне бояться?... Иншалла... И она касалась руками сердца, рта и лба, как будто стояла перед своим Богом Аллахом.

Зима, между тем, действительно уютно устроилась у нас. Теперь тот большой белый мешок, который она когда-то несла на спине, был, по-видимому, совсем опустошен, потому что каждый день светило солнце, пусть даже оно появлялось у нас над белой, плотно засыпанной снегом стеной тайги только на несколько часов. Но зато тогда все вокруг нас тоже сверкало. Толстый лед у окон сиял и поблескивал. В нескольких местах люди пытались, посто-

янно согревая стекло рукой, дыханием или лампой, сделать хоть маленький «глазок», чтобы смотреть наружу. Но если наступал вечер и ночь, глазки у окон покрывались снова льдом, зима обнаруживала любопытные термометры, садилась перед ними и задувала столбик все ниже.

- Неслыханно, – ворчал тогда немец-фельдфебель, – здесь изо дня в день этот собачий холод, всегда около сорока градусов. Летом – столько же, но жары и, кроме того, в тени. Восемьдесят градусов разницы! Но чего только не может вынести человек!

Большое полено впихиваем в раскаленную печь, искры разбрызгиваются друг от друга, слышен треск. Становится уютно тепло.

- Эй, дружище, да ты настоящий болван, не позаботился о топливе, но пытаешься топить...

- Ах, да ладно! Тайга большая; русские правду говорят: для на наш век хватит! И так я на очереди, я торгуюсь, да? Тогда я говорю... восемнадцать! Ну, тогда двадцать, двадцать два, двадцать четыре, что?!

- Выходить на обед! – звучит голос фельдфебеля.

- Что за свинство! У меня большой шлем... как задумано. И мне всегда приходится бросать игру как раз тогда, когда у меня хорошая карта!...

Ворота лагеря раскрываются, и колонна закутанных, разнообразно одетых мужчин шагает по городку.

Шаг размерен, под сотнями валенок хрустит снег множеством звонких звуков.

Комендант лагеря для военнопленных возвратился после четырехнедельного отсутствия. Он, кажется, постарел. Мы встречаемся в канцелярии полицейского капитана. Во всем своем великанском росте капитан почтительно стоит перед столом, за которым сидит его превосходительство. На столе лежит большая пачка денег.

- Доктор Крёгер! Голос генерала усталый, опустошенный. Глаза старика полны невыразимой скорби. Он подпирает голову рукой и смотрит на землю. – Я вернулся из Омска с чувством глубокого стыда, потрясенный до глубины души. То, что услышал собственными ушами и увидел собственными глазами, граничит с самым подлым, самым мерзким мошенничеством! Вы, лейтенант Крёгер, и вы, господин капитан, дайте мне честное слово, что все, что я сейчас вам скажу, останется между нами. Мы подаем друг другу руки.

- В штабе в Омске я, наконец, получил деньги на пленных. На мое повторное напоминание, как известно, ответа не было, солдаты в Никитино уже месяцами не получали никакого жалования, вы знаете это точно так же хорошо, как я. Но знаете ли вы, что мне сказали в Омске? Я должен был взять с собой только половину денег, но зато расписаться в получении за полную сумму! Собаки! И его кулак с грохотом стучит по столу. – Известно ли вам, господа, что до сего момента в Сибири умерли свыше четверти миллиона военнопленных? Есть города, в которых более семидесяти тысяч пленным размещены в землянках и не знают медицинской помощи! Там зверствуют тиф, холера, дизентерия, туберкулез, воспаление легких, легочная чума, цинга! Генерал прижимает обе ладони к лицу, и он, кажется, видит все эти ужасы перед собой.

- Но мне нужно рассказать вам, господа, что я видел. Я потребовал денег на содержание пленным и установил, что деньги есть, но вот только выплачивают их, похоже, очень редко. И это офицеры, я определенно повторяю, это офицеры, господа, утаивали деньги от пленным, пропивали их, тратили на шлюх, это они открывали их посылки, отпускали циничные шуточки по поводу часто очень скудных подарков, говорили неуместные непристойности о фотографиях членов семей пленным, забирали себе содержимое этих посылок, тратили на себя денежные переводы с родины и выплачивали пленным только незначительную часть. Они спорят за должность в лагере военнопленных, они кормятся за счет бедняков и обворовывают их самым мерзким образом. Офицеры! Они осквернили всю Россию, честь страны и народа на веки вечные! Если только один из военнопленных вернется к себе на родину и расскажет там об этом... Старый генерал берет торопливо, дрожащими руками, носовой платок и закрывает им свое лицо.

- Я подал прошение об отставке. Скоро я больше не буду вашим начальником, так как... в Петербурге... повсюду то же самое... та же грязь! Ее собственные сыновья превратили прекрасную Россию... нашу матушку Россию... в шлюху!

Тягостное молчание воцарилось среди нас. Генерал долго сидит, согнувшись в кресле.

- Вам уже довольно скоро не придется больше заботиться о ваших товарищах, лейтенант Крёгер, освобождение для вас и пленным уже близится, но не для нас, старых русских офицеров царского орла... нет, не для нас. Нам предстоит страшное. Ворота открыты широко, очень широко, скоро она наступит, анафема, для всей России... гибель!

Как медленно текущий, широкий поток проходило время. Все новые и новые снежные массы падали на землю. Три раза связь с внешним миром прерывалась. Телеграфные провода, натянутые между столбами, были повреждены

пургой. С объединенными силами их снова закрепляли, пока аппарат Морзе не играл снова. Тогда царил всеобщая радость: далекий мир мог снова говорить с нами, и мы могли снова ему отвечать.

Еще раз почтовый караван застрял в снежном буряне. Совместными силами, с поддержкой местных и жителей и пленных, была собрана спасательная команда, чтобы поспешить ему на помощь.

Но было слишком поздно. Только по единственному высывающемуся из огромной снежной могилы санному дышлу мы могли узнать, где лежали погребенные люди и животные, иначе мы бы не нашли их. При перехватывающем дыхание морозе мы принялись за тяжелую работу. Лопата за лопатой, шаг за шагом мы освобождали жертв стихии. Они лежали так, как их застал шторм, рядом с их маленькими, верными лошадками, в стороне битком набитые сани. Их лица были усталыми, довольными, полными внутреннего безразличия и спокойствия. Некоторые из них держали лопаты, другие сидели за груженными санями, вероятно, чтобы найти за ними защиту.

В древней деревянной церкви, в поблескивании икон и множества жертвенных свечей их тела собрали для прощания. Глубоким басом священник молился на протяжном церковнославянском языке за спасение их душ. Верные своему Богу, люди опустились на колени, среди них их руководитель – полицейский капитан. Иногда слышны были громкое рыдание женщин и плачущие детские голоса.

- Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, – протяжно и растянуто задал тон поп, и церковные колокола начали свой долгий перезвон, перекрываемый басом большого колокола, пока новый буран, стегая снегом, засыпал молящихся, их церкви и избы.

Наступало Рождество, и с ним чудесные лучи в наших сердцах и глазах.

Затем зазвенели колокола нового года. Они звучали озорно и весело. Год начинался, и с ним снова появлялись новые надежды. Мы все ждали весну.

В середине февраля Никитино испытал маленькую неожиданность. Наконец, три австрийских врача были откомандированы сюда из какого-то далекого лагеря военнопленных. Собственно, этим трем докторам тут нечего было делать, так как в Никитино не было серьезных больных.

Но весь городок бежал к австрийцам, у всех было что-то, на что они должны были жаловаться. Для большинства жителей обращение к врачу было желанным разнообразием. Мнимым больным выписывали безвредные лекарства, им стоило больших трудов приобрести их себе, они довольно брюзжали об этом и о принуждении регулярно принимать лекарства. Но чем больше

кто-то должен был принимать, тем интереснее становился он в глазах других. Так возникла новая, неистощимая тема для разговоров: «Моя болезнь».

Между тем мои медицинские книги лежали в каком-то углу, покрытые пылью, потому что с некоторого времени я больше не прикасался к ним. Правда, я записывал очень точно мои наблюдения за состоянием Фаиме, однако, когда состоялся консилиум австрийских врачей, их вывод звучал единогласно: «Все совершенно нормально». Тогда я оставил и мои записи.

Фаиме чувствовала себя блестяще. Хотя она часто лакодилась самыми различными сладостями, все еще с особенным удовольствием ела корку черного хлеба, но все это так и должно было быть, и из-за этого я больше не волновался.

- Скажите, Фаиме, – однажды спросил девочку Иван Иванович с озабоченным выражением лица, – не бывает ли вам временами плохо?

- Иван! Ты что, совсем выжил из ума! Как ты вообще можешь задавать такие вопросы? – упрекнула его Екатерина Петровна.

- Но, Катенька, я – женат, у меня тоже есть дети, так что в этом такого? Фаиме жена моего друга, не просто чужая, потому я и могу спросить ее об этом.

- Это женское дело, Иван, и это слишком деликатный вопрос. Разве ты не видишь, как Фаиме краснеет?

- Среди друзей позволена иногда некоторая бестактность, Екатерина Петровна. Почему вы хотите знать это, дорогой Иван Иванович? – спросила тартарка.

- Вы знаете, – начал, но теперь уже смущенно, полицейский капитан, – я, кажется, слышал... я уже не помню, кто мне об этом рассказывал, во всяком случае, я слышал, что, если женщинам во время беременности иногда становится плохо, то это в большинстве случаев признак того, что родится девочка... а... мой друг Федя... ведь так хочет мальчика...

- Естественно, это должен быть мальчик, никакого сомнения! Да я вовсе и не чувствую себя плохо.

- Это великолепно, Фаиме! Вы тоже женщина, которая рождает только мальчиков. А как же вы хотите его назвать?

Отгадывание загадки шло из уст в уста, все знакомые делали предложения, и ждали рождения ребенка как огромного события.

Теперь Фаиме часто сидела за вязанием. Она вязала маленькие ботинки, чулки, курточки, одеяльца. Задумчиво она время от времени осматривала свою работу, ее руки ласкательно гладили ее, головка наклонялась вбок, она с улыбкой смотрела на меня... и снова затылок склонялся над работой, и снова иглы скользили по нежной шерсти.

В ее комнате стояла деревянная резная колыбель, возле нее детская коляска. Это были подарки моих тирольских друзей.

Если никого не было в комнате Фаиме, я пробирался внутрь и рассматривал в уже, наверное, тысячный раз колыбель, коляску, чулочки, ботиночки, маленькие курточки. Потом я неловко держал эти предметы в руке, внимательно прислушивался к любому шороху, чтобы не попасться на этом, и чувствовал, как бьется мое сердце, полное беспокойства и радости.

Долгожданный день наступил. Было 3 марта 1917 года.

Из сверкающего холода, посылавшего снаружи холодные солнечные лучи в маленькую комнату через замерзшие стекла, они все приходили к Фаиме и ко мне.

Богачи и бедняки, боязливые и громкие, пленные и свободные. Каждый с подарком, каждый с тихим словом, чтобы увидеть ребенка, как три библейских волхва.

Царский орел высокомерно блестел, ордена и почетные знаки звенели друг о друга, ухоженные руки принесли дорогой подарок. Растрепанные волосы, бородатое лицо, улыбающиеся серые глаза, толстые, самодельные, бесформенные валенки, пересохшие руки, пестрые косынки женщин, ярко-красные носовые платки, в них маленький дар нерешительного, скромного человека. Черные татары, с черными волосами, в миндалевидных глазах таинственная улыбка их предков, в маленьких руках драгоценность. Желтые лица с раскосыми глазами, плоские, широкие носы, маленькие, проворные пальцы, светлые соколиные глаза – охотники из глубокой Сибири, в руках шкурка белоснежного горноста. Защитные формы, изношенные, но чистые, в руках самодельный предмет ее далекой родины и культуры.

В массивной деревянной колыбели лежит ребенок.

Это мальчик!

Он большой и здоровый, у него белокурые волосы и черные как смоль глаза – ребенок немца и татарки.

И впервые в жизни я очень горд!

Революция

Внезапно в марте 1917 года газеты сообщают о событиях, от которых перехватывает дыхание:

«11 марта восторженная масса в Петербурге штурмует Арсенал и Дворец Правосудия!»

«12 марта народ занимает Зимний дворец и здание Адмиралтейства!»

«Отряды полиции, которые противостоят народу, обращены в бегство им и казаками!»

«Лейб-гвардии Преображенский полк, старейший полк русской гвардии, Волынский и Павловский полки воодушевленно переходят на сторону народа!»

«Царь вынужден отречься от престола. Он отказывается от престола за себя и за своего сына в пользу великого князя Михаила, своего брата!»

«Великий князь Михаил тоже отказывается от престола!»

Что теперь будет....?

«Свобода! Свобода! Свобода!»

«Да здравствует свобода! Да здравствует народ! Россия поднялась из пыли! Всех политических и уголовных преступников проклятого царизма нужно безотлагательно освободить! Власть принадлежит народу!»

Теперь народ должен сам выбирать своих уполномоченных и своих руководителей! Полицию нужно немедленно расформировать! Граждане, солдаты, рабочие и крестьяне должны образовывать независимые организации, им в руки даны все полномочия! Должна быть создана милиция!»

Днем и ночью работают служащие телеграфа на маленьком почтамте. Они истощены, и лишь с трудом могут расшифровывать все эти распоряжения из бесперывно тикающих знаков морзянки.

Это давала о себе знать губернская власть в Омске.

Она требовала в самое короткое время преобразования полицейской организации и предписывала бы самое точное соблюдение всех указаний из Петербурга. Заключение нужно было немедленно освободить.

- Телеграфируйте! – Иван Иванович прикрикнул на полумертвого служащего.
– Телеграфируйте! Никитино – это город, где живет шесть тысяч человек. В

тюрьме более трехсот арестантов, и среди них нет ни одного политического преступника. Из соображений безопасности невозможно выпустить триста преступников на маленькое население! Я возражаю против этого приказа! Я только тогда покину свой пост, если Омск гарантирует безопасность для всего населения! Я немедленно требую следующих распоряжений!

Дни проходили, хотя Никитино энергично снова и снова телеграфировал то же самое.

В лагере военнопленных между тем уже усердно готовились. Все пожитки снова и снова тщательно упаковывают, шинели свертывают по-походному, как будто долгожданная отправка должна произойти в любую минуту. Нетерпение беспредельно. Над немногими пессимистами насмеваются, высмеивают, больше не воспринимают всерьез. Возникает необычная жизнь и поступки, спешка и хлопоты.

Только один человек бессмысленно и бесцельно в уже тысячный раз обходит лагерь. Он не знает, должен ли он ругать солдат, или следить за порядком в последний раз, чтобы его войско смогло уйти в наилучшем виде. Это фельдфебель.

- Что же парни, в конце концов, еще должны делать? Они все еще хотят продолжать войну? Ведь все пошло кувырком! Не так ли, господин Крёгер?

В уголках глаза фельдфебеля дрожит сдержанная радость, но все же, он, как начальник, не может так неудержимо предаваться общему воодушевлению. На него смотрит весь лагерь, все до сих пор равнялось на него. Для всех он был примером порядка, выносливости и дисциплины.

Ежечасно я жду сообщение из Омска. Я хотел бы сам передать моим товарищам приказ об отправке. Тогда мы обнимемся, засмеемся, как шаловливые дети, и забудем обо всем, обо всем.

Мы бросим все, даже босиком пойдем на родину!

Час за часом проходит. Мы сидим на наших узелках и ждем; локти на коленях, охватив голову руками. Так мы сидим и ждем, ждем... ждем.

Аппарат Морзе тикает. Я сижу рядом и сам едва ли могу дождаться ответа.

На тонкой бумажной полосе под постоянным, проклятым тиканьем аппарата появляются черты. Бесчувственно пальцы служащего перерисовывают буквы на бумагу, одну за другой, как будто он только сейчас научился писать. Из букв образуются слова. Я читаю их, я перечитываю их снова и снова, пытаюсь их понять. Я тащу к себе всю ленту.

«Освобождение заключенных, в особенности, военнопленных, невозможно до дальнейшего распоряжения...»

Внезапно я застыл, как когда-то, когда стоял в Петропавловской крепости под прицелом винтовок.

Грубая, мне самому неизвестная сила охватывает меня, и я выбегаю из почтамта.

Я резко открываю входную дверь в мою квартиру, она закрывается за мной с таким треском, что стекла дребезжат, весь дом дрожит.

Фаиме стоит передо мной. Она подбегает ко мне и ищет у меня утешение... Она начинает тихо всхлипывать, хотя мы не произнесли еще ни одного слова.

- ... а я ведь так хотела домой... к тебе домой... Петенька... Я уже радовалась этому... и теперь...

Сила и бессилие, кипящий гнев и полная апатия, надежда и безнадежность борются во мне со всей грубостью и бесцеремонностью.

Все разрушилось.

Нам всем теперь снова приходится только ждать.

Медленно, шаг за шагом, в отсчитывающем, меня самого уничтожающем ритме приближаюсь я к лагерю для пленных, к тысячам надеющихся, страстно ждущих людей.

Ворота раскрываются, и потом они закрываются за мной, превращаясь для меня и для других в постоянный, незыблемый символ.

- Отец Крёгер пришел!... Крёгер здесь!... Быстрее, вперед! – звучит со всех сторон; отовсюду подбегают ко мне мужчины со светящимися глазами, смеющимися лицами.

- Построиться! – рычу я от внутренней ярости и сжимаю кулаки. – Всем построиться!... Построиться!...

Беспорядочно, плотным клубком они окружают меня. Вокруг нас наступает зловещая тишина. Они теперь догадываются, что я должен им сказать. Только лишь тихая надежда дрожит в нас, но она так мала, так робка, что мы сами ее боимся.

Я должен поддержать в них эту надежду, так как им приходится жить только нею.

- Товарищи! Поступил приказ из Омска! Он гласит: Всех военнопленных до следующей весны нужно держать в лагере... Сначала они должны распустить лагеря только в европейской России... только потом будут вывозить военнопленных из Сибири... Вполне возможно, что этот период будет сокращен... Пока что мы все должны еще подождать...! Мы можем радоваться...

Затем отказывает также и мой голос.

Я обманул их.

Фигуры оседают, прячутся. Я вижу, как мужчины сидят на своих узелках и плачут.

Лагерь военнопленных похож на кладбище. Возникают споры, которые переходят в драки. На это мало обращают внимания. Просто отходят в сторону.

Фельдфебель забыл завести свои часы. Ежедневных докладов о состоянии лагеря больше нет, пленные только беспорядочно выходят на обед.

Только время не останавливается.

Мы ждем газеты. Я жду письма из Петербурга и Москвы.

Поступают первые газеты. На целые колонки, большими буквами они сообщают о революции: все, нетвердо качаясь, падает в руки от воодушевления, долгожданная свобода разлилась по всей России; она похожа на сильный, величественный поток Волги весной, который выходит из берегов и затопляет всю гигантскую страну, классовые и расовые различия отброшены, больше не существует начальства, которого нужно бояться, можно делать все, что хочешь.

Все и всё работают над «спасением и углублением революции!»

Ее нужно пронести по всей стране, от города к городу, от деревни к деревне.

Из уст в уста передается слово: «Свобода!»

Но для военнопленных свободы не было!

Мои прежние друзья забыли меня. Они молчат. Мои письма остаются без ответа.

Вся страна внезапно стала хаотично оживленной.

Иван Иванович стал совсем неразговорчивым. У него появилась внезапная усталость. Он не получал жалованья из Омска, и он больше ничего уже и не требовал. Он оставался на своей должности, сидел бездейтельно в здании полицейского управления и чего-то ждал. Но работы для него больше не было. И путь к самому себе он тоже больше не мог найти. Всего, что когда-то было для него честью офицера, больше не существовало. Возмущенный и потрясенный событиями в прежнем Петербурге, который революционное правительство немедленно переименовывало в Петроград, он как офицер полиции больше не видел для себя надежды на хотя бы сносное будущее. Ему предстоял позор, ему предстоял путь, по которому шли его братья – мученичество.

(Петербург был переименован в Петроград отнюдь не «революционным правительством», а правительством царя Николая Второго еще в августе 1914 года, хотя автор, описывая и предыдущие три года, упрямо называет Петроград его старым «немецким» названием. – прим. перев.)

С необычайной пунктуальностью он появлялся в учреждении. Он каждый день выглядел ухоженным, надевал свои лучшие мундиры и сапоги. Он больше не пил алкоголя.

- Федя, ты пытаешься успокоить меня, ты хочешь заставить меня поверить, что когда-то снова все станет как прежде, что все это только временно. Но кто, спрашиваю я тебя, будет тем человеком, который, будучи любимым и уважаемым народом, теперь возьмет вожжи в свою руку? Все изменили России, и нет никого, кто мог бы смотреть народу в глаза. Неужели все русские так плохи? Посмотри на моих подчиненных, они приносили мне пищу и питье, делили со мной их скудный хлеб, готовы отдать свое последнее. Это настоящий характер нашего народа, и если мы отдадим свою жизнь за него, то мы продолжим жить в народе как мученики, так как однажды этот народ тоже станет видящим. Ради этого стоит умереть.

Его превосходительство генерал уже почти не бывал в лагере. Он снял с себя погоны.

- Когда-то я присягал вечной верности орлу царя, теперь он испачкан – он ушел добровольно от нас, он в последний момент не захотел поверить словам тех, кто до смерти был ему верен. Для верных присяге это было немым приказом снять царского орла. Мы ему больше не нужны. Мы отслужили. Ладно, мы уйдем. Я хочу наблюдать за новым режимом издали, но я не верю, что он спасет Россию. Если бы Бог мог дать нам человека, который направит опьянение неразумного и возбужденного народа к свободе правильным путем. Я не вижу его, и это невыразимый ужас для всей страны. Но, в конце концов, всегда нужен хотя бы небольшой оптимизм. Так же как они

сознательно обманули ваших товарищей, так и многие обманывают сами себя сегодня.

Я использовал все свое мужество, все искусство убеждения, все маленькие уловки, искусственно разожженный юмор, все это, чтобы и дальше продолжать обманывать моих товарищей.

- Мы знаем положительное: Россия стала небоеспособной в результате революции, – начинал я снова. – Небоеспособная нация отдана на милость и немилость врагу. Предположим, Россия попытается путем разжигания воодушевления, при поддержке своих союзников, спасти еще что-то из полного хаоса. Но что такое, наконец, армия без дисциплины, которая сначала должна проводить большие солдатские митинги и совещания на фронте, прежде чем принимать решения о стратегических мероприятиях? Можно ли вообще такую армию еще называть армией? Пока на фронте продолжаются дискуссии, враг нанесет удар, одно поражение за другим, и победа наших держав приведет к скорому концу. И требования мира любой ценой тоже становится все сильнее по всей стране! Это уже не может длиться долго. Это невозможно. Это полностью исключено! Однако, мирный диктат в первую очередь непременно потребует освобождения военнопленных. Разве это не само собой разумеющееся? Не лучше ли для нас всех надеяться на более позднее избавление, чем воображать, что нас через несколько дней отправят на родину, и вводить самих себя в заблуждение об этой дате от недели к неделе, из месяца в месяц?

В этом случае мы полностью измотались бы. Постоянное ожидание довело бы нас до бешенства. Товарищи! Мы все эти годы верно держались вместе, мы и в этот последний год должны тоже стоять друг за друга еще теснее и тверже. Каждый день помните, что наша родина всегда остается с нами, что она ждет нас!

Потом мы выбросим годы плена из нашей жизни и начнем новую жизнь, жизнь, которую мы теперь лучше понимаем, а также научились ее ценить.

Медленно, очень медленно отступало отчаяние из наших сердец. Мы боролись каждый день с самими собой.

Люди и газеты по отдельности попадают к нам из революционной области. В дикой местности все стихает. Дикая местность душит все, как она до сих пор делала это со всем.

Фаиме склонилась над газетой.

- Правительство призывает к войне. Война продолжается. Но это не может больше длиться долго, не так ли? Это ведь невозможно, скоро должен наступить мир. Он, наверное, наступит раньше, чем мы думаем. Мы уйдем с твои-

ми товарищами, и все вокруг нас будет смеяться. Мы часто будем вспоминать об этом времени. Наш ребенок вырастет, пойдет в школу, у него появятся братья и сестры, весь дом будет полон озорных, веселых детей, Петруша. Думать о предстоящем счастье прекраснее, вероятно, чем пользоваться ним, так как это часто становится привычкой, которую не замечают.

Ночь спускается на нас.

В ней возрастают наше отчаяние и глухая злоба против жестокой судьбы.

Тирольская деревянная колыбель качает засыпающего ребенка. Рука Фаиме лежит на краю колыбели и скользит по мягким одеяльцам. Ее черные глаза отражают счастье ее души, и монотонная татарская колыбельная песня тихо звучит в низкой комнате.

Ребенок заснул...

Еще сегодня мои уши слышат иногда по ночам эту древнюю татарскую песню.

Мои глаза никогда не забудут образ экзотической женщины и нашего ребенка, даже если им доведется ослепнуть.

Как дальние раскаты грома сообщения о революции Керенского проникали к нам в глушь. Старые, отслужившие солдаты возвращались с фронта и рассказывали нам, что там происходило. Они были вооружены до зубов, усталые, голодные, оборванные. Им приходилось силой пробиваться домой, так как принятые еще царским правительством приказы о явке по-прежнему выполнялись незнающими, новобранцы отправлялись на фронт, но уставшие от войны фронтовики самовольно бежали с фронта домой. Железнодорожные сообщения стали нерегулярными, когда-то строго соблюдавшиеся расписания уже давно утратили силу, поезда опаздывали уже не на часы, а на сутки. Фронтовики пользовались любой возможностью, даже на крыше вагона, чтобы попасть к себе домой.

Для нас, пленных, значение имел только один четкий факт: война продолжалась. Поэтому мы по-прежнему содержались под стражей.

Безразличные ко всем этим событиям, почти не понимающие смысла происходившего, крестьяне со всех сторон теперь снова с санными караванами приезжали в Никитино, с ними появлялась там также и привычная жизнь и поступки.

Эти люди потрясли нас своим по-детским беспечным сознанием.

Несколькими днями раньше к братьям Исламкуловым поступили телеграммы, содержание которых почти всегда было одинаковым: «Деньги переведены, несем всякий риск, полностью доверяем новому правительству». И в действительности, несмотря на неразбериху в государственном устройстве, деньги по телеграфу поступили в Никитино.

Крестьяне продавали свои горы шкурок и получали, как обычно, за них деньги в звучной монете.

Ко мне все время подходили крестьяне, пожимающие мою руку с большой благодарностью, долго и благоговейно, снова и снова.

- Как нам отблагодарить тебя, барин? Наши женщины родили детей, сильных, крепких, и мы будем любить их, как будто они наши собственные. Вы принесли всем нам так много добра усердной работой, очень увеличили наши посевы, построили нам прекрасные дома и хорошо обучили нас ремеслу.

Удушье отступило от меня, потому что достаточно часто мне приходилось думать об озабоченных лицах товарищей, как только я упоминал многих влюбленных в них девушек и женщин из разных деревень. Гроза, которая витала над их головами, миновала.

По-детски беспечное сознание крестьян было непонятно нам, европейцам – оно взяло верх над нами. Они стояли вне истории своей страны – они были едины с вечной праприродой.

Снова проснувшаяся жизнь охватила все, и в ее широком, вечно неизменном, не знающем ни прошлого, ни будущего потоке скользили наши дни, со всеми старыми привычками, которые время навязало нам.

И безразличная природа тоже не обращала на нас никакого внимания.

За ночь подул теплый сухой ветер, похожий на альпийский фён, снежные сугробы оседали и таяли, река вышла из берегов и затопила широкие просторы лесов и лугов.

Пожар разгорается

Перелетные птицы, с длинными, вытянутыми вперед шеями, многотысячными кричащими стаями пролетали и этой весной через наш городок, садились на короткое время на землю, чтобы отдохнуть и потом снова продолжать свой путь на север. Отдельные отстающие следовали за ними, но скоро и они исчезали из виду.

Крестьяне снова забрали себе их работников. Нужно было возделывать землю, новый посев должен был принести новый урожай.

Разве огромная Россия и весь мир не были ничем потрясены?

Но не было остановки, не было отдыха.

Незабываемой осталась для меня встреча с Марусей.

После визита к Ивану Ивановичу мы с Фаиме вернулись домой, и я как раз собрался пойти в кино, чтобы подлатать там несколько поврежденных мест киноплёнки, как вдруг Ольга, горничная, подбежала ко мне в смятении.

- Барин, там пришла какая-то нищенка... хочет поговорить с вами... Не могу ее прогнать.

- Ну, так дай ей чего-то поесть и попить, – отвечаю я и тянусь к кошельку.

- Нет, барин, эта женщина не хочет ни есть и пить, и денег тоже не хочет, она только хочет непременно поговорить с вами, только с вами.

На кухне стоит Маруся.

На руках она держит закутанного в лохмотья ребенка, рядом с ней стоит мальчик, маленький, но уже коренастый мальчуган лет четырех, белокурый, с большими, синими, ясными глазами. Они проникают глубоко в душу, так как они неосознанно печальны.

Я смотрю на женщину. Ее прекрасное лицо болезненно прозрачно, ее глаза излучают блеск безграничной набожности и веры в ее дело, ее непреклонную волю. Пестрый платок обрамляет бледное, усталое лицо. На ней толстая, грубо залатанная кофта, на которой в нескольких местах расходятся серые швы, короткая юбка трудноопределимого цвета, толстые, черные шерстяные чулки, крепкие, но уже очень изношенные мужские сапоги, на которых еще заметны отрезанные голенища.

Какие благосклонные руки подарили эти ценности женщине, чинили их и сшивали снова, нерасторопно, но основательно и с самой большой тщательностью?

- Федя..., шепчет она, и ее прекрасные глаза наполняются слезами, – Федя... барин... – вы... тот самый арестант, с которым был скован Степан...? С трудом она произносит слова, которые теперь, наверное, кажутся ей ужасными.

Внезапно я слышу, как колотится мое сердце.

- Да, Маруся, это я! Ты можешь оставаться у меня, сколько ты хочешь.

- Я потеряла Степан!... Я больше не знаю, где он... Я потеряла его, хотя я снова и снова искала его, но мои дети, это мой самый маленький, – она разворачивает лохмотья с грудного ребенка, который продолжает беспечно и счастливо спать, тогда как по лицу матери мелькает радостная улыбка. – Он родился в тюрьме, когда я была со Степаном, – добавляет она боязливо. – Я не хочу оставаться долго, хочу только немного отдохнуть... я так устала от вечного странствования. Мои ноги больше не держат меня, и дети... тоже хотят отдохнуть, больше не могут идти со мной. Я еще должна кормить малыша, и это отбирает у меня последние силы. В Тайге [станция на транссибирской магистрали близ Томска] меня приютил сельский учитель, он тоже написал письмо в Петербург. Я всегда хранила твой адрес рядом со святым крестом на груди, и там тут же прибыли деньги, и написали, что ты в плену в Никитино, Федя, я непременно должна была ехать к тебе, и также должна была передать тебе привет. Но я уже не помню, как звали тех людей, кто послал мне деньги. Это был татарин. Я показывала его письмо, и татары всегда принимали меня, и давали мне еду и питье. И дорогу в Никитино тоже мне показали, привезли к железной дороге, купили билет и дали мне с собой еды на много дней. Также и здесь они показали мне дорогу к тебе. Теперь я здесь, но ненадолго, Федя... Я пойду дальше искать Степана, вероятно..., может быть, я все же найду его. Мы так сильно любим друг друга. Что для меня жизнь без него... Я точно найду его. Ведь существует еще справедливый, добрый Бог, который помогает нам вынести горе и который любит нас.

Я между тем посадил женщину на скамью. Спящего ребенка она держит на руке, другой стоит рядом и смотрит на меня и на мать вопрошающими глазами, так как на столе уже ждет еда.

Тихо, не говоря ни слова, невероятно боязливо маленький мальчик приближается к столу и смотрит на блюда задумчивыми глазами, полными тоски. Печально опускается его кудрявая, льняная голова, потом он снова осматривает, немного со стороны, это великолепие.

Высокая скамейка, толчок, и я высоко поднял сорванца, вложил ему ложку в руку, он должен есть.

Как молодое, неловкое животное он бросается на еду. Он забывает все, что стоит на столе, он лишь снова и снова кусает толстый кусок хлеба. Он отложил ложку, но он держит хлеб в своих маленьких, радостных ручках. Он знает хлеб, так как нищему сначала дают хлеб – и лишь потом что-то еще, иногда.

Не был ли сам я когда-то нищим?

Боязливо садится за стол Маруся. Воодушевленно ее взгляд скользит по еде, все же и она сначала хватается хлеба, и только после первого куска она крестится; голод заставил ее забыть об этом.

Наташа и Ольга вытирают слезы своими фартуками. Потом мы отворачиваемся от них. Мы не хотим мешать им, и делаем вид, как будто у нас есть более важные дела, чем наблюдать за ними.

Когда я потом снова возвращаюсь в кухню, я вижу Марусю, сидящую, скорчившись, в углу, где висит икона. Она спит, в руке ребенок.

Положив голову ей на колени, растянувшись во весь свой маленький рост, на скамье спит мальчик. Тихо, стараясь не шуметь, Наташа и Ольга хлопочут на кухне.

- Мама... Хлеб..., – внезапно шепчет испуганно ребенок во сне. Его детский ум уже знает, что бедная мать не может дать ему ни кусочка хлеба, поэтому он просит так испуганно. Вероятно, он уже сам чувствовал мучения замученной и отчаявшейся матери, которая не может ничего ему дать.

Маруся! Ты навсегда останешься для меня воплощением святой матери.

Иван Иванович приходит ко мне. Он серьезен.

- Федя, приехали восемь человек из Омска, уполномоченные правительства Керенского, которые хотят все реорганизовать в Никитино; приди ко мне. Я должен поговорить с тобой и моими прежними подчиненными.

В жилой комнате полицейского капитана я встречаю Иллариона Николаевича, затем прибывшего несколько дней назад есаула – ротмистра – казачьей дивизии Сибирского казачьего войска, унтер-офицеров полиции, представителей тюремной стражи, чиновников городской управы, Кузьмичева, Лопатина и нескольких старых солдат конной полиции.

Когда дверь открывается и появляется полицейский капитан, все вытягиваются по стойке «смирно», потом мы садимся.

- Ваше превосходительство, господа! – начинает капитан. – Люди, посланные правительством Керенского, прибыли к нам в Никитино, чтобы реорганизовать все в нашем городе. Старое должно исчезнуть и взамен этого вводится новая система управления гражданских органов власти и учреждений военной администрации. Большинство из нас принадлежит к старому режиму, мы служили ему, присягали ему в верности. Старый режим пал, мы должны, хотим мы или нет, подчиняться предписаниям нового правительства. Я обращаюсь ко всем вам больше уже не как полицейский капитан, а как житель Никитино, который когда-то должен был заботиться о безопасно-

сти населения. Обсудить нужно только один вопрос: освобождение преступников в нашей тюрьме на основании общей амнистии. Это в целом 318 преступников, и в их числе нет ни одного политического. Я хотел бы услышать ваше мнение об этом, и потому я тоже вас пригласил. Я покину свой пост, только если против меня применят силу. Не по причинам принципиального сопротивления против нового правительства, а лишь потому, что я считаю безумием выпускать каторжан на незащищенное население. Мы знаем, какие ужасные эксцессы произошли в Петербурге и других крупных городах, и я хочу избежать этой ситуации, которая непременно произошла бы также и в моем городе.

Поднимается крепкий, стройный казачий есаул.

- Мы, офицеры, выполнили свой долг, и мы готовы продолжать выполнять его и в дальнейшем. Наши подчиненные должны судить о нас, и я готов подчиниться их мнению. Тем не менее, я считаю, что освобождение заключенных было бы гнусным преступлением по отношению к населению, и мы должны защитить себя от этого.

- Нельзя ли было бы перевезти каторжан в большой город? – замечает генерал.

- Нет! – отвечает резко есаул. – Представители нового режима отказываются от этого. Они настаивают на освобождении.

- Освобождение невозможно! Наши женщины, дети, все наше имущество, наши дома, все будет уничтожено! – звучит со всех сторон.

- Мы согласны подчиниться новому режиму, нам не остается ничего иного, – говорит подчеркнуто представитель городской управы, – но на освобождение преступников мы ни в коем случае не можем пойти. Это было бы безумием!

- Иван, – говорю я неуверенно, – вся страна должна будет подчиниться новому правительству. Никитино не может стать исключением. Но мы все хотим попытаться противостоять неизбежному.

- И что это могло бы быть, господин Крёгер, по вашему мнению...? – прерывает меня есаул громко и резко.

- Это значит, предоставить оружие и патроны в распоряжении тех, кто был уполномочен и призван защищать население, и делал это до сих пор, чтобы при необходимости предотвратить опасность.

Все глаза направлены на меня. После месяцев и лет нашего совместного существования я читаю в них недоверие.

- Пленные, естественно, должны вести себя пассивно, добавляю я, – но если опасность очень велика...

- В целом в нашем распоряжении из числа полицейских, конных и пеших, а также обученных солдат, это в большинстве случаев сибирские стрелки, 46 человек. На каждого, таким образом, приходится примерно десять арестантов. Но может случиться так, что преступники добудут себе оружие, тогда наши силы будут слишком неравны. Всех, кто окажет сопротивление, зверски убьют после возможной их победы. Мы же все это понимаем, – говорит Иван Иванович спокойным голосом.

- У меня нет возражений против того, чтобы вооружить также нескольких военнопленных, унтер-офицеров и уже давно работающих в городе солдат, – говорит генерал.

- Я против, – кричит есаул, – какое дело пленным до наших дел и наших беспорядков?

- Никакое, совсем никакое, есаул, – отвечает его превосходительство, – но нам следует непременно обеспечить себе абсолютную уверенность в нашей победе. В этом случае мы боремся не за победу как солдаты, а за безопасность наших семей. Я полностью согласен с предложением господина Крёгера и требую вооружить нескольких военнопленных, которых должны выбрать я, господин полицейский капитан, господин Крёгер и лагерный староста. Мы можем сразу проголосовать за это.

- Кто против? – спрашивает полицейский капитан.

- Я думаю, что никто, – говорит после короткой паузы есаул, – я вижу, что его превосходительство, несомненно, прав.

Ночью оружейный склад был открыт, винтовки и патроны проверены, станковый пулемет произвел несколько выстрелов вне города, мужчины приходили и уходили, всех их вооружали и обеспечивали достаточным количеством патронов.

Утром состоялись долгие переговоры происходили между представителями Никитино и комиссарами правительства Керенского.

В полдень Иван Иванович пришел ко мне. Он был спокоен и даже расслаблен; но его жена была лихорадочно возбуждена от волнения. После обеда мы пошли в лагерь военнопленных. Фаиме и ребенок остались там, также Екатерина Петровна и многие женщины с детьми оставались под вооруженным надзором моих товарищей. Настроение всюду было очень напряженным; освобождение преступников предстояло в самое ближайшее время.

К вечеру каторжан освободили.

Парами или по одиночке они подходят к наковальне, кузнечный молот поднимается и опускается, цепи падают. Молча и нерешительно амнистированные стоят в стороне на тюремном дворе, некоторые из них идут, они безучастны и апатичны, не знают, что им делать. Другие стоят мрачно и угрожающе. Они не верят своей свободе.

- Товарищи! Свободный русский народ! Наконец, цепи ненавистного нам всем и проклятого царского режима пали! С невероятной силой поднялся народ по всей стране для не имеющей себе равных революции. Теперь у вас есть вся эта долгожданная свобода. Больше нет кнута, нет убивающего, лишаящего свободы, кровожадного абсолютизма! Смертная казнь упразднена!

Душераздирающий крик прерывает слова уполномоченного и все умолкает.

Тюремный надзиратель и преступник покатались на землю. Арестант уже вырвал у мужчины пальцами оба глаза из глазниц, душит залитое кровью лицо, едва задушенный крик еще можно увидеть на судорожно сжатых губах жертвы. Немногочисленных стоящих вокруг конвоиров внезапно начинают избивать, комиссар пытается убежать, но его тоже задерживают, и спустя мгновение его лицо превращается в сплошную кровавую массу. Трещат отдельные выстрелы. Некоторые из заключенных падают на землю.

- Мечь!... Бегство!... Убивайте...! – звучит теперь со всех сторон.

Проходит продолжительное время. Смеркается.

По пустынным улицам медленным шагом идут освобожденные преступники. Дома и избы заперты, городок как вымер.

Я вижу, как вдоль торговой улицы спокойно идут двое представителей правительства Керенского. У них есть мужество встретить заключенных, присоединиться к их толпе.

- Товарищи! Вам нечего бояться, смертная казнь отменена, ваше поведение нам понятно, ваши угнетатели должны идти прочь. О еде, питье и одежде позаботятся! Идите в гостиницу.

- Нет, братишки, мы это уже знаем..., – отвечают насмешливо преступники, и уже оба мужчины схвачены. Они уже больше даже не защищаются.

Дверь в гостиницу моего домовладельца выламывают силой, скованные и заключенные входят внутрь. Они не находят там ничего, так как ни об еде, ни о питье никто своевременно не позаботился. Спустя короткое время два

страшно изувеченных трупа выкидывают из дома. Это оба представителя правительства.

Под угрозой продуктовые лавки должны открывать свои двери. Без разбора преступники выносят продукты, ругают владельцев, уничтожают все, что не могут унести. Наконец, в городке успокаивается. Ночь наступает.

Она жаркая, раскаленный ветер гонит песок к окнам.

Никто не может спать этой ночью. Каждый, у кого есть дома хотя бы коса, серп, топор, секира, судорожно сжимает их в руках.

- Дайте нам водки! Дайте нам баб! – шумят сумбурные голоса то здесь, то там.

Маленькие входные двери поддаются, каторжники вваливаются внутрь. Женщины и дети кричат. Течет кровь через пороги нескольких дверей.

Там трещит выстрел.

Ревущие мужские голоса, которые нельзя разобрать. Снова звучат отдельные выстрелы, залп, еще залп следует, снова несколько выстрелов.

Перед моим домом я вижу, как бегут арестанты. Они все вооружены! Прежние каторжане указали им дорогу, немногочисленная охрана оружейного склада была перебита после измены.

К полудню есаул скачет по торговой улице, голова его обмотана полотенцем; оно пропитано кровью.

- Выдвигайтесь! Займите выход к рынку. Заманите их всех туда, любой ценой! Шпоры в крови, лошадь встает на дыбы, скачет дальше.

Мгновенно я с двадцатью товарищами, Кузьмичевым и Лопатиным перед почтой, мгновенно насыпаются земляные валы, и мы бросаемся за них. Перед нами простирается рыночная площадь.

Спустя короткое время я вижу справа, как маленькая группа стреляющих арестантов прибывает на площадь. Звучат выстрелы стрелков, которых мы сначала не видим, так как они снова и снова прячутся за административными зданиями. От угла к углу они приближаются к каторжникам. Я по мундирам понимаю, что это отряд полиции.

Можно слышать каждый выстрел, так как они звучат с большими промежутками, но после каждого выстрела один арестант валится на землю.

Слева от нас солдаты, нагнувшись, бегут вдоль улицы. Они тоже спрячутся за избами. Теперь большая группа стреляющих преступников бежит за ними. Они взбираются на крыши, спрячутся за дымовыми трубами, и каждый угол служит им прикрытием.

Без поспешности, как будто им придется стрелять в лесного зверя, сибирские стрелки поднимают свои винтовки. Они, похоже, с удовольствием стреляют в голову заключенным, которые, как подстреленные глухари, валятся на землю.

Наконец, мы видим как большая часть бандитов, с криками и воплями, приближается к рыночной площади. Среди них очень многие в штатской одежде. Это те жители Никитино, которые симпатизируют каторжанам, прежние, освобожденные преступники, надеющиеся на успех, который может принести им богатую добычу.

Наша цепь стреляет.

Все же и первые вражеские пули уже свистят мимо нас, поднимают насыпанный как брустверы песок.

Теперь выстрелы трещат со всех углов рыночной площади.

Велико мужество, сильно презрение к смерти у преступников. Они подбегают к нам, понятия не имея о самой примитивной военной хитрости.

Наши обоймы щелкают, звучит выстрел за выстрелом. Пришел момент, когда нам скоро придется уступить их численному перевесу. Рев нападающих становится все громче, похожий на звериный рык, они видят свой успех, хотя на обоих флангах стрелки тоже ведут оживленный огонь. Рыночная площадь покрывается множеством дергающихся, кричащих тел.

Но внезапно, что-то тяжелое неуклюже шлепнулось на меня, с другой стороны другое тело: Иван и есаул притащили пулемет и устанавливают его на позиции.

Секунды проходят... Тишина...

Пулемет лает над моей головой.

Всей силой я сбрасываю тело с себя. Я слышу проклятия... это мой друг Иван. Он бросился на меня, чтобы меня прикрыть.

До нападающих меньше ста шагов. Пулеметная лента пуста, пулемет молчит, так как есаул ранен. Я смотрю, как по его глазам разливается брызгающая, струящаяся кровь, как мужчина, ничего не видя, тянется к новой ленте, пы-

тается стереть с лица кровь, как появляется Лопатин, снова ругается капитан, есаул падает..., но потом пулемет снова грохочет.

Прищурившись, совершенно спокойно, твердой рукой, капитан ведет огонь очередями, хотя арестанты снова приблизились к нам на несколько метров. Пулемет лает до тех пор, пока последние пули понеслись вслед убегающим бандитам.

В пивной моего хозяина обосновались оставшиеся арестанты. Оттуда слышны отдельные выстрелы. Мы наблюдаем из-за изб.

- Ты возьмешь четыре бидона с керосином у Исламкуловых, – обращается Иван Иванович к Лопатину, – ты, Кузьмичев, и ты, Фадеев, тоже. Потом мы подожжем дом, и вернем себе наше спокойствие. Вперед! Марш, марш!

Примерно десяток стрелков выстраиваются, за ними полицейский капитан хватает бидоны с керосином, и беглым шагом идет к пивной, пока стрелки ведут свой уничтожающий огонь по каждой высунувшейся голове.

Двенадцать бидонов керосина выливаются на наружные стены дома. Огонь взвивается до небес.

С возбуждающим нервы спокойствием капитан возвращается к нам.

Час спустя дом разваливается и становится похожим на огромный факел, в который влетают мириады молей, мух и жуков. Огонь ночью выглядит зловеще. Вокруг нас тягостная тишина, хотя мы все собрались у огня.

И тут и там произносится, наконец, слово. Мужчины разорваны, грязны, некоторые сняли рубашки, и я вижу, что их тела сильно вспотели от жаркой ночи. На них отражается пылающий огонь.

- Идите по городу и скажите всем...

- Пожар!... Пожар!... Лес горит!... Горит! – визгливые голоса прерывают полицейского капитана.

Далеко вдали мы видим, как высокий, пожирающий огонь бушует в лесу, и вслед за ним огонь поднимается еще в трех других местах.

Тайга горит в четырех местах.

- Великий Боже! Тайга горит! – панический ужас слышен в шепоте мужчин.

- Каторжники подожгли лес!

- Пусть все церкви бьют в колокола, предупреждают о пожаре! Двадцать стрелков должны наблюдать за городом! Все население должно приступить к тушению пожара! Нужно поднять всех пленных! – отдает приказы капитан.

Как сорванные ветром, мужчины разбегаются по сторонам.

- Лес за рекой горит. У нас есть один единственный паром. Если не произойдет чуда, Федя, все Никитино, которое лежит на другом берегу реки, сгорит. Достижения революции, углубление революции, свобода... Он смотрит на меня и горько улыбается. – Пошли, мой дорогой, – и его рука тяжело ложится мне на плечо.

Маленькая, вооруженная топорами, пилами и канатами, лопатами, тямками и ведрами толпа уже стоит в воде готовая к бою. Паром отталкивают. Отчаянно медленно приближается он к другому берегу, хотя ширина реки всего двести семьдесят метров. Быстрым маршем мы идем к месту пожара.

Двое солдат поспешно удаляются, чтобы поймать проклятого поджигателя.

На берегу стоят боязливые крестьяне. Лопатин остается на другом берегу и руководит перевозкой людей. Вокруг городка нужно прорубить просеку шириной примерно десять метров. Уже слышны первые удары топора, уже падают первые срубленные деревца и кусты.

Прибывают одна группа за другой, они распределяются, начинается лихорадочная работа. Полицейский капитан непреклонен. Сложив руки как рупор у рта, он выкрикивает свои команды. Военнопленные работают рядом с населением. Одно дерево падает за другим, кусты, ветки, все трещит и трескается. Множество рук хватают сваленные деревья, относят в сторону от просеки, возвращаются и тащат снова.

Спешка, беспокойство, горячка царят среди людей.

Неподалеку слышно шипение, шелестение, свист. Он становится громче, отчетливее. Ветер несет огонь ближе к просеке, которая достаточно широка только в нескольких местах.

Прошли часы. Уже посветлело, и солнце знойно и непреклонно жгло с безоблачного неба.

Яростный огонь уже подступал к нам. Он сначала бежал вдоль земли, охватывал кустарник, чащу, карабкался по деревьям, окутывал их кроны плотным едким дымом, пока огонь не охватывал всю крону и беспорядочно валил деревья в разные стороны. Жар становился невыносимым, дым выедал глаза, едва можно было что-то видеть.

Люди отходили назад перед силой огня.

- Кто отступит, будет застрелен! – рычит полицейский капитан, махает «наганом» на высоте бедер, уже трещит выстрел, один мужчина падает на землю; еще дважды лает револьвер, еще два человека падают прямо у огня. Женщины кричат, мужчины хватают их грубо и сильно, заставляют их сыпать ведрами песок на маленькую, тонкую просеку. Они бьют своих женщин в лицо, они отталкивают их в сторону, сами хватают ведра и лопаты и насыпают песок, как будто охваченные безумием. Снопы искр поднимаются, снова и снова пытаются перескочить через просеку, падают на близкий лес. Лопаты песка душат их. Едкий дым снова подкрадывается к нам, знойный жар стоит перед нашими глазами, целая стена огня. Она отступает, падает на просеку, песок сыплется на вспыхивающий огонь, всюду женские руки, кулаки мужчин с лопатами отбивают пылающий жар так долго, до тех пор пока черенки лопат сами почти не начинают гореть.

Лес высох от продолжавшейся сутками солнечной жары. Огонь силен и жесток, но воля человека удерживает его. Каждая искорка, каждый крохотный красный маленький язычок огня засыпается песком, потому что всюду следят за огнем видящие глаза, только руки и кулаки, которые не знают усталости.

Внезапно, подобно волне, все поднимают головы.

Люди застывают.

За ними, откуда они пришли... горит!

Теперь огонь пожирает лес с двух сторон.

Как сатана, окруженный мерцающим пламенем, стоит там каторжник. Не слышен его смех, видно только искаженное наслаждением лицо, широко раскрытый рот, дико-всколоченную бороду, в форме когтей широко расставленные руки.

Сатана зажег огонь за нашей спиной. Он спрятался под кустом, так как никто его не видел. Когда мы углубились в работу и увидели только огонь и опасность перед нами, он зажег лес позади нас.

Винтовка вскинута, неслышный в шуме пожара выстрел, залитое кровью лицо арестанта, тупой взгляд, шатание, спотыкание, падение.

Масса, которая согнана теперь на тесную просеку, похожа на стадо. Женщины и мужчины падают, пронзительно кричат, видят со всех сторон только лишь смерть, и их топчут бегущие, спотыкающиеся, кричащие. Они потеряли разум, они лишь охвачены паническим ужасом, который доводит их до безумия.

Уже огоньки пламени извиваются над просекой. Их больше никто не тушит, не останавливает.

Медведица с двумя годовалыми медвежатами, лось, несколько лосих недалеко от нас с безумными глазами пытаются прорваться через густую тайгу. Зайцы подскакивают мимо, я вижу птиц, пролетающих сквозь дым.

Я вижу группу примерно из ста пятидесяти немецких и австрийских военнопленных, также и с другой стороны я вижу товарищей, в том числе Ивана Ивановича, черного от сажи и дыма, которые через чащу подходят к нам. Спокойные нервы и небольшое присутствие духа позволяют нам определить обходной путь.

Толпа хлынула по неровной лесной дороге. Движемся к реке. Там, видя воду, их безумное возбуждение успокаивается, но полицейский капитан уже выкрикивает свои приказы в середине толпы. Паром раз за разом перевозит людей, другие, среди которых я вижу много военнопленных, бросаются в избы и выносят оттуда в руках немногочисленные пожитки населения.

Огонь не знает границ, и его мощь настолько сильна, что скоро не только посева, а уже первые избы и их крыши начинают дымиться. По улицам бегут куры, лошади, овцы, быки, они топчут людей и все вместе скапливаются у реки, на большом, свободном месте.

Там нечему гореть.

Паром едва ли может принять убегающих людей. Он частично уже под водой. Объединенными усилиями мужчины тянут паром за стальной трос. Не успела большая часть людей выйти на другом берегу, паром снова тянут назад. Люди падают на мелководье, останавливаются и ошарашено оглядываются на море огня.

Люди все еще бегут по улицам, снова и снова они исчезают в маленьких, почти развалившихся избах, спасают свое последнее имущество, свои иконы и лампы, пока беззвучные слезы текут по их лицам.

Человеческий крик заглушается ревом и топотом скота. Тщетно пытаются люди спасти скот, животные упрямы, неуправляемы, кусаются, убегают, с пронзительным ревом бегут дальше. Они обезумели перед постоянно приближающимся огнем.

Огонь охватил двести изб.

Даже река кажется огненным морем.

На берегу, на широком, свободном месте, стоят лошади, коровы, телята, овцы. Они сжались в тесный, дрожащий, ржущий, мычащий, ревущий клубок и пристально смотрят на другой берег.

Там стоят и сидят крестьяне с их женами и детьми. Вокруг них лежат разбросанные без разбора их немногочисленные пожитки. Глубокая печаль и безнадежность видна на лицах. Матери держат спящих грудных детей на руках, слышны всхлипывающие детские голоса, которых никто не пытается успокоить. Многолетний труд, печальная жизнь, полная лишений, едва взошедший, зачахший посев, немногие, заботливо оберегаемые пожитки, которые они копили – все это большей частью уничтожено.

Что ждет их всех? Голодная смерть?...

Их пальцы судорожно сжались в грозящий кулак, теперь они медленно распрямляются, и люди набожно крестятся.

Всю ночь бушует огонь; ужасающе сильный, непреодолимый! Когда он утих, первые снова переезжают туда.

Их скот толпится навстречу им. Дрожащие руки обнимают шею маленькой, косматой лошади, которая представляет собой наибольшую ценность бедняка. Слезы падают на голову боязливого, остававшегося без надзора животного.

Муниципалитет по хвастливым законам любой революции стоял под девизом: «Все для народа». Но для народа не было никаких денег, потому что прежнее правительство из-за коррупции оставило казну совершенно пустой.

Иван Иванович, хотя теперь он больше не был начальником, появился в новой городской управе. За ним толпились крестьяне сожженного района.

Короткая беседа закончилась рукоприкладством, потому что бывший полицейский капитан избил двух революционных комиссаров, и так как тут было много крестьян и солдат, которые взяли под защиту их прежнее начальство, Иван Иванович получил разрешение использовать находящиеся в работе лесопилки и машины и весь имеющийся в распоряжении персонал для восстановления сожженного района.

Таинственное открытие

Время шло дальше.

Всюду кипела работа, да, даже не хватало рабочих рук. Лагерь военнопленных был пуст. Крестьяне все больше и больше расширяли свои поля. Они чинили свои избы, строили новые и все увеличивали.

И на месте пожара тоже появилось уже много новых домов.

Мой сын рос прекрасно. Он был большой и сильный, и если он кричал, когда хотел есть и тянулся к матери, его было слышно далеко повсюду. Когда он был сыт, его черные глаза сияли как блестящие угли, он становился озорным, смеялся и хватал мой нос, мои уши, волосы и пальцы. Все это делало меня бесконечно счастливым.

- Я думаю, Федя, ты выполняешь все желания твоего ребенка, – поддразнивал меня мой друг Иван, если видел, как я играю с ребенком.

- Я вижу, как Петр часто хлопчет у колыбели. Он – настоящая мать-медведица, – говорила Фаиме.

- Скажите, Фаиме, не хотите ли вы все же окрестить ребенка? Он уже достаточно большой! Сейчас это языческий ребенок!

- Это не так просто, Иван Иванович, так как отец и мать принадлежат к разным религиям. Мы хотим еще немного подождать!

- Подождать... подождать..., Фаиме, правильно... пока вы оба не будете дома... Конечно же, об этом я не подумал...

- Но вы же еще обещали нас сопровождать? Неужели вы теперь не хотите?

- Вовсе нет, Фаиме... я хочу... Я даже обещал Крёгеру сопровождать его в Германию. Это также моя последняя надежда, если я больше не могу служить России, моему отечеству.

Но это же не может долго продолжаться, Иван Иванович!

- Нет, Фаиме... это не будет больше долго продолжаться... Это и не может больше долго продолжаться! Вы правы...

- Я сделаю тебя директором фабрики, Иван, при твоём импозантном виде это как раз подходящая должность для тебя.

- Но я все равно как-то однажды вернусь в Никитино, Федя, в эту глушь и монотонность, которую я так часто проклинал. Что я увижу здесь, как это здесь будет, кто останется живым? – звучал задумчивый голос моего друга.

- Мы все посетим Никитино. Как мы сможем забыть, вообще, все то, что мы здесь испытали? Мы посетим наших друзей в Забытом, моих братьев, охотников на пушного зверя в разбросанных деревнях и поселках и все вместе порадуетесь встрече, – сказала Фаиме, и в ее словах звучала та же мечтательность, что и в словах капитана.

- Мы тогда станем совсем другими, не такими, как сегодня, – произнес все еще задумчиво Иван Иванович. – Я больше не буду носить мундир, больше не буду служить царскому орлу, и никто не будет бояться меня как когда-то и теперь все еще, и пережитое будет казаться нам только сном. Мы пришли сюда как чужаки, и мы тоже снова уйдем отсюда, но люди, которые всегда здесь жили, они остаются вечными, как природа вокруг них. И если нас больше не будет, здесь все будет точно так же, как теперь, как это было всегда. Федя, нам нужно бы еще раз съездить в Забытое! Никитино это уже достаточно дикая местность, но Забытое стоит на краю вечности. Кто знает, вероятно, у нас больше не будет возможности увидеть все это еще раз.

Небольшая подготовка к поездке в Забытое проведена. Илья Алексеев, деревенский староста, даже приезжает к нам в Никитино, чтобы сопровождать нас в свою деревню.

Маленький караван тарантасов качается и трясется над неровностями сибирской дороги в середине дикого леса. В первой повозке сидят Иван Иванович, староста из Забытого и я. В следующей повозке Фаиме с ребенком и Екатерина Петровна. За нею ползет телега с нашими вещами, потом еще несколько повозок с крестьянами и их покупками с рынка.

Мы едем часами. Когда путешественники устают от сиденья, они выходят и идут рядом с тарантасами, пока на более ровном месте лошади снова переходят на проворную рысь.

Иван Иванович, когда-то всемогущий начальник всей округи, ничего не утратил от своей прежней славы, хотя теперь он важно шагает в штатском костюме рядом с караваном. Его выправка и походка сразу выдают в гиганте офицера. В руке он держит заряженную трехстволку, и опытный глаз постоянно высматривает в лесу, нельзя ли подстрелить какую-то дичь.

Испуганно и неразговорчиво крестьяне проходят мимо него. Они чувствуют себя карликами рядом с ним и даже не решаются взглянуть на него.

На другой стороне иду я, возле меня Илья, у нас тоже заряженные винтовки в руках. Трудная дорога кажется нам короткой, потому что по дороге мы бол-

таем друг с другом, курум свои маленькие трубки, поем песни, которые Илья сопровождает на многоголосой гармонии с полной мощностью, в полную грудь, и с горящими глазами.

Мы на месте, где раньше ответвлялась дорога на Забытое. Несколькими большими шагами Илья оказывается возле Ивана Ивановича.

- Если наступят совсем плохие времена, вы, ваше высокоблагородие, приедете к нам, к мужикам, мы примем вас, и никто не узнает, где вы остались. Здесь, в этом месте, только очень узкая дорога. Он ведет по лесу вдоль и поперек, найти ее очень трудно, но вы не заблудитесь. Через полдня вы выйдете на лесную просеку, которая приведет вас к густым, заросшим кустам. Внешне выглядит так, как будто бы дорога там закончилась. Через кустарник, он, пожалуй, колючий, потому что мы там посадили кусты собачьей розы, вам придется перелезть. Снова маленькая, едва ли узнаваемая, очень узкая дорога, и она приведет вас после добрых двух суточных переходов в Забытое. Нельзя ничего знать, могут прийти плохие времена. Подумайте обо мне, ваше высокоблагородие... тогда приедете к нам. Мы спрятались в лесу, и нас так легко больше не найдут...

Через продолжительное время караван останавливается у известного мне куста. Крестьянин берет лошадь первого тарантаса в поводьях и вводит ее прямо в густой кустарник. Другие лошади сами следуют за ней. Несколькими минутами позже дорога снова абсолютно пуста и покинута, куст со своими ветками сомкнулся за караваном, как будто бы он бесследно исчез.

Прошло немного времени – и мы на берегу реки.

Как и раньше, у берега качаются несколько плотов, прикрытых густым кустарником. Маскировка убирается, крестьяне заводят лошадей на плоты и закрепляют повозки. Короткие хлопоты, несколько криков, мы отчаливаем, и после нескольких ударов весел мы уже на середине лениво двигающейся реки.

Мой друг Иван сильно плюет себе в ладони, когда он видит, как я хватаю весла. Он заменяет Илью и гребет со мной.

- Эй, ухнем, эй, ухнем... – звучит старая песня волжских бурлаков; растекается, звенит и медленно скользит, грустно и жалобно, над водой.

Светлый, туманный вечер Сибири окружает нас.

Возле моих ног сидит Фаиме, на руках спящий ребенок. Она похожа на необычную Мадонну. Поблизости от нее стоят растрепанные лошади. Они спят. От регулярных ударов весел они качаются туда-сюда. В стороне от нас, по-

грузенная в мысли, лежит Екатерина Петровна. Возле нее, у костра, сидит Илья; он молча готовит ужин.

Иван Иванович гребет, его ухоженные руки твердо держат весло, и он больше не бережет их, как когда-то. Время от времени его взгляд скользит ко мне, и я замечаю, что мягкие черты лица друга становятся почти печальными; тогда он снова глядит на воду, на проплывающий мимо лес, как будто он хочет проститься со всем.

Как странно... Между лошадьми и телегами молчаливые крестьяне сидят, застыв неподвижно. Только по дыму их коротких трубок заметно, что они живы.

Мы скользим дальше. Маленькие волны бегут от плота к берегам. Так же неслышно за нами скользят другие плоты, на которых тоже горят костры.

Мы не оставляем следа в дикой местности...

Солнце всходит. Один день проходит. Снова окружают нас сумерки, потом всходит луна, пока не склоняется к горизонту, когда поднимается солнце. Начинается дождь, мы мокнем. Солнце и жара сушат нас. И все продолжается дальше.

Теперь, наконец, издалека звучат человеческие голоса. Искусно спрятанная дорога встречает нас у берега реки, и плотно обсаженный лиственными деревьями проход ведет вглубь суши в залив. Много веселых людей, ожидавших всех нас, стоят там на берегу.

Мы прибыли в Забытое.

Много рук и глаз проходят вокруг нас, они радостны и честны. Короткая дорога через плотный кустарник, далекие поля, на которых всходит богатый урожай, первые низкие избы, между ними старая деревянная церковь со свечами, поблизости от нее стоит мой домик.

Дверь открывается и закрывается за нами.

Здесь я дома с Фаиме и моим ребенком. Это маленький, великолепный домашний очаг где-то в молчаливой глубокой Сибири.

Наступил вечер. В тесном кругу мы, наши жены, Иван Иванович, Зальцер, Илья и несколько охотников сидим перед избой деревенского старосты на краю церковной площади и беседуем об охоте.

- У меня есть предложение, – говорит Зальцер. – Тут есть один человек. Украинец, его зовут Василь, и он здесь живет уже примерно двадцать лет. Он

должен был сопровождать исследовательскую экспедицию в сибирскую тайгу. Тогда эта экспедиция погибла. Он уже давно здесь. Этот мужчина стал прекрасным траппером. Он утверждает, что недавно его возле болота, которое находится на северо-востоке, обстреляли стрелами какие-то незаметные люди. Одну стрелу он притащил сюда. Не интересно ли было бы исследовать эти места?

Мы просим мужчину прийти. Он среднего роста, по его движениям, рукам и глазам видно, что он – траппер, настоящий охотник на пушного зверя. Движения спокойны и искусны, его ладони и пальцы вряд ли можно отличить от древесной коры, глаза ясные и немного мечтательные, и, все же, в них есть что-то колющее, как у сокола.

- В Полтаве меня с несколькими другими молодыми мужиками наняли для экспедиции, – начинает говорить Василь. – Их было пятеро, иностранцы, так как только один из них знал русский язык. Мы сначала прибыли по железной дороге до Омска и спустились потом на санях по реке Обь. В какой-то деревне они доставали географические карты, и мы должны были перегружать большой багаж на свежих лошадях и сани. Наступила весна, на реках был ясный, гладкий ледяной слой, и мы использовали его, чтобы двигаться дальше. Вода на льду была очень низкой, и мы могли за один день преодолевать большие расстояния. Я тогда стоял на возвышенности, рубил дрова и собирал хворост, чтобы разложить костер, когда я внезапно услышал вверх по течению оглушительный грохот и шум. И когда я посмотрел вверх, то увидел паводковую волну, которая тащила за собой деревья, кусты и мусор и мгновенно погребла под всем этим наш караван на льду. Где-то далеко вверху треснул лед. Сила освобожденной воды и льда толщиной в метр была такова, что людей и животных безвольно унесло вниз.

На мгновения я видел их еще в бурных волнах, видел, как несло несколько волн и огромные льдины, затем все исчезло. Когда вода спала, я обнаружил, что здесь лед тоже был частично снесен, так как река вскрылась в нескольких местах, и множество рыб плавали вокруг или лежали выброшенными на берегу. Ниже по течению находилась деревня, из которой мы вышли, я точно знал это. Я должен был попасть туда, подумал я, потому что другой ориентации для меня не было. Утром другого дня я поблизости от берега реки, вдоль которого я постоянно шел, нашел порванную медведем дичь. Обе передних ноги были сломаны. Она лежала в яме. Когда я как раз с помощью топора принялся за нее, я услышал прямо за собой шипение и сопение медведя, но, едва заметив меня, он убежал, и я смог спокойно пожарить мясо. Бесчисленные дни бродил я. Я всегда таскал с собой поджаренные куски мяса, и так я добрался до Забытого. Так как у меня не было денег, чтобы вернуться в Полтаву, и мне со временем понравилось в Забытом, то я остался здесь.

- Ну, а как ты добрался до стрелы? – спрашиваю я Василя.

- На северной стороне деревни находится большое болото. В нем очень много «окон», мест с открытой водой, потому оно очень опасно. Что лежит за болотом? Я снова и снова спрашивал себя об этом. И вот однажды я отправился и целыми днями искал путь, который должен был провести меня через болото. Но пути не было, всюду были «окна», и длинная жердь, которую я взял с собой, чтобы опускать ее тут и там в «окна», нащупывая дно, всюду тонула. Потому мне пришла в голову мысль пойти через болото на коротких, широких лесных лыжах-снегоступах. Я выбирал проходимые места и почти через три дня дошел до края болота. Я провел там один день, чтобы все рассмотреть. Я нашел свежий помет лосей и медведей, места, где гнездились глухари и тетерева, и этого мне хватило, чтобы не умереть от голода. После дальнейшего перехода я добрался до старой каменоломни. Поблизости ее лежали разрушенные и брошенные маленькие каменные домики. Маленький ручеек бежал по лесу, я тогда пошел вдоль него, и он, очевидно, привел меня туда, где поблизости были люди. Когда я ранним утром убил там глухаря и принялся его жарить, то услышал вокруг себя странный шум и шелестение. Я снова и снова прислушивался, но никого не видел, пока внезапно стрела не пролетала мимо меня и не застряла в деревене на высоте моей головы. Я вырвал стрелу, схватил ружье и убежал. Я бежал до тех пор, пока через болото не добрался до Забытого, и хотел теперь вернуться туда с мужиками, чтобы поймать этих лучников. Но они не хотят сопровождать меня, потому что им до этого нет никакого дела. А мне любопытно узнать, что это за люди, которые еще сегодня пользуются луком и стрелами. Барин, мы хотим пойти туда! Я покажу вам дорогу, я ее еще прекрасно знаю, так как я достаточно долго искал ее. Те люди, которые живут по ту сторону болота, наверняка, боятся опасного болота. Или они боятся множества светлячков, которые светятся так таинственно. Что вы думаете? Есть еще много людей, которые скрыто живут здесь в девственных лесах. Пожалуй, тайгу и все ее тайны никогда не смогут изучить полностью, потому что она слишком велика!

Дважды заходило солнце. Мы были снаряжены для предстоящей экспедиции.

Четыре охотника, в том числе Василь, Иван Иванович и я, выступили в поход. Мы выглядим действительно необычно. На лице очки, на них и на всю голову натянута маска из тонкой кожи из козьих шкур, на теле рубашку из такой же кожи, на руках тонкие перчатки, которые зашнуровываются поверх запястий. Наше продовольствие состоит преимущественно из черного ржаного хлеба, чая, сала, соли, перца; очень много патронов, винтовки и охотничьи ножи. Каждый несет на спине пару короткой лесной обуви – лыж-снегоступов.

Едва мы вошли в лес, как на нас со всех сторон напали комары. Наши кожаные маски защищают нас от их укусов. Через стекла очков я могу видеть, как тысячи, целые тысячи, мириады маленьких и больших комаров бросаются на нас, пытаются пролезть в каждое самое маленькое отверстие, слышно,

как они гудят и жужжат всеми оттенками звуков. Если рукой в перчатке провести по кожаной рубашке, то похоже, как будто провел по кровотокающей ране, так много комаров можно раздавить одним движением.

Мы идем час за часом. Невыносимая жара, маски на лице, регулярный, проворный шаг, которым лесные жители неумолимо преодолевают все лесные преграды, пот потоками течет из пор. Не только лицо совершенно мокрое, все тело уже давно вспотело так, как будто меня вытащили из воды.

Маленькая лесная просека – это наше спасение. Траппер, наш проводник Василь, быстрыми пальцами сдирает кожаную маску с лица, и я вижу его мокрое лицо, его почти безумный взгляд. Он падает там, где стоял, и жадно вдыхает воздух. Мгновенно я сделал то же самое; воздух, несмотря на жару, кажется мне холодным. Костер разожжен, в него кладется мох, так как при горении из него получится дым, который должен защитить нас от ужасных комаров.

- В жизни я никогда еще так не потел, Федя! – шепчет Иван Иванович. – Когда мне с Засуличем пришлось во время Японской войны переплывать реку Ялу, где как раз шел ледоход, на спине лошади, и японцы обрушили на нас град пуль, так там тем из нас, кому удалось выжить, узнали, что можно вспотеть в ледяной воде! Когда я в следующий раз буду мыться в бане, я, наверное, замерзну, как ты думаешь?!

Мы все лежим на земле, и хотя дым клубами проносится мимо нас, мы жадно вдыхаем воздух; мы даже почти забыли о еде. Пока четыре глухаря и три тетерева, которых мы быстро застрелили, постепенно спокойно жарятся на костре, мы купаемся и очень долго лежим в воде. Становится действительно прохладно, так как мощные реки в Сибири несут и в разгар лета довольно холодную воду, и потому мы торопимся одеться, поесть, отдохнуть и приступить к дальнейшему маршу.

После долгих часов мы добрались до болота.

Далеко вплоть до бесконечного горизонта тянется низкое, почти безлесное болото. Только поодиночке видны угловатые, кривые, синеватые силуэты болотных сосен. Над маленькой трясинкой и едва ли видными, покрытыми желтоватым мхом «окнами», у которых поджидает беспечного пешехода зыбкая, засасывающая, мучительная, медленная смерть, порхают и танцуют большими и маленьких роями поденки, а с наступлением темноты порхают мотыльки и ночные бабочки. С жужжанием и ворчанием уютно кружат огромные жуки, похожие на шумные двухэтажные автобусы из большого города с громкими сигналами. Они – бесспорные хозяева ситуации, их бас заглушает звуки всех других насекомых.

Полночь приближается, мучения постепенно уменьшаются, мы вшестером снова можем есть, пить, курить и немного отдохнуть.

На четвертый день нашего путешествия, мы как раз уже приблизились к концу внушающего страх болота, начинается ветер. Мы стягиваем даже наши кожаные рубашки и веселимся от радости, что снова можем дышать свободно, как сердцу угодно. У нас превосходная еда, тем более, мы все очень голодны. Осторожно мы обходим наш лагерь, так как каждый шаг вне «проверенного» жердью места может оказаться для нас опасным.

- Смотрите, барин, – обращается ко мне наш Василь, – если не поберечься... И мужчина становится на покрытое желтоватым мхом «окно».

Через полчаса мужчина по колени увяз в болоте; мы пристегиваем наши снегоступы, и объединенными силами вытаскиваем его после этого «эксперимента».

- Но если останешься один... медленная смерть... Думаю, я мог бы сойти с ума, барин, так медленно... все глубже и глубже, и не за что ухватиться... Зачем только Бог создал все эти опасности для нас, людей?

- Чтобы человек не воображал себе, что он мог бы справиться со всем и сопротивляться всем опасностям, – говорит Иван Иванович.

Летние сумерки опускаются над болотистым мхом, и особенная тишина царит над этим кусочком вечности.

Снегоступы пристегнуты, продовольствие упаковано, утром путешествие продолжается. Внезапно движение по мягкому, постоянно проваливающемуся болоту, в которое, несмотря на широкие доски, погружаешься по голень, заканчивается; мы снова чувствуем твердую землю под ногами.

Мы дошли до другой стороны болота.

Здесь тоже лес, молчаливый и мрачный, заросший низкими кустами, кустарником всякого рода. Множество синиц мелькают от ветки к ветке, снегири, дрозды присоединяются к ним, где-то непрерывно стучит по дереву черный дятел. Дикие голуби воркуют, северная сойка однообразно свистит, ореховка ревет и ворчит насмешливо, как будто смеется.

Несколько часов мы прорубаем себе дорогу охотничьими ножами, потом лес внезапно прекращается, и перед нами лежит поросшая плотной травой и маленькими кривыми кустами полоса, который почти прямо тянется через лес. Мы оставляем несколько отчетливо видимых опознавательных знаков для пробитой нами просеки и затем идем вдоль этой странной дороги.

При первых шагах я замечаю необычную твердость земли, и когда я снимаю разросшуюся траву, я обнаруживаю под ней... ровную, каменную мостовую из хорошо обработанных квадратных камней, похожую на те, что известны у нас в Центральной Европе.

Короткий отдых, и мы движемся дальше вдоль этой мощеной улицы в девственном лесу. Я чувствую, как мое сердце стучит быстрее от жгучего нетерпения. Один поворот за другим, и через несколько часов видим, что над лесом возвышается башня высотой примерно в двадцать метров.

Я вижу, как в руке Ивана Ивановича внезапно появляется заряженный «наган», как охотники держат наизготовку свои давно заряженные дульнозарядные ружья. Также и моя рука сжимает многозарядный «винчестер».

Мы замедляем наши шаги, срываем кожаные маски с головы, обмазываем быстро лицо и руки черно-коричневой березовой смолой, чтобы защититься таким образом от комариной напасти. Теперь мы должны не только хорошо видеть, но и хорошо слышать.

Что предстоит нам? Что мы увидим?

Полные надежды мы приближаемся к высокой башне.

Она соединена из массивных каменных блоков и полностью покрыта мхом. На нескольких местах ее стен даже растут маленькие, молодые березы. От башни в обе стороны отходит толстая, высокая стена. Она частично разрушилась, почти повсюду поросла мхом, травой и зеленеющими кустами и деревьями. В середине стены, прямо в башне, находятся деревянные ворота. Дерево сгнило, растрескалось, тяжелые металлические стержни и шарниры торчат как длинные указательные пальцы и отчетливо доказывают, что ворота когда-то были заперты и разрушились в запертом состоянии.

Тишина... боязливая тишина...

Перед воротами лежат большие и маленькие каменные блоки; вероятно, когда-то с их помощью ломали ворота? Мы взглянули на башню, потом через ворота... Мертвый город лежит перед нами...

Массивные дома из квадратных каменных блоков, в большинстве случаев двухэтажные, с узкими, длинными окнами, которые напоминают больше амбразуры, стоят правильными рядами с обеих сторон покрытой травой улицы. Крыши обрушились или частично еще сохранились.

Мы неуверенно стоим некоторое время, неуверенно проходим сквозь ворота, по широкой главной улице. Точно под прямым углом ее пересекают справа и слева другие улицы. Вдоль них стоят только развалившиеся дома и хижины.

Тут всего где-то от трехсот до четырехсот домов, все они окружены далеко простирающейся, толстой и высокой стеной, которая иногда прерывается несколькими башнями, все из которых похожи друг на друга. Стена в хорошем состоянии, и на ней видны продолговатые отверстия, по-видимому, бойницы.

Мы идем вдоль улицы, пока не достигаем центра города. Здесь было свободное место, так как оно тоже вымощено квадратными камнями, но теперь это маленькое пятно, как и город и его улицы образует частицу тайги. В середине бывшей площади лежит, в тени деревьев, старый колодец.

Тишина в вымершем городе поистине зловеща; нам кажется, что мы видим, как из всех углов, улиц, домов, башен и руин появляются прежние жители. Но ничего не движется, только лес, который по своей воле захватил город, светлые березы с их кудрявыми, качающимися кронами, которые, кажется, кивают нам, шумят над нашими головами, как будто они хотят нашептать нам, что здесь когда-то было, кто здесь жил и умер.

Парами мы входим в дома.

Робко переступаем мы порог, у которого двери либо нет, либо она оставлена открытой без внимания.

Сумрачный свет, полумрак. В помещении растет трава, деревце стоит в углу, другое в ярком солнечном свете заглядывает снаружи внутрь, дикий виноград обвивает стены, землю, потолок, так как все закутано им.

Внезапно внутри дома просыпается жизнь. Летучие мыши с тихим визжанием и писком вылетают из своих убежищ, ищут дорогу в свободном пространстве. Горящие глаза ночных птиц становятся заметными под усиками дикого растения, они появляются, порхают высоко, наталкиваются на стены, на нас, цепляются от страха за нашу одежду, пока мы не выбрасываем их как мяч к разрушенной двери.

Тогда ничего больше не шевелится в помещении.

Я надеваю свои кожаные перчатки, потому что не могу искать голыми руками что-то, что еще не нащупали наши руки, еще не видели наши глаза.

Тяжелые деревянные столы, стулья и скамьи стоят у стен, дикий виноград опутал их, покрыл своим плотным зеленым ковром и тем самым осторожно укрыл и сберег гнилую древесину. У стен стоят сельскохозяйственные орудия, мотыга, коса, лопата, грабли, серп, но все же, все они незнакомой особенной формы, неуклюжие и тяжелые.

В ужасе я замираю, когда мои руки под усиками растения, которые я вырвал, замечаю человеческие черепа и несколько костей.

Я наклоняюсь низко, пытаюсь рассмотреть что-то в высохших, абсолютно чистых костях. Все черепа средней величины, почти маленькие, и широко-скулые. Люди, которые когда-то здесь жили, кажется, умерли от какой-то эпидемии, так как никаких скелетов и костей нет на улицах; и мертвецы, в большинстве случаев, лежат в обычных позах, на скамьях и кроватях.

Мы идем дальше, заходим в другие дома. Всюду та же самая картина: чистые кости, ухмыляющиеся черепа. В более вместительных домах несколько комнат, все же и здесь только разрастающиеся усики дикого винограда, черепа мертвых взрослых и детей.

В стены вделаны массивные, железные, сейчас уже заржавевшие ящики. Мы открываем их без труда; там лежат драгоценности, очень примитивно отшлифованные камни, для профана невероятной величины, топазы, рубины, аметисты, изумруды и все, что Урал и Сибирь хранят в себе из камней, были собраны там. Часть из них вставлена в широкие гравированные оправы из плохо расплавленного, полноценного золота, потому что оно очень мягко. Мы находим куски серебра и даже слиток платины.

Мы обнаруживаем ювелирную мастерскую, в ней большие и маленькие самородки золота и серебра лежат в стенных нишах, маленькие, довольно неловкие инструменты, которые служили, по-видимому, для обработки ювелирных изделий. Печь больших размеров стоит в углу.

Мы находим пекарню, сараи с еле-еле узнаваемыми костями каких-то домашних животных, но ни одного единственного следа или хотя бы плохо сохранившегося скелета лошади.

Приходит вечер. Мы покидаем город смерти и разбиваем наш лагерь в лесу.

Случайно, когда мы уже зажгли наш костер, мы находим плуг; у него две опоры для рук, как у современных плугов, только на месте, в котором запрягается лошадь, находятся двенадцать больших крючков. Я предполагаю, что раз я не находил лошадиные скелеты, то в эти крючки перед плугом запрягали людей. Возле плуга лежали массивные и грубые земледельческие орудия, вокруг них много человеческих черепов.

Костер горит и шелестит. Наши покрытые черной березовой смолой лица выглядят дьявольски-зловещими. Трубка путешествует из одного угла рта в другой, и каждый погружен в собственные мысли. Никто не думает о сне.

Что за народ мог построить себе этот город из камней? Когда они жили и почему они все умерли? Неизвестная, разрушенная культура в девственном лесу. Мы видели ее. Кто после нас придет на это место?

Находили ли ее уже другие до нас..?

На душе у нас действительно тревожно, потому что вокруг мертвого города кружатся стаи беззвучных ночных птиц, и они, кажется, прилетают из далекой дали к этим руинам, чтобы постоянно собираться здесь, откладывать яйца и жить. Сегодня они особенно беспокойны, так как в их середине горит костер, и поэтому они часто подлетают к нам.

Мы собираемся, тщательно тушим костер и идем дальше по мощеной дороге. Примерно через час мы попадаем к заброшенной, засыпанной каменоломне. Мы понимаем, что мостовая исходит отсюда. Маленькая пещера, которую едва ли можно увидеть из-за разросшихся кустов, открывается перед нами. Здесь тоже вперемешку лежат несколько скелетов, таких же, как в вымершем городе, потому что у них тоже скулы широкие и очень выраженные. На единственном черепе видны остатки черных как смоль волос; они длинные и жесткие, как будто волосы из гривы лошадей. В углу стоят кучей несколько маленьких и больших глиняных кувшинов, сделанных, несомненно, на гончарных кругах. На некоторых из них мы обнаруживаем примитивные вырезанные рисунки: жуки, бабочки, деревья, люди с длинными волосами и, по-видимому, в толстых шкурах. В мисках мы находим маленькие, нешлифованные топазы, рубины, изумруды. В стороне, в другом углу, стоит круглый точильный камень. Он был прежде вставлен в деревянную рамку, но она лежит неподалеку совершенно сгнившая и уже почти превратившаяся в пыль.

Низкая, проходимая только для маленьких людей дверь ведет из этого помещения в другое. Оно размером примерно восемь на десять метров. В углу стоит большая печь, в очаге еще отчетливо можно заметить остатки угля. В углу длинные копыта, прочные пики, ножи с широкими, кривыми лезвиями и большое количество жердей, которые, вероятно, еще предстояло обработать. На противоположной стороне стоит наковальня. Она похожа на кучу глины, в которую со всех сторон бросали маленькие комки глины, настолько неровные ее размеры; только верхняя поверхность плоская и обработанная. Рядом с этим неуклюжим устройством стоят и лежат устройства, подобные молоту. Непременно возникает впечатление, что город был построен маленькими людьми, так как входные двери и окна слишком маленькие, а орудия труда слишком легкие для обычного человека.

Снаружи в каменоломне мы обнаруживаем колодец или бывшую шахту. Когда мы бросаем несколько камней и засекаем время их падения на часах, то устанавливаем, что он глубиной свыше ста метров. Мы сбрасываем вниз осмоленный факел и напряженно высматриваем с края колодца. Факел бес-

препятственно падает до земли и затем горит там внизу короткое время. Края шахты неравномерны, воды у нее на дне тоже нет. Внизу в дыму, мы, похоже, увидели ползающих змей, во всяком случае, что-то там должно было передвигаться, так как огонь факела скользит вокруг, как будто бы его двигают скользящие тела. Вероятно, та яма, которую мы приняли за колодец, тоже была шахтой, из которой прежние жители добывали драгоценные камни или железо.

Я позже неоднократно получал доказательства, что, например, в непосредственной близости от Никитино были открыты большие месторождения платины. Металл лежал на совсем маленькой глубине – меньше двух метров под землей.

Мы все время бродим по лесу, и проходит час за часом, но наш Василь больше не может найти места, где он в свое время сидел у костра, и где в него стреляли стрелами.

- Мы вообще найдем дорогу домой? – спрашиваю я его.

- Но, барин! – отвечает он обиженно. – Вы можете оставить меня, где хотите, я всегда найду путь домой как хорошая собака. Уже двадцать лет я брожу по лесам, все же, за это время можно этому научиться. Но здесь, однако, тайга настолько густая, что сложно найти свои опознавательные знаки; мы должны ждать, пока не наступит ночь, тогда мы больше не сможем заблудиться.

Мы делаем огонь и ждем ночи, чтобы Василь мог ориентироваться по звездам.

... Сисисисисиси... сисисисиси... сисисисисиси...

Мы смотрим высоко, за лесом исчезают утки и дикие гуси.

Белая ночь, которая не знает перехода ко дню, проходит. По птицам, которые летали над нами, мы понимаем это.

- Поблизости должна быть вода. Здесь, посреди леса, должно лежать озеро. Либо утки летят к воде, либо летят оттуда. Странно..., – говорит Василь и осторожно качает головой.

Вдали звучат звуки, к которым мы внимательно прислушиваемся.

Серые гуси с громким криком пролетают мимо нас, несколько чернозобых гагар следуют за ними, за ними летят целые тучи разных уток. Воздух наполнен их криком, хлопанием крыльев и гоготанием.

И снова птицы исчезли за лесом.

- Непременно поблизости должна находиться большая вода, иначе не может быть. Мир должен погибнуть, если водоплавающие птицы должны носиться в лесу, – Василь продолжает свои рассуждения.

Мы выступаем в путь. Час за часом наша группа идет по лесу. Василь постоянно высматривает в разные стороны, до тех пор, пока радостное восклицание, наконец, не заставляет нас взглянуть вверх.

- Здесь! Знак! Это я сделал!

На кривом европейском кедре я вижу след от удара топора; он свеж и отчетливо заметен.

Проходит еще один час. Мы продвигаемся осторожно, избегая любого шума. Мы стараемся пристально разглядеть каждый куст, каждое деревце, каждое густо заросшее место. И по низким верхушкам деревьев тоже скользят наши взгляды.

Идущий впереди остановился как вкопанный, мы как по команде остановились за ним. Мы напряженно прислушиваемся, но я ничего не слышу.

- Стучат. По звуку похоже на облавную охоту.

- Это не облавная охота, – возражает другой охотник, – звук не приближается, но и не удаляется. Они стучат на одном месте.

Шепотом обмениваются мнения. Иван Иванович и я молчим, потому что наши неопытные уши не слышат стука. Осторожно озираясь, мы продвигаемся дальше. У нас мягкие ботинки, и только если время от времени мы наступаем на сухую ветку, раздается четкий треск. Мы подкрадываемся все дальше и дальше, пока снова не останавливаемся и внимательно слушаем.

Теперь я тоже слышу странный стук. Много людей в определенном такте стучат по дереву.

Движемся дальше. Через густой кустарник едва можно пробраться, но мы не можем использовать наши ножи, потому что звук рубки веток может выманить к нам людей издали, и так как мы не знаем, сколько их там и что они замышляют, может быть, против нас, нам с большим трудом приходится пробираться сквозь густые заросли.

Теперь мы слышим монотонное пение, которое неоднократно прерывается стуком по дереву. Внезапно оно прекращается.

Вал высотой свыше четырех метров лежит перед нами. Как индейцы мы заползаем на живот, пока не можем с его высоты посмотреть вниз.

Ров шириной несколько метров тянется за валом вдоль него. Вал проходит неровно, но всегда на одинаковой высоте, вокруг широких полей, на которых созревает урожай. Вдали лежит большая деревня.

Наш Василь уже хочет соскользнуть вниз на другую сторону, но я удерживаю его. Мы снова скользим с вала назад, прячемся в кустах, собираемся тесной кучкой и совещаемся.

- Мы не знаем, что это за люди и сколько их там. Если мы внезапно появимся среди них, то они могут напасть на нас. Мы должны найти вход в это поселение, и только оттуда мы должны попасть к ним.

Мы продвигаемся параллельно валу, осторожно оглядываясь. День близится к вечеру, но мы все еще не достигли нашей цели. Мы устраиваем привал на ночь, не разводя огонь, и самым ранним утром продолжим движение к нашей цели.

Наступает полдень. Солнце склоняется к лесу, а мы все еще не добрались до входа. Снова мы остаемся ночевать в лесу и с рассветом пускаемся в путь.

Заяц пробегает мимо, и Василь бросает в него нож. Он впивается зверю в затылок, но заяц бежит дальше. Охотник спешит за ним, исчезает в криво извивающейся едва видимой просеке и возвращается к нам с добычей. Боязливо он шепчет:

- Там... вход, ворота и мост... Это дикари... длинные волосы, желтые лица... Азиаты...

- Я стреляю хуже вас всех, – говорю я. – Я пойду вперед, а вы будете следить за людьми, чтобы они не застали меня врасплох. Ваши пули всегда попадают в цель, а если их перевес слишком велик, нам придется убежать.

Все соглашаются. Наше оружие проверяется еще раз. С «винчестером» в руке, с двух сторон заряженные «наганы», я иду впереди, другие следуют за мной на удалении нескольких шагов.

Несколько поворотов, и передо мной лежит тесная просека, в конце которой я вижу мощные, низкие ворота. Они заперты.

Все ближе и ближе я подхожу к воротам. Ничто вокруг не шевелится. Тесная просека пуста, кустарник молчит, только маленькие, веселые синицы и здесь прыгают с ветки на ветку. Земля мягкая, я ступаю на глубокий мох.

- ... Эээээй! – кричу я.

Как мячи четыре фигуры перепрыгивают земляную стену и внезапно стоят передо мной.

- Гунны..., – слышу я свой собственный голос.

Среднего роста, черные, полудлинные сплетённые в косы волосы, желтые лица, монгольские глаза, полотняные куртки и штаны, обмотки на ногах и легкие кожаные сандалии. В руках они держат копья, луки и колчаны со стрелами.

Я высоко поднимаю руки, машу винтовкой и руками и медленно иду навстречу им. Люди застыли, наклонившись, в той же позе как они спрыгнули вниз.

Неужели действительно сейчас в тайге встретятся разные эпохи?

На немного шагов я приблизился к людям, потом и я остановился. Мы смотрим, с любопытством, выжидающе, оба в напряженном ожидании того, что теперь неизбежно наступит.

Внезапно, коротко по очереди, за мной дважды лает «наган». В тишине выстрелы раскатываются по лесу как два сильных удара грома. Я вижу, как две фигуры с шумом падают с земляного вала и остаются лежать на земле. Я не видел, что эти двое уже направили на меня свои луки. Двое стоящих передо мной падают на землю и лежат, как будто они тоже мертвы.

Я оглядываюсь назад. Это Иван Иванович: беззаботно, как тогда, когда каторжники в Никитино наступали на пулемет, он уже дозарядил свой револьвер новыми патронами вместо использованных. Он улыбается мне, как будто я ребенок, рискнувший ввязаться в отчаянную, но все же позволенную забаву, в продолжении которой лично он находил, однако, удовольствие.

Я касаюсь дикарей. Я слышу только визжание, как будто маленьких собак. Потом в ужасе они поднимают головы, но остаются лежать на коленях, бормочут слова, которые я не могу понять.

- Я хочу к вам в ваш город, – говорю я и указываю на ворота, высоко поднимаю снова руки и пытаюсь смеяться, несмотря на то, что только что произошло. Я снова и снова показываю на меня, затем на ворота, делаю те типичные жесты, которые используют, чтобы показать кому-то, что хотят есть.

Теперь они поднимаются, кладут свое оружие к моим ногам и делают похожие знаки, как я раньше. Я снова киваю, до тех пор, пока на лицах дикарей не появляется улыбка. Они обмениваются парой слов друг с другом. Один из них взбирается на вал с удивительной сноровкой, очень легко перепрыгивает зубчатые ворота и исчезает. Отставший остается неподвижным, но когда я пытаюсь прикоснуться к нему и подать ему руку, он в ужасе отступает. Меж-

ду тем мои товарищи присоединились ко мне, наш Василь поднимает убитого зайца за уши и протягивает его дикарю. Он это, по-видимому, понимает, потому что его страх смягчается. Он берет зайца и кланяется нам. Иван Иванович дает ему патрон, который дикарь сразу пробует раскусить зубами, и когда это ему не удастся, он принимается его жевать и сосать.

Проходит долгое время, пока он ощупывает нас, обнюхивает и в разные стороны поворачивает. Особенно наше оснащение и коричневая березовая смола на наших лицах и руках интересует мужчину.

Цепи дребезжат, тяжелые железные стержни гремят, массивное дерево скрипит – ворота раскрываются. Опускается деревянный мост, который ведет через крепостной ров. За ним стоят толпы людей. Они одеты в одинаковую одежду и все вооружены. Сотни глаз мрачно глядят на нас.

Все молчат. На душе мне становится жутко.

Я высоко поднимаю руки и иду первым к мосту, мои товарищи следуют за мной. Внезапно дикари, которые уже знают нас, хватают меня за руки и заводят меня в центр своих соплеменников, при этом они беспрерывно болтают. В их словах даже звучит радость. Я думаю, что не ошибаюсь.

Мгновенно нас окружают шестеро дикарей. Мужество их соплеменников – это лучшее доказательство нашей безвредности для них.

Все выглядят до ужаса дикими. Черные раскосые глаза, щетинистые, черные волосы, сплетенные небрежно в косы, достигают до плеч. Их грязные, полудлинные и короткие куртки и штаны из домотканого полотна разорваны. На бедрах куртки перевязаны веревкой, а на ногах у них обмотки из того же полотна и маленькие кожаные лесные ботинки. Но большинство из них босы и на теле у них только маленький фартук вокруг пояса. По форме тела, эластичной подвижности конечностей, в частности, пальцев ног, сразу можно узнать лесных жителей. Я замечаю, что от всех них исходит странный, пронизывающий запах, и что их едва ли беспокоят мухи и комары.

После того, как они всех нас вдоволь исследовали, они освобождают нам дорогу. Гул их голосов оглушителен.

Перед нашими глазами лежит далекая, абсолютно безлесная площадь. Это пашня. Рядом с ней роскошный луг, на котором пасутся стада лошадей. Вдали мы видим широкую, синюю полосу воды, на ней несколько маленьких парусных лодок.

По улице мы заходим вглубь их территории; один из жителей быстро убегает прочь. Продолжительное время проходит, пока мы не замечаем большую деревню вдали равнины. Мы приближаемся. Дома низкие и построены в стиле

срубов из массивных бревен. Они отличаются от русских изб только особенно роскошной деревянной резьбой на фасадах. На них вырезаны птицы и животные, вид которых трудно определить, а также оружие и сельскохозяйственные орудия. Перед хижинами собрались люди, мужчины, женщины и дети. Добравшись до маленькой, свободной площади, мы видим двух мужчин в грязно-белых халатах. Их волосы серы, фигуры согнувшиеся, цвет лица бледен, только глаза живо глядят между веками с раскосой прорезью. Они осматривают нас без страха. В них сразу можно заметить азиатскую хитрость и лукавство, в сочетании с самым большим любопытством. Вокруг них стоят несколько лучников.

Чтобы достичь понимания с этими мужчинами, которые, по всей вероятности, являются старейшинами деревни, я вынимаю свой нож и делаю жест, как будто хочу сам себя им зарезать. Потом я энергично качаю головой, бросаю нож на землю и показываю, что я хочу есть и мои друзья тоже. Широкая улыбка появляется на лицах мужчин и всех присутствующих, они кивают головами, как знак, что они меня поняли. Мгновенно нож поднят и путешествует через многие удивляющиеся руки и проверяющие пальцы.

Нас ведут в одну из хижин. Помещение велико, у стен стоят низкие кровати, на них мягкие, наполненные перьями мешки, покрытые засохшей грязью. Скамьи, столы и вся домашняя обстановка массивны, очень грубо сделаны, но, тем не менее, покрыты вполне красивой отделкой и резьбой. В углу стоит большая печь, у которой хлопочут женщины с плоскими, коваными кусками металла в волосах, с голыми, маленькими ногами, тонкими руками, на которых висят браслеты. Их безобразие неопишимо, их грязь потрясает.

Мы прибыли вовремя, так как в один миг из печи вытаскивают большой горшок, в котором тушится рыба. Двухзубчатые, похожие на вилки столовые приборы появляются на столе, горшок кладут на тяжелую деревянную подставку, поставленную на скамью, и нас знаками приглашают поесть.

Наудачу мы опускаем наши столовые приборы в горшок. Мне, кажется, особо повезло, потому что я выловил угря шириной в ладонь, которого я с виртуозной сноровкой пытаюсь намотать вокруг вилки, как итальянец наматывает свои спагетти. Хотя клопы и тараканы постоянно падают на нас и еду с потолка, хотя вскоре сок непрерывно капает то на мою одежду, то на скамейку, но до культуры тут далеко, и я слишком голоден. Кроме того, у других это тоже точно так же капает. Мы смотрим друг на друга во время еды с юмором. Капли походи на веселый летний дождь.

- Все же, Федя, тарелку, по крайней мере, следовало бы иметь, – звучит внезапно добродушный голос Ивана Ивановича, сидящего возле меня. Прямо рядом с ним наготове лежит револьвер «парабеллум».

Так как мы сидим у огня и на подоконнике стоит миска с кедровыми орехами, которые уже частично надгрызены, Иван вытряхивает орехи и берет себе миску, в которую кладет свою рыбу. На мгновения наши хозяева открывают рот, но потом все продолжается безмятежно. Почти как ради удовольствия мужчины энергично шуруют в горшке, радуются, когда ловят большой кусок, делают разочарованные лица, когда он шлепается вниз, громко и сильно дуют на него, и выплевывают рыбьи кости, по-детски озорно, но все же, с очень серьезными лицами на пол. Женщины стоят вокруг нас, они все время шумно смеются над нами, что должно, по-видимому, побуждать нас к еде.

- У этих людей, похоже, нет хлеба; а без него не наешься по-настоящему. Куда ты только заманил меня, Федя? – снова подшучивает мой друг Иван и при этом засовывает себе в рот один кусок за другим.

Во время еды я замечаю, что она засолена и приправлена достаточно хорошо. В бульоне плавают разные травы, которых я не знаю.

После рыбы подают мясо. Это конина, но Иван молчит, и я думаю, он даже не замечает этого, так как его зубы размалывают мясо с заметным удовольствием. Голод еще очень велик.

Затем каждый получает по глиняному кувшину с парным кобыльим молоком, к нему толстый кусок свежего ржаного хлеба грубого помола.

Я первый кланяюсь хозяевам, так как сыт так, что могу лопнуть. Мои хозяева удивленно смотрят на меня, потому что они еще долго не готовы и продолжают свой веселый «дождь».

Все же и эта еда подходит к концу. Мы откидываемся назад, пораженные изобилием даров, на мягкие мешки. При этом я стоически обзираю батальоны паразитов; они наступают на нас, гостей. Они чуют свежую кровь.

Я вынимаю из деревянной коробки сигарету и зажигаю ее. Зажигалка и эта процедура вызывают наивысшее удивление. Со всеми возможными жестами мне удается засунуть сигарету в рот вождю, который долго противится этому, и он сразу начинает усердно затягиваться, еще до того, как я зажег ее. Все же, при первом затягивании, он вдохнул дым глубоко, высоко подпрыгивает, кашляет, трясется, отчаянно хватая стоящий поблизости кувшин с лошадиным молоком и поспешно пьет. Потом его взгляд пытливо останавливается на другом вожде, которому Иван Иванович тоже дал сигарету. Тот выпускает дым в воздух и очень гордится своим мастерством. Когда моя зажигалка снова исчезает в кармане, наши хозяева заметно успокаиваются.

Тщетно я самыми разными способами загибаю свои десять пальцев, без толку держу я свою руку высоко над головой вождя, бью себя в грудь, показываю, как микроскопически малы все присутствующие, вопросительно пока-

зываю на мужчину, но он не понимает меня. Я вижу, как он ложится на подушки прямо на кучи паразитов, закрывает глаза и хочет заснуть. Но мне так хотелось бы знать, действительно ли он вождь, и еще много, очень много другого. Я пытаюсь всеми средствами отговорить его от сна, хотя я смертельно устал, думаю, какие жесты на моем месте делал бы тут торгующий еврей, лучший мастер «языка жестов».

Наконец, мне пришла в голову идея попробовать пообщаться с хозяином с помощью картинок и рисунков. Я достаю карандаш, вывинчиваю его, вытаскиваю блокнот, но дальше у меня ничего не получается, так как мужчина с детским воодушевлением схватил карандаш и блокнот, хотя он совсем не знает, для чего они нужны. Наконец, я изображаю очень большую, толстую, устойчивую черту, которая превращается в мужчину. Рядом с этим могущественным мужчиной стоят только маленькие человечки, они незначительны, это масса. Над мужчиной возникают солнце, луна и звезды, летящие птицы. Потом я показываю на нарисованного мужчину и окружающий его блеск, показываю на моего хозяина, показываю на маленьких человечков и тычу пальцем в других дикарей. Я сразу с радостью устанавливаю, что меня поняли. Хозяин тоже указывает на большого мужчину, потом на меня. Я качаю головой и указываю на Ивана Ивановича, который между тем безмятежно спит своим полуденным коротким сном с боку от меня. Так мы в первый раз поняли друг друга.

Он говорит беспрерывно, время от времени, наверное, чтобы подтверждать свои комментарии, он смотрит на стоящих вокруг нас женщин, которые тут же утвердительно кивают и улыбаются так широко, как только могут.

Мой карандаш снова скользит по бумаге. Хижины дикарей, широкая дорога, поля возникают на рисунке, за ними озеро. Не успел я закончить рисунок, как мой хозяин пальцем указывает на близлежащую местность, быстро поднимается со скамьи, неуклюже шагает по комнате, указывает на щиколотки, колени, живот, грудь, голову, и, наконец, он держит руку над головой, закрывает глаза и делает вид, как будто у него нет воздуха. Я понимаю его. Вокруг деревни топкие болота, в которых тонут люди.

Я понимаю, почему жители деревни не прошли дальше и почему их уже давно не нашли посреди широкого болота и не приобщили к цивилизации.

Выжидающе и задумчиво мой хозяин стоит передо мной. Его глаза вдруг темнеют, он рассматривает моих спящих товарищей, и колючий взгляд падает на меня, скользит вдоль моего оружия.

У нас примерно тысяча патронов... в хижине мы можем закрепиться... тут примерно шестьсот жителей... мой друг Иван и охотники являются замечательными стрелками... такая мысль внезапно проносится у меня в голове.

Довольно долго мужчина думает, потом идет в угол возле печки.

Две тяжелые доски, между ними лежит толстое, домотканое полотно, нарезанное правильными квадратами. Эти квадраты из ткани выглядят как страницы еще не переплетенной книги. Верхняя доска высоко поднимается, и я вижу, как все присутствующие с благоговением наблюдают за этой процедурой. На первом куске ткани, старом и уже гнилом, я обнаруживаю большой круг, вокруг него двенадцать маленьких кругов. На каждом куске ткани двенадцать таких рисунков. Мой хозяин, непрерывно что-то говоря, показывает на ребенка, на льющиеся через окна и дверь солнечные лучи и потом на большой круг, солнце, затем он показывает пальцем на двенадцать маленьких кружков – луны вокруг солнца, потом опять на себя, перелистывает страницы, указывает на ряды солнц, останавливается у одного из них, закрывает глаза. Я не понимаю его. Он что-то кричит женщинам. Прибегает молодой человек, которому старик сует в руку карандаш и очень четко говорит ему несколько слов. Юноша берет карандаш, которым он долго любовался, как кинжал, ведет его по бумаге, и возникает рисунок, который, кажется, исходит из каменного века. Он представляет человека, в стороне холм, черта ведет от человека к холму. Я дорисовываю: делаю из человека ребенка, из черты – дорогу, холм превращается в курган гуннов или скифов, на нем я невольно дорисовываю крест, чтобы обозначить это место как могилу. Пальцы обоих мужчин сразу удивленно указывает на крест. Я вычеркиваю его, так как это знак христианства и вряд ли он мог быть понятен дикарям. Снова вождь указывает на ребенка и луны, потом на могилу и перелистанные луны, на свои волосы, закрывает глаза и ложится лицом на восток. Когда я пересчитываю луны и солнца, это примерно шестьдесят солнц и следовательно 720 лун. Солнце означает один год, каждый месяц одну луну (полнолуние). Я киваю.

Я указываю на вождя и указываю на солнца. Он считает 64 солнца, при 65-м солнце он указывает на семь лун. Если я правильно его понял, ему 64 года и 7 месяцев. Тогда был месяц июль.

Книга очень интересует меня. Я перелистываю ее, и вождь показывает на другие деревянные рамы с гнилыми кусками ткани, которые сложены у печи. Я насчитываю в целом 151 полную страницу по 12 солнц на каждой и на последней странице три солнца и шесть лун. В целом это 1815 солнц и 6 лун. Следовательно первые солнца должны были быть нарисованы в этой огромной книге 1815 лет назад? То есть, где-то в 103 году после рождения Христа? И ведь примерно в это время как раз орды гуннов нахлынули на всю Европу!

Наш хозяин весело кивает и болтает, жестикулирует перед рисовальщиком, тот снова хватается карандаш – и на бумаге он изображает много, очень много могил.

Тогда на бумаге возникают мои действительно примитивные животные. При рисунках собаки, лошади и гуся вождь кивает, но когда я изображаю корову, молодой художник вычеркивает рога и вымя и дорисовывает корове конский хвост.

Теперь я тоже пытаюсь говорить различные слова на всех языках, отдельные слова, которые припоминаются мне, которые я когда-то при каком-то случае подхватил в Сибири у местных. Все зря, мы не понимаем друг друга, лишь одно единственное слово, произнесенное только совсем отдаленно похоже, сразу было понято, венгерское слово «ло» – «лошадь», так как хозяин указывает на рисунок, на котором как раз и нарисована лошадь.

Все время я беседовал с нашими хозяевами таким образом. Женщины снова подают нам кобылье молоко с хлебом. Я бужу моих товарищей, которые вскакивают испуганно, но быстро успокаиваются, когда замечают, что им не грозит никакая опасность.

Вождь поднимается, кричит женщинам, которые приносят ему миску, полную зеленовато-коричневой жидкости, в которую мужчина погружает руки. Потом он проводит ими по лицу, ушами и затылку. Он указывает на комаров и мух. Это средство, которое соответствует нашей березовой смоле; пахнет кислото-затхло, как сильно пропотевшее, грязное тело.

Наконец, окруженные населением, которое в течение всего времени нетерпеливо ждало нас снаружи, мы выходим.

Насколько мы можем видеть, перед нами лежат хорошо обработанные поля, луга с маленькими лошадьми с длинными, растрепанными гривами. Мужчины и женщины, которые с удивительной сноровкой ездят верхом без седла, приближаются к нам. Растрепанные, яростно лающие, одичавшие, длинноногие собаки трудно определяемой породы, серые гуси с подрезанными крыльями, которые отличаются от их диких собратьев только своим чрезвычайным размером, домашние утки, это, наверняка, домашние животные этих людей.

На берегу озера, которое тянется до горизонта и, вероятно, еще и за него, я вижу, как сети висят на солнце. На пологом берегу лежат лодки-однодеревки, возле них широкие, массивные парусные лодки.

Приходит вечер. Вождь выводит нас из деревни к стаду лошадей. Несколько мужчин с особенно длинными ножами стоят возле них. Это, наверное, мясники. У лошади связывают все четыре ноги, и вождь показывает нам знаком, что нам нужно выстрелить в животное. Иван Иванович берет свое ружье, вставляет два патрона с разрывными пулями «дум-дум», и пока присутствующие боязливо расходятся в разные стороны, звучит выстрел. Лошади вста-

ют на дыбы, дергают за привязь, люди кричат дико и пронзительно, связанное животное валится наземь и после предсмертных судорог застывает.

Когда аборигены приближаются, все они растерянно смотрят на зияющую рану. Никто больше не осмеливается приближаться к нам, и мы уже видим тут и там, как мужчины с дикими сверкающими глазами сжимают свои луки и колчаны.

- Барин, – шепчет наш Василь, – будет лучше, если мы уйдем. С дикарями мы не справимся. Их слишком много.

В туманном вечернем свете у меня тоже не вызывают доверия эти фигуры с черными волосами, пристальными глазами, как они теперь внезапно окружают нас со всех сторон, крадутся их скользкой, неслышной походкой и перешептываются друг с другом. Я вижу Ивана Ивановича, как он вытаскивает «наган» из кармана. В другой руке он держит свой «парабеллум». Я вижу, как крестятся охотники, готовят свои винтовки к стрельбе, как быстро удаляется вождь, за которым следует большинство его людей.

Теперь двое из нас прикрывают недобровольный отход. Они отходят назад, и мы чередуемся. На полях, которые окружают нас теперь в молочном вечернем свете, мы видим согнувшиеся фигуры, как они быстро и умело подкрадываются от одного маленького возвышения к другому и ползут за нами. У них есть луки и стрелы.

Мы достигаем ворот, открываем их сами, выходим, видим, как оба мертвеца все еще лежат там, мы забираем у них лук и колчан со стрелами, спешим вдоль маленькой просеки, с трудом прокладываем себе дорогу через плотно сросшиеся друг с другом кусты, идем все дальше без отдыха, пока луна не взошла, пока солнце не поднялось снова над лесом и постоянный шелест ползущих дикарей не умолкает в чаще вокруг нас.

Мы достигаем мшистого болота, убиваем двух глухарей, пристегиваем лыжи-снегоступы, и спешим дальше, не отдыхая и здесь.

Три дня мы питаемся почти исключительно незрелой клюквой. Мучения от комаров ужасны. Достигнув края болота, мы убиваем молодого лося, и только когда снова горит наш родной костер, кипят наш незаменимый чайник и рядом с ним котелок для тушения, и наш волчий аппетит полностью успокоен, мы садимся и проваливаемся в сон, подобный смерти.

Когда мы просыпаемся, уже стоит полуденное солнце. К вечеру мы добираемся, наконец, до всем нам известных лесных окрестностей поблизости от Забытого.

Звуки труб, радостно и громко играющих вечернюю зарю, проникают к нам через лесную чащу. Некоторое время спустя звучат звонкие, маленькие колокола, бас больших следует за ними. Вечерний колокольный звон парит над лесом, мы крестимся, и теперь все, что мы видели, мертвый город, дикари, наши ночные костры, последний форсированный марш из замкнутого круга таящейся в засаде смерти, все это внезапно стерто, разрушено. Радость овладевает нами, ускоряется наш шаг к нашим избам, к тем, кто ждет нас, глаза светятся светлее и уже пытаются обнаружить через чащу известные контуры знакомой местности. Внезапно лес остается за нами, у его края мы все останавливаемся как зачарованные.

В лучах вечернего солнца перед нами лежат широкие поля, между ними пастбища с маленькими, чистыми коровами, возле них прыгают телята, жеребята скачут вокруг лошадей, овцы, козы; собаки неумоимо крутятся вокруг стад и сгоняют скот. Вечерний ветер едва заметно покачивает кудрявыми зелеными кронами светлых берез с толстыми стволами. Своими бесчисленными окнами избы смотрели на нас, в их центре, выше их всех, поднимается церковь, на похожих на луковицы куполах которой сияют кресты. Звон церковных колоколов смешивается со звоном маленьких колокольчиков стад, отдельные человеческие голоса звучат, и маленькое облако светлых голубей порхает оттуда.

Мы стоим перед нашими избами, нашей родиной в далекой дикой глуши.

Перед входом, на скамье, сидит Фаиме, рядом с ней ребенок; он играет с маленькой деревянной куклой. Когда звучит ликующий, радостный голосок ребенка, он показывает матери великолепную, самую любимую игрушку, и по лицу матери скользит блаженство ее любви к маленькому существу.

Непонятное болтание слышится из детского рта, и Фаиме шепчет тогда слова, которые она изобрела специально для своего ребенка, слова, которые говорят ей бесконечно больше, чем их обычный смысл.

- Петр! Сколько неудержимой радости лежит в этом возгласе! – Как же ты только выглядишь, мой дорогой? Здоров ли ты? Ничего с тобой не случилось? Иван Иванович! Вы тоже выглядите таким же одичавшим!

- Мы стали настоящими лесными людьми, любимая, – отвечаю я Фаиме. – Еще мы принесли с собой кучу всяких паразитов. Я даже не решаюсь подать ей руку.

В то время как Иван Иванович беседует с Фаиме и охотники начинают рассказывать, заикаясь и не зная, с чего им начать и чем закончить, я приближаюсь к ребенку.

Удивленно он глядит на меня, черные глаза становятся очень большими, и внезапно... он плачет. Фаиме уже у ребенка.

- Папа выглядит таким черным и диким, что ты больше не узнаешь его, нет. Это не твой папа.

Ребенок прислушивается, он больше не плачет, снова смотрит на меня, потом на мать, всхлипывает еще несколько раз, но затем снова улыбается, протягивает ручки ко мне, я должен взять его к себе.

- Ну, ты знаешь, Федя, если твой ребенок еще может узнавать тебя даже в таком виде..., – замечает Иван. – Таких способностей не было даже у Ната Пинкертон или у Шерлока Холмса в этом возрасте! Давайте присядем на землю, я приказал натопить баню. Мы даже не можем войти в дом. На нас полно разных паразитов, Фаиме, – говорит он улыбаясь, – нас полностью прогрызли все виды лесных и домашних мошек, всевозможных комаров и прочих чудовищ. Нас едва не закололи дикари, пронзили стрелами, поджарили на вертеле, но нам повезло. Это было по-настоящему прекрасно, очень замечательно. Что делает, кстати, моя жена? Она точно в церкви?

Мы выкупались и снова оделись как люди. Теперь мы идем плавать в реке.

- Знаете, Фаиме, единственное положительное, отчетливо видимое преимущество моего большого жира в том, что я никогда не утону, даже при двенадцатибальном шторме в океане, – говорит Иван Иванович, пока плывет рядом с Фаиме и со мной в реке. Он осуществляет самые различные фокусы ныряния, сопит, издает звуки, как будто он настоящий морж, настолько он доволен и удовлетворен.

Выкупавшиеся, побритые и ухоженные, в наших белых костюмах, за чудесно накрытым столом, который сгибается под изобилием его богатств, окруженные любящими, знакомыми людьми в прекрасном настроении, которое было у нас всех, мы чувствовали себя на этом крошечном пятачке посреди тайги лучше, чем часто в самом центре цивилизации.

Рассказам нет конца. Принесенные ювелирные изделия, камни, стрелы, колчан и лук постоянно переходят из рук в руки, и только когда уже солнце на светлом востоке выглядывает над лесом, мы идем спать.

Раскаленное горячее лето прошло. Начиналась осень и окрашивала березы и кусты в золотые цвета. Воздух был ясным и звукопроницаемым. Неутомимо работающие товарищи, крестьяне и животные тянули через поля подводы со скрипящими, визгливыми колесами, нагруженные плодами земли.

Животные в лесу выискивали себе скрытое, тихое местечко, в котором они могли зимовать, собирали запасы к скоро приближающейся длящейся много месяцев зиме.

День отъезда наступил.

Население Забытого стояло на берегу реки, когда наши плоты медленно скользили прочь по реке. Из-за постоянного напряжения, которое носилось в воздухе с начала революции, длительного ожидания и нервного предчувствия предстоящей развязки наше прощание с этой дикой глушью было для нас особенно трудным.

Хаос

В Никитино накапливался ужасающий объем политических новостей, и они ежедневно, как лавина, обрушивались на нас. Каждый день газеты сообщают о бесчинствах, убийствах, насилии, самых безумных эксцессах, и из каждой строки в полный голос кричит полное бессилие правительства.

До сих пор неизвестная партия – большевики – развивает неограниченную пропаганду.

На балконе дворца, прежде принадлежавшего прима-балерине Кшесинской, в кровавом свете ярко-красных ламп, стоит маленький мужчина и выкрикивает слова своей громовой речи, обращенной к людям в Петербурге.

Это Ленин.

- Вся власть Советам! Не богатство должно править, а свобода! Мы хотим мира любой ценой! Довольно страдать народу! Смерть всем угнетателям народа!

Беспрерывно, днем и ночью, большевистские радиотелеграммы несутся с жужжанием во все страны света:

«Всем!... Всем!... Всем!»

Заглушая все прочие мысли, треща, подстрекая, подтачивая, вбивая в голову:

«Всем!... Всем!... Всем!»

«Никакой дисциплины, никаких воинских приветствий! – Вся власть рабочим, солдатам, крестьянам – Не повинуйтесь никаким приказам! – Берите повсюду власть в свои руки. Грабьте награбленное!»

Огромный фронт от Балтийского до Черного моря рухнул...

... и на Россию спустилась анафема – наступил хаос.

Наташа, моя незаменимая повариха, уехала. Хаос в европейской России пугал их. Она, как и все другие, тоже хотела лишь одного: вернуться назад в свою деревню.

Маруся пришла на ее место. Она хорошо отдохнула за время нашего отсутствия, и я сумел уговорить ее, что ей следует оставаться в Никитино, чтобы она смогла вообще снова увидеть когда-нибудь своего мужа, так как тот непременно узнал бы об ее местопребывании в Петербурге.

Маленький Алеша, ее сын, стал товарищем по играм с моим ребенком.

12 ноября неограниченная власть в руках большевиков, Зимний дворец взят штурмом, Керенский убежал. (Видимо, лишь 12 ноября до Сибири дошло известие об этом событии, случившемся пятью днями раньше – прим. перев.)

Ленин становится диктатором России.

7 декабря 1917 года Россия заключает перемирие с Центральными державами.

Столь долгожданный для всех нас Брестский мир становится непреложным фактом!

Пока Никитино лежало под своим высоким снежным покровом, аппарат Морзе гудел; он должен был снова ответить нам на самый горячий вопрос, который наши нервы уже едва ли могли выносить.

«Просим распоряжений об освобождении военнопленных».

Спустя несколько часов пришел ответ: «Освобождение возможно только весной».

Удивительно ли, что мои товарищи плакали от радости?

Нам нужно было подождать только лишь три, самое большее четыре месяца! Что такое эти несколько месяцев в сравнении с тремя долгими годами?

В Никитино прибыли уполномоченные большевистского правительства. Это было двое мужчин с властным взглядом, одетые в кожаные куртки, в кожаных фуражках с совсем новой советской звездой. На груди были перекрещены пулеметные ленты. На поясе у каждого висели по два револьвера. Они говорили громко и четко, и любое возражение казалось бессмысленным.

- Мы – комиссары большевистского правительства. Мы боремся за мир, свободу и хлеб. Мы – освободители угнетенных, бесправных. Любой, кто осмеливается угнетать пролетария, наш враг. Мы ставим наших врагов к стенке, и наш приговор может звучать только так: Смерть угнетателям народа! Каждый должен вести себя в соответствии с этим!

Предстояли выборы городского управления Никитино.

Лопатин, Кузьмичев, начальник почты, его помощник, солдаты, крестьяне, чиновники, все сразу проголосовали за Ивана Ивановича.

- Бывший царский слуга и подхалим! – кричал комиссар. – Это даже не подлежит обсуждению! Вы все сошли с ума!

- Но позволь, товарищ, – спокойно отвечал Лопатин, – если уж мы должны выбрать себе начальство, тогда ты должен предоставить это дело нам самим. Теперь мы – свободный народ и можем выбирать, кого мы хотим. Кроме того, ты вовсе не знаешь, был ли наш капитан подхалимом или нет. Он всегда выступал за права народа, мы знаем это лучше тебя. У нас дома мы должны решать, крестьяне и солдаты, а не ты.

Внезапно его рука метнулась к бедру, «наган» с грохотом стреляет, комиссар на другом конце стола медленно поднимает правую руку над столом.

Его судорожно сжатые пальцы разжимаются, револьвер с шумом падает на землю.

-... С сибирским стрелком нельзя так разговаривать и шутить. Мы стреляем быстрее, чем вы вытаскиваете ваш револьвер... А то, что у нас каждый выстрел попадает в цель это, все же, ты должен знать... Ты не был на фронте? Не нюхал еще пороху, нет?

На этом дискуссия была закончена.

Комиссары снова уехали: один с разбитой рукой, другой с бледным как мел лицом.

Иван Иванович снова должен был стать неограниченным властителем всей этой большой округи.

Прошло четыре месяца.

В четырех месяцах есть семнадцать недель.

Семнадцать недель включают сто двадцать дней.

Мы ждали все сто двадцать дней.

Изо дня в день, час за часом, каждое мгновение было наполнено этим ожиданием. Нетерпеливо и поспешно вставали, ждали обед, проглатывали его быстро, нетерпение нарастало к вечеру, тогда наступала немая, затаенная злоба, постоянная борьба против разума и всех логичных аргументов.

Так наступила весна 1918 года. С ней наши надежды выросли до бесконечности. Каждый день мы ожидали приказа на отправку.

Толпами крестьяне стояли перед нами. Они просили нас остаться, они умоляли, заламывая руки, предлагая нам свое самое последнее.

- Мы приняли вас как своих братьев, делили с вами наш ежедневный хлеб, всегда жили с вами в лучшем, самом честном взаимном согласии и безмятежном мире, отдавали вам наше самое лучшее, каким бы скудным оно ни было. Вы научили нас многому, но без вас мы снова опустимся назад, к нашему прошлому, ведь мы еще не всему выучились. Оставайтесь, братцы, оставайтесь, ради Бога! Не покидайте нас в нашем невежестве, имейте сострадание к нам! Мы долгие годы страдали от голода и лишений, и теперь, когда, наконец, наша жизнь стала лучше, мы становимся сытыми, вы все хотите уйти?! Оставайтесь, братцы, оставайтесь!

Как большие, нерасторопные, беспризорные дети, забытые суровой судьбой, они окружали нас. В их печальных глазах мы читали боль их примитивной, не знавшей лжи души, которую до сих пор никто из их правителей не мог завоевать так, как мы, прибывшие к ним как пленные и бесправные.

Затем из Омска поступила телеграмма: «Транспортировка военнопленных совершенно неопределенная!»

В уже который раз обсуждалась наша ситуация во всех подробностях; результат всегда был тот же самый.

Пеший переход продолжительностью минимум шесть дней отделял нас от железнодорожной станции Ивдель. Через два полных дня, при условии, что поезд сразу отправился бы из Ивделя, можно было бы добраться до губернского центра Перми, а оттуда, на следующем поезде после еще трех дней бесперывного путешествия мы были бы уже в Петербурге.

В действительности все выглядело иначе, как рассказывали нам немногие солдаты, возвращавшиеся с фронта.

Многолетняя война, революция Керенского, последующая большевистская революция потрясли все государственное устройство, а развал довершили деморализуемые и дезорганизованные войска, которые стремились только к

тому, чтобы любой ценой вернуться в родные деревни. Регулярного железнодорожного сообщения уже нигде не существовало, основная артерия гигантской страны была разрезана, уничтожена, все непродуманно шаталось, так что каждый должен был добиваться своего права с силой оружия. Тысячи людей скопились на узловых станциях, не имея возможности купить себе необходимые продукты, даже по огромным ценам. Хаос фантастических масштабов, долго разжигавшийся новыми правителями, распространялся по России. Любую организацию уничтожала полная недисциплинированность. Солдаты реквизировали локомотивы и железнодорожные вагоны, грозили машинистам, составляли поезда и уезжали. Останавливались только тогда, когда подходило к концу топливо для паровоза и нужно было принести дрова из лесу, или если уступали другой силе, тоже останавливавшей поезд с применением оружия, но имевшей численный перевес и желавшей ехать как раз в противоположном направлении. Мужчины, в течение долгих лет постоянно видевшие смерть перед глазами, должны ли они внезапно были стать предупредительными и тактичными?

Великое переселение народов катилось вдоль основных дорог и вдоль железнодорожных линий. Все города и деревни, которых касалась эта человеческая лавина, были полностью разграблены. Путь, предстоявший им, был долгим, и если они находили хоть что-то съедобное, то отбирали его силой. Потому что только если у них была еда, они могли бы добраться до дому, а если нет, им оставалось лишь помереть с голоду по дороге.

Для нас, военнопленных, было только две возможности: или нырнуть в этот хаос и пробиваться наудачу в прежний Петербург – современный Ленинград – либо в Москву – или выжить.

Большинство из нас снова хваталось за плуг, и судорожно сжатые, нетерпеливые руки снова сеяли семена на благо своих ближних. Посевы всходили, и глаза и сердца людей, видевших, как работают молчаливые чужаки, еще сегодня видят, как они шагают по скудным полям, когда ревет буран или пылающее солнце безжалостно горит на небе. Но это больше не они. Это их тени, которые встречаются на чужой земле, тени, глядящие на живущих и благословляющие их...

Зальцер, наш товарищ, ушел от нас...

Неизвестный солдат, неизвестный человек среди нас, миллионов и миллионов. Он испытал завершение своего дела. Завершение, счастье, радость схватили его за сердце.

- Он умер от радости..., – шептали те, для которых он работал.

Могила его лежит где-то в глубинах Сибири, посреди девственного леса.

Лето 1918 года пришло к нам. Еще никогда не было оно таким знойным, никогда еще не было таким ветреным. Печально смотрели крестьяне на высохшие посевы, качали головами и говорили друг другу: – Зима будет очень жестокой. Помилуй нас Бог!

Осень приближалась. Я еще раз поехал в Забытое.

Трапперы хотели отправиться на охоту, должны были добыть на зиму продовольствие и запасы, так как зима длится тут шесть долгих месяцев. Скучные поля могут дать только немного хлеба и овса, поэтому богатые дичью леса, реки и озера должны давать все необходимое.

Наша подготовка закончена.

На берегу маленького бухты, у грубо сколоченных плотов, на которых мы попали в Забытое, качаются лодки; они похожи на маленькую флотилию. Это крепкие лодки-однодеревки, которые тут называют осиночками, без киля, длиной от трех до пяти и шириной от полутора до двух метров, над центром лодок дугой натянуты прочные железные пруты, на которых крепиться тент, чтобы дать людям укрытие от дождя и спасти от промокания вещи.

Осенний туман лежит над окрестностями. На каждую лодку осторожно садятся четыре человека. Двое из них хватают короткие, крепкие весла, и осиночки отчаливают одна за другой, пока оставшиеся на берегу машут нам рукой.

Быстро и беззвучно лодки скользят вниз по течению. Туман, лежащий над рекой, разделяется, растекается, укутывает нас и тянется потом все больше и больше к лесистым берегам, чтобы исчезнуть там полностью. Холодно и влажно, трубка дымит и согревает озябшие руки. У носа лодки шумит вода. Еще долго таявшие собаки, «лайки», успокоились. Они лежат рядом с нами, с тонким слухом и напряженными глазами внимательно смотрят с лодок на лес.

Мы плывем со средней скоростью примерно пятнадцать километров в час. После шести часов поездки устраивается первый привал. Быстро собраны сухие дрова, огонь горит, мы едим простой, но сытный обед. Наша трубка дымит, мы отдыхаем, ходим туда-сюда, чтобы оживить занемевшие ноги, и вскоре плывем дальше.

Нам предстоит долгий путь и придется убить много дичи, так как нас ждут женщины и дети, о которых мы должны позаботиться.

Еще один привал, и снова в путь.

Река резко поворачивает, делится на две больших протоки, из которых мы выбираем правую, потому что там должно быть больше дичи.

Темнеет, и, наконец, мы устраиваем наш ночной привал. Наш костер ярко горит в черной темноте. Мы сидим вокруг огня, и, как будто мы люди не из этого мира, бросаем такие гигантские тени на окружающую нас, заросшую, дикую тайгу. Вокруг нас устроились наши собаки, «лайки». Вскоре мужчины лежат и спят, закутанными в незаменимые бурки, точно так же, как они только что сидели или лежали. Одинокий караульный ходит вверх и вниз, охраняя нас, так как тайга ночью часто бывает опасна. Рыча и лая, то одна то другая собака иногда вскакивает, всматривается яростными, сверкающими глазами в мрак леса, где слышится треск, шипение, ворчание. Может, это медведь, лось, олень, а, может быть, и человек.

«Все в порядке!... Все хорошо! – бормочет тогда бродящий часовой протяжным басом себе в бороду, чтобы снова успокоить животных. Вдали умолкают шумы ночного, непроницаемого-черного леса, собаки садятся на костреч, несколько раз взвоят протяжно, задремлют; только их всегда бодрствующие уши шевелятся и воспринимают любой самый незначительный звук.

Совы шмыгают совсем близко у костра, улетают прочь, и в лесу слышен тогда их растянутый крик «Угууу.. угууу... ууу».

Пелена тумана обвивается от реки вверх к берегу, качается туда-сюда, окружает нас со всех сторон. Лес исчезает, и становится так тихо, что нам кажется, будто слышен шум тумана. Так проходит ночь, пока постепенно не рассветает, туман уходит и лес просыпается.

Снова разжигаем костер, мы едим, кормим собак, потом продолжаем путь. К полудню за лодкой опускается удочка с приманкой. Удивительно быстро на ней трепыхается огромная щука. Она тянет на все пятнадцать русских фунтов. Удочка снова разматывается, и опять на ней висит большая рыба. Прошло лишь несколько минут, и у нас в лодке уже тридцать фунтов рыбы.

Речное русло становится шире, теперь на берегах взъерошенный лес, видно множество берез, большие заросли ивняка, и это становится все однообразнее. Проходит час за часом.

- Стооой! Стооой! – звучит протяжный голос деревенского старосты. Гребцы замедляют ход, и наши осиночки подходят совсем близко к берегу, чтобы ощупывать длинным багром густой ивняк на берегу. Илье не понадобилось много времени, чтобы найти там дорогу, ветки раздвигаются, и продолжается изнурительная поездка. Мы тянемся вперед сквозь густой кустарник. Продолжительное время проходит, пока перед нами не раскрывается полностью поросший сверху деревьями и кустами водный путь, а потом... перед нами лежит озеро. Оно необозримо велико. Я смотрю в воду: она светлая и прозрачная, но увидеть дно нельзя, так как под водой находится непроницаемый тесно переплетенный лес водорослей. Над верхушками этого леса

скользит наша лодка. Возле нас и перед нами плывут рыбы прямо-таки невероятной величины.

- Здесь еще никто не ловил рыбу сетями. Кроме нас, никто не знает этих мест.

И как к подтверждению наших слов за двадцать шагов перед нами поднимаются сотни, если не тысячи водоплавающих птиц из камыша.

Свет дня гаснет. Приходит зловещая тишина. Ночь.

Молчаливые гребцы, между тем, все дальше ведут свои осиночки. Когда они поднимают свои весла из воды, я отчетливо слышу, как капли воды падают в неподвижный поток, но не слышу, как они опускают весла в воду, только тихое, слабое плескание маленькой волны у носа, и как она поспешно уходит в невидимое.

Мы пересекли озеро. Ночь становится светлее. Тонкий, едва ли проходимый водный путь, который может найти только сведущий глаз охотника, ведет наружу. Другое большое озеро в далекой дали, еще окруженное клубами тумана, на берегу возвышение, остров, густо поросший березами.

Ярко сверкая, лежит вокруг нас озеро, солнце стоит в зените. Теперь мы недалеко от этого острова, направляем наши лодки как раз к камышу у берега.

Староста достает длинный багор и, опираясь на примитивный, но крепкий причал, ловко спрыгивает из осиночки и вытаскивает ее полностью на причал. Перед нами лежит маленький залив, расширенный людскими руками.

За это время подплыли и другие лодки. Самые разные водоплавающие птицы прерывают наши разговоры таким громким кряканьем, что мы едва понимаем наши собственные слова. Мы выгружаемся. Поднимаемся по едва заметной, поросшей дикой травой тропинке во внутреннюю часть острова. Собаки следуют за нами, невольно время от времени, почуяв дичь, они тянут веревку и хотят бежать в разные стороны.

Свободная площадка величиной примерно пятьдесят квадратных метров, окруженная чащей – в центре ее большая землянка с широкой, тяжелой дверью, петли которой страшно скрипят. Вся землянка снаружи покрыта мхом и маленьким густым кустарником. Странно выглядит поставленный рядом с ней крепкий неуклюжий стол, засыпанный опавшей листвой, который как будто хочет сказать нам всем, что его сделали действительно живые люди и когда-то поставили здесь для определенной цели. Мы заходим в землянку. Помещение величиной шесть на восемь метров и высотой два метра, рядом с ним кладовая, чисто сработанные, крепкие кровати, очень хорошо сделанные стулья, скамьи и столы поставлены в угол.

Первое, что делают охотники, – это наполняют маленькую лампаду перед образом; это вменяется в обязанность деревенскому старосте в качестве священника. С любовью и тщательной преданностью от фитиля осторожно отрезается кусочек, продевается через сделанный в форме креста из тонкого листа жести поплавков, открывается бутылка с маслом, и красный стакан лампы наполняется доверху. Теперь ее осторожно ставят на подставку, укрепленную прямо под иконой, и зажигают фитиль. Мужчины, которые спокойно и смело смотрят в глаза любой таежной опасности, стоят вокруг слабого святого света, обнажают головы и крестятся с поистине благоговейными, преображенными лицами.

Затем разжигается железная печь, и мгновенно приятное тепло распространяется вокруг нас. После этого начинается подготовка к завтрашнему утру, снаряжают патроны, съедают ужин, курят одну трубку за другой. Потом все мы спим, люди и собаки, во время сна на наших лицах лежит нежный свет лампы, и лицо Богородицы с младенцем Христом на руках улыбается нам сверху.

Следующим утром, едва наступает рассвет, мы выезжаем, только один остается в землянке, он должен позаботиться о еде, дровах и собаках. Быстро скользят осиночки над озером, потом они разделяются. Одни будут целыми днями ловить рыбу сетями, другие будут стрелять птиц.

Охотники распределились вокруг всего пруда. Они скрытно прячутся в тростнике, в камышах, на воде и на берегах.

Звучит один выстрел, второй, третий, четвертый.

Шум, биение крыльев, визг, крики. Стаи уток поднимаются, несутся прямо над поверхностью воды. Выстрелы гремят в зарослях камышей, в тростнике, посреди озера. Оглушительные крики и кудахтанье птиц, свистящий взмах крыльев, невероятное порхание в воздухе, все небо плотно покрыто птичьими стаями, которые мешают одна другой, которые едва ли могут пролететь мимо друг друга. И снова и снова звучит выстрел за выстрелом, то на одной, то на другой стороне озера.

В полдень осиночки скользят над озером, которое снова стихло. Лодки кружатся и вылавливают убитых птиц из воды. Они наполнены до бортов и спешат к скрытой землянке.

Обед ждет нас, но мы позволяем себе небольшой отдых. Зажигается короткая трубка, и мужчины принимаются за работу. Подстреленных птиц ощипывают, их перья сортируют и складывают в мешки. Потом птиц потрошат и сортируют по качеству, печень, сердца и желудки складывают в бочонки с перцем и солью. С жадностью собаки ожидают отходы, оставшееся мы вы-

брасываем в озеро, к радости бесчисленных рыб. Видно, как они спорят между собой и уплывают прочь с кусочками отбросов. Потом мы принимаемся за винтовки. Их чистят, и, наконец, снова снаряжают патроны.

Когда солнце стоит на западе, осиночки снова отчаливают, потому что мы отправляемся на новую охоту.

Снова трещат со всех сторон выстрелы, снова армии, тучи водоплавающих птиц поднимаются и наполняют воздух громким криком. Перья летают, птицы падают, и снова полностью загруженные лодки тянутся по освещаемой луной широкой поверхности озера к одинокой хижине.

Так происходит изо дня в день, ранним утром, поздним вечером. Мы подстрелили тысячи уток, но все же, их стаи не стали меньше.

Выпотрошенных птиц и рыбу грузим в лодки и везем домой. Половина мужчин возвращается в Забытое с добычей, которую там перерабатывают и консервируют на долгую зиму в бочках.

После нескольких дней мы расстаемся с основной группой охотников.

Староста, двое крестьян и я едем в другую сторону, для охоты на глухарей, тетеревов и рябчиков. Четыре собаки сопровождают нас. Мы отправляемся ночью, когда все еще спят, потому что именно ранним утром, когда туманы еще крадутся по лесам, эти дикие петухи собираются стаями.

Во второй половине дня мы возвращаемся к землянке, оставляем нашу добычу и снова уезжаем ночью.

Так проходят еще несколько дней.

Вечером, пока еда варится на открытом огне, мы разговариваем об охоте, и трапперы рассказывают о том, что им доводилось пережить в тайге.

- Федя...! Рука Ильи ложится мне на плечо, когда я задумчиво гляжу на шелестящий костер. – Федя, я далеко в лесу, на краю тундры, уже много лет тому назад построил для себя избу, потому что хотел уйти от людей. Но случилось не так. Я должен оставаться среди них. Не хочешь ли ты поехать со мной? Уже четыре года я больше не видел этой избы. Собственными руками я построил ее там, это стоило мне невыразимых трудов. Там есть все, что нужно для жизни. Там так прекрасно, Федя! Если кто однажды побывал там, он больше не захочет вернуться. Поедем туда, я так соскучился по этой избе!

- Да! Завтра, совсем рано, мы поедем туда.

Следующим утром густой туман опустился на весь пейзаж. Солнце еще не взошло.

Запасы на несколько дней погружены на лодку, несколько коротких прощальных слов, и мы уже скользим из маленькой, скрытой гавани. Несколько сильных ударов коротких весел, и мы оба одни в дикой местности. Проворно скользит узкая лодка.

Постепенно туман окрашивается в светло-розовый цвет, потом становится все более темным, до самого насыщенного темно-красного цвета. Клубы тумана, кажется, окружают нас со всех сторон, как будто они хотят снова и снова схватить нас и преградить нам поездку. Теперь они расходятся, позволяют разглядеть несколько кустов на близких берегах, силуэт низкой, мерцающей синевой болотной сосны, но потом короткий просвет снова закрыт. Теперь туман расходится с другой стороны и внезапно дает нам широкий обзор над парующей водой... на далекое, холодное, едва восходящее солнце. Облака тумана становятся все светлее и меньше, пока они совсем не разделяются и не прячутся на берегах.

Холодное солнце светит навстречу нам, яркий мяч стоит прямо над узкой водной дорожкой и блестит в крошечных волнах, разбегающихся за нашей лодкой.

Издали мы слышим кряканье и гоготание многих тысяч водоплавающих птиц. Иногда стайка их пролетает над нами. Мы слышим, как они с плеском шлепаются на воду.

По прошествии некоторого времени мы выходим, вытаскиваем лодку из воды и тащим ее волоком по земле.

- Там, где стоят две одинокие болотные сосны, там вода.

Добрались до сосен, лодка скользит в воду, и мы плывем дальше. Водный путь постепенно становится шире, берега расступаются, теперь однодеревка качается над тихим, пустым озером.

Новый фарватер оказывается резко слева. Его едва ли можно узнать, так как на его поверхности лежат бок о бок и друг над другом гнилые ветви и стволы. Здесь кусты на берегах настолько высоки, что они образуют навес из ветвей. Кишит водоплавающими птицами, которых разгоняет наша лодка. Они даже не взлетают высоко, и мы могли бы хватать их рукой. Некоторым из них это стоит жизни.

Мы больше не можем покинуть лодку, так как берега мелкие и илистые. Только к вечеру рукав расширяется. Берега тут снова заросшие безобразным, низкорослым лесом.

Дважды мы разжигали наш костер на берегах. Мы сходили на берег только, чтобы поспать и поесть. Мы по дороге ловили огромных рыб, стреляли глухарей, тетеревов и рябчиков.

Теперь ландшафт изменился.

Берега низкие и тянутся далеко внутрь суши. В воде теперь накопилось несколько слоев гнилых деревьев и кустов, и кажется, что на них можно сойти и ступать по ним.

С каждым гребком тишина пространства возрастает, пустынность становится все более заметной.

Мы оба тоже молчим все больше и больше.

Ночью, когда мы засыпаем у костра, нам не нужно караулить друг друга. Мы даже не брали с собой наших собак, потому что людей здесь уже не может быть.

Неподвижно лежим мы рядом и внимательно слушаем.

Но тишина остается.

Она велика, настолько велика, что одинокий человек не может вынести ее – он боится ее, ибо здесь начинается вечность.

Наше путешествие продолжается.

К полудню мы видим в синей дали большой холм и черную стену. Это лес. Мы направляемся туда. Камень огромного размера, чистый, отшлифованный водой гранитный блок лежит на круто поднимающемся заросшем мхом берегу.

- Это мой камень... мой старый друг..., – говорит Илья радостно.

Лодку вытягиваем на берег. Мы идем по светлому березовому леску, между березами там попадаются европейские кедры и ели.

Внезапно Илья останавливается. Мы дошли к краю лесной поляны, и он твердо хватает мою руку и показывает.

- Гляди! Ты видишь?... Вот моя маленькая избушка!...

На противоположной стороне луга, чуть ли не полностью засыпанная накопившейся за много лет осенней листвой, как угловатый белый гриб, в укрытии, стоит хижина. Она построена в форме сруба из толстых стволов, у нее

широкие ставни. Огромные железные стержни закреплены на них и у низкой, тесной двери.

Сюда мы ехали целыми днями, и не торопясь, но сейчас Илья бежит через луг, на ходу вытаскивает ключ из кармана, открывают засовы и замки, откидывает засовы, пролазит в избу, остается там на несколько мгновений и снова появляется снаружи, с сияющей улыбкой, всколоченными волосами, пиджак и рубашка расстегнуты, грудь гордо выпячена вперед.

Внезапно мне кажется, что он стал в несколько раз выше.

Осенний, залитый солнцем лес, падающие листья, бескрайняя уединенность, низкая изба...

Наружу вытягиваем два больших массивных стула, круглый, тяжелый стол, пестрая, веселая скатерть взматается над ним, и внезапно... все вокруг нас смеется. И маленькая хижина, которая была так неприметна и едва ли хотела отличаться от леса, сияет, и из окон, которые теперь широко открыты, она смотрит на нас как верная заботливая мать, как будто она долго, уже очень долго ждала и высматривала нас.

В избе две комнаты. В одном углу стоит похожая на камин печь из обожженной глины, в середине висит керосиновая лампа, на столах стоят массивные деревянные подсвечники, в которых еще находятся полуобгоревшие, толстые свечи. Илья зажигает обязательную лампаду перед иконой, и мы долгое время стоим у нее.

Во втором помещении широкие деревянные топчаны. На них разложены подушки и перины.

Все свидетельствует о большой заботливости, все изготовлено искусными руками, у которых когда-то было время и досуг. Обо всем побеспокоились, ни о чем не забыли. Даже целые оконные рамы, запасное стекло, вторая дверь, начатые стулья и стенная доска стоят в углу. Несколько тяжелых железных засовов, завернутых в смазанную жиром газетную бумагу, тоже приготовлены. В шкафах лежит не только посуда, но и белье, несколько крепких рубашек, полотняных брюк, портянок для ног. Пол настолько чист, как будто его только что подмели.

- Все это я сделал совсем один, все, что ты здесь видишь. Множество раз приходил я сюда, иногда еще с другой лодкой на буксире за моей, с большим трудом волочил я их обе по земле, пока не собрал все так, как ты сегодня это видишь. Я целое лето ставил избу, а потом зимой я положил пол и смастерил мебель. Это была прекрасная работа, Федя! Теперь вот она стоит, моя изба!

Как рука любящей женщины скользит по голове мужчины, так и крестьянин касался и показывал мне произведение своих рук, которое он создал из ничего.

Наивысшее благо человека – это не работа, а возможность увидеть ее конечный результат, как бы он ни был примитивен.

- Как ты попал в эту местность? – спрашиваю я.

- Я однажды отправился на охоту от нашего охотничьего домика на острове в облюбованный лосями район. В тумане утра я увидел мощные рога. Они едва двигались, потому что были скрыты несколькими покрытыми мхом соснами. Я выстрелил слишком быстро. Меня уже на Японской войне наградили знаком за отличную стрельбу, но, я и сейчас этого не знаю, наверное, именно так и должно было случиться, я выстрелил и должен был идти за больным животным; оставленный кровью из раны след был слишком отчетлив. У меня не было времени, чтобы есть и пить. Лось шел через болото, как будто бы это была твердая земля, и, все же, я не мог дать животному околоть в лесу. Недалеко от этого луга я настиг и пристрелил его.

Я провел здесь несколько дней и стрелял только для того, чтобы получить только самое необходимое пропитание. Все прочее время я наблюдал за множеством дичи, которая резвилась беспечно в лесу и подходила прямо ко мне, не убегая прочь и совсем меня не боясь.

Людей тут тоже на многие версты нет. Никто не решится так просто целыми днями идти через море мха. Для наших охотников в этом нет смысла, потому что они и не предполагают, что этот лесной остров находится так далеко на севере, да и обратный путь с добытой дичью был бы для них слишком далек и слишком труден. Я поставил тяжелые железные запоры и засовы ради осторожности. Наверное, потому что я подумал, что вдруг все-таки кто-то, как я, придет сюда, тогда он не должен добраться до моего добра, я ведь его не украл.

Утром мы вышли в лес.

Насыщенная зелень елей и кедров, от самого светлого до самых темных цветов, рядом с ними светлые стволы берез с листьями всех оттенков чистого золота окружали нас всюду, где мы шли.

Шипение и бульканье глухарей и тетеревов становится все громче. Я смотрю на кусты. Там сотни этих больших птиц, которые пасутся вместе. Они ищут ягоды, насекомых, расклеивают иглы лиственниц и сосен.

Тихо мы подкрадываемся дальше. Кричит ворон. Он уселся на высокую крону дерева и оглядывает окрестности, наверное, чтобы высмотреть себе приятеля.

- Если ворон кричит, то скоро придет мороз, – говорит охотник.

Мы добрались до озера. С возвышенности, на которой лежит лес, мы смотрим вниз на него.

Теперь первый солнечный луч пронзает туман, и внезапно лес оживает во всех его трудно определимых цветах. Тихое дуновение колышет кроны деревьев, они шумят, медленно падают березовые листья к нашим ногам, касаются нас, присоединяются к другим. Они похожи на золотые дукаты. Голоса птиц звучат громче, веселее. Теперь все вокруг гогочет, свистит, щебечет, кричит, крикает, поет и кудахчет в разноголосице.

Над водой слышно кряканье водоплавающих птиц. Оно стало таким громким, что мы едва можем разговаривать.

На берегу выходит мощный лось. Он останавливается и замирает. За ним следует целое стадо. Их седые уши шевелятся. Старые лоси хитры, робки и осторожны, более молодые животные и лосята, напротив, доверчивы.

«Ёа, ёаааа, ёааа...», звучит боевой призыв лоса. Снова и снова кричит он и смотрит на воду и лес.

Спокойно, без поспешности, без вызова на бой, не думая о своем окружении, выходит еще и медведь. Пронырливость и хитрость проблескивают из маленьких глаз. Он обнюхивает кусты и уже сейчас предусмотрительно осматривает окрестности для выбора берлоги на зиму. Он грызет гриб, чавкает и глотает ягоды, трясет круглой головой, прыгает и подсакивает озорно, смотрит своими сверкающими глазами снова на солнце, трет лапой свои маленькие, круглые уши, что-то негромко ворчит и тяжело ступает дальше. Довольно долго еще слышны обыкновенные крики птиц, которые выдают охотнику приближение медведя, как ветви трещат за тяжелым животным, тогда снова наступает спокойствие.

Кружа кругами и внимательно осматриваясь, появляется чернобуря лиса, полная вожделия присматривается она к серым гусям и уткам, которые, однако, уже давно покинули защищающий камыш и объединились в плотную стаю на свободной воде.

Прибегает веселый бурундук – земляная белка. Он таскает сочные кедровые орешки в свою кладовую на зиму.

Вдруг пролетают снежные гуси, несколько раз кружатся они вокруг озера, с противоположного направления появляются утки-морянки, шилохвости, широконоски, нырки и чирки-трясунки, они опускаются на воду, чтобы вскоре после этого взлететь снова. И внезапно поднимаются все больше и больше стай водоплавающих птиц, все они теперь летают вперемешку, кричат, кудахчут. Над водой, в воздухе, все небо полно птиц с оглушительным шумом, тучами порхают они, тысячи и тысячи жужжат в воздухе, снижаются к воде, снова и снова поднимаются, кружатся вокруг.

Лишь очень немногим людям довелось слышать эту симфонию неприкосновенного девственного леса в глубокой Сибири.

Незабываемые дни посреди уединенности. Каждый день похож на другой, и, все же, внутреннее переживание тишины и полной уединенности снова и снова оказывается новым и большим.

Внимательно вслушиваемся в лес, и в то же время вслушиваемся внутрь самого себя.

Раннее утро. Шаг за шагом иду я по мягкому болоту. Там, где светятся желтые, покрытые светлым мхом места, там подстерегает смерть – это «окна» необъяснимой глубины, в которых человек и животное безнадежно утонут.

Моя правая рука держит ружье. Всюду я вижу свежий помет лосей.

Внезапно туман разделяется, и я в непосредственной близости, рядом с синеватыми тенями трех кривых болотных сосен и нескольких маленьких бережок, вижу лося. Он не замечает меня, ветер дует благоприятный, и я слышу шелест и сопение.

Его рога сильны, он стоит неподвижно, только уши медленно шевелятся

Туман снова полностью закрыл его.

Мое сердце стучит... Я решаюсь подойти еще на несколько шагов.

Туман разрывается, и я вижу животное теперь очень близко передо мной, отчетливо вижу его светлые, почти белые ноги, его глаза, которые теперь направлены на меня.

Зверь и человек смотрят в глаза друг другу.

Его глаза ясны и прекрасны, и они тоже не знают страха, ибо его стихийная сила и мощь непоколебимы, его боевая сила не ведает себе равных.

Медленно шевелятся уши, ноздри вздуваются, глубоко всасывают воздух и пыхтят.

Огромный лось подходит ко мне. Но он не опускает свои рога, он не нападет на меня, только уши снова и снова двигаются, ноздри всасывают воздух с шипением и сопением, пока его глаза так мечтательно, так странно, спокойно, глубоко всматриваются в меня.

Медленно он подходит ко мне. Нас разделяют уже меньше трех шагов. И под обаянием мгновения я протягиваю великану, этому благородному, чистому животному, мою левую руку.

Ноздри доверчиво приближаются к моей ладони, я чувствую мягкие волоски, губы, его теплое дыхание, и... моя рука медленно гладит губы животного. Лось смотрит на мою руку, и широкий язык скользит по всей моей ладони.

Вокруг нас внимательно слушает великая тишина.

Медленно гигантский лось отворачивает голову от меня, проходит мимо меня несколько шагов, и внезапно неимоверно сильный рев с силой вырывается из его груди. Еще раз он поворачивает свои мечтательные глаза ко мне, на долю секунды они еще один раз смотрят мне в душу... и он спокойным шагом идет к болотным соснам.

Я остаюсь, неподвижный и... печальный.

Треск, грохот и глухой топот из чащи, новый, сильный рев лося, и я вижу, как стадо лосей и лосят беззаботно переходят болото. Только на минутку они смотрят на меня, нежно звучащий зов вожака, взгляд, который едва ли касается меня, и стадо удаляется за болотом, белые ноги не тонут в трясине, легко несут тяжелые, великолепные тела.

Левая рука еще влажная от языка лесного великана, правая обтягивает ружье – смерть трусливого человека.

На возвышенности, недалеко от хижины, я вижу стоящего охотника. – Лось никогда еще не чуял человека, иначе он определенно напал бы на тебя, братец. Но в этой местности человек никогда еще не был.

Конечно, траппер был прав...

Уже часто ворон, старый, мудрый ворон, кричал. Птицы готовятся к их далекому перелету, потому что солнечные лучи уже блестят в ивее леса.

Небо красится в зеленовато-серый цвет и бросает в ясной дали фиолетовые, глубокие тени. Птицы в небе снова подняли свой оглушительный шум, они

ссорятся, спорят, но потом они поднимаются, описывают несколько кругов вокруг родных мест, вытягивают вперед шеи, и одной стаей за другой, одним облаком за другим, непрерывными, упорядоченными рядами тянутся от нас прочь на юг.

Долго мы смотрим вслед исчезающей стаи...

На следующий день болото тихо, последние перелетные птицы покинули его. И в лесу кряканье тоже больше не звучит. Лес тоже стал еще тише, еще более одиноким. Все внезапно как бы превратилось, стало еще более возвышенным.

Для нас двоих тоже пришло время готовиться к обратному пути. В хижине все прибирается, и наши шаги становятся робкими, как будто мы устали. Багаж снова возвращается в лодку, тяжелые железные запоры гремят у окон и двери, замки защелкиваются. Изба заперта...

Рука охотника ложится на балку. Он безмолвно прощается со своим домом.

Привычным движением забрасывает он потом винтовку за спину, рука на ощупь ищет нож на боку, и мы идем через засыпанный листвою луг. Ветер шумит листьями, они, падая, танцуют вокруг, уносятся прочь, возвращаются, сопровождают нас до опушки леса, до тех пор, пока охотник не оборачивается у края луга и в последний раз глядит на домик.

Он задремал, вероятно, снова на долгие годы.

- Уходить в уединение легче, чем возвращаться к людям..., – говорит он мечтательно тихим голосом.

Затем он резко поворачивается, и твердым, но одновременно легким шагом, который может быть только у траппера, спускается к озеру, касается своего немного друга, камня, крестится, прыгает в лодку и хватает весло.

Солнце отражается в его глазах, мечтательно направленных вдаль. Они узрели вечность природы. И в холодных лучах взгляд все же снова становится мягким и прощающим.

Забытое тоже готовилось к зимней спячке.

Между тем тысячи убитых уток, гусей и других птиц были отсортированы, выпотрошены, закопчены, огромные куски мяса лосей и оленей засолены, сети доставали из реки все больше и больше рыбы, бесчисленные ряды бочек катили к реке, наполняли, закрывали и ставили в деревню, в отдельные избы, в низкие, просторные кладовые. Большой и маленький, стар и млад, все помогали друг другу опытными, спокойными руками без ссор и споров.

Только один человек утратил свое внутреннее спокойствие. Каждый проведенный в Забытом день постепенно становился для него мучением. Постоянно растущее беспокойство грызло его – этим человеком был я сам.

Что происходило в Никитино? Позаботились ли они там тоже о запасах, работали и достали ли все, что им срочно понадобится в течение наступающих четырех месяцев? Подумали ли они о том, что пути подвоза припасов могут быть отрезаны?

Что, если в этом общем хаосе подвоза припасов не будет?...

Если мы окажемся отрезаны от мира?...

Шесть тысяч жителей и три тысячи военнопленных...

В красном углу, под образами, сидела Фаиме. Возле нее играл наш ребенок; он ставил друг на друга маленькие, деревянные кубики, которые вырезали мои товарищи.

Я снова в Никитино.

Бесконечная колонна из загруженных упряжек, вокруг них веселые мужчины, лающие собаки, четкий маршевый шаг, песни в полный голос. Военнопленные возвращаются в Никитино из деревень. Лагерь широко открывает свои ворота. Рукопожатия, радость на лицах у всех.

Робко вхожу я в здание прежнего полицейского управления, поднимаюсь по ступеньке за ступенькой, нажимаю на дверную ручку.

Иван Иванович свободно сидит за своим письменным столом.

- Федя! Ну, наконец-то, ты снова здесь!... Что случилось...?

- Какие у тебя телеграммы из Омска и Перми, Иван? Как обстоят дела с освобождением пленных?... Прибудет ли транспорт?... Омск снова регулярно связывается с нами...?

- Омск телеграфировал четыре дня назад, что транспорт с продуктами был отправлен. С военнопленными, Федя... это все еще очень неопределенно... мы ожидаем в ближайшие дни снова «белое» правительство в Сибири. Много офицеров и солдат старой армии прибыли в Сибирь, из них образуют «белые» полки, которые должны сражаться против «красных». Всюду уже идут бои...

- Мы должны оставаться здесь?... Ждать дальше...?

- Это больше не может долго продолжаться, мой дорогой. «Красные» будут полностью побеждены, тогда у нас в России снова будет порядок...

- Но тогда Брестский мир тоже будет снова аннулирован, ты это знаешь?... Но в настоящий момент нам нужно позаботиться о чем-то другом, а именно, о продуктах. Подумал ли ты, что если транспортный караван не сможет к нам прийти, нам всем придется умереть с голоду? Ни один черт не позаботится о нас!

- Ради Бога, что у тебя за мысли, Федя! Этого не может быть, ради Бога!

- И если то, что я говорю, будет правдой? Что будут примерно девять тысяч человек делать в Никитино без продуктов? Нам всем придется сдохнуть?

- Это невозможно! Они должны послать нам продукты!

- Иван! Я взываю к твоему разуму! Прикажи всем немедленно собраться! Теперь мы должны помогать себе сами, потому что другие покинут нас! – прикрикнул я на него.

Мы расстаемся...

Никитино спал. Городку был привычен сон, и в этом не было ничего необычного. Никто не думал о том, что могло случиться. Продолжали жить на авось; как-нибудь что-то да будет, потому что до сего времени как-то все еще шло.

В зале гимназии собрались все. Люди стояли, плотно прижавшись друг к другу. Воздух был наполнен их голосами и их затаенным страхом. Снаружи, перед входом, стояла огромная толпа, которая больше не могла поместиться вовнутрь.

На подиуме появляется Иван Иванович, и масса внезапно умолкает. Эта тишина зловеща. Короткие, резкие слова падают на людей, и непричесанные, запущенные головы опускаются и плачут... Ужасы голодной смерти им известны, но теперь ее опасность стоит перед ними ужаснее, чем прежде.

Парализующий ужас опустился на городок и охватил всех.

В тот же день казачий разъезд под командованием фельдфебеля Лопатина скачет из Никитино; он должен непременно дать нам всем ясность, он должен торопиться – через четыре недели зима.

Почему путь в лагерь военнопленных был так короток?

Почему мне не было позволено объявить им свободу?

Почему я должен был забрать у них последнюю, самую последнюю надежду?

Были ли мы на самом деле самыми худшими из всех плохих?

Или мы должны были исполнить долг посева хлеба...?

- Товарищи... последняя зима в Сибири предстоит нам, самая последняя, но также и самая ужасная. Мы стоим перед угрозой голодной смерти!... Подвоза может не быть, так как в стране, как вы все знаете, большие беспорядки, каждый думает только о себе, и потому очень большой вопрос, сможем ли мы получить продукты извне.

Внезапно все население Никитино было на ногах. Страх подгонял всех.

В реку опускались большие, прочные сети.

Вырастали горы припасов.

Караваны проезжали по дорогам во все близлежащие деревни, и в течение немногих дней, которые оставались нам до приближающейся зимы, получали все, что еще можно было купить из продуктов. Крестьяне отдавали нам свое последнее, даже если этого часто было так мало. Весь скот, и даже лошади были учтены, и теперь они образовывали наши самые ценные резервы, трогать которые можно было только тогда, когда запасы рыбы закончились. Женщин, мужчин и даже детей постоянно решительно подгоняли, они беспрерывно изготавливали петли самых разных размеров, к которым когда-то охотники и трапперы чувствовали отвращение. Теперь они выкладывались в лесу. Все капканы, которые были у нас, служили той же самой цели, и их изготавливали все больше и больше новых.

В то время как масса прежних переселенцев убежала из Никитино, другие день и ночь прилагали все усилия, чтобы помочь при ловле рыб и дичи.

Несколько дней спустя поступили первые тревожные сообщения. Несколько беглецов вернулись. Дорогу от конечной станции Ивдель уже много дней больше не видели, движение остановлено. Убежать уже было невозможно.

Телеграф молчал, хотя телеграфисты передавали наши депеши долго, особенно по ночам.

Прошло больше двух недель.

Высланный казачий разъезд вернулся. Из восьми мужчин вернулись трое, и они тоже были изранены, измучены, умирали от голода. Их сообщение было коротким. Голод уже господствовал в окрестностях. Голодающие стремились захватить лошадей, чтобы съесть их, и приходилось применять силу оружия

против любого. Полный хаос распространялся в стране. На подвоз больше не следовало рассчитывать.

На руках я принес верного Лопатина ко мне домой. На его ноге была сложная рана от ножа голодающего, который хотел отобрать у него лошадь, на левой руке было только лишь три пальца. Два пальца какой-то крестьянин отрубил ему топором. Ляжки сильно опухли и на них были следы нескольких ударов ножом и серпом.

Несколько дней я заботился о нем, если я был дома, позволяя себе едва ли несколько часов сна. Во мне бушевало предстоящее решение.

Наступила ночь...

Я достал алмазы, маленький мешочек с крупцами золота и запряг Кольку... Фаиме и нашего ребенка, Ольгу и ее ребенка, Марусю с обоими детьми и Лопатина я посадил в повозку, отвел ее с моим верным псом Бродягой до границы прежней зоны свободы и бросил поводья полумертвому мужчине...

Я остался...

Я украл своего Кольку у моих товарищей...

Молчаливые стены пристально смотрели на меня... комната моей Фаиме... колыбель моего ребенка... В них еще дышит их присутствие...

Это медленно проходит.

Спокойная улыбка святого на иконе, горящая лампада, ее мягкий свет, неслышная смерть...

Не за что удержаться...

Из окон пристально смотрит на меня ночь.

Этой ночью шепотом шел слух из уст в уста, от избы к избе, то здесь, то там кто-то прокрадывался из дома и боязливым шепотом пересказывал это дальше. Наступил рассвет, люди встречались, говорили об этом, снова и снова упоминали об этом, слухи распространялись, становились громче, все громче... доходили до крика!

- Нас забыли!... Нас забыли...!

Тщательно оберегаемую тайну все же выдали; кто-то видел, как казаки возвращались домой. Один из них, вероятно, рассказал об этом.

Аппарат Морзе молчал.

В какой-то неизвестной местности был перерезан провод, чья-то преступная рука разрушила нашу возможность дать миру знать, что мы живы и получить от него ответ!

Забыли девять тысяч человек...

Забытые

Зима жестоко навалилась на нас. Так же жестоко мы боролись против нее с неравными силами.

Первая пурга в начале ноября продолжалась почти четырнадцать дней. Река, давшая нам горы рыбы, становилась все уже и уже. Хотя лед рубили днем и ночью, но холод схватывал ее снова, а также наши сети и руки. Они становились неподвижными, и наше мужество начинало падать.

Лесных зверей мы когда-то ловили целыми стаями, но теперь, когда повсюду в лесу лежали капканы и петли, и дичь видела повсюду мучительно кричащих животных, которые медленно чахли и замерзали, животных, которых тащили жадные, голодными людьми, звери убегали все дальше и дальше в заросшие, непроницаемые чащи.

Тайга оберегала своих жителей. С большим трудом в дальнем лесу сооружались базы и снежные хижины, и оттуда шли дальше вглубь леса и снова ставили ловушки и капканы.

Наполненные запасами амбары опустошались ужасно скоро, хотя рационы выдавались очень маленькими порциями. Что значили эти запасы для девяти тысяч человек, которые уже начинали голодать!

Ссоры и споры возникала между людьми, так как они крали все съедобное друг у друга, всюду искали хоть что-нибудь, чем могли бы наполнить свои животы. Теперь они ели без разбора все, они больше ничего не боялись.

Прежняя гимназия стала огромным складом продуктов. Немецкие часовые днем и ночью ходили вокруг дома. В их обледеневших шубах из собачьих шкур они походили на снежных чудовищ. Они были вооружены до зубов. За входной дверью стоял готовый к использованию пулемет. Каждый знал, что когда-то все же наступит день, когда этот склад попытаются взять штурмом... что тогда...? Еще ждали. Может быть, все таки придет опоздавшая, обещанная правительством несколько месяцев назад колонна повозок с горами продуктов, вероятно, это больше не будет длиться долго, тогда можно будет снова наесться до отвала...

Пока что еще можно было ждать.

Густыми снежинками вниз падал снег.

Мороз становился все сильнее и сильнее.

Мы становились все более неуверенными.

Снаружи перед гимназией стояли ждущие.

Засыпанные густым снегом они были похожи на белую, долгодвигающуюся кучу. Руки, которые день ото дня могли давать им все меньше продуктов, были усталыми и робкими, потому что они только чувствовали, как тают запасы, которые вряд ли когда-то еще могли бы быть пополнены. Они знали, что придет день, когда и эти остатки иссякнут.

Этот день наступил.

Прошли лишь два месяца зимы.

Вблизи города дичь полностью исчезла, и непрерывно последовали дни, когда первые люди умирали от истощения и отчаяния. Они оставили надежду. Только немногих можно было склонить покинуть город и жить за счет охоты в снежной хижине в лесу. Они лучше умирали бы среди своих, в избах, в лагере.

«Ширр.. ширрр... ширр...», скользят короткие лыжи по глубоко заснеженной, застывшей и внимательно слушающей тайге. Передо мной ловко скользит траппер, всегда неизменным шагом. На его спине висят старое дульнозарядное ружье и испытанная в борьбе «рогатина», что-то вроде охотничьей пики, которой еще сегодня пользуются сибирские трапперы – охотники на пушного зверя. На пестром поясе у него за спиной висит топор; вокруг нас бегут две длинноволосых, косматых собаки.

Наконец, собаки возятся в кустарнике, лают громко и возбужденно... Мы добрались до медвежьей берлоги. Быстро мы отсекли и отбросили в сторону ветви кустарника. Я готовлюсь к выстрелу, в то время как траппер сильно ковыряет в кустах своей рогатиной.

Внезапно звучит громкое сопение и шипение, и из берлоги поднимается медведь. Собаки пытаются укусить его сзади, пока охотник долго старается разозлить его с помощью рогатины. Уже медведь поднимается на задние лапы, но все же и траппер приблизился к нему. Короткий сильный удар попадает медведю в лопатку. Спокойные нервы, присутствие духа на следующие секунды, и медведь валится на землю. Жадно мы пьем густую медвежью кровь, так же жадно едим мы мелко нарезанные, еще теплые куски мяса.

Наша добыча сегодняшнего дня составляет: один медведь и четырнадцать зайцев.

Мы устало вваливаемся во вместительную снежную хижину, в которой проживают несколько человек. Поблизости от нас горит маленькая печь, котелок на огне, там тушится заяц с совсем немногими крупинками соли. Это все, что шесть здоровых мужчин могут есть в сутки. Все другое, что они добудут, нужно привезти в Никитино.

Снежная хижина величиной пять на пять метров, на земле лежат попоны, на которых мы растянулись. На нас толстые шубы из собачьих шкур, массивные валенки, бесформенные брюки и рукавицы, толстые шапки-ушанки. Мы выглядим как живые сгустки льда.

- То, что в Никитино умирает все больше и больше жителей..., – говорит один товарищ. Это когда-то такой веселый трубач в Забытом, Вернер Шмидт.

Мы все молчим, так как сознаем правду его слов.

- Сколько умерли все же из наших?

- Тридцать восемь человек. Часть из них попала в капканы, больше не могли найти дорогу к снежной хижине и были занесены снегом в лесу и найдены отможенным. Некоторые покончили с собой, – говорю я.

- Кто именно умер, господин Крёгер?

Звучат имена, которые мы все знаем. Когда-то мы работали вместе с ними, смеялись, надеялись...

- Уже пять дней около тридцати крестьян считаются пропавшими без вести в районе самой северной снежной хижины. Они больше не вернулись. Это теперь частое явление. Температура сильно упала, и я думаю, у нас снова будут бураны.

- Вот проклятая погода! Я голоден...! Я уже долгое время всегда хочу есть, и если я выползаю из пещеры и только немногие дневные часы гоняюсь за дичью в лесу, у меня темнеет в глазах. Знаете, товарищ Крёгер, я спрятал половину зайца на дереве. Я ем его в сыром, замерзшем состоянии. Я больше не могу! Пусть другие думают обо мне, что хотят. Другие делают то же самое. Они тоже тайком крадут кусок мяса. Так что имейте в виду, пока этого медведя дотянут до Никитино, от него останется меньше половины. Ах, да что тут говорить, только чистые ребра можно будет видеть. Боже мой, как я хочу есть!

- Хватит, дружище, брось ныть, ты думаешь, мы не голодны? Не болтай об этом, от этого становится только хуже!

- Сегодня ночью мне снились великолепные булочки и огромная порция жаркого с подливкой..., – другой голос бормочет себе под нос.

- Заткнись! Ты нас с ума сведешь! Идиот!

Маленькая дверь цилиндрической железной печи открыта, и наши глаза пристально смотрят внутрь.

- Нам предстоит пережить еще почти три полных месяца, – говорит тихий голос.

- Что, собственно, легче перенести: длящийся сутками ураганный огонь или многомесячное голодание зимой, в пурге, и видеть, как всюду люди выбиваются из сил и умирают, и как сам постепенно теряешь силы...?

Мы засыпаем. Мы счастливы, если мы еще можем спать, так как многие из нас больше не могут заснуть из-за голода.

Буран несколько дней бушует над Никитино. Массы снега засыпают все, и наших сил едва ли хватает, чтобы освободить от снега входы в хижины и окна. Мы, кто еще может, делаем это только для того, чтобы постоянно не видеть ставшую невыносимой ночь. Множество изб уже полностью занесено снегом. Снаружи господствует сорокаградусный мороз. Базы в лесу едва ли могут снабжать нас, так как снег такой глубокий, что по нему уже больше нельзя ходить.

Крестьяне с женами и детьми идут в церкви, они даже тащат с собой некоторых из их чахнувших соседей. Там горит только лишь единственная лампада перед изображением Христа. Вокруг нее, во всей церкви, лежат мертвецы. Дверь наружу широко открыта. Она уже почти занесена снегом, и только с трудом можно еще пробраться внутрь. Мерцающий свет последней лампы призрачно витает над этими замороженными человеческими трупами. Отцы, матери, дети, все вместе лежат здесь, умершие от истощения, окоченевшие.

Генерал покончил с собой. Он завещал все свои наличные деньги, двадцать тысяч царских рублей, Фаиме. Теперь маленький дом, который когда-то выглядел таким нарядным, совершенно заметен снегом. В снежной могиле лежит застывший труп.

Братья Фаиме все еще живы.

Я больше не думаю о Фаиме и моем ребенке; это бессмысленно.

Если я дома один, то я сижу сломленный в кресле, долго пристально смотрю на горящие лампы, складываю руки и сжимаю их друг с другом, долго внушая самому себе изо всех сил:

«Продержаться!... Продержаться!... Продержаться..!»

Ежедневный ужас доводит меня до самой безумной ярости, тогда я хожу из угла в угол, снова и снова, даже если я устаю до того, что падаю с ног от изнеможения, сжимаю кулаки и хочу снести все вокруг меня, разрушить, уничтожить, выпустить пар хоть каким-то вандальским способом... задушить судьбу, уничтожить, замучить, еще гораздо более зверски, чем она мучит нас...

Что за ужасающая бессмыслица скрывается в этом полном бессилии!

Два дня абсолютно неподвижной апатии, как будто я вживую окоченел. Вокруг меня тревожная, ждущая тишина. Я несомненно знаю, это больше не может долго продолжаться...

Проклятая, ревущая пурга! Вечно проклятые, жалкие люди! Проклятое безразличие подлецов! Проклятье... проклятые на вечные времена...

Внезапно ледяное дуновение... Спокойный свет взволнованно колыхается в комнате.

Лампада погасла.

Свет от свечи падает мне в лицо, и я содрогаюсь от страха. Кто это?

- Давай,... вставай, Федя... это я, Иван! – говорит твердый голос. Он внезапно придает мне внутреннее тепло и силу.

Он подпирает меня как ребенка, огромный кусок льда. В свете фонаря мы идем по комнатам. Осторожно гасится свеча, потому что она сейчас очень ценная вещь. Он открывает дверь, и мы выходим наружу в метущий снег, бурный шторм.

- Вот, Федя, одень, моя меховая шапка. Ты простудишься... Вот тут у тебя еще и мои перчатки... Мне все это больше не нужно... У меня ты можешь поест, Федя...

- Поесть?

- Хлеб, масло, сыр, а еще белый хлеб, колбаса...

- Иван!

- Нет, мой дорогой, я не сошел с ума. Это правда, и ты скоро сам все увидишь. Только пойдём, иди, Федя, застегни свою шкуру. Тут холодно, пошли, мой дорогой. Это все правда!

Мы карабкаемся по глубокому снегу, скользим, перелезаем. Мы соскальзываем вниз со снежного холма, заползаем в его дом, и там он ставит свой фонарь на стол, зажигает свечу. В комнате точно так же холодно, как снаружи. Через два окна в комнату намело сугробы. На диване лежит Екатерина Петровна: она мертва и покрыта тонким слоем снега.

- Давай, Федя, мой дорогой, хороший Федя, мой друг, мой брат. Просто проходи, не бойся...

Мы пробираемся вперед.

- Здесь, это мой кабинет, здесь я в первый раз поел с тобой, и ты подарил мне деньги. И сегодня мы тоже поедим здесь как два хороших, старых друга. Садись в это кресло, я купил его за твои деньги, за много, много прекрасных денег. Нам всем это теперь больше не нужно...

Хлеб! Хлеб! Хлеб!... Хлеб лежит на столе! Масло, сыр, колбаса, яйца! Правда! Я тут же хватаюсь за все это и забываю обо всем вокруг.

- Я растопил печь и расставил еду. Я ни одного куска не съел заранее, Федя, я ждал тебя. Маша, моя горничная, когда я нес ее в церковь, сказала мне об этом ломающим голосом: в твоей яме, которую ты выкопал мне в первое лето, в подвале, ты еще помнишь? Там я нашел еду. Она всегда была такой забывчивой, моя Маша. Ты можешь есть все, Федя. Я больше не хочу есть.

Я жрал, как жрут животные. При этом я плакал, как я плакал когда-то, как человек. Потом силы оставили меня...

Я ищу на ощупь стол, нахожу спички и зажигаю одну. Много часов должны пройти.

В пушистой шубе сидит Иван Иванович, также, как накануне, в широком кресле, ноги широко расставлены, лицо добродушно-мирное, как будто он спит, в правой руке он еще держит маленький кусочек хлеба – он мертв. Наверное, его больное, слабое сердце отказало, я не знаю.

Он был мне другом... до последнего вдоха.

Я закрываю ему веки... Я крещу его по русскому обычаю, назло пережитому ужасу, потом я резким движением широко распахиваю двери... пусть он услышит плач вьюги, из которой он ушел от меня...

... Потом... потом я краду у мертвого друга еду.

Снаружи ночь. Я не знаю, прошел ли за это время еще один день, так как у меня уже давно больше нет моих часов. Я взбираюсь на нагроможденные снеговые массы, скольжу вниз, снова взбираюсь на них, падаю, падаю, влезаю, ветер стегает меня со всех сторон. Я больше не знаю, где я.

Время от времени, у подножия метели, мои руки наталкиваются на замерзших людей... Трупы...

Кто-то падает мне под ноги. Его сбросила вниз метель, он летит к моим ногам и плачет.

- Мария и Иосиф...

Это австриец, официант из Вены. Я пытаюсь поговорить с ним, но он уже больше не слышит меня. Вероятно, мой застывший от холода рот тоже больше не может говорить. Я подаю ему корку хлеба.

- У каждого венца блестят глаза, стучит сердце, горят щеки, когда после... многолетнего отсутствия... Собор Святого Стефана... Церковь Августинцев... Хор благородных мальчиков... – затем шепот умолк.

Я становлюсь на колени возле него – он мертв.

Метель уже слегка припорошила его снегом.

Я дальше скольжу, падаю, влезаю, прохожу мимо церкви.

Трупы... здесь тоже трупы, и там они лежат. Их еще едва лишь покрыл снег. Это крестьяне, вероятно, также мои товарищи, они спешили друг к другу, чтобы утешить друг друга или, может быть, попрощаться друг с другом.

Всюду мертвецы, замерзшие...

Они погибли в дрящемся сутками ураганном огне сибирского бурана... Они когда-то где-то жили. Когда-то это были люди... Их забыли где-то в снегу, в буре, в вечной ночи Сибири...

Тщательно закрываю я дверь в мою квартиру, потом ощупываю все вокруг меня в полной темноте... нахожу, наконец, спички.

Светлая радость поднимается во мне, и мне внезапно становится тепло. В темноте я дальше ищу на ощупь, несу дрова, зажигаю печь, заталкиваю внутрь большие поленья, затем бросаюсь к дивану, и пока я еще на мгновения прислушиваюсь к ночи за окном, которую поющий свистящий шторм

снова превращает в ад, я чувствую все более парализующее чувство в членах. Я держу заряженный револьвер в руке. «Ты больше не можешь быть в безопасности ни перед кем, ни перед кем, даже уже и не перед твоими голодными товарищами», стучит лениво, больше не подстегивая, в моей голове. Тогда я засыпаю...

Солнце! Блеск, лучи, сверкание.

Я поднимаюсь и пытаюсь отогреть крохотное пятнышко в стекле окна. Через него я гляжу на снежный ландшафт. В спешке я снова растапливаю печь, выхожу во двор, в сарай, снова и снова ношу дрова, пока мне не приходит на ум, что я снова хочу есть.

Добросовестно я проверяю входные двери. Они твердо заперты, и никто не может войти ко мне. Я беру в руку «наган», осматриваю свои комнаты – они пусты, никого у меня нет, никто не увидит меня.

Я достаю из карманов, неуверенно как вор, хлеб, колбасу, сыр. Я даже не отложил револьвер – от страха, что кто-то мог бы видеть меня. Я очень долго жую, каждый самый маленький кусок означает для меня роскошь.

Я украл эти ценности у моего друга Ивана, когда мы еще ели вместе в последний раз. Он умер не от еды... он уже больше не мог есть. Я ничего не отдал бы ему, наверное. Я также не подумал бы о нем, но он, он сделал это, он разделил со мной свое самое последнее и самое ценное...

Солнце сияло через замороженные окна, оно было невероятно прекрасным... Скоро оно закатится. Я сидел в солнечных лучах, до тех пор пока они не угасли. И на следующий день я сидел в его лучах и ел и снова приободрился.

В третий день, едва взошло солнце, я пошел к моим товарищам в лагерь.

Я взял с собой револьвер.

Вход в бывшую винокурню был похож на медвежью берлогу, и внезапно я стоял посреди оцепеневших живых мертвецов. Как больные проказой приближаются к здоровому, так они ползли ко мне. В их глазах не была ни ненависти, ни расположения, никакой крохотный знак не указывал на то, что мы еще недавно были лучшими товарищами. Они окружали меня и молчали, продолжая лежать на полу.

Проклятая неустойчивость! Слабость! Трусость, дальше продолжать противиться судьбе!

Неудержимая ярость вспыхивает во мне, и я, зло ругая мои собственные чувства, говорю им все то, что в другой раз не высказал бы никогда в жизни:

- Товарищи! Я застрелил вашего первого коменданта лагеря! Я ради вас отказался от побега! Я и в дальнейшем, когда путешествовал с моей женой по деревням, ни разу не убежал – только ради вас! Я предоставил в распоряжение вашей кухне весь мой заработок и все мои деньги! Я построил вам дом! Я дал вам, в то время как все жители уже умирали от голода, в руки средства, чтобы охотиться на дичь. Нам не остается ничего другого, кроме как продолжать борьбу!

Живые мертвецы молчат.

Я должен заставить их. Они не могут бросить меня на произвол судьбы. Они должны жить, чтобы я смог жить. Так как я – я еще верю в наше спасение – в ждущее счастье – в освобождение. Но один, я потерян и слаб.

- Товарищи! – начинаю я снова. – Нам не осталось и восьми недель, и тогда весна! Вы знаете, что весной прилетают бесчисленные стаи перелетных птиц. Мы будем ловить их в огромных количествах, наедемся досыта, а потом отправимся в путь на родину. Мы держались вместе годы, все делили вместе, и теперь мы не можем сдаться, так как нам осталось пройти лишь несколько шагов. Мы хотим вернуться на родину! На родине нас ждут!

- Много товарищей сошли с ума...

- Любое сопротивление бесполезно ...

– Все, все бесполезно...

Голоса такие усталые, такие тихие.

- Тогда, хотя бы, не оставляйте меня одного! Не стоит ли неизбежно перед нами воля и радость возвращения на родину? Неужели мы больше не можем преодолеть все эти ужасы вокруг нас? Разве ваша воля к жизни уже угасла перед лицом смерти? Вы же все были на фронте!

Отдельные мужчины подходят ко мне.

- Мы хотим попытаться..., вероятно, можно продержаться... Все же, должно что-то выйти! Господь Бог! Мы же не хотим умирать здесь!

«Родной угол» внезапно снова проснулся. Мы продолжали жить.

Но время, связанное со смертями вокруг нас и с озлобленным желанием, постоянно продолжало подтачивать нас. Если погода была ясной, то все те, кто еще жил и мог выползти, выползали и пытались добыть что-то съедобное. Но если снаружи день за днем бушевали и ревели бури, то они не появлялись... Они не возвращались тогда из леса и снежных хижин. Мы, оставшиеся, тогда

сидели вместе, и сжатые губы шевелились и бормотали ужасные слова, которые мы внимательно слушали.

- Товарищ Шульц повесился... другой товарищ застрелился... Товарищ Анценгрубер выбежал без шинели в пургу... Сегодня ночью товарищ Штолльберг сошел с ума...

Наши ряды редели все больше и больше.

- Фельдфебель, вы хотите покинуть нас? Вы, человек с железной дисциплиной?! – Я сижу на топчане старого солдата и держу его ледяную руку. Глаза мужчины уже погасли, они стали безучастными. В руке он держит свои часы. Они остановилась. На крышке я вижу гравировку: «1914», за ним черту. Год, который должен был появиться за чертой – он никогда не будет выгравирован.

- Я больше не могу...

- Это уже не продлится долго, фельдфебель, совсем несколько недель, потом весна!

- Многие не доживут до нее... да и зачем... для кого?

- Я принесу вам завтра и всю неделя немного еды. Вы снова выздоровеете, тогда мы все поедим домой, к нам на родину!

- У вас больше нет дичи, господин доктор... другие говорили это мне...

- Я точно принесу вам мясо, другие ошибаются!

- Я так устал... устал... маршировать... Фронт... Отечество, все... устал...

На следующий день я снова пришел к нему. Я украл у других половину зайца, для него, одинокого, скрытного...

Его больше не было – он был мертв.

Когда я встал с его кровати... куски мяса были кем-то украдены.

Маленький Вендт, военный доброволец, подходит ко мне.

- Все вокруг меня умирает. Я замечаю, как и мои силы исчезают, и, однако, я так молод..., господин доктор... я так хотел бы остаться в живых... для вас это невозможно..., вероятно... Все же, вы самый большой и самый сильный среди нас.

- Вы должны взять себя в руки как я и некоторые другие, тогда все будет хорошо... тогда вы тоже выживете, совершенно определенно. – Я говорю это убедительно, и дрожащий вид юноши успокаивается. Он ложится, и я тихо говорю с ним. Он засыпает.

Вендт и я были хорошими друзьями. Пока я был в «родном углу» с другими, Вендт оставался дома. Он топил печь, он должен был в любую погоду идти в сарай за дровами, он убирал квартиру, если было светло, заботился о самом экономном освещении в ней, засунув маленькие сухие веточки в щели между балок, которые потом поджигались по очереди пусть даже с очень сильным дымом. Когда я приходил домой, он неудержимо радовался.

Стрелка барометра беспрерывно поднималась вверх. Наконец, за серыми облаками снова появилось солнце. В этот день мне повезло на охоте. Мороз немного смягчился, и я осмелился зайти довольно далеко от городка и убил трех зайцев; один из них был огромным самцом. Когда я пришел с добычей домой, Вендт был настолько обрадован, что плакал и целовал зайцев.

На целых четыре дня у нас было достаточно еды.

Каждый, у кого есть винтовка, в прекрасные, ясные дни идет на охоту. Они все-таки перебороли себя. Суровая зима заставляет лесных зверей, несмотря на то, что мы их постоянно стреляем, все же появляться вблизи городка.

Я набрался смелости, потому что Вендт давно голодает, и поэтому я снова направляюсь на охоту. Мои лыжи шуршат по блестящему снегу. Я посетил две снежных хижины. В каждой уютно разместились примерно по десять товарищей. Они похожи на путешественников из забытой экспедиции на Северный полюс. В их замерзших тулупах они идут на охоту. У всех них армейские винтовки и достаточное количество патронов, они стреляют замечательно метко, когда-то взятая с собой печь-буржуйка прекрасно греет, настроение у них хорошее. Они встретили меня с настоящим индейским воем, и этот крик придал мне еще больше стойкости.

В другой хижине я нашел восемь трапперов и крестьян. Они все были мертвы, хотя у них было еще достаточное количество припасов. Что могло быть причиной их смерти?

Эта хижина и запасы умерших стали моим спасением. Я был уже на обратном пути, когда обнаружил на горизонте приближающуюся пургу. Я побежал так быстро, как я только мог, назад к хижине, срубил второпях несколько веток, и едва я успел зажечь угасший огонь, как разразилась буря.

Я не знаю, как долго бушевала снаружи пурга, так как каждый раз, когда я выходил на несколько шагов в плотно примыкающий к хижине лес, чтобы

принести новые дрова, вокруг меня постоянно была ночь. Снегопад был подавляюще сильным.

Страх за маленького Вендта постепенно перерос в жгучее беспокойству.

На обратном пути я обнаружил в метели, которая гигантски поднималась над белой, широкой пустотой, одинокую фигуру в замерзшей шубе. Она махала мне рукой, подбежала ко мне. Это был один из товарищей, из самой ближней снежной хижины.

- Товарищ Крёгер! Ради Бога, у вас есть еще спички?... Наш огонь потух...

После длительного копания я достал коробку, в ней было двадцать две спички. Я отдал шесть из них.

Двое мужчины смотрели друг на друга, и в их глазах отчетливо можно было заметить сдержанное мужество, в сочетании с радостью обладать этим мужеством. Вокруг них повсюду был только снег, снег, далекая, белая поверхность, под снежным покровом едва ли видимый лес.

- У вас есть припасы?...

- ... А у вас?...

- У нас есть мужество, а это больше, чем припасы!

Из далекой, далекой дали мы еще долго машем друг другу.

Входная дверь моего дома была прислонена, и так я попал в мою квартиру. Все в ней было в беспорядке. На полу лежал маленький Вендт. Он был мертв... Кто-то насильственно его лишил его скудных запасов.

Большой друг тоже бросил его на произвол судьбы; пурга продолжилась слишком долго.

И огонь у меня тоже погас...

Пурга и снеговые массы выдавили окно, и мороз все больше проникал в помещения. Теперь он охватывал и меня. Не наступит ли теперь моя очередь, как у столь многих, многих моих товарищей? «Кто же из них все еще жив, сколько их, и где они живут?»

Я закрыл окно одеялами и шкурами. Я достаю коробку со спичками. В ней всего шестнадцать спичек.

А если у меня больше останется ни одной, то что тогда...?

Я едва ли могу защищаться. Собственно, я тоже хочу продолжать жить, я тоже не хочу сдаваться без борьбы, но, все же... я больше не могу... я устал.

Ночь сменяется утром. Солнце всходит...

Кто-то стучит в мою дверь. С трудом я открываю ее.

- Я принес вам кое-что поесть, товарищ Крёгер.

Как странно звучат эти слова. Они вызывают во мне воспоминание, что меня действительно именно так зовут.

Дайош Михали стоит передо мной. В бесформенных рукавицах он держит маленькую кастрюльку, которая почти не видна за ними.

Но это и должно было быть так, маленькая кастрюлька, огромные, замороженные рукавицы – кто-то мог бы увидеть это, отобрать у него эту ценность. Он приносит мне еду, странно. Неужели у него самого еды больше, чем достаточно?

Но разве другому что-то отдают только из изобилия?

Венгр ставит маленькую кастрюльку на огонь, иногда поворачивает ее. Он говорит ко мне, но я едва могу его понять. Я только вижу, как на его черной бороде постепенно исчезают ледяные сосульки, вода капает, его прекрасные руки скрипача осторожно крутят туда-сюда маленькую кастрюльку перед огнем.

- Это женское молоко, грудное молоко... женщина кормит меня... Ее ребенок, наш ребенок, умер уже давно... теперь я – ее ребенок... Я никогда в жизни больше не смогу смеяться... Я никогда больше не смогу играть... никогда, никогда больше...

Теперь он ежедневно приходит ко мне, и я жду его с очень боязливым нетерпением. Я проглатываю это молоко. Мое питание на весь день.

А потом он приходит с пустыми руками.

Женщина тоже мертва.

Что теперь?... Мы остаемся вместе...

- Товарищ Крёгер!

Кто-то трясет меня. От жуткого страха я вскакиваю. Неужели меня хотят вынести еще живым?

- Есть у вас спички... огонь... где-то...?!

Передо мной стоят четыре огромные фигуры. Их тулупы из собачьих шкур замерзли, брови, ресницы, бороды, рукавицы. У них армейские винтовки и лопаты. Глаза мрачные, и они не знают опасений. Им прекрасно знаком ужас вокруг нас.

- Мы откопали вас из снега, хотели увидеть, живы ли вы еще, есть ли у вас огонь... У нас больше нет огня, всюду потух. И в «родном углу» тоже. Все замело.

С этого дня мы вместе идем на охоту и делим нашу добычу. Наш огонь тоже больше не гаснет с этого дня, хотя коробка со спичками уже давно пуста. Иногда драгоценный жар висел только лишь на искорке. Поэтому один из нас всегда остается дома.

Теперь остались только лишь пять групп, и в каждой примерно по двадцать человек. Каждая группа ведет свой собственный бюджет, каждая по-своему охотится. Мы вместе преодолели самих себя и откопали от снега все лавки. Владельцы их уже давно засыпаны в своих избах. Мы нашли много велико-лепных вещей, среди прочего две бочки со смолой. Теперь мы ищем по избам с факелами, а не в полной темноте, как раньше.

- Господин Крёгер, я освободил термометр от снега, теперь мы можем ежедневно видеть все перепады температуры. Это будет нас радовать и придаст нам новое мужество.

И в действительности, спиртовой столбик медленно поднимался.

Но спустя несколько дней бушевала новая пурга. Ее мощь была гигантской.

- Это фальсификация, господа! Мошенничество, эта погода! Весна будет! Теперь мы постепенно ориентируемся в Сибири! – говорили мы сами себе.

Шторм прошел, за ним последовала теплая погода.

Григорий, траппер, добрался до нас истощенным. Он рассказал о большом стаде оленей. Осторожно мы приступили к делу.

Со всех наших последних сил мы раскидали сено по поверхности, так как мы знали, что животные изголодались. Вскоре после этого мы подкрались к стаду, распределялись широким кругом, и начали их загонять. Последовал беглый огонь из ружей, уже больше напоминавший пулеметный, наша поспешность была велика, а страх, что олени могли бы ускользнуть от нас, был еще больше. Наша добыча была огромной. Мы подстрелили почти тридцать животных.

Наше мужество и наша уверенность сильно возросли!

Мы день ото дня все больше удивлялись, что ни один крестьянин из окрестностей не приезжал к нам в Никитино, хотя становилось все теплее. Мы сами не могли решаться на марш продолжительностью в несколько дней, потому что у нас не было сил, лошадей, а погода еще не настолько установилась, чтобы идти на такие далекие расстояния пешком. Еще мы знали, что все непосредственно граничащие с Никитино деревни уже давно были пусты. Их постигла та же судьба, что и Никитино. Мы должны были ждать.

Пулемет лает!...

Мы вскакиваем, хватаем винтовки и патронные ленты, складываем патроны в карманы...

Стреляет малокалиберная пушка... снова трещит пулемет.

Мы осторожно высматриваем за окна.

Броневик! Пулемет в его башне ощупывает окрестности. За ним стоит примерно тридцать полностью загруженных телег и еще один броневик.

Люк первой бронемашины открывается, огромный мужик высматривает оттуда и кричит из всех сил:

- Мы не хотим убивать!... Мы привезли вам еду!

Я раскрываю дверь, выбегаю наружу, и, кажется, что я сойду с ума от радости.

- Степан!... Степан!... Степан!.

- Немец! Ну, молодец! Наконец-то я нашел тебя! И по широкому лицу моего уже давно забытого друга тюремных дней скользит спокойная улыбка. Как ребенок он обнимает меня, неловко гладит мою голову и снова и снова прижимает меня к себе.

- Ты с ума сошел, дружище? Неужели ты действительно свихнулся, во имя спасителя? Почему ты реवेशь как баба? Ты должен радоваться, мой дорогой... И он трет рукавом по снаряженной патронной ленте, на которой висят мои слезы.

Все же, внезапно его глубокий, широкий голос замолкает. Вокруг нас собираются мои товарищи, немногие, самые последние.

- Вас забыли...? – внезапно тихо спрашивает он. Огромная меховая шапка падает с его головы, и он крестится.

- Всех...? И он оглядывается и молчит.

Из броневика появляются люди, и по их военным шинелям я догадываюсь, что это бывшие офицеры. На них крест-накрест пулеметные ленты, еще такая же лента на поясе, по бокам у каждого два револьвера

Степан тоже так вооружен. Из телег тоже спрыгивают люди. На одних из них армейские шинели, на других трудноопределимая гражданская одежда.

- Они все-таки освободили меня из проклятой тюрьмы, – говорит Степан мрачно.

- Это был я! – говорю я с детской радостью.

- Я тоже так подумал: ,твой немец все же добился этого'. Я был и на фронте, когда он рухнул. Потом я был у тебя в Петербурге, мне сказали, что ты здесь, сказали, что и моя жена тоже у тебя... Она еще жива...? – произносит он внезапно и боязливо.

- Да, Степан! Они и оба ее ребенка живы! Ты можешь забрать их, они в деревне, в трех днях пути отсюда.

- Я приехал в Омск, хотел дальше к тебе. Железнодорожное сообщение было прервано, мне сказали, от вас уже больше четырех месяцев не было никакой весточки, и вы, конечно, все умерли от голода. На вокзале в Омске стоял целый поезд боеприпасов, он попал большевикам в руки. Вокруг него всегда бродили какие-то фигуры, и когда я поймал одного из них, тот сказал мне, что это бывшие «белые офицеры», которые хотели сбежать. Мы договорились, нас было триста человек и даже больше, захватили силой двух машинистов, и уехали на свободу ночью. По дороге мы раскрыли вагоны. Они были полны забитым скотом, консервами, лошадьми, живым скотом, боеприпасами, легкими и тяжелыми пулеметами и горами боеприпасов. В пассажирском вагоне мы даже нашли четыре полных мешка с царскими деньгами и «керенками». По дороге мы установили пулеметы, и всюду, где мы не могли проехать, мы косили все, что становилось нам на пути. Вот и на вокзале в Перми тоже не осталось больше никого из красных. Голодающие набрасывались на нас как дикие звери. Также и на конечной станции Ивдель у нас было много неприятностей с местными жителями. Они не доверяли нам, немногочисленные люди. Там было самое большее сорок парней. Они даже обстреливали наш поезд. Наконец, мы сгрузили оба броневика с платформ, скот и лошадей мы кормили по дороге, потом мы запрягли их, загрузили повозки продуктами, и теперь – вот мы здесь!

- Степан... у нас всех голод... дай нам еды... Мы хотим есть.

Снежные горы таяли. Река выходила из берегов. Широкие площади полей под паром и лесов глубоко ушли под воду. Перелетные птицы возвращались.

Вода спадала. Люди приезжали в Никитино.

Бесконечные ряды гробов, глубокие ямы, люди, которые ничего не делали, кроме того, что хоронили других. Церковные колокола, молчавшие месяцами, звенели.

С Колькой вернулась из Забытого Фаиме, с ней наш ребенок, Маруся и Бродяга, мой пес. Я долго боялся Фаиме, потому что она была для меня воспоминанием о жизни, о которой я едва ли мог вспоминать и думать. Я страшился, когда она звала меня, называла мое имя, касалась меня. Наш сын боялся меня.

Также и «другие», «немногие», так называли нас, бесцельно бродили по улицам.

Изо дня в день ужас извлекали из изб и церквей и хоронили. Ненасытные волки несли его из леса. Много изб пустовали. Двери были только прислонены, каждый мог войти, но никто не делал этого, потому что в пустых комнатах еще жил и дышал едва ли умолкший ужас.

Наступил день, который лишил меня последнего.

Моя жена и мой ребенок были убиты.

Та же самая зверская рука принесла смерть и моему Бродяге. Визжа он приполз ко мне. В его глазах еще стояла непоколебимая верность, с которой он защищал свою хозяйку и ее ребенка. Он ждал только лишь моего прихода.

И когда я поднимаю голову, снова светло... и знакомые предметы, кровать, стол, стулья, шкаф, толпятся вокруг меня как боязливые дети вокруг тихой, молчаливой, умирающей матери.

И когда я боязливо прислушиваюсь к себе, проникает в как раз еще широко, широко открытую душу жестокая, непобедимая боль, которая, как внушающее страх чудовище, бросается на меня. Чудовище въедается глубоко, вплоть до самых скрытых углов, оно выедает как раз еще ликующую, светлую душу навсегда из тела и удаляется наружу, как вор в темную ночь, и в ночи, которая лежит над монотонностью вечной Сибири, оно беззвучно тает навсегда. Оно даже не оставляет доставляющую боль пустоту, только бесчувственное, выгоревшее Ничто.

Зеркало на стене смотрит боязливо на меня.

Оно больше не может там висеть. В нем отражалось когда-то изображение моей жены, моего ребенка.

Я беру его в обе руки и... большие, горящие глаза смотрят на меня... спрашивают меня...

«... Что теперь...?»

Я кладу его на мягкую кровать, и рука задевает подушку... там лежит ее голова. Там я сижу на корточках, пока не вскакиваю испуганно, и ночь пристально смотрит на меня через окна.

«... Что теперь...?»

«Наган», он блестит так соблазнительно, настолько удобно он лежит в руке. Барабан полон... замок щелкает.

Ночь пристально смотрит на меня... почему?

Верующая рука моей жены когда-то снова зажгла угасшую лампаду перед иконой. Священный свет... как если бы бородатый лик святого мне улыбался.

«Ты старый, ухмыляющийся идиот!»

Тяжелый «наган» гремит, как пушка, пули пронзают лик на иконе..., но улыбка остается. Удар кулаком, второй, третий; разрушенный идол лежит у моих ног, и они растаптывают его полностью, улыбку, тупую ухмылку.

«Наган» поднесен к виску, пружина щелкает... Я откидываю барабан... пусто!... Ошибся при счете!...

- Великий Боже!

Как сатана вздрагивает от святого креста, так и я внезапно сгибаюсь, услышав эти слова.

- Великий Боже! Прости и благослови его!

В двери стоит Маруся, в сложенных руках маленький серебряный нательный крест с ее груди, который сверкает в свете утра.

В одиночку стоял я в траурном карауле у моей жены, у моего ребенка.

Один... один до конца этой жизни.

Когда утро зарозовело в третий раз, я положил нашего ребенка моей жене в руки, уложил обоих в мягкий мех и вынес их из дома. На березовом лугу, по которому весна уже рассыпала самые первые цветы, я опустил их на землю под деревьями.

Степан стоял там с лопатой и самодельным крестом.

Он был великаном, внешне, в копани и... в молчании.

И лопата врезалась в едва проснувшуюся землю и зарывалась глубоко.

Маленький холм, простой, безымянный крест... Березы окружают его. Они всегда будут окружать его, даже когда меня самого уже не будет.

Вплоть до глубокой ночи, до рассвета я боролся с самим собой.

Я хотел вскопать землю.

- Я хочу пить..

- Он говорит!

И при этих произнесенным шепотом словах я проснулся в своей комнате. Полный стакан стоял на столе, и я выпил его до дна одним глотком – это была водка.

И я начал пить.

- Игнатъев убил твою жену и твоего ребенка. Теперь он на конюшне, связанный. Мне убить его?

- Нет, Степан! Предоставь его мне. Но сначала я хочу выпить... Теперь у меня так много времени. Что мне делать со временем? Давай, выпей со мной, все же, выпей, Степан, ты не хочешь?

Я пил, и становился пьяной скотиной.

Игнатъев вернулся. Освобожденный из тюрьмы декретом Керенского со всеми другими преступниками, он приехал, чтобы отомстить. Однажды он уже попробовал это. Теперь это ему удалось. И Степан тоже прибыл слишком поздно...

Я снова пошел на конюшню.

Игнатьев кричит, когда снова видит меня. Его крик – это избавление для моей души, потому что я, я больше не могу кричать.

Степан пытается удерживать меня своими добродушными лапами.

- Ты же все-таки богобоязненный человек, это грех – так мучить божье творение. Будь милосерден...

- Почему ты снова и снова пытаешься помешать мне? Ты ведь знаешь, что он причинил мне. Он жил только мыслями о мести. Сотни километров прошел он, чтобы совершить это убийство.

- Но будь милосерден, Федя! Ради твоего Бога!

- Почему? У меня больше его нет!

Появились волки.

Я вытащил Игнатьева... только после нескольких дней... из конюшни и потащил... проклятого... в лес.

Транспортную колонну разгрузили полностью. Дни ужасов были уже почти забыты. Крестьяне снова пошли на поля и засеивали землю. Те, которым дальнейшая жизнь в многочисленных опустевших избах в Никитино показалась лучшей, чем в их старых, поселились в них и продолжали там жить.

Планомерно, как когда-то предписал мой приятель Зальцер, жители Забытое вместе таскали все всевозможное из Никитино. Они брали все, что им было нужно, так как это не стоило им денег; большая часть имущества была бесхозной. Полностью загрузившись, тащились они по широким просторам.

Длинный ряд деревянных крестов, выстроенных в ряд как солдаты, так лежали погребенными мои товарищи в сибирской земле. С холма они смотрели далеко за стену леса – на свою далекую родину.

Колонна последних военнопленных выглядела готовой к походу. Она ждала меня, но я остался. Я видел, как они исчезают вдаль, куда мы смотрели так часто, куда мы уже так долго хотели пойти, туда, где всегда садилось солнце.

Я в будущем увидел снова только одного из них, другие пропали навсегда.

Так было predeterminedено им: они не должны были вновь увидеть свою родину.

Возвращение домой

Пришло лето 1919 года.

Я пил все дальше.

Брать в свои руки плуг, сеять зерно, пожинать урожай – для этого мои руки были слишком сильно осквернены мной самим, они были нечисты, посевы не поднялись бы.

Помогать людям – мои руки были слишком усталыми.

Родина, ради которой мы стояли в дали со сжатыми от бессилия кулаками, ради которой мы когда-то работали, позволяли себя унижать, бить и мучить, которую мы когда-то любили – она была абстрактным понятием. Я уже забыл ее звуки. Пурга развеяла их.

И все же, однажды я без всякого плана вывел моего «Кольку» из конюшни, запряг его и молча пожал все руки, которые охраняли меня, подбадривали и спасли мне жизнь. Эти руки долго крестили меня.

Я уходил такой же, каким пришел. Я оставил все, все, я взял с собой только мою печаль и мою пустоту, ничего более.

Изо дня в день я ехал по далекой, беспредельной стране. Колька, моя верная, косматая лошадка, неумоимо шла рысью все дальше и дальше. Насколько смешным это было. Зачем я вообще ехал, и куда? Дальше... дальше... дальше... Где-то должен был быть конец. Где-то закончится дорога, на которую я вступил со дня моего рождения.

Пермь. На вокзале, где стояло много повозок, я привязал Колку.

Я спросил о следующем поезде.

- Дня через три-четыре, но точно никто не знает, – был безразличный ответ.

В зале ожидания, как всюду по всей стране, сомнительные типы. Они были вооружены, стояли вокруг, чего-то ждали, обсуждали.

Я нашел для себя отдаленный угол поблизости от окна, откуда я мог рассматривать беспокойную жизнь и происходящее на перроне. Я ел, я пил, и снова пил. Я смотрел на людей, но я не видел их. Я был обузой для себя самого. Я пил все больше, напивался и чувствовал отвращение к самому себе.

- Товарищ! Предъявите документ! – Пятеро красногвардейцев стоят за моим столом. Они вооружены до зубов. На груди и спине перекрещены пулемет-

ные ленты, на боку у них револьвер и несколько ручных гранат. В руках винтовки с примкнутым штыком.

Медленно и апатично я достаю свой документ.

- Быстрее, мужик! Чего ты копаешься!

- Ты торопишься, или что?! – ору я на него и кладу документ на стол. Мужчины осматривают его.

- Хорошо! – говорит один. – Можешь пить дальше! – говорит другой, и они уже хотят уйти.

- Товарищ комиссар! Этот мужик – это не крестьянин! Посмотри-ка на его руки, это руки офицера. И у наших мужиков не бывает такого роста. Тут что-то не так. Только у бывших аристократов бывает такой рост.

- Следуйте за мной! Вперед! – прикрикнул комиссар на меня.

Ничего, кроме безграничной ярости не поднимается во мне.

- Вперед, парень! Давай! За мной! И комиссар грубо хватает меня.

Опять проклятая судьба хочет преградить мне дорогу? Мне?

Теперь я могу ее ударить...!

Вырываю у одного из них солдатскую винтовку, один удар прямо в лицо, другой, кого-то отбивает мой удар, но вот уже они лежат на земле. Вокруг них рассыпаны горы подсолнечных семечек, кучи окурков и всевозможного мусора. Я слышу крики, вокруг меня бушует толпа.

Крик команды. В противоположном углу, сразу у входа в зал ожидания, я вижу несколько солдат. Затворы винтовок щелкают, толпа умолкла, солдаты целятся в меня.

Прыгаю, как кошка... на стол... со всей силы в оконное стекло... оно звенит... трещат выстрелы... пули отскакивают от стены, толпа кричит.

Острая боль в правом бедре, блестящие штыки вокруг меня, поднятые приклады винтовок, гремят выстрелы. Неземная власть прижимает меня к земле, сустав правой лопатки горит, и от боли у меня темно перед глазами.

- Задержать! Задержать!

Они хотят задержать меня? Меня... задержать?

У меня больше, кажется, нет сил? Нет, есть! Теперь я на ногах, бегу головой вперед, всей силой врезаюсь в толпу, где-то звучат несколько выстрелов. Толпа отстывает, потому что она велика и подвижна. Мы сталкиваемся друг с другом, возникает паника, и никто не знает, куда ему бежать.

Тут стоит много привязанных лошадей. Мой Колька ржет. Он узнает своего друга. Я дергаю за поводья, колеса катятся, и вскоре вокзал пропадает из виду в ночи. Неутомимо, всегда начиная заново, грохочут колеса. Они доставляют мне боль; они и тракт. Надо мной стоит солнце. Оно невыносимо горячее. Моя одежда пропитана кровью, на правой ноге большая открытая рана, правая рука горит как в адском огне, кости лопатки сломаны, а в левой ноге пуля застряла в мягких тканях.

Колеса... дорога... они грохочут, утомляют меня... причиняют мне боль.

Колька ступает дальше, все дальше. Он в очень хорошем настроении, потому что уши его наострены и и долго шевелятся. Он – мой единственный друг... ведь я один...

Мне холодно, я дрожу... Колеса больше не грохочут, стоят. Колька жуёт траву на обочине дороги. Он сохранил свои старые привычки и мало заботится о поводьях.

Город. Клиника. Она грязная и отвратительная.

- Бандиты напали на меня и ограбили – слышу я свой голос. Первые слова, с тех пор как я покинул Никитино. Насколько тяжело говорить отчетливо, как мало можно выносить боль. Меня перевязывают, потом я двигаюсь дальше.

Моя голова абсолютно ясна. Где я нахожусь, куда прибежал Колька? Деревня, добродушный, боязливый крестьянин, он дает мне поесть и целыми днями заботится о моем друге. Я посещаю его каждый день, и я всегда радуюсь, что вижу его, и он всегда ржет мне. Я люблю его... он последний из моих...

Из разветвления крестьянин сделал мне костыль. Он получил от меня много денег, и поэтому он называет меня барином.

Колька снова дальше бежит. Ему уже осталось недалеко бежать, скоро у него будет свое спокойствие, но я больше не расстанусь с ним. Я возьму его с собой, туда... где бы я ни был. Где-нибудь...

Но вдруг он отказывается бежать дальше... Ковыляя на костыле, я пытаюсь подогнать его, ободрить, глажу его, слегка натягиваю поводья. Его глаза печальны, уши висят. Он спотыкается, падает на землю. Я становлюсь на колени возле него.

Потом он умер.

Мой Колька мертв!... Моя маленькая, косматая, сибирская лошадка...

Вороны кружатся вокруг меня, садятся на труп. Они хрипло кричат. Гнусное зверье! Я машу одной, еще здоровой рукой, но они не хотят улетать. Может, я тоже уже труп, может, эти чудовища хотят броситься и на меня? Я вытягиваю револьвер и стреляю в проклятую черную стаю. Лениво они улетают прочь.

Темно и пусто на бесконечной грунтовой дороге... Трясая телега, какая-то добрая душа забирает меня с собой.

В дали нового рассвета остается лежать мой покинутый, мертвый друг...

Я сижу в углу железнодорожного вагона. Передо мной стоит стена людей; непрерывный гул голосов окружает меня день и ночь. В окнах больше нет стекол, ветер свистит насквозь, где-то грохочет и лает пулемет. Целыми днями стоит поезд. Кто-то передает мне есть и пить, потом колеса монотонно грохочут.

Петербург. Знакомые улицы. Меня ведут солдаты с красными кокардами и красными повязками, один из них даже несет мой костыль. Меня арестовали? Меня казнят?...

- Садись, земляк. Смотри, как ты дойдешь дальше, из тебя и слова не выдавить.

Они уходят. Я сижу на мостовой, прислонившись к дому. Люди проходят мимо меня и смотрят на меня. Пусть идут дальше...

Моя дорога к дому моих родителей была бесконечной и мучительной.

Широкие ворота открыты. Входная дверь отсутствует, шарниры вырваны. Красные солдаты, красные матросы заходят и выходят. Я валюсь на землю.

Маленькая, плохо пахнувшая палата, кровать, заваленная лохмотьями, на дымящей керосиновой плите стоит маленькая миска со скудной едой. Неряшливое лицо Ахмета согнулось надо мной.

- Я сломал здесь в доме все, провода, батареи отопления. Толстый лед лежал на паркете всю зиму, теперь все сгнило и разрушилось. Пусть гниет дальше. Я приду позже, но мне еще нужно выполнить свой долг. Они застрелили наших братьев... эти комиссары должны...

Дни проходят. Сестры заботятся обо мне. Теперь у меня чистые бинты.

Потом однажды передо мной лежит формуляр, который я должен подписать.

«Шведская миссия Красного креста». Я читаю свое имя, какой-то голос говорит со мной, действительно долго просит. Я подписываю...

Я женат. Незнакомая женщина стоит возле меня. Она со мной выедет за границу. Она не единственная, которая воспользуется этим путем. Она высокая, стройная и белокурая, нежные мягкие руки ложатся на мою левую руку, печально-боязливые глаза смотрят на меня. Она одета так скудно.

Позже я сижу в полутемной комнате, много, очень много глаз направлены на меня. Я знаю их всех, это друзья, знакомые – прежних времен... Передо мной, на столе, лежит горсть великолепных ювелирных изделий, которую я должен взять с собой.

- Мы все скоро последуем за тобой, если тут не станет лучше, – говорят голоса.

Я никогда больше не слышал их.

Вагон для скота. Я лежу на полу, и вокруг меня громко разговаривают на языке моей родины. Это офицеры, они едут со мной. Рядом со мной сидит, скорчившись, белокурая женщина. Она положила мне свою мягкую руку на лоб и пододвигает мне подушку под голову; я и не заметил, что я лежал там без подушки. Она накрывает меня одеялом.

Дверь вагона с грохотом закрывается, колеса грохочут час за часом.

Псков, Дюнабург (Даугавпилс – прим. перев.), Вирбаллен, Эйдткунен. Германская граница... Всюду вокруг меня радость, смеющиеся лица.

Мы на родине.

«На родине, на родине, там встретимся мы вновь», звучит песня снова и снова.

Почему они все лгут... никакой новой встречи нет!

Берлин.

Вокзал Фридрихштрассе.

Мужчины, они выглядят аристократически, почтительно встречают стройную белокурую женщину. Она подает мне на прощание руку... Вокруг нас стоит, глаза, толпа. Голоса благодарят, пожимают мою левую руку, говорят много пустых слов.

Смеющееся, синее море... сияющее солнце... колосющиеся нивы... мой родной уголок. Но он не воодушевляет меня, так как у меня больше нет восприятия.

Почему я не остался, там, где-то, где я однажды был?

Маленькая узкоколейка в Мекленбурге приближается к городку. Издалека красные крыши выглядывают между тенистыми деревьями. Поезд останавливается. Собралось много людей. Они любопытны.

Отец!... Седой, согбенный, бездеятельный.

Мать!... Грустная, тихая, ухоженная.

Хриплые слова приветствия. Во всех глазах ужас, который они больше не могут скрывать. Холод и ужас так же исходит от меня. Маленькая, по-деревенски продуваемая комната. Все, все здесь чуждо мне.

- Ну, расскажи все же, пожалуйста.

- Я не могу! – звучит грубо и недружелюбно, но мне это абсолютно безразлично. – Вероятно... в другой раз..., может быть, – с трудом добавляю я.

Швейцария.

На сияющем солнце вечно заснеженные вершины Альп поднимаются передо мной. Я лежу на веранде. Сегодня воздух на высоте двух тысяч метров особенно прозрачен.

Мое голое тело полностью подвергается воздействию лучей исцеляющего солнца.

Я смотрю на правое плечо. Длинный, едва заживший шрам, прямоугольный, почти неподвижный, протез сустава лопатки. На правой ноге длинная резаная рана; мышцы и сухожилия отсутствуют почти полностью. На левом бедре зажившее пулевое ранение.

Когда-то я был молодым, сильным.

Теперь никто не сможет что-то изображать передо мной!

До конца своей жизни я стал инвалидом!

И надо мной... лучезарно синее небо...

... новая встреча!

Прошли годы.

Время проходило, безрадостное и полное кризисов. Работа была тягостью, без той радости, которую приносит создание чего-то цельного и большого.

Новая жизнь, новые понятия и установки возникали вокруг меня, постоянно пытались пробиться внутрь меня и уничтожить старое, мечты моих седых волос.

Но старое, то, что когда-то было, выдерживало, и так полная уединенность среди миллионов людей увеличивалась из года в год все больше и больше.

Я был чудаком, одиночкой.

Я часто пытался найти одного или другого из моих товарищей, но мне это не удавалось.

Снова и снова в ответ я получал только официальную информацию: «Пропал без вести с осени 1914 года в Сибири».

Только одного я встретил снова.

Окруженный роскошью и всевозможными пустыми тратами, вдали от своей родины, я снова увидел его. Черноволосый, импозантный, дьявольский, почти как когда-то, только на висках много седых волос, колючие, производящие почти зловещее впечатление глаза, в которых не чувствовалось ни малейшего движения, великолепные, нежные руки, которые, лаская и ощупывая скользили, по струнам скрипки. Он стал богат и знаменит; все было открыто для него в жизни.

Дайош Михали.

Когда он увидел меня, то внезапно прервал игру, отложил осторожно свою скрипку, и посреди равнодушных и избалованных людей он, не обращая внимания на их возмущенные лица, поспешно подошел ко мне.

Мы вместе проводили целые дни. Мы беседовали о прошлом.

Наши дороги снова разошлись. Когда-то они вновь пересекутся. Мы оба знаем это.

Много лет спустя я снова приехал в Россию с особой миссией; моя дорога вела меня дальше – в Сибирь.

Один из многих, которые ничего не могут назвать своим, не имеющих ни родины, ни крова, один из молчаливых, скромных, нетребовательных, одичав-

ших, посадил меня в лодку-однодеревку и повез вниз по реке Обь. После долгих дней мы добрались до одной деревни. Там я оставил молчуна и двинулся дальше в одиночку.

День за днем скользила моя лодка по волнам. Все вокруг меня было лишь одним возвышенным молчанием: лес, поля под паром, густой кустарник, болота, меланхолическая, сонная ширь, свободные птицы, движущиеся облака, сияющее, знойное солнце, трещащий дождь, далекие просторы испепеленного девственного леса.

Внезапно сердце останавливается, протезы моих конечностей двигаются в судорожной, незнакомой поспешности, пальцы до боли твердо сжимают весло...

Передо мной лежит знакомая местность, спустя десять лет!

Посреди испепеленной тайги лежит маленький зеленый луг, на нем светлые, кудрявые березы, невзыскательные цветочки вокруг них.

Здесь я часто сидел с Фаиме.

Маленький холм зарос травой, крест стал только лишь горстью гнилой древесины... могила моей жены и моего ребенка... и мои нерасторопные, мечтающие руки пытаются связать венок из травы и полевых цветов.

Привет от возвратившегося домой.

На этом маленьком островке я больше не одинок.

Уже часто заходило солнце, не один раз мочил меня дождь, и, все же, я продолжал сидеть у моей жены и моего ребенка. Я был один в бесконечной, меланхолической дали, и мне кажется, как будто я теперь, наконец, приехал домой.

Дни за днями проходят вокруг меня в бесконечном молчании

Абсолютно заросшая, бывшая лесная дорога привела меня через растрепанный, густой кустарник, молодые сосны, кедры и маленькие березы с белыми стволами в Никитино.

Много лет тому назад здесь бушевал лесной пожар и превратил все в прах и пепел; ничего не осталось от маленького городка. По равномерным грудам пепла можно было узнать былые ряды домов, когда-то огромную рыночную площадь, обломки административных зданий, тюрьмы, все это теперь поросло густым диким кустарником и молодыми деревцами. Я быстро взбирался то на один, то на другой холм пепла, подтягивался на тонких ветвях, смотрел

сверху на широкие окрестности, как будто хотел найти, как пришедший из потустороннего мира, еще одного дорогого человека, того, кто знал меня, с которым я провел здесь долгие годы моей ссылки.

Все было мертво. Только маленькие птицы прыгали с ветки на ветку и бодро щебетали со всех сторон, и ленивая река двигалась как когда-то, как всегда, своим путем, куда-то в никогда не обозримую даль.

Здесь стоял когда-то мой дом. Здесь жил тот, здесь другой. Здесь должны были лежать могилы моих товарищей.

Здесь... там... когда-то...

Теперь этого больше нет.

Это никогда больше не возникнет. Вечно темный лес поглотит и этот маленький клочок земли, так как он уже начал делать это. Следы того, что когда-то было, стираются все больше и больше.

Маленький остров, луг, машущие кронами, тенистые березы, я снова возвратился к нему, в центре его я долго сидел и внимательно вслушивался в молчание и шум деревьев.

И, все же, моя рука однажды схватила весло, песок громко закрипел, и уже лодка была посреди течения. Она скользила все дальше и дальше, дни и ночи. Знакомые изгибы, пейзажи проплывали перед моими глазами, и я снова и снова искал пропавших, которых я знал еще живыми.

Но все вокруг меня оставалось немым, хотя я усиленно искал дорогу в известных мне углах и убежищах.

Я больше не находил ее.

Наконец, я схватил оружие, звук выстрела пронесся далеко за молчаливую тайгу, пока не спрятался где-то в лесу и умолк. Снова внимательно слушало мое неопытное ухо, но не слышало ничего.

Природа молчала, как и прежде.

Узкая как стрела, низкая лодка внезапно несется стремительно ко мне из-под кустарника на берегу, на корме умело гребет белокурый парень, два стрелка лежат на носу с ружьями наизготовку. Уже лодки почти рядом, светлые соколиные глаза молодых мужчин осматривают меня с любопытством, замечают мою необычную для них одежду.

- Федя! Ты ли это? Я Алеша, сын твоего друга Степана, великана! Мы все так часто говорили о тебе! Ты обещал, что придешь!

- Да, это я...

И уже юноша схватил мою изувеченную руку и поцеловал мою руку с затаенным дыханием, потом легко прыгает в мою лодку, хватается весло и ведет однодеревку к берегу.

Крохотное, маленькое место в плотном береговом кустарнике, несколько коротких ударов веслом, и передо мной лежит известный, спрятанный фарватер, ведущий в Забытое. Плотный навес из ветвей некоторое время нависает над нами, потом внезапно остается позади. Мы в гавани. Знакомая дорога по колосющимся полям, по которой я когда-то ступал, издалека слышны человеческие голоса, между ними звенят лениво бубенчики. Тесно сжатая деревня, в высоком, массивном заборе амбразуры, тяжелые ворота открыты, маленькие, низкие избы, узкая улица, площадь, в центре ее старая, обвитая церковь. У подножия ее лежит могильный холм маленького Мити и рядом могила нашего товарища Зальцера. Теперь люди, которые не знают спешки, подбегают к нам. Мы уже окружены ими, и один голос протяжно кричит другому:

- Федя, немец, приехал...!

Я посреди радостных людей, и одиночество покидает меня, как тьма, изгоняемая светом.

Мой друг Илья, староста Забытого, пробивается с трудом через толпу, мой друг Степан, прежний каторжник, следует за ним. Мужчины останавливают дыхание, складывают руки, сначала ощупывают меня и не верят своим глазам. Их волосы растрепаны, воротники рубашек расстегнуты, теперь грудь их дышит тяжело и быстро, глаза становятся мягкими и счастливыми.

Они целуют нас обоих в щеки и лоб, они снова и снова смотрят на меня, шепчут непонятные слова, хватают меня, целуют меня опять. Они такие большие, такие сильные, и они пахнут здоровым телом, своим потом и землей, которую они обработали.

Мои бывшие товарищи напирают на меня, те немногие, которые добровольно остались в Сибири. В их глазах стоит немой вопрос о родине.

Толпа расступается, освобождая мне дорогу. Передо мной лежит моя маленькая изба... она осталась пустой... и в ней все сохранилось еще точно так, как я когда-то покинул.

- Наверное, ты когда-то приедешь... так думали мы все... ты же обещал это нам..., говорит один голос возле меня.

Да, я приехал. Теперь жгучая тоска многих лет стояла передо мной как осязаемая.

Я приехал... один.

Новое поколение выросло в Забытом. Старики учили мальчиков работать и молиться. Среди молодых людей было несколько тех, кто отвозил особо умело сделанные товары в далекий большой город для обмена. Это были в большинстве случаев сыновья прежних военнопленных. Раз в год они выезжали на лодках-осиновках наружу, «в мир», и их лодки везли также самые ценные меха лесных зверей. В городе они меняли их на чай, кофе, порох, свинец и все то, что нельзя было сделать в родной деревне, и снова возвращались после нескольких недель. Нередко одного или другого настигала выпущенная из засады пуля предателя или банды, которые всеми средствами и уловками следили за молодыми парнями, чтобы узнать, где скрывается их родная деревня. Так и некоторых трапперов ловили и зверски пытали, чтобы он предал своих братьев. Но умирающие глаза видели только его великого Бога, и смерть казалась ему легкой.

Четыре раза банды разбойников пытались захватить деревню, так как прежние, находившиеся на большом расстоянии друг от друга деревни знали об убежище жителей Забытого, но единодушное желание, длительные наблюдения за близлежащим лесом, бывшей дорогой, непреодолимая воля к сопротивлению срывала эти нападения. Ни один из разбойников не ускользнул, никто не мог рассказать убийцам, что мирные крестьяне и трапперы жили благословенной Богом жизнью посреди мрачной тайги.

Постоянно посты подслушивания лежали в засаде, они соорудили себе на деревьях площадки для наблюдения. Стуком по стволам деревьев они подавали сигналы, которые передавали другие, и лесные бегуны так доставляли сообщение в спрятанную деревню.

Провидению было угодно, что сильный пожар испепелил далекие окрестности, так что близлежащие деревни погибли в море огня, и с давних пор тут уже больше не видели никаких врагов.

Лето заканчивалось. Очень богатый урожай наполнял амбары. Приходила зима с ее плачущими, воющими бурями и все засыпающими массами снега, и жуткий мороз раскалывал деревья. Мне все это было знакомо, так как это стало моей второй родиной.

Потом снова пришла весна. Теплый воздух, греющее солнце, заново просыпающаяся жизнь. Новые зародыши, ростки внезапно покрыли весь маленький затерянный клочок земли, придя к пропавшим людям и в забытую деревню.

Новое лето – и новое расставание.

Еще раз увидел я зеленеющий луг с кудрявыми березами, маленькими цветами, щебечущими птицами, окруженный рекой, охранявшей мою святыню посреди испепеленной местности, могилу моей жены и моего ребенка, завянувший, распавшийся венок – привет от человека, который вынужден нести свое горе в одиночестве, глаза которого видели только это маленькое пятно земли.

Молчаливый, одичавший человек ждал меня. Он мог бы ждать меня и дольше, потому что он не знал времени. Его родиной была вся огромная страна.

Молча он греб вверх по течению, молча и безразлично взглянул он на свою плату и пошел дальше своим незнакомым путем... куда-то...

Так же, как и я.

Перевод с немецкого: *Виталий Крюков, 2012 г.*

Библиотека Велесова Слобода, 2012 г.